МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ШАРЛЬ АНРИ САНСОН

ЗАПИСКИ ПАЛАЧА ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ТАЙНЫ ФРАНЦИИ



Книга 1

Шарль Анри Сансон

Записки палача
или
Политические и исторические тайны Франции

Перевод с французского П. А. Л.-Берг

Книга 1



Москва
Берлин
2019

УДК 94(44)
ББК 63.3(4Фра)5
С18

Сансон, Шарль Анри

С18 Записки палача или Политические и исторические тайны Франции. Кн. 1 / Ш. А. Сансон ; пер. с фр. П. А. Л.-Берг. – Москва ; Берлин ; Директ-Медиа, 2019. – 479 с.

ISBN 978-5-4475-9905-8

«Да скажут со временем прочитавшие эту книгу, закрывая ее: это духовная исповедь последнего из палачей!»

Что же поведает нам на страницах своих воспоминаний Шарль Анри Сансон (1739–1806 гг.) – самый известный французский палач из династии Сансонов? Что расскажет нам человек, который на протяжении четырех десятилетий приводил в исполнение смертные приговоры, присутствуя при последних конвульсиях своих жертв – безызвестных и известных, безвинных и тех, чьи руки были «по локоть в крови»? Все они, эти его минутные знакомцы, пройдут чередою перед нами по гильотине, чтобы совершить свой последний шаг – шаг в вечность.

В издание вошла первая книга воспоминаний потомственного палача, получившего у современников прозвище Великого Сансона. Автор начинает ее с обзора разных категорий наказаний, действовавших во Франции с давних времен, а далее дает «верное описание всех кровавых драм, происходивших в последние два века нашей эры». Среди его жертв имена графа Горна и Картуша, Лалли Толлендаль и кавалера де Ла Барр, Дамиенсов, а также самого короля, стоящего «…во главе этого кортежа жертв мук, которые не находят себе подобных в истории». Это верное описание всех кровавых драм, происходивших в XVIII–XIX вв. нашей эры.

УДК 94(44)
ББК 63.3(4Фра)5

ISBN 978-5-4475-9905-8

Содержание

ТОМ I

Жозюа. – Вот человек, Жильберт, который лучше знает историю того времени: – это тюремщик Лондонской Башни.

Симон Ренар. – Вы ошибаетесь – это палач!

Виктор Гюго. – Мари Тюдор, день 1, сцена II.

Вступление

18 марта 1847 года я возвращался домой, утомленный одной из тех долгих прогулок, в которых я искал лишь уединенных мест, чтобы подавить тяжкие мысли, волновавшие мой ум. Едва я успел переступить порог своего дома, и старая, столь редко отворявшаяся дверь, скрипя своими заржавленными петлями, успела затвориться за мной, как привратник вручил мне письмо.

Я тотчас же узнал большой конверт с огромной печатью, вид которого уже не раз приводил меня в трепет: внутренне содрогаясь, я взял послание и, ожидая найти в нем одно из тех зловещих приказаний, повиноваться которым я был вынужден в виду своей печальной профессии, тихо начал подниматься по лестнице.

Дойдя до кабинета, я с волнением вскрыл письмо, которое должно было содержать чей-либо смертный приговор. Я развернул его.

Это было мое увольнение от должности!!!

Мной овладело странное и неопределенное чувство; я поднял взгляд к портретам моих предков, окинул мрачные, задумчивые лица – в них я читал ту же мысль, которая до сих пор угнетала и мое существование; я смотрел на своего деда, снятого в охотничьем костюме, задумчиво опирающегося на ружейный ствол и ласкающего свою собаку, быть может, единственного друга, которого он имел когда-либо; я взглянул

на своего отца, снятого со шляпой в руке и в трауре, который он никогда не снимал при жизни. Я как будто хотел сообщить всем этим немым свидетелям, что, наконец, настал конец фатализму, тяготевшему на их поколении, и что я намерен теперь делать.

Позвонив, я велел принести себе чашку воды, и перед ликом Господа Бога, все читающего в наших сердцах и в глубочайших тайниках нашей совести, торжественно умыл руки, которым уже не придется быть запятнанными кровью себе подобных.

Затем я пошел в комнату своей матушки, бедной святой женщины.

И у волков есть свое семейство!

Я как будто и сейчас еще вижу ее в старом бархатном кресле, с которого она с трудом вставала. Я положил на ее колени послание Юстиции. Прочитав его, она взглянула на меня своими добрыми глазами, в которых я столь часто черпал всю свою силу и бодрость, и сказала:

– Да будет благословлен день сей, сын мой! Наконец он избавляет вас от зловещей участи ваших предков; вы спокойно, в мире проведете остаток дней своих, и, может, Провидение не остановится на этом…

В страшном волнении, в котором радость так и прорывалась наружу, я не находил слов, чтобы ответить ей.

– Наконец, – продолжала она, – должен же был быть когда-нибудь конец этому. Вы последний из своего рода. Всевышний даровал вам лишь дочерей: я всегда благодарила его за это.

На другой день восемнадцать человек претендовали на мое место и сновали со своими просьбами с приложением рекомендательных писем по министерским кабинетам. Как видно, заменить меня было нетрудно.

Что касается меня, то я уже принял решение. Я спешил продать старый дом, в котором семь поколений моих предков провели свою жизнь в презрении и унижении, лошадей, экипаж, на котором, наподобие герба времен крестовых походов, был изображен надтреснувший колокол – герб самый красноречивый. Одним словом, я избавлялся от всего, что могло поддерживать или возбудить память о прошедшем, и затем, отряхнув пыль с башмаков о порог двери, я навсегда оставил этот дом, где подобно предкам никогда не мог пользоваться ни спокойствием – днем, ни отдыхом – ночью.

Я бы уехал в Новый Свет, если бы меня не удержали преклонные лета моей матушки, к которой я с детства привык питать сколько любви, столько же и обожания. Слишком недостаточным казалось мне отделить себя пространством морей от Европы, где я был исполнителем столь печальной обязанности в кругу общества, которое считается одним из образованнейших. Америка со своими возникающими Штатами, едва начертанными законоположениями, первоначальными нравами, импровизированными городами, своими последними атрибутами невежества, умирающего под благодетельным влиянием цивилизации, своими обширными степями и пустошами, девственными лесами и огромными реками, поэтические описания коих я читал у Шатобриана и Купера, – все это невыразимо привлекало меня. Мне казалось, что это страна возрождения и что, поселившись в ней и переменив имя, облаченное столь жалкой славой, на другое, я могу надеяться зажить новой жизнью и сделаться свободным и деятельным гражданином великой страны.

Прочтение в то время только что появившегося сочинения Густава де Бомон и Алексиса де Токвиль об этой нации, которая, по их словам, является убежищем свободы, немало послужило к укреплению во мне этой мысли. И точно. Можно ли было предвидеть междоусобную борьбу, которая в настоящее время пожирает родину Вашингтона. Отец мой

скончался семь лет тому назад. Я имел счастье пристроить двух дочерей. Бедняжки! Я должен умолчать фамилию, под которой они были вынуждены скрывать несчастное имя своего отца, чтобы не покрыть краской стыда их невинные личики.

Но в Париже меня удерживала цель выше всех соблазнов, выше всех приманок – моя мать, семидесятилетняя старушка, которая, несомненно, захотела бы сопутствовать мне, если бы я имел неблагоразумие открыть ей свое желание, и которая никогда бы не перенесла столь долгого путешествия. Поэтому я должен был остаться подле нее, чтобы не лишать ее забот, к которым она привыкла, охранять ее старость и спокойно закрыть ее глаза, столь часто переполненные слезами.

Увы! Это последнее горе уже вскоре постигло меня. Три года спустя я должен был перенести невозвратную потерю – смерть достойной и обожаемой женщины, дважды дав мне жизнь: носив меня в своем чреве и своими советами поддерживая меня в стойкости к перенесению моей жалкой участи.

То был роковой удар для меня, удар, который на долгое время погасил энергию, возникшую во мне при извещении о моем увольнении. Между тем, шло время; я достиг того возраста, в котором человек не может питать иллюзию приступить к жизни вторично. Поэтому я окончательно бросил мысль покинуть Отечество.

Однако я спешил покинуть Париж и уехать в отдаленное и тихое местечко, где бы ничто не могло напомнить мне о печальном занятии в лучшие годы моей юности и зрелого возраста. Я ношу уже с двенадцатого года чужое имя, пользуясь с тайным чувством стыда дружбой, употребить во зло которую я боюсь, и утратить которую я опасаюсь при первом открытии моего инкогнито; наконец, имея право любить только некоторых животных, товарищей моего уединения и которым (да простит мне читатель Пифагорскую чувствительность) я дарю удвоенные ласки, чтобы утешиться, чтобы

найти силы подавить в себе человеческие чувства, казня себе подобных.

Увы! Напрасная предосторожность нашего бедного разума! Я чувствую, что здесь, в печальном моем уединении, где я думал найти убежище от моих воспоминаний, они против моей воли возникают и гнетут меня всей своей тяжестью. И вот, достигнув шестидесятилетнего возраста, утомленный жизнью, в которой я ничего не знал, кроме горечи, мне пришла странная, одуряющая мысль написать книгу, первые страницы которой посвящены «Предисловию».

Безделье и уединение – плохая среда для воображения, которое лишь требует объяснений. Поэтому я более не в состоянии был оставаться наедине со своими мыслями.

Удрученный тысячью идеями, напоминавшими мне о моем зловещем предопределении с самого рождения, о моем звании, я невольно переносился к эпохе, когда случай, о котором я расскажу ниже и который, несмотря на действительность, напоминает по своему романтизму один из поэтических вымыслов нашей литературы, ввел в наше поколение зловещее наследие, передать которое мне, благодаря Господу Богу, некому. Я вспомнил ряд своих предков, в числе которых даже семилетний ребенок не имел пощады. Прадед мой, Шарль-Баптист Сансон, родившийся в Париже 19 апреля 1719 года, вступил в должность своего отца 2 октября 1726 года, но так как было невозможно, чтобы ребенок его лет сам мог выполнять такую обязанность, на которую был обличен, то Парламент дал ему в помощники палача по имени Прюдом, требуя, чтобы он хотя бы присутствовал при всех казнях, совершавшихся в то время, чтобы придать им законный вид. Разве это несовершеннолетие, и эти постановления правительства не достойны замечания в истории эшафота!

Я вспомнил своего деда, облаченного в одежду Несси, в ту отдаленную эпоху, в которую слово «страх» было выражением слишком нежным, когда он был вынужден отсекать

кровавым лезвием топора головы как самых невинных, так и самых виновных людей. Потеряв всякое сознание своего униженного положения, не обращая внимания на презрение жертв, которые, что касается меня, никогда не могли заглушить крика моего сердца и угрызений совести. Мое воображение рисовало мне этого старца, бледный лик которого я видел, будучи ребенком, исполнявшего свои зловещие обязанности среди борьбы пожирающих себя партий, видя побежденными – победителей вчерашнего дня, и на завтра – победителей сегодняшнего; исполнителя той жажды крови, которая была самым характерным явлением этого невероятного момента в нашей истории.

Наконец я вижу моего деда в ту минуту ужаса, когда 21 января 1793 года революция вторично представила свету королевскую голову, отсеченную кровавой рукой палача…

Я знал, какую страницу занимало это столь внезапно случившееся событие в нашей жизни, опасениях, слезах, угрызениях нашей совести, подкравшееся к нашему очагу, – это печальная страница в числе прочих, посвященных жалкому перечню, в который уже в продолжение полутора столетий мои предки день за днем вносили имена и поступки своего поколения.

Анализируя эти странные анналии, которые я сам продолжаю, которые возникли еще во времена «пудры» и затем существовали во времена регентства и царствования Людовика XV и, наконец, во время революции и в наш век; встречаю на каждой странице любопытные воспоминания, неизвестные истории того времени, множество преданий, сохраненных семейством, обреченным в продолжение двух веков, подобно древним париасам, на уединение и презрение, которые, собственно говоря, составляют таинственные архивы для неизвестного будущего; встречаю в них как имена знаменитых, так и презренных людей – имена графа Горна возле Пуллалье и Картуша, Лалли Толлендаль и кавалера де Ла

Барр, Дамиенсов и, наконец, короля во главе этого кортежа жертв мук, которые не находят себе подобных в истории. Я припомнил рассказы отца о временах Империи, адской машине, машинах Жоржа Кадудаля, товарищей Жеху, Шофферов, и проч., перенесясь в те времена, когда мне самому приходилось пройти все те страшные случаи, кровавая развязка которых выпала на мою долю: присуждение четырех сержантов Ла Рошеля, Лувеля и всех помощников Жана Клемана и Равальяка, тщетно покусившихся на жизнь Людовика-Филиппа. Переходя от этих жертв фанатизма к жертвам судебных ошибок, как например, Лезурку, и наконец, к самым невинным преступникам: Дерю, Папавоану, Кастеню, Ласенеру, Суффлару, Пульману и прочих, в которых мы встречаем лишь разные виды преступлений и различные ступени человеческого развращения, я задал себе вопрос, что не скрываются ли в этом материалы для книги, польза и интерес к которой изгладили бы неприятное впечатление, произведенное именем автора, и не будет ли лучшим занятием моей старости труд по поводу этого сочинения.

Сознаюсь, и это мое извинение, что я не медлил ни минуты.

Поэтому я приступил к работе и немедленно стал писать свое произведение, справившись предварительно с «Историей казни и Палачей», которая, мне так казалось, могла быть весьма полезной при составлении этого сочинения.

Это сочинение – предлагаемая на суд публики книга.

Шум, возникший после одной из публикаций, дал мне понять весь риск, которому я подвергаю себя, но это не остановило меня. Быть может, предположили, что я выбрал из груды писем несколько фраз, составил книгу под своим именем, не убедившись в том, что это – чистосердечный, добросовестный труд, который мог возникнуть только в уме человека, удрученного горестями, ставшими его судьбой, и написанный по материалам оставленным мне моими предками. И это стало главной причиной стольких нападков еще

до ее появления. Они должны, прочитав мою книгу полностью, лучше судить обо мне.

Быть может, читатели, столь жадно отыскивающие на страницах журналов описание главнейших казней, примут благосклонное единственное сочинение, представляющее верное описание всех кровавых драм, происходивших в последние два века нашей эры; быть может, презрение, связанное с моим прежним званием, презрение, которого я не хочу и не могу считать предрассудком, исчезнет хотя бы на минуту при чтении этого сочинения, большую часть страниц которого я посвятил философским, историческим и, могу сказать, моральным истинам.

Некоторые из представителей журнала «Фельетонроман» заклеймили анафемой заглавие моего сочинения.

Более снисходительные воскликнули: «К чему подобная книга?»

Увы! Я не имею права быть щепетильным, потому прошу только позволения возражать лишь тем, кто, как кажется, задал мне этот вопрос.

Если общество и отталкивает все, что касается памяти преступников, то оно должно все-таки принять то, что относится к памяти жертв.

Последнее биение сердца мученика принадлежит потомству: оно имеет право, его обязанность изведать – куда он обратил свой угасающий взор.

Поэтому позвольте человеку, которому ваши отцы, вследствие своего протеста, отвели ужасно мучительную роль высказать свое отношение к истории, рассказать то, что ему довелось видеть.

Если бы целью этого сочинения было лишь доставить новую пищу пошлому любопытству людей, которые не имеют мужества искать душевных волнений у подножия эшафота, и, между тем, хотят найти их в сочинении, которое представляло бы фотографический снимок этих сцен в театре смерти,

то ваше презрение было бы основательно; но я бы бросил в огонь книгу, написанную с этой целью.

Наконец Богу не было угодно, чтобы мне пришла хотя бы на минуту мысль, как многие могут подумать, предпринять апологию гильотины и восстановления звания палача! Скорее бы отсохла моя рука, чем начертала сочинение, столь противоречащее моим душевным мыслям и стремлениям в продолжение всей моей жизни. Напротив, если я и был воодушевлен свыше к изданию этой книги, то главным поводом к этому была необходимость постановки этого вопроса перед трибуналом общественной цивилизации, вопроса, о котором говорило столько знаменитых людей, начиная с Монтескье, Беккариа, Филанджери и до Виктора Гюго, которые требовали отмены беспощадного истязания, живым олицетворением которого я имел счастье быть.

Зная, насколько этот важный вопрос занимает умы всех, вследствие великодушного начала, сделанного одним небольшим Германским великим герцогством, родиной Гете; Шиллера и Виланда, этого германского Вольтера, я в свою очередь, не считал себя вправе оставаться более нейтральным, убедился, что мой священнейший долг, в виду своего бывшего звания, положить и свой черный шар или принести и свое свидетельство по делу этого великого процесса, который ведется уже более века против постановления, которое ни в чем не соответствует нашим нравам.

Ни одна книга не производила на меня в юности такого впечатления и влияния как «Последний день осужденного». В первый раз я ее прочел еще задолго до того времени, как мой отец потребовал, чтобы я впервые присутствовал при экзекуции, потому что если бы это требование было сделано в то время, когда я уже находился под влиянием прочитанной книги, то я бы изменил обязанностям детского послушания.

И в настоящую минуту я ощущаю какое-то странное удовлетворение, что мне приходится обнародовать эту книгу в одно время с новым сочинением автора «Последний день

осужденного». Не хочу оспаривать, что нас разделяет огромная бездна и что яркие лучи его громкой славы затемняют мою жалкую личность, но я, тем не менее, счастлив, что могу подать и свой голос за дело, лучшим защитником которого он всегда был и будет.

Если мне зададут вопрос: каким образом я при подобных правилах и чувствах столь долгое время мог выполнять работу, выпавшую на мою долю, то я могу только ответить одно: примите во внимание условия, в которых я родился. Говорят, что сыновья Жака д'Арманьяка ощущали на себе кровь отца, выступившую сквозь худо сколоченные доски эшафота. Так и я облачился в одеяние мужчины на алтаре правосудия людей в тот самый день, когда впервые присутствовал при своем отце во время выполнения казни, которую де Местр называет ключом общественного подземелья. Меч правосудия передавался в моем семействе, как шпага у дворян, как скипетр в фамилиях королей; мог ли я избрать иное будущее, отказавшись от памяти своих предков и не огорчая старости отца, спокойно доживающего свой век в моем доме? Тесно связанный священными узами с топором и палкой, я должен был принять на себя темное пятно, перешедшее ко мне по наследству. Но среди своей печальной карьеры – последний потомок династии палачей – я, наконец, избавлен от красной обивки эшафота и скипетра смерти. Мог ли я спокойно лечь подле презренных могил моих предков и наблюдать исчезновение наказания, выполнение которого, вследствие смягчения нравов, делается день ото дня все реже, злодейство, бесчеловечность, как будто составляет последний остаток человеческих жертвоприношений времён варварства и невежества! Да скажут со временем прочитавшие эту книгу, закрывая ее: это духовная исповедь последнего из палачей!

Сансон.

ЧАСТЬ I
Исторический взгляд на различные роды казней

Предисловие

Прежде чем приступить к повествованию и коснуться тех из моих предков, которые предшествовали мне в выполнении ужасной должности исполнителя уголовных законов человеческого правосудия, я посчитал себя обязанным окинуть быстрым взглядом отвратительную цепь наказаний, с давних времен действовавших во Франции. Итак, я попытаюсь показать, до чего может дойти воображение человека в деле невежества и жестокости. Я приведу различные виды осуждения, различные роды наказаний, снаряды и машины казней и пыток, не стараясь, во всяком случае, описать все это в методическом целом, что могло бы походить на наши древние уголовные законодательства. Мне кажется, что холодные и глубокомысленные замечания законоведа показались бы скучными и даже излишними в этом сочинении, которое уже по внушаемому страху выполняет свое назначение. Если бы кто-либо из толпы, окружающей эшафот, поднялся и стал протестовать против силы и всемогущества закона, то его бы не услышали, на него не обратили бы внимания, его голос, заглушённый стуком и звоном топора, не получил бы отклика. Страдания приговоренного к казни, приготовление к ожидающей его смерти, окровавленный эшафот скорее пробудят в самых жестоких сердцах чувство жалости, а в умах самых помраченных – понятие о правосудии.

Поэтому весьма трудно, если не невозможно, заключить в одну рамку «Историю о Казнях». Прочитав наши уголовные постановления и почти все законодательства Новейшей Европы, нетрудно отгадать философскую мысль, руководившую

законодателем при издании их и теперь дышащую из каждого слова. Изложить в их настоящем смысле все примерные нравоучительные наказания, проследить цель, столь удивительно выраженную следующими словами Сенеки: In vindicandis Inyuriis hael tria lex secuta est: ut eum guem punit emendet, aut poena ejus caeteros reddat meliores, aut ut sublatis malis securiores caeteri vivant. (При исполнении наказаний необходимо руководствоваться тремя правилами: чтобы через него виновный исправился, или чтоб оно послужило для исправления очевидцев, или же доставило бы спокойствие и оградило на время от подобных злоупотреблений прочих граждан). Таковы основания, которые при самом поверхностном взгляде на законоположения представляются нам, если законодатель отказался бы от своих слов. Отсюда возникает возможность, даже необходимость соединять с этими постановлениями частные условия законодательства каждый раз, когда хотят предпринять общее и стройное изучение новейших законоположений.

Но такой поиск далеко не находится в подобных условиях, когда оно касается уголовных постановлений средних веков. Там, по выражению Монтескье, все – бездонное море и нигде не видишь берега, везде – вода и небо.

К сбивчивости текста, неверности чисел, невозможности составить хронологическую таблицу, присоединяется отсутствие всякого принципа и порядка. Уголовное законодательство, предоставленное на произвол капризам влиятельного принца, видоизменяется, смотря по состоянию его настроения, и даже, если случается, что оно составлено в виде народного благополучия, то все-таки мы в нем не находим того человеколюбия, той умеренности, которые составляют главную принадлежность, главную опору, силу и вечную славу XIX столетия.

Чувство человеколюбия, уважение границ, начертанных самим Господом даже по праву наказания, – вот чего не дос-

тавало прежним обществам; и этот недостаток составляет главную причину того характера законоположений древних и средних веков, характера, разбором которого я намерен заняться.

До 1791 года уголовные законы составляли Кодекс жестокости, облеченной в законную форму. Я разберу его главу за главою, то есть казнь за казнью, и читатели убедятся, что от преступника требовали не слезу раскаяния, а крика ужаса и боли. В этом мы виним скорее палача, чем законодателя! «Если окинуть взором наши войны, наши законы, все, наконец, бесчеловечные и варварские наши заблуждения, – восклицает Сервет, – то можно подумать, что нам суждено провести на себе подобных все истязания, которые мы не перестаем производить на животных!»

Подразделение наказаний на телесные, лишающие прав, звания и достоинств, и на моральные не будут описаны в данном сочинении, так как мало относятся к казням, которые весьма часто были лишь необходимым следствием совершенного преступления. Я предпочел идти по кровавому следу, оставленному людьми в области совершенных ими жестокости и бесчеловечности, и описать казни, распределив их, насколько это возможно, по степени их жестокости. Поэтому я опишу сначала те из них, которые наносили преступнику бесчестье, лишали его прав и достоинств, но оставляли ему жизнь, затем те, которые кончались лишь с прекращением его существования. В первой категории я дойду до увечий; во второй – я помещу все казни, имевшие один исход – смерть.

Одна глава будет посвящена пытке, судебному испытанию или допросу, и наконец, я закончу историческим очерком исполнителя всех этих жестокостей человека, которого во все века раздраженные народы клеймили постыдным именем Палача.

Глава I
Деградация или лишение прав и достоинств

В первой категории наказаний будут помещены: деградация или лишение прав и достоинств; пилори или позорный столб; каркан или ошейник; публичное признание в преступлении, бичевание и длительный список различных увечий. Первые три из этих видов казни более моральные, нежели телесные, может быть, и не заслуживают название казни; но они так несовместимы с современными нравами, имеют до такой степени характер жестокости и насилия. Исторические же документы, которые представляют изучение их, имеют столько интереса, что я ни минуты не колебался включить их в состав этого Сочинения.

Деградация постыдным образом лишает человека, признанного виновным, его прав, должностей, привилегий, почетных титулов, принадлежащих ему.

Это наказание в высшей степени справедливое, преимущественно встречается у всех народов, достигших известной степени цивилизации. Моисей прибегает к нему, когда он, по велению Господа, срывает облачение верховного пастыря с Аарона за неверие приговоренного к смерти. В Риме оно существовало под различными названиями: лишение воинского права, разжалование, бесчестье, а в средние века, мы видим, что оно поражает как лиц духовных, так и лиц военного и гражданского звания.

В подобных случаях люди, принадлежащие к различным кругам, всегда были судимы лицами своего же круга. Священник являлся перед епископом, и приговор его приводился в исполнение обычно в церкви, дворянство назначало наказание дворянину, а Парламент произносил приговор над чиновником в зале своих совещаний. Ювенал Дезюрзен повествует, что два августинских монаха, обманувших Карла VI

под предлогом исцелить его, были приговорены к смерти. Так как их священное звание служителей церкви не позволяло, чтобы над ними было исполнено светское правосудие, то казни должна была предшествовать деградация на Гревской площади. Эшафот, выстроенный перед ратушью и церковью Святого Духа, был соединен деревянным мостом с залой этой церкви. Через одно окно, служившее дверью, выходили два августинца, одетые так, как будто они идут к алтарю. Они приближались к эшафоту. Парижский епископ в папском облачении принимал их и давал им наставление, Потом, сняв с них рясы, патрахин, манипул и ризу, он велел в своем присутствии обрить им головы. Лишь тогда палач овладевал их особами, снимал с них одежду, за исключением рубашек, и в этом виде вел их на восьмиугольную башню, называвшуюся des Halles, чтобы отрубить им головы.

Даже смерть не всегда избавляла от деградаций. Известно жестокое мщение Этьенна VI. Едва избранный в 896 году в Папы, он велел принести в Полное собрание синода труп Формоза в полном первосвященническом облачении; он вопрошает эту бессловесную жертву, обвиняет его в том, что он противозаконно овладел Римским престолом, произносит над ним анафему и передает в руки палача. Голова мертвеца была отрублена, пальцы, служившие для благословения, отрезаны, и все эти ужасные останки брошены в Тибр.

Служители правосудия, как говорит Лоазо, подвергались деградации публично. Он рассказывает факт об одном парламентском духовном советнике, по имени Пьер Леде, который по приговору в 1528 году был публично и торжественно лишен своего звания: с него сняли красное платье в присутствии всех и затем передали судье церкви.

Смертному приговору сановников и знатных лиц королевства всегда должно было предшествовать лишение их прав, титулов и звания. По этой самой причине канцлер и снял с маршала Бирона ленту ордена Святого Духа в минуту

свершения его казни; в то же время он потребовал от него маршальскую трость, на что тот ответил, что он никогда не носил ее.

Деградация дворянина совершалась с величайшей церемонией. Тридцать самых безукоризненных кавалеров собирались на совещание и вызывали дворянина, обвиненного в измене правилам чести. Король или герольд читал ему обвинение в вероломстве и измене данной клятве, и если он не мог опровергнуть этого, то приступали к его деградации следующим образом: публично выставляли два эшафота; на одном помещались судьи, окруженные герольдами и оруженосцами, на другом находился осужденный в полном воинском облачении; перед ним на столбе был прикреплен его щит, опрокинутый острием вверх. Затем с него, начиная со шлема, снимали все оружие, щит разбивали молотом на три части. Герольдмейстер ордена ленты выливал ему на голову струю горячей воды, а священники пели погребальные псалмы в продолжение всего времени, пока длилась эта трогательная церемония. По окончании ее судьи в траурных одеждах отправлялись в церковь, куда несли на носилках и осужденного. После того как присутствующие прочли отпевальные молитвы покойников, преступника передавали королевскому судье и в руки верховного правосудия. Иногда его отпускали, и он продолжал свою жизнь в бесчестьи.

Таким же образом капитан Франже, гасконский дворянин, изменнически передавший Фонтарабию испанцам, в 1523 году в Лионе был лишен прав и звания, а затем получил свободу.

Жусс рассказывает нам, что в его время деградация пришла в упадок, потому что пришли к выводу, что она рождена из самого преступления.

В 1791 году Кодекс наказаний снова ввел в исполнение вид наказания под названием деградации гражданства и установил следующий порядок ее выполнения: «Провинившийся,

приговоренный к лишению прав и звания гражданина, будет отведен на публичную площадь, на которой заседают члены уголовного судилища и те, кто его судили. Актуарий трибунала обратится к нему со следующими словами: „Ваше отечество уличило вас в постыдном проступке. Закон и трибунал лишают вас прав и звания гражданина Франции. Затем осужденного прикрепят к позорному столбу…“»

Лишение прав и звания гражданина еще до сих пор существует в полной силе, но оно уже не производится торжественно и публично, а состоит в лишении известных прав гражданина, перечисленных в 34-м пункте Уголовного Кодекса.

Во всяком случае, по воинским уставам ни один приговор, лишающий чести, не может быть приведен в исполнение прежде свершения деградации в формах, перечислять которые уже не входит в план моего Сочинения.

Я лишь упомяну, что если член почетного легиона приговорен к постыдному наказанию, то президент трибунала должен тот час же произнести над ним в деградацию следующих выражениях: «Вы изменили чести, и я объявляю вам от имени легиона, что вы исключены из его членов».

Глава II
Пилори или позорный столб и каркан или ошейник

Наказанию у позорного столба предшествовал каркан, введенный в исполнение в 1719 году, который был забыт лишь в последние годы. Пилори – это столб или шест, к которому обыкновенно привязывали преступников в знак бесчестья. Его ставили в многолюдном месте. В Париже пилори находился на восьмиугольной, состоящей лишь из основания и одного этажа, башне, которая называлась Les Halles. Виновный там стоял в течение трех дней. Ежедневно, каждые полчаса, его заставляли обходить столб, для того, чтобы толпа могла его видеть со всех сторон. Такая демонстрация

преступника в некоторых городах совершалась иначе. Так в Орлеане, где впервые был употреблен пилори, мы видим, что это – деревянная клетка высотой в шесть и шириной лишь в два с половиной фута, помещенная на довольно высоких лесах, в которую заключался осужденный. Понятно, что он был вынужден постоянно стоять на ногах. Народ имел право поворачивать клетку для того, чтобы лучше рассмотреть со всех сторон приговоренного, оскорблять его, плевать ему в лицо и бросать в него грязью.

Каркан или ошейник считался скорее дополнением пилори, чем новым видом наказания. Он состоял из железного кружка или кольца, которое исполнитель верховного правосудия надевал на шею тому, кого обличили в преступлении, злодеянии или измене. Приговоренного вели пешком, привязав его обе руки к тележке исполнителя или связав их за спиной. На месте, назначенном для выполнения приговора, находился столб, к которому была прикреплена длинная цепь, оканчивающаяся железным кольцом шириной в три пальца и отворявшаяся посредством шарнира. Кольца надевали на шею приговоренного и затем запирали его каденасом. Я забыл прибавить, что часто к нему прикрепляли записку, в которой было описано преступление виновного.

К позорному столбу присуждали в следующих случаях: за банкротство, обман, двоеженство, сводничество, шулерство в игре, кражу полевых плодов, продажу запрещенных книг и, наконец, богохульство. В царствование Франсуа I и Генриха II это преступление наказывалось шестичасовым ношением каркана. Случаи, за которые присуждали к каркану в средние века, изменились, и в ту минуту, когда это наказание было вычеркнуто из Пенального кодекса, оно состояло в следующем: провинившегося прикрепляли за шею посредством железного кольца к столбу, выставленному на публичной площади, и таким образом он должен был стоять в продолжение одного часа на виду у толпы. Над его головой вешали

дощечку, на которой крупными буквами были обозначены его имя, профессия, место жительства и причина его осуждения (пункт 22 и 24). Приговоренные к заключению или каторжной работе на всю жизнь или на время должны были быть прикреплены к каркану, прежде чем подвергнуться этому приговору.

Народы, у которых это наказание было в употреблении, довольно многочисленны.

У персов это было одно из самых обыкновенных наказаний. Но у них каркан имеет отличие от того, который мы употребляли во Франции: он длиною в три фута и состоит из трех кусков дерева, из которых один меньше остальных, отчего такого рода ошейник имеет вид продолговатого треугольника. Шея провинившегося схвачена его вершиной, между тем как рука прикреплена к основанию. В колониях на шею дезертировавших негров надевали огромный каркан, к которому горизонтально был прикреплен длинный железный шест, мешавший ему проходить между деревьями. Иногда он должен был всю жизнь носить это тяжкое бремя.

Наконец в Испании и королевстве Тосканском это наказание употребляется также часто.

Глава III
Публичное признание в преступлении

В длинном и столь печальном перечне различных наказаний, которые в древние времена произносились над провинившимися, публичное признание в преступлении занимало одно из последних мест. Быть может, это возмутительное наказание должно было бы занимать более видное место, но оно поражало лишь моральную сторону и самолюбие человека и, наконец, не причиняло никаких страданий его материальной части, то есть его телу; историки той эпохи смотрели на него как на легчайшую из тех ужасных мук,

которыми наказывался член общества, возмущенный против всего этого. Я должен был смотреть, на этот вопрос, как и они; но я прибавляю, что это наказание, которому обыкновенно подвергались знатные осужденные, должно было быть хотя наименее ужасно – физически, но самое жестокое и мучительное – нравственно; даже скажу, что иногда оно было самым печальным и возмутительным.

Может быть, необходимо сказать несколько слов о позорящем наказании, которое состояло в том, что осужденного везли в тележке. Обыкновенно оно было лишь придатком или предшественником другого, более строгого и жестокого наказания. Однако в позорной телеге возили по городу воров и злоумышленников. «В то время (в средние века) телега была в таком презрении, что кто только побывал в ней, тот терял честь и уважение. И если только хотели кого-либо опозорить, то старались посадить его в тележку, потому что в те времена она заменяла позорный столб». Ехать в тележке было уже позорным наказанием для того, кто ему подвергался, – в этом нельзя сомневаться; и мы точно находим в романе Лансело дю Лак, что: «Один кавалер был лишен прав и звания, возим по городу в тележке, запряженной лошадью, которой были отрезаны хвост и уши; его сопровождал карлик, одетый в засаленную и изорванную рубашку, со связанными на спине руками; щит его был опрокинут. Его ратный конь шел за телегой, и народ кидал в него грязью».

Итак, в средние века (это факт) на телегу смотрели как на позорный экипаж. Потому мы не можем понять, как сохранилось до сих пор обыкновение столь древнее – перевозить приговоренного к смерти на этой же самой тележке из темницы на место казни? В средние века мы не находим примера, чтобы женщина была подвержена этому позорному наказанию; но в новом романе «Общий устав» мы находим известные обычаи, которые требуют, чтобы женщины, произносившие ругательные слова, были присуждены ходить по

всему городу с привешенными к шее одним или двумя камнями. Мы этим не должны и не может закончить перечень позорящих наказаний, к которым привлекались виновные единственно с той целью, чтобы заставить страдать их самолюбие и сердце, избавляя их от физических мучений. В средние века мы еще встречаем седло. Граф Гуго принужден был «явиться к воротам замка Ришара, герцога Нормандского, с седлом на шее. Он опустился на колени перед ним, чтобы тот мог сесть на него, если ему будет угодно». Измена и вероломство провинившегося вассала наказывались еще и другими специальными наказаниями. В 1423 году несколько дворян, взятых в плен, держали каждый в правой руке по обнаженной шпаге, острием к груди, в знак того, что они покоряются воле принца. Отсечение шпор над кучей навоза было также позорящим наказанием, как упомянуто в постановлениях Людовика Святого. По некоторым обычаям муж, позволивший своей жене бить себя, был принужден ездить по городу верхом на осле, сидящим лицом к хвосту. Наконец я должен упомянуть древний обычай, который состоял в разрезании куска полотна перед тем, кто совершил какую-либо низость или подлость. История средних веков приводит замечательный пример этого обычая в царствование Карла VI. Король Франции пригласил к своему столу Гильома де Гено. Вдруг один герольд явился перед этим вельможей и разорвал скатерть, говоря, что принц, не носящий оружия, не достоин вместе сидеть за столом с королем. Удивленный Гильом отвечал, что он носит шлем, копье и щит, как и прочие кавалеры.

– Нет, всемилостивейший государь, этого не может быть, – возразил один из самых старых герольдов, вы знаете, что ваш двоюродный дядя убит фрисландцами, и что смерть его не отмщена. Наверное, если бы вы носили оружие, уже давно он был бы отмщен.

Мы знаем, каким образом этот урок подействовал на Гильома, отмстившего оскорбление своего семейства и восстановившего таким образом свою честь, потерянную или, по крайней мере, униженную этим публичным и позорным наказанием.

Глава IV
Бичевание

Бичевание есть одно из самых жестоких, и, вместе с тем, самых унизительных наказаний. Орудия, употреблявшиеся для этого, были весьма различны, смотря по странам и временам: то кнут, вооруженный кожаными ремешками или железными цепочками, то пук розг, часто тяжелая палка, переламывавшая кости и разрывавшая мясо. Можно сказать, что употребление бичевания всеобщее: бичевали и еще бичуют в Египте, Персии, Индии, Китае, Риме, от Мадрида до Москвы, от Лондона до Константинополя.

Это наказание изобретено не только для преступления; им, кроме того, пользовались, чтобы показать власть господина над рабом. Илота сек спартанец, негра сечет плантатор, ученика – педагог. Даже отец сечет свое детище: так Клотер I, преследуя своего сына Храмна, схватил его в одной хижине, велел совершенно нагого распластать на скамье и сечь до смерти. История кнута – одна из самых разнообразных, самых богатых документами. Я приведу лишь самые интересные из них. Так мы находим в ней, что приговоренного к наказанию расстилали совершенно нагого на козлах, руки его были привязаны к турникету, а ноги – к колу; вытянув и сделав его таким жестоким образом неподвижным, палач без всякого милосердия раздирал его тело сильными ударами двойной или тройной нагайкой. Он его не оставлял даже тогда, когда все части его обагрялись кровью. Часто давали за-

крыться ранам и потом через несколько дней снова наказывали по этим же кровавым и гноящимся местам.

В те времена, когда Церковь предписывала публичные истязания, кающихся бичевали у подножия алтаря. Реймонд VI, герцог Тулузский публично высечен у дверей церкви Святого Жиля в Валенсии за обвинение в ереси. Милон, легат папы, произнесший этот приговор, собственноручно привел его в исполнение. Людовик VIII, сын Филиппа-Августа, обвиненный в том, что он, несмотря на повеление Церкви; продолжал претендовать на английскую корону, должен был явиться с босыми ногами, в рубашке, с пуком розг в руках к дверям церкви Нотр-Дам в Париже, чтобы быть высеченным канониками. Наконец кардиналы Дюперрон и д'Осса, посланники Генриха VI. в Риме публично были наказаны папой, Клементом VIII, ударами розг, назначенных монарху как наказание и отпущение за его ересь.

По древним французским законам наказание плетью совершалось или публично, или же внутри темницы. При публичном бичевании осужденного, обнаженного до пояса и привязанного к заду телеги, волочили на каркане по всему городу, останавливаясь на каждой публичной площади; палач отсчитывал ему число ударов розгами, какое было назначено в судебном решении. Другой вид наказания производился в темнице пытателем или тюремщиком, чаще всего по просьбе родителей, на детях, не достигших еще совершеннолетия. В главе, посвященной истории палача во Франции, читатели увидят, что телесному наказанию кнутом подвергались и женщины; но из благопристойности бичевание производилось лишь женщиной.

Кнутом наказывались и праздношатающиеся бродяги, caignardiers, как их тогда называли. «Когда я еще был мальчиком, – говорит Паскье в своих рассказах о Франции, – эти ленивцы, мальчики и девочки, повадились устраивать жилища под мостами, и Бог их знает, как они там хозяйничали.

Помню также, что им было запрещено публичным повелением парижского превота под угрозой наказания кнутом находиться там, и так как некоторые не послушались, то я видел как наказывали с дюжину их под теми же мостами, и с тех пор они позабыли туда дорогу. Это место было названо Кеньяр, а их кеньярдье, как бы их хотели назвать канардье, потому что они, подобно уткам, избирали себе дом подле воды».

В семнадцатом и восемнадцатом веках также бичевали на перекрестках девушек, которые занимались развратом.

Из числа самых гнусных применений наказания кнутом мы должны упомянуть сечение солдат и детей. «Это истинная темница порабощенной юности, – красноречиво восклицает в своих рассказах Монтень, – ее делают развращенной, наказывая ее, когда она еще не была таковой. Дошедши до этого, вы услышите лишь крики наказанных ребят и ослепленных яростью наставников. Такое средство возбуждать в этих нежных и боязливых сердцах охоту к урокам, принуждая их к этому зверскими лицами и с пучком розг в руках, – единственная в своем роде и пагубная манера действий. Прибавлю к тому то, что так хорошо замечено Квинтилианом, что это превосходство лишь имеет пагубные последствия, особенно при нашем образе наказания. Гораздо благопристойнее было бы, если бы классы были усыпаны цветами и листьями, а не кровавыми обломками ивовых прутьев».

Вольтер, негодование которого против ударов палками уже достаточно объясняется возмутительными приключениями его детства, также восстает против телесного наказания детей. Но он входит в слишком большие подробности, чтобы я мог привести их. Нужно однако прибавить, что нравы и законы наши сделали в этом отношении блистательные успехи, и что за исключением некоторых столь же редких, сколь гнусных случаев можно смело сказать, что в настоящее время дети защищены от жестокости тех, кому поручено их

воспитание. Наконец поняли, что моральные наказания имеют больше влияния на эти молодые сердца, открытые для советов, восприимчивые для всех благородных ощущений, чем линейка, и что система розг могла быть полезна для выучки подданных Китая, но не для воспитания граждан в свободных Штатах.

Наконец временное правление 1848 года вычеркнуло из морского уголовного устава булиль или пропускание сквозь строй и удары кнутом, – последние остатки безумного и «варварского законодательства», – объявив, что телесное наказание позорит человека. Владычество палки ограничилось лишь турецкими тюрьмами.

Но в этом отношении примеру Франции далеко не последовали другие законодатели Европы. За исключением шведского сейма, который, как мне кажется, в 1860 году отменил телесное наказание плетью, и египетского паши, уничтожившего бастонаду или палочные удары для своих солдат и моряков. Можно сказать, что бичевание еще в большой чести на нашей земле.

В России доселе существует плеть, орудие, составленное из длинных кожаных ремней, разрывающих на куски кожу, и розги. В Австрии в уставе 1853 года можно прочесть в 17-м и 20-м пунктах, что тюремное заключение можно сделать более строгим наказанием, присовокупив к нему удары розг или палок, число которых, по воле судьи, может доходить до пятидесяти. Венгры в числе прочих прав, которые требуют возвратить им, поместили и требование продлить удары до ста.

Сама Англия на своем заседании 1861 года утвердила наказание кнутом для своих сухопутных и морских войск по большинству голосов – 144 против 39.

Что подумать о нации, законодатели которой полагают, что дисциплина в армии может сохраниться только при существовании рабского страха?

Что такое солдаты, которые исполняют свои обязанности лишь под угрозой кнута?

Воинская добродетель, экзальтированное чувство чести, достоинство свободного человека – вот что составляет славу и доблесть наших армий и их непреодолимую силу.

Глава V
Истязания

Нет ни одной части в человеческом теле, которая не была бы предметом особенного наказания. Рука палача, казалось, отыскивала самую чувствительную, самую болезненную часть, проникая во внутренности осужденного. Глаза, рот, язык, уши, зубы, руки, плечи, ноги, сердце одинаково составляли источник страданий.

Ослепление, существовало преимущественно во время царствования первых двух поколений. Прибегали к наказаниям подобного рода к знатным лицам, которых опасались, но не осмеливались погубить их. Луи де Дебоннер приказал в 814 году ослепить Тулла – любовника своей сестры. То же было сделано итальянским королем, внуком Шарлеманя, а парламент Санлисский в 873 году приказал, чтобы восставший сын Карла Плешивого, Карломан, был лишен жизни.

Струя кипятка, накаленное докрасна железо, которое проводили перед глазами, пока они не сварятся, как описывает Жоанвиль, стальное острие, которое впускали во внутренность органа, вырывание его наружу – таковы были орудия и средства, которые употребляло правосудие в те времена варварства.

Язык был также во все времена предметом внимания законодателей. Людовик IX, один из самых мудрых и самых справедливых наших королей, приказал, чтобы все богохульники носили клеймо на лбу, чтобы обжигали их губы и пронзали их язык каленым железом. Для этого наказания он

придумал круглую накаленную железку, которую палач прикладывал к губам осужденного, привязанного к лестнице. Я должен сказать, что папа охулил этого короля – слишком ревностного защитника Господа Бога на земле.

Отец своего народа, Людовик XII, велел отрезать язык всем, кто богохульствовал семь раз кряду, а Людовик XIV восстановил этот закон. Ревность Франсуа I к торжеству католической религии побудила его изобрести новые муки, которые он приводил в исполнение в своих преследованиях протестантов. В числе еретиков, сожженных живыми 21 января 1535 года в присутствии этого принца, был один по имени Антуан Поаль, язык которого был пронзен и пришпилен гвоздем к щеке. Древние криминалисты повествуют, что этого рода наказания происходили обыкновенно перед входом в церковь, и, смотря по приказанию, палач употреблял для этого нож или острое каленое железо.

Карнаушание, то есть обрезание ушей, было в большом употреблении в первые века нашей эры. Оно служило наказанием рабу, прогневившему своего властелина. Два приказа: один – от марта месяца 1498 года и другой – от 24 июля 1534 года говорят об этом роде наказаний, который приведен в «Анжуйских обычаях», чл. 148, Луденоа, глава XXXIX, чл. 2, де Ла Марш и еще многих других.

Соваль рассказывает нам следующее об образе карнаушания в Париже: «У слуги вора или искусного мошенника обрезали за первую провинность одно, а за вторую – другое ухо, третье преступление наказывалось смертью».

«Когда первое воровство было значительно, то ему отрезали левое ухо, так как в ушке проходит вена, соответствующая естественным плодотворным органам, которая, будучи отрезана, делает человека неспособным к деторождению, чтобы подобное поколение не рождало на свет злостное и порочное потомство, которого и так на нем много. В Париже

это делают на перекрестке, который виден от конца Нотр-Дамского моста, Сент-Жак-ла-Бушера и Гревом, на котором прежде находилась лестница, как у Тампля, было место, которое называлось Гиль-Орель по случаю этой экзекуции, а на искаженном языке в простонародии – Гиллори».

Даже зубы не были предохранены от прикосновения палача. В Польше в древние времена вырывали зубы у всех, кто был уличен в том, что в пост ел мясное. Их вырывали также у жидов, чтобы овладеть их деньгами, а Людовик XI после казни Жака д'Арманьяка, графа Нормандского приказал, чтобы его дети были отведены в Бастилию и помещены в те темницы, которые строением походили на плетенки, и чтобы им вырвали промежуточно все зубы.

Ампутация кисти руки – одно из увечий, которому больше всего противилась цивилизация. Устав 1791 года, чл. 4 заключал следующее: «Тот, кто будет приговорен к смерти за убийство, поджигательство или отравление, будет отведен на место казни, одетый в красную рубашку. Голова и лицо убийцы будут покрыты черной тафтой; ее откроют лишь в минуту совершения казни». Но устав 1810 года, возвратившись к прежнему, прибавил, что убийце, как было при древнем законодательстве, отрубят кисть руки (чл. 13). Лишь в 1832 году уничтожили это бесполезное, недостойное образованного народа, наказание. Чл. 13, гласит: «Преступник, приговоренный к смерти за убийство, будет отведен на место казни в рубашке, с босыми ногами и покрытой головой. Он будет находиться на эшафоте, пока пристав не прочтет приговор, и затем немедленно казнен».

Вот уж точно прогресс! Но не заключается ли в формальности продолжительного чтения судебного решения остаток варварства, оскорбление человечества?

С каким затруднением это наказание исчезало из наших законов, легко судить, какие глубокие корни пустило это по-

становление в наши нравы. Исторические и судебные аналии наводнены примерами увечья – отнятием кисти. В 1849 году 24 марта Жеоффрою де Сент-Дизье отрезали кисть, за то, что он оскорбил королевского сержанта. В 1525 году Жан Леклер был осужден, за то, что опрокинул статуи святых: ему вытягивали калеными клещами руки, отрезали кисть, оторвали нос, и затем медленно жгли на костре. Баррьеру, покушавшемуся на жизнь Генриха IV, отрезали кисть, в которой он держал нож, когда хотел совершить это преступление. Печальное и возмутительное перечисление, которое бы, к несчастью, было весьма легко сделать гораздо длиннее.

Я опишу в нескольких словах, как производилось это наказание. Осужденный, встав на колени, кладет свою руку, обратив ее ладонь вверх, на плаху, и одним ударом топора или большого ножа палач отрубывает ее. Ампутированную часть всовывали в мешок, наполненный отрубями. Во времена действия закона 1810 года это увечье производилось с помощью ножа и на том же эшафоте, где была поставлена гильотина.

Едва прошло сто лет с тех пор, как это зрелище представлялось глазам на наших площадях!

Наконец мы подходим к концу описания, и последнее из них – ампутация ног, которая нисколько не была в чести, скорее, она наводила ужас. К ней прибегали лишь при первых королях Франции. Самый древний пример этого рода истязаний, который удалось нам найти, это, когда Фредегонда приказала отсечь руку и ногу священнику, которому она поручила умертвить Брюнего и которому не удалось это сделать. Кроме того, в ту эпоху было весьма обыкновенным наказывать таким образом рабов за легкие провинности, и в частных междоусобных войнах XI века часто случалось, что взятым в плен выкалывали глаза и отрубывали нижние конечности. Таким образом поступали Ангеран I, сеньор де Куси и граф де Намюр. Наконец мы находим в законах

Людовика Святого, что за вторичное воровство тоже отнимали ногу.

О таком роде наказаний, которое мы только что описали, можно сказать, что с их варварством может сравниться только их невежество.

В течение шести веков, начиная с 1272 и до 1832 года, на территории Франции было доказано, что ожидавшийся результат увечий, то есть исправление виновного, его желание смыть неизгладимое пятно бесчестья – химера столь же тщетная, сколь опасная… опасная без всякого сомнения, потому что увечье не только выбрасывало виновного из общества, предавая его всеобщему презрению, но и исключало его из круга человечества. Запятнанный несмываемым клеймом тот, кто лишь заблуждался до того времени, делался чудовищем, ответственность которого уменьшалась с потерей деятельности, которой его лишили. Разве общество может приказать ходить тому, кого оно сделало калекой? Столь же жестокое, сколь несправедливое, могло ли оно заставить работать того, кого оно лишило рук и глаз?

Перед заключением этой главы, мне кажется, я должен сказать несколько слов о клеймении, которое по несмываемому пятну, налагаемому им на осужденного, может быть причислена к увечью.

Клеймо – наказание весьма древнее, известное еще римлянам под именем inscriptio (клеймение, надпись) – состояло в наложении на виновного несмываемого знака. До императора Константина клеймо ставилось на лице. Этот принц приказал налагать его на руке или ноге для того, чтобы не позорить лица человека – образа небесной красоты. Прежде во Франции виновного клеймили в виде лилии на какой-либо части его тела. Впоследствии налагали клеймо в виде V на плече, если виновник осужден за воровство, или буквами GAL, если он приговорен к работе на галерах. Позднее их за-

менили буквами TF (каторжная работа – travaux forces). Преступник должен был, стоя с обнаженными плечами на площади, переносить прикосновение железа, накаленного палачом. Быть может, этому роковому и вечному отпечатку следует отчасти приписать несчастья, причиненные обществу, освобожденными галерными невольниками. Ставя на осужденном вечное клеймо, из его сердца изгоняют всякую надежду вступить снова в общество и блистать в нем, раскаявшись в своих проступках. Это обидное клеймо, разлучившее его навсегда с обществом, себе подобными, врагом которых он делался поневоле, было отменено постановлением от 28 апреля 1832 года.

Глава VI
Наказания, сопровождаемые смертью

Смертная казнь была в употреблении у всех законодателей и у всех народов вселенной. К несчастью, она слишком долгое время должна была сопровождаться самыми жестокими пытками.

Право наказывать составляет необходимость, тесно связанную с общественным порядком – это бесспорное право, которое составляет принадлежность каждого человеческого общества наблюдать за своим благосостоянием, и, следовательно, устанавливает различные наказания, если какое-либо преступление стремится к его разрушению; это священная обязанность целого общества защищать жизнь, честь и имущество каждого из своих членов против всякого насилия, потому что оно писалось и сохранилось только для того, чтобы пользоваться этой индивидуальной безопасностью. Поэтому везде, где только составлялся союз нескольких семейств, не замедляли явиться наказания, которые должны были разнообразиться, смотря по переменам в интересах ассоциации, или следуя успехам цивилизации.

По этому естественному и обязательному закону в продолжение длинного ряда столетий не возникало никаких сомнений насчет законности смертной казни ни во Франции, ни в других государствах. Сожалея о ее необходимости, самые человеколюбивые писатели ограничивались тем, что советовали заключить ее в самые тесные рамки. Некоторые из них выражали человеколюбивое желание, чтобы приводя ее в исполнение, исключили бы продолжительные муки, которые должен был переносить приговоренный к смерти. Но все публицисты, хотя и с сожалением, но смотрели на смертную казнь без всякого замешательства как на необходимое наказание.

Таковы были мнения и привычки наших Европейских обществ, пока в последнем столетии один ученый итальянец Беккариа не издал книгу, в которой он восставал против смертной казни; это мнение несколько лет спустя было поддержано английским юрисконсультом Бентамом, и по этой причине оно должно было найти множество единомышленников среди тех, которым кровопролитие внушало отвращение. Эпоха, в которую происходили эти дискуссии, была весьма благоприятна для этого нововведения: умы Франции, расположенные к многочисленным реформам, должны были если не принять, то, по крайней мере, с вниманием и старанием проверить ее. Она сделалась в Собрании уполномоченных предметом основательных споров ученых. Несмотря на единодушие членов, составляющих оба комитета – конституции и законодательства – собрание ограничило число случаев, в которых могла быть смертная казнь, и уничтожила все, что она имела в себе варварского в различных видах исполнения, которые я рассмотрю на следующих страницах. Этот вопрос был возобновлен позже в национальном конвенте, и на этот раз без больших усилий было постановлено уничтожение смертной казни с отсрочкой до восстановления общего мира; срок, который постоянно отдаляли и который не

настал даже тогда, когда во время Империи и в 1810 году был составлен новый Устав уголовных наказаний. Этот Устав, как и постановление Конституционного собрания, предписывает смертную казнь только в некоторых случаях.

Восстановление верховной властью смертной казни не могло заставить ни молчать общественность, ни воспрепятствовать им дойти посредством своих публикаций до усовершенствования законодательства в самом важном из человеческих постановлений. Во время революции 1846 года, после выступления Шарля Люкаса и столь красноречивых страниц нашего великого поэта Виктора Гюго, вопрос о смертной казни был снова предложен нашим судебным палатам. Этот шаг был сделан потому, что отмена смертной казни была поддержана большинством голосов.

Не в плане нашего сочинения поддерживать идею многочисленных публикаций, появившихся «за» и «против» отмены смертной казни. Какова бы ни была судьба этого вопроса (да позволят мне это здесь сказать), но нельзя не признать великих услуг, которые оказал Беккариа, подняв его и открыв путь, по которому последовали столько других человеколюбивых и талантливых писателей. Поэтому мы не забудем, что, хотя эта новая и великодушная волна и не имела тех последствий, каких ожидал ее автор, но она, по крайней мере, принудила рассмотреть повнимательнее множество случаев, в которых присуждали к смертной казни, и значительно убавить число их. Эту казнь не только предписывали за умышленное убийство или заговор против правительства, но и за следующие провинности: похищение, неповиновение правосудию, даже без убийства, ложное банкротство, измена в службе полицейских офицеров, расхищение казны, за ложное свидетельство в важных случаях, воровство со взломом замков, даже если бы преступники и не имели при себе оружия, провоз контрабанды, если при этом участвуют пять человек и более, подделка печатей, домашняя кража,

церковное святотатство, дуэль, даже если никто не будет ранен, и т. д.

Не входя в более подробные поиски памятников древнего законодательства Франции, чтобы найти в них еще и другие примеры ужасающего приговора к смертной казни, я хочу кратко изложить многочисленные наказания, которые уже почти не применяются, но которые были в употреблении с самых давних времен нашей эры.

Крест – самое древнее из всех наказаний, которые когда-либо выдумывались, притом самое жестокое; потому оно должно встать в первом ряду наказаний, описание которого я предлагаю читателям. Бывшее в употреблении в самой глубокой древности, оно и теперь еще в большом ходу в некоторых странах Азии и, например, в Японии, где распятие на кресте – весьма обыкновенное наказание. Оно состояло в том, что преступника распинали на бревнах, сложенных весьма различным образом. Орудие казни первоначально состояло из бревен, всаженных в землю, к которым осужденного привязывали веревками или прибивали гвоздями. Часто этот столб заменяли просто деревом – тогда приговоренного прикрепляли или к пню, или же к различным ветвям, но обыкновенно крест составлялся из двух поперечно сложенных брусьев. Они имели либо Т-образную, либо же Х-образную, как мы изображаем крест Святого Андрея, или же, наконец, Y – в виде вилки, почему оно и носило название (furca). Кроме того, существовало бесчисленное множество крестов, устроенных различным образом, как, например, крест, на котором был распят Спаситель. Но не всегда они походили на первые три формы, на которые я вам указал.

Это разнообразие различных форм крестов объясняется тем, что латинское выражение crux (крест) обозначает пытку и cruciare (распинать на кресте) – пытать. Римляне употребляли другие термины: infeleix arbor (бесплодное дерево), infelix lignum (бесплодный отрубок), infames pati bulum (по-

зорная виселица), которые применялись гораздо чаще, чем crux.

Передовая общественность была не согласна с применением этой казни. Был ли осужденный прикреплен к кресту, который всажен в землю, как художники изображают распятие Иисуса Христа? Как велико число употребленных для этого гвоздей? Приводился ли осужденный на казнь нагим или одетым? Опирались ли его ноги на планку или были также пригвождены? Основываясь на самых правдоподобных источниках, мы только можем сказать, что осужденных сначала прибивали гвоздями к кресту, который был всажен в землю.

Греки и римляне на кресте предавали смерти своих осужденных. Евреи, напротив того, снимали их, переламывали бедренные кости в том случае, если они были еще живы, чтобы потом предать их земле. Этот верх жестокости имел всегда место, потому что перед тем как распинать осужденного на кресте, ему давали вино, настоенное подкрепляющими веществами, в особенности миррой, откуда происходит название мирного вина. Распяв на кресте, им давали время от времени уксус, настоенный солнцевым цветом, который, по словам Плиния, обладает качеством останавливать кровотечение. Когда по приказанию приходили солдаты, чтобы переломать кости провинившемуся, то почти всегда они находили его уже мертвым. Тогда один из них прокалывал его копьем.

Цицерон, обвиняя Верреса в противозаконном распятии одного из граждан, дает нам возможность судить о том, что от этого наказания не было избавлено население. Валерий-Максим описывает печальные подробности относительно такой казни. Раба, присужденного к наказанию плетью, волочили по самым многолюдным улицам города, привязанного за плечи приспособлением в виде вилки.

Наказание распятием было отменено Константином, и с той эпохи это орудие, считавшееся до тех пор позорным, сделалось предметом обожания христиан. Впоследствии, когда это наказание иногда и появлялось в последующие века, орудие казни носило вид креста Св. Андрея. В прошедшем столетии, во время сатурналий кладбища Сент-Медара, злосчастные квакеры распинали себя, но к счастью, эти случаи редки. В 1127 году Людовик Толстый велел распять Бертольда, главного злоумышленника убийства Карла Доброго, и приказал привязать возле него собаку, которую били время от времени для того, чтобы она злилась и кусала. Жалкий образ распятия головой вниз был в употреблении у македонцев, употреблялся иногда у евреев и еретиков во Франции.

Обезглавление, кажется, столь же долго существует, как и сама Вселенная. В Китае и Японии оно в ходу с незапамятных времен; в первой из этих стран оно считается самой позорной казнью, потому что умирающий не сохраняет своего тела в том виде, как ему его даровала природа. У римлян обезглавление производилось двояким образом: топором – по древнему обычаю, more majorum – это было дело ликторов, и это наказание не было позорным; шпагою – в таком случае исполнителем был палач – и это считалось позорным. По-видимому, римляне первые воспользовались топором для выполнения этой казни. Осужденный должен был лечь, и ликторы били его прутьями до тех пор, пока он не падал, изнемогая от слабости. Во Франции к отсечению головы присуждали дворян. Записи преисполнены подобными примерами, но одного из них достаточно, чтобы дать читателям понятие об образе его выполнения:

«В первый день июля месяца 1413 года парижский превот был взят во дворце, посажен на тележку с деревянным крестом в руке, облаченный в черный плащ на куньем меху, с ногами, зажатыми в тиски. В таком виде его отвезли aux Halles в Париже, и когда он увидел, что смерть его неизбеж-

на, то встал перед палачом на колени, поцеловал маленькое изображение, которое носил на груди, простил ему свою смерть и просил всех, чтобы не разглашали о его казни, пока ему не отрубят голову. Так он и был казнен».

Эпоха, в которую отсечение головы было наиболее распространенным, относится ко временам Ришелье, который с целью оправдать свою политику напал на французское дворянство и велел отсечь топорами больше голов, чем пало их с начала монархии. Все умение выполнить эту капитальную казнь основывалось на ловкости палача, которая, к несчастью, приобреталась только навыком. История сохранила ужасающие примеры такой неловкости. Подобный случай имел место при казни мадам Тике. В Англии осужденный не мог принять несколько смертей вместо одной. Приговоренный, лежа, клал голову на бревно, не более шести дюймов толщиной, что делало казнь вернее и легче. Но поспешим прибавить, что, к несчастью, в Англии отсечение головы составляет милость, которую властелин из милосердия лишь изредка оказывает своему подданному. В большинстве случаев наказанием у них служит виселица. Эта казнь, существующая и по настоящее время в Германии, во Франции была заменена изобретенной, или лучше сказать усовершенствованной, доктором Гийотеном машиной.

Во Франции одновременно с обезглавливанием существовала и казнь на виселице. Как я уже сказал, к первому наказанию преимущественно присуждали дворянство; вторым – казнили преступников из простого народа. Но было время, когда и дворяне подвергались этой казни: например, дворянин, изнасиловавший девушку, порученную его попечительству, был лишен дворянства, имущества, и, если он употребил при этом силу, то его вешали. Наконец более знатные особы находились на виселице даже после смерти. В числе последних нужно упомянуть Ангеран де Мариньи – министра Филиппа Прекрасного, Жана де Монтегю –

министра Карла VI, Оливье – фаворита Людовика XI, Жака де Бом де Санблансай – главного казначея в царствование Франсуа I, адмирала Коллиньи, труп которого даже сгнил. Карл IX со всем двором ездил смотреть, когда он был выставлен на лобном месте. При этом молодой монарх, приняв горестное выражение одного из римских императоров, сказал людям, которые держались отдаленно и таинственно: «Знайте, что тело убитого врага никогда не издаст зловония». Из числа жертв, которые были повешены после своей смертной казни, я должен еще упомянуть Делизля, одного из могущественнейших дворян XIV века, и Бриссона, который был преемником президента Гарлея.

Приговоренный к виселице должен был иметь на шее три веревки: первые две толщиной в мизинец, назывались тортузами, были снабжены петлей и служили для того, чтобы задушить осужденного. Третья называлась жетоном или броском. Она служила только для сбрасывания приговоренного с лестницы. Он сидел в тележке исполнителя верховных приговоров спиной к лошади. Подле него сидел исповедник, а позади – палач. Прибыв на место казни, где к виселице была приставлена и прикреплена лестница, палач первый всходил по ней задом и помогал ему при помощи веревки взойти вслед за собой. Исповедник сходил на землю. Толчком ноги и с помощью жетона палач сталкивал осужденного с лестницы, и тот оставался висящим в воздухе. Затем, держась за перекладины виселицы, палач довершал казнь при помощи толчков коленом в живот приговоренного.

Казнь на виселице гильотины. До революции и в последующее время, когда она еще применялась у нас, к ней присуждали за множество преступлений и проступков: детоубийство, двоеженство, дезертирование или побег, производство фальшивой монеты, убийство. Не входя в слишком большие подробности относительно истории этого наказания у других народов, я должен сказать несколько слов отно-

сительно Англии, где оно не было заменено гильотиной и вследствие этого осталось единственной смертной казнью, не считая отсечения головы. Притом, если обвиненный уличен в каком-либо тяжком преступлении, то суд объявляет ему свой приговор в следующих выражениях: «Х… вы приговорены быть повешенным за шею и висеть на виселице, пока не будете мертвы, мертвы, мертвы». Осужденные преступники, ожидая казни, веселятся, сколько могут в своей темнице, едят все, что только им доступно и иногда посягают даже на свои собственные трупы, которые заранее продают хирургам. Осужденного отвозят на место казни в тележке, обитой черным материалом. Приехав туда, палач берет из рук приговоренного веревку, предназначенную для его казни, прикрепляет один ее конец к перекладине виселицы, а другой – к шее осужденного. Затем он покрывает его голову колпаком, опускающимся до его подбородка; потом, по знаку первого шерифа, он ударяет кнутом лошадь, тележка отъезжает и осужденный остается висящим на виселице. Через час его труп снимают или отдают в анатомические школы (только казненных за убийство).

В XI столетии во Франции, когда сила и действительность контрактов основывалась единственно на показаниях свидетелей, существовал обычай: в день подписания акта бить молодых людей и детей довольно сильно, чтобы оставить в их памяти столь особый случай. Этот обычай существует еще и до сих пор в Испании: мать водит своих малолетних детей на место казни и при выполнении приговора сильно бьет их при последнем вздохе умирающего, для того чтобы пример, запечатлевшийся в их памяти, предохранил их от подобных преступлений. Виселица была в употреблении у всех народов. В Марокко, когда кто-либо был приговорен к этой казни, то его вешали на виселице за ноги, а затем перерезали горло. Летописи нашей истории рассказывают, как о случае

необыкновенном, об одной женщине, повешенной в 1449 году, «потом этого более не встречалось во Франции».

Другой вид наказания, бывший во все времена, как у цивилизованных, так и у диких народов в большом употреблении, это – костер; но мы должны прибавить, что почти всегда к этому присуждались за весьма важные преступления. Фанатизм не переставал зажигать костры, чтобы удовлетворить свое личное мщение под предлогом отмщения за обиды, совершенные против законов Божества; – тем не менее, как я уже, кажется, сказал выше, этот вид казни был также в большом ходу и у древних. Вулькаций Галликус оставил нам страшное описание того, как он сжигал преступников, а именно: воздвигали огромный костер высотой в сто восемьдесят римских футов, на котором на различной высоте привязывали людей, осужденных на сожжение. Во Франции, с начала основания монархии и до 1789 года, этот род казни приводился в исполнение в тех случаях, когда дело шло менее о наказании преступников, чем о том, чтобы вселить ужас в умы граждан. Первоначально казнь на костре производилась следующим образом: сначала ставили столб длиною от семи до восьми футов, затем, оставив место для осужденного, устраивали четырехугольный костер то ли из брусьев, то ли из дров или же просто из соломы. Прежде чем костер достигал высоты человеческого роста, на него вводили приговоренного к сожжению, прикрытого лишь серой рубашкой, привязывали за ноги, шею и середину туловища к столбу, затем заканчивали построение костра, и со всех сторон зажигали его. Но чаще сжигаемые были избавлены от страдания сгореть живыми, так как строители костра обыкновенно употребляли багор для перемешивания, и вонзали его так, чтобы острие его находилось прямо против сердца преступника, и в ту минуту, когда зажигали костер, багор втыкали таким образом, чтобы он мог пронзить ему сердце, лишив его жизни. В числе знаменитых примеров этого рода казни

можно привести Жанну д'Арк. Как мы уже сказали, во Франции сожжением на костре наказывались не преступления, а чаще всего мысли. В царствование Людовика IX к этой казни присуждали за детоубийство. И мы читаем, «что если женщина нечаянно умертвит или задушит своего ребенка, все равно, днем или ночью, то в первый раз она не будет приговорена к сожжению; во второй – она будет предана сожжению, потому что это в ней указывает на преступную привычку». Но за исключением немногих примеров, во Франции костры возводили лишь в наказание вследствие религиозных мнений. Так сжигали жида за то, что он не христианин; протестанта – потому что он не католик; католика – потому что подозревали, что он атеист. Эта ужасная казнь сопровождалась следующими словами: «Ха… позабыв всякий страх к Господу Богу, вступив в вероотступничество и оскорбление Божественного Величества перед первым главой, опровергав Пресвятую Троицу, отвергнув нашего Господа».

В 1314 году пятьдесят девять тамплиеров были сожжены живыми близ аббатства Святого Антония; Жак де Моле и Гюи Дофин, сын Роберта II, были брошены живыми в пламя на том месте, где теперь стоит статуя Генриха IV. Двести один свидетель обвинил их в богохульстве Иисуса Христа. Истинное преступление тамплиеров заключалось в их богатстве. Чтобы ограбить тамплиеров, их нужно было обвинить в ужасных и возмутительных злодеяниях.

В Англии религиозное мнение было почти единственным преступлением, которое наказывалось сожжением на костре. Древняя статистика повествует о печальной смерти беременной женщины, которую сожгли как еретичку. В ту минуту как поджигали костер, ужас и страдания заставили ее разрешиться. Дитя было брошено обратно в пламя как ребенок еретички.

В Индии у диких народов Юга Америки огню предавали преимущественно неприятелей. Приведем пример, чтобы показать, каким ужасным пыткам они подвергали несчастного пленника: «Они вонзают в землю огромный кол, к которому привязывают пленника; дикари, усевшись вокруг столба в нескольких шагах, зажигают большой костер, в котором накаляют топоры, оружейные стволы и другие железные орудия. Затем они подходят к нему, один за другим, и прикладывают к различным частям его тела докрасна накаленные орудия. Некоторые из них жгут его тело огненными головешками, другие посыпают его раны порохом, натирают ими все его тело и затем зажигают. Каждый истязает его, как хочет, и эта пытка продолжается от четырех до пяти часов, а иногда и более суток…»

Казнь, состоявшаяся в погребении виновного живым, была в употреблении у древних и в Риме. В первый раз она была приведена в исполнение в царствование Тарквиния Древнего. От римлян, которые таким образом предавали смерти своих весталок, изменивших клятве целомудрия, этот род казни перешел во Францию, где, к счастью, ему недолго суждено было быть в употреблении. В царствование Пепена и его первых преемников жидов хоронили живыми. История сохранила нам еще несколько примеров в последующие времена: некто, по имени Прево, был похоронен живым по велению Филиппа-Августа за ложную клятву. В 1295 году Мария де Роменвиль, подозреваемая в краже, была зарыта живою в землю в Отейльи по приговору бальи Сент-Женевьев. В 1302 году он также приговорил к этой ужасной казни Амелотту де Христель за похищение между прочими вещами юбки, двух колец и двух поясов. В 1460 году, в царствование Людовика XI, Перетта Маужер была похоронена заживо за воровство и укрывательство. Эта казнь, существовавшая долгое время в Англии, сохранилась в Германии для женщин, которые убивают своих детей.

В тюрьмах римлян, называвшихся туллианом, находилось очень высокое место, откуда сбрасывали преступников в пропасть, носившую название баратрума. Эта бездна, выстланная острыми камнями, была усажена железными кольями. Одни из них были обращены острием вверх, другие – вбок, чтобы разорвать и удержать осужденных. Без сомнения, этот баратрум древнего Рима и породил ублиетты или преисподнюю во Франции, предварительно устроенную в темницах для осужденных на вечное заточение. В средние века встречались смерти, которые можно приравнять к вышеописанным. Они состояли в зарывании в землю заживо. Кто не знает истории ублиетток кардинала Ришелье? Они находились в его замке Байе и, открытые в конце прошлого столетия, представили взорам скелеты более сорока трупов с остатками их одежды, часами, драгоценностями и деньгами. Кардинал осыпал ласками и дружбою тех, на которых не мог нападать открыто. Он провожал их по потайной лестнице, внизу которой находилась бездна, ожидавшая жертву этой засады. Первыми, кто там остался, были те, которые сами же ее и вырыли. В 1804 году в Гренобле открыли ублиетты, походившие во всем с римским баратрумом. Железные колья были заменены острыми лезвиями. Осужденный не мог избежать смерти: он умирал либо от ран, либо с голоду. Монастыри и аббатства In pace также имели свои преисподни. Прежде чем монах попадал в эту нору, где он должен был найти неминуемую смерть, его приводили в полное собрание монастырского духовенства, чтобы прочесть ему приговор. Потом его водили в процессии с крестами, свечами, кропильницей, кадилом близ In pace. Затем, пропев молитву за упокой, окропив и окадив преступника, снабдив его хлебом, кружкой воды, четками, освященными свечкой, его опускали в склеп, где он вскоре умирал от отчаяния и бешенства. В заключение скажем, что ублиетты служили гораздо чаще

орудием мщения и жестокости, чем помогали обществу уменьшить число преступников.

Одной из жесточайших и мучительнейших казней древних времен было четвертование. Сначала при царствовании императора Аурелиана, хотевшего самыми строгими мерами восстановить дисциплину в римских войсках, солдат, совершивший преступление, – связь с женой своего начальника, – присуждался к четвертованию между ветвями двух деревьев. К двум толстым сукам, которые наклоняли с большим усилием, притянув к себе, и которые с помощью веревок удерживали в этом положении, привязывали провинившегося солдата за ноги. Ветви, которые тотчас же выпускали из рук, разрывали тело несчастного на две половины. Но самый распространенный способ четвертования, который существовал до 1757 года, состоял в том, что осужденного привязывали за руки и за ноги к четырем сильным лошадям, тянувшим в противоположные стороны до тех пор, пока его конечности не отделялись от туловища… Почти всегда к этой ужасной казни приговаривали тех, кто покушался на жизнь Королевского Величества. Два часа страданий, описать которые невозможно, должен был перенести осужденный, прежде чем он отдаст Богу душу, Несмотря на эту утонченность жестокости, четвертованию предшествовали многие другие муки, которые еще более увеличивали его варварство. Преступник, будучи лишен всех прав и достоинств и перенесший обыкновенный и экстраординарный допросы, без одежды отвозился в тележке на место казни. Его клали навзничь на спину посреди эшафота, от двух с половиной до трех футов высотой, к которому его прикрепляли цепями. Одна цепь обхватывала его грудь, а другая – бедра. Затем к его правой руке привязывали орудие, которым он совершил преступление. Потом ему вырывали щипцами куски мяса из бедер, из груди, рук и икр, и эти раны посыпали смесью воска, серы и смолы. По окончании этого прикрепляли веревку к ногам – от колена до

стопы, и к рукам – от плеча до кисти; остаток веревки привязывали к вальку дышла лошади, которую заставляли сначала тянуть тихо, а потом изо всех сил. Чаще всего, несмотря на усилия четырех лошадей, части тела не отрывались. В таком случае палач делал надрезы в каждом сочленении для ускорения казни. Каждая лошадь отрывала по части: и эти кровавые останки собирали и бросали в костер и сжигали. Таким печальным и жестоким образом после Жана Шастеля, ранившего в 1595 году Генриха IV ударом ножа в лицо, были казнены Равальяк и Дамиенс – эти два цареубийцы.

Казнь посредством колесования существует с самой глубокой древности, если не принимать во внимание, что она состоит в переламывании частей тела. Не поместила ли мифология пытку подобного рода в свой ад? Поэты никогда не говорили об этом месте кары, не упоминали о колесе, которое «постоянно вертит Иксион». Если правда, что казнь колесованием была в употреблении уже у древних народов, то она была восстановлена в Германии и сделалась эквивалентом того, что можно назвать «быть заживо разломанным». До прихода на престол Франсуа I во Франции она употреблялась мало. Грегоар Турский I рассказал о ее свершении, некоторых клали на колею дорог и, вбив в землю колья, переезжали через преступников тяжело гружеными повозками и таким образом переламывали кости этих несчастных, а останки отдавали на съедение птицам и псам. Но в этом еще не состояла истинная казнь колесованием, по крайней мере, она была не такой, какой впоследствии должна была сделаться. Сюжер в «Жизнеописании Людовика Толстого» приводит пример, в котором эта казнь начинает принимать тот вид, под каким она столь часто повторялась во Франции, начиная с XVI столетия. Это ужасное наказание состояло в том, что осужденного клали с раздвинутыми ногами и вытянутыми руками на два бруска дерева, вытесанного и сложенного в виде креста Святого Андрея таким образом, что каждая часть

его тела помещалась над пустым пространством. Палач переламывал ему с помощью железного шеста руки, предплечья, бедра, ноги и грудь. Затем его прикрепляли к небольшому каретному колесу, поддерживаемому столбом. Переломленные руки и ноги помещали за спину, а лицо казненного обращали к небу, чтобы он принял смерть в этом положении. Я должен прибавить, что часто вследствие retentum судьи приказывали умертвить осужденного, прежде чем переломить ему кости.

Если верить Талеману де Рео, автору довольно подозрительному, то в XVII веке любители казней жаловались на то, что их лишали таким образом части зрелища. Как бы то ни было, но этот вид казни был одним из самых распространенных во Франции, и ужасно говорить о том, что много невинных жертв были замучены с таким варварством, которое едва ли можно встретить у самых диких и необразованных народов. Колесование было уничтожено во Франции лишь во времена революции, когда в 1790 году был издан указ, что гильотина будет с этих пор единственным орудием смертной казни.

В 1181 году Филипп II Август издал указ о том, что все, кто произносит позорные ругательства, должны были уплатить штраф, если они принадлежали к дворянству, и быть утоплены, если они происходили из простого народа. Карл VI распространил это наказание на всех, кто был уличен в мятежных и возмутительных замыслах. Этих несчастных помещали в мешок, который завязывали веревкой и бросали в воду. Луи де Боа-Бурдон, отличившийся в различных случаях и обстоятельствах, в том числе и в д'Азенкурской битве, однажды по дороге в замок Винсен, куда он шел для свидания с королевой Изабеллой Баварской, встретил короля, возвращавшегося оттуда, которому он поклонился, но не остановился и не встал на колено. Узнав его, Карл VI приказал Танегю и Дюшателю, парижскому превоту, взять его под

стражу и отвести в темницу. В ту же ночь он был допрошен, затем заключен в мешок и брошен в Сену. На мешке были написаны следующие слова: «Дайте дорогу королевскому правосудию». Людовик XI также присудил некоторых к этому наказанию; но этот вид казни был немногочисленный во Франции и исчез несколько лет спустя после смерти этого монарха.

Другой вид казни, может быть, ужаснее предыдущей, состоял в том, что с живого осужденного сдирали кожу. Я должен, к несчастью, сознаться, что во Франции он употреблялся довольно часто. Маргарита, Жанна и Бланш – супруги сыновей Филиппа Прекрасного – были обвинены в прелюбодеянии. Жена Людовика Гютена, Маргарита Шарль-Бланш, уличенная в совершении прелюбодеяния с Филиппом и Готье д'Ольнай были заключены в замок Галльяр д'Аделис, а с их обожателей живьем содрана кожа. В 1366 году камергер графа де Руси был предан этой казни за то, что изменнически впустил англичан в Леон. В те времена, когда междоусобные распри арманьяков и бургиньонов покрывали Францию кровью и развалинами, констебль д'Арманьяк был выдан своим врагам каменщиком, у которого укрывался. Неприятели содрали с него кожу и вырезали на его трупе крест Святого Андрея для того, чтобы он после своей смерти был бургиньоном.

Эта жестокая и чудовищная казнь получила свое начало в Персии. Кто не слышал о наказании, к которому Камбиз приговорил одного из судей, позволившего подкупить себя? Он велел растянуть снятую с него кожу на скамьях его сослуживцев.

Китайцы, у которых также в большом употреблении были жестокие казни, сдирали кожу с тела преступника, постепенно снимая маленькие полосы до тех пор, пока он не сознается в своем преступлении.

Рассмотрев наказания, наиболее употребляемые для предания смерти преступников, мы приближаемся к тем, которые во Франции лишь появившись, сразу же предавались забвению: так я расскажу о лапидации или избиении камнями.

Эта казнь, состоявшая в том, что человека убивали ударами камней, была в большом употреблении у евреев. Когда кто-либо был приговорен к смерти, его вели за город, перед ним шел пристав с пикой в руке, на которой развевалось знамя, чтобы привлечь внимание всех, кто бы мог сказать что-либо в его защиту. Если никто не являлся, то его избивали камнями. Избиение производилось двояким образом: в виновного бросали камни или же поднимали на высоту; один из проводников сталкивал его, а другой скатывал на него большой камень. Спешу прибавить, что лапидация, весьма употребительная у римлян, упомянута лишь один раз в летописях нашей истории.

В 570 году Зигберт I, взяв Париж, приказал своей армии избить камнями некоторых мятежных военачальников.

Один галло-римлянин по имени Партений, министр короля Теодеберта I, пытался обложить налогами французов. После смерти Теодеберта они стали его преследовать, вытащили из Тревской церкви, где он укрывался, привязали к колонне и избили камнями. Однако такие случаи были немногочисленны, поэтому можно сказать, что это наказание во Франции было лишь исключением.

То же можно сказать о сажании на кол, которое употреблялось в нашем отечестве лишь в эпоху Фредегонды. Она присудила к нему одну молодую, очень красивую и знатную по происхождению девушку. Сажание на кол было в большом употреблении у восточных народов, где оно существует и по настоящее время.

Вот в чем состоит эта жестокая и варварская казнь: положив осужденного на живот, один человек садится на него, чтобы не дать ему пошевельнуться, другой держит его за

шею, ему вставляют в задний проход кол, который затем вбивают посредством колотушки; затем вколачивают кол в землю. Тяжесть тела заставляет его войти глубже и наконец он выходит под мышкой или между ребер.

Наконец я должен описать дыбы не по причине непродолжительности времени существования этой казни во Франции, а по случаю недавности его, в сравнении с теми, которые я описал выше. Изобретение дыбов принадлежит Франсуа I, и в его царствование место, на котором обыкновенно совершались эти казни, получило название дыбов, которое оно носит и в настоящее время.

Сначала этому роду казни во Франции подвергались военные и моряки, и он заключался в том, что осужденного, со связанными за спиной руками, поднимали на вершину высокого деревянного столба, где привязывали и потом опускали так, чтобы вследствие сотрясения тела произошли вывихи его частей. В царствование Франсуа I эти несчастные падали в пылавший на жаровне огонь. Прежде люди, хотя и изувеченные на весь остаток своей жизни, могли все-таки выйти живыми из этой ужасной пытки. Но последний указ, учрежденный Франсуа I, лишил их и этой последней надежды на спасение.

Есть другие виды казней, к которым присуждали особую группу преступников. Подделыватели монет должны были быть сварены в кипятке. Осужденных кипятили в простой воде, а в некоторых особых случаях воду заменяли кипящим маслом. Соваль рассказывает, что в 1410 году одного карманника в Париже за это преступление сварили живого в кипящем масле, и прибавляет, что эта казнь была в употреблении и в XVI веке. В XVII столетии их присуждали лишь к виселице, но, во всяком случае, лишь 27 сентября 1791 года эта казнь, давно уже вышедшая из употребления, была окончательно вычеркнута из французского уголовного кодекса.

Казнь, употреблявшаяся гораздо реже и доказывающая удивительную изобретательность бесчеловечности, состояла

в удушении осужденного свинцовым колпаком. У Матье Париса можно прочесть, что Жан Безземельный велел придать смерти посредством этой казни одного архидиакона, оскорбившего его несколькими необдуманными словами, следовательно, Данте, описавший это наказание в своем «Аду», не придумал его.

Самые древние исторические памятники упоминают об удушении или странгуляции, которое было одним из первых изобретений разрушительного и мстительного гения нашего рода: странгуляция должна была быть в скором времени заменена виселицей, которая была не что иное, как та же самая казнь; однако в XIV столетии, около 1314 года, мы видим пример, доказывающий, что виселица еще не была введена в употребление: Маргарита Бургонская, внучка Людовика IX и жена Людовика Гютена, будучи уличена в прелюбодеянии, была задушена салфеткой.

Чтобы закончить описание смертельных казней, бывших в малом употреблении во Франции или существовавших недолгое время, нужно несколько слов сказать о вырывании калеными щипцами частей тела. Правда, это было лишь дополнением или предвестником другой, более ужасной казни; и так как почти всегда преступник отдавал Богу душу, я считал себя обязанным описать казни, влекущие за собой смерть виновного.

Эта ужасная пытка, весьма обыденная у древних, состояла в том, что у осужденного при помощи раскаленных щипцов или клещей вырывали кожу.

Иногда ко всем этим изобретениям варварства присоединяли еще и другие истязания, наливая расплавленный свинец в рот и на раны несчастной жертвы.

Несколько слов скажем о так называемом наказании возмездием, которое, как кажется, есть результат весьма справедливого закона, потому, что оно наказывало виновного, заставляя его переносить те же страдания, которые он при-

чинил другим. Со временем наказание возмездием вышло из употребления. Однако навсегда сохранилось в большом числе уголовных постановлений нечто из этого закона: так, богохульникам разрезали губы и прокалывали языки, клятвопреступникам и отцеубийцам отрезали кисть руки.

Прежде чем перейти к описанию гильотины, единственного смертного орудия нашей эпохи, я должен несколько строк посвятить казни, называвшейся калью, специально предназначенной для моряков и матросов. До революции присуждали к сухой кали тех из экипажа, которые были уличены в воровстве, самоуправстве, в выступлении против своих офицеров или в совершении убийства. Преступника привязывали веревками над палубой, трое или четверо матросов поднимали виновного, а затем опускали конец веревки, давали ему упасть на палубу всей тяжестью своего тела, вследствие чего он разбивался. Существовала обыкновенная и так называемая мокрая каль: осужденного поднимали до высоты мачты, а затем бросали один или несколько раз в море, смотря по совершенному им преступлению. Иногда к его ногам привязывали пушечное ядро, чтобы падение было быстрее, и казнь казалась более жестокой. В Марселе и Бордо этому наказанию подвергались девушки, ведущие развратную жизнь, и богохульники. Их заключали в железную клеть и несколько раз окунали в воду. Устав от 21 августа 1790 года, изменяя положения 1681 года, огласил, что приговор может быть произнесен судебным советом; постановление от 22 июля 1806 года, подтверждая предыдущий закон, говорит, что человек, приговоренный к этому наказанию, может быть погружен в воду не более трех раз.

Итак, я закончил ужасающую историю различных родов казней, столь жестоко употреблявшихся в древние времена и до французской революции. Прежде чем я начну описание единственного рода казни, признанного в настоящее время французскими законами и правительством, и прежде чем я

оставлю в стороне это древнее феодальное общество, защитники и блюстители блага которого, казалось, сделали этот ужасный вызов преступникам: «Совершайте самые преступные и неслыханные злодеяния – мы сумеем в нашем мщении сделаться преступнее и ненавистнее вас». Прежде чем приступить к описанию казни на гильотине, оглянемся назад и рассмотрим, какие утешения доставляло то же самое общество виновным.

В средние века приговоренный к смерти мог быть спасен женщиной, если она согласится выйти за него замуж. Историки приводят множество примеров, а многочисленные народные сказания увековечили память об этом, Кто не знает истории Пикара, «к которому, когда он стоял на лестнице, привели бедную девушку дурного поведения, обещая, что ему спасут жизнь, если он согласится, клянясь своей честью и спасением души жениться на ней. Но когда он, захотев ее увидеть, заметил, что она хромает, то обернулся к палачу и воскликнул: „Вскидывай, вскидывай, она хромая“». Карл VI, по просьбе Пьера де Краона, ликвидировал 12 февраля 1396 года обыкновение отказывать в просьбе дать исповедников приговоренным к смерти. Тот же Пьер де Краон приказал воздвигнуть каменный крест с изображением Господа Иисуса Христа подле виселицы, у которого преступники останавливались, чтобы исповедаться в своих прегрешениях, преподнести подаяние парижским и францисканским монахам, чтобы обязать их в принятии на себя на веки вечные этот долг милосердия. Сначала францисканцы напутствовали приговоренных, а впоследствии эту печальную обязанность приняли на себя доктора теологии монастыря Сарбонского. В настоящее время преступников сопровождают до места казни пешком или на тележке священнослужители различных вероисповеданий. В средние века казнь преступников была зрелищем, которое откладывали до праздничных дней; отвозя их на место казни, делали много остановок. Останав-

ливались на дворе Девственниц Бога, где им давали стакан вина и три куска хлеба. Этот полдник называли последним куском осужденного. Если он ел с аппетитом, то это считали хорошим предзнаменованием для его души.

Французская революция, уравнявшая всех граждан перед лицом закона, должна была почти в то же время, в случае преступления, сделать их всех равными перед лицом смерти. 21 января 1790 года появился следующий указ: «Во всех случаях, когда правосудие произнесет смертный приговор обвиненному, то казнь будет одинакова для всех. Какого рода преступление бы ни было, преступник будет обезглавлен при помощи простой машины». Эта машина, которая должна была носить имя не своего изобретателя, а доктора Ж. Гийотена, ее усовершенствовавшего, была гильотина. Этот добрый гражданин, движимый чувством человеколюбия, целью которого было сократить и сделать менее мучительной казнь осужденных, только усовершенствовал орудие, уже известное в Италии с 1507 года, которое называлось манайя.

Это была, писал в XVIII веке один человек, посетивший Италию, рама от четырех до пяти футов высотой и около пятнадцати дюймов шириной; она состояла из двух брусьев и двух косяков около трех дюймов в квадрате, с выемками внутри, чтобы пропускать подъемную раму, назначение которой мы опишем ниже. Два бруса соединяются тремя поперечниками, снабженными шипами и гнездами для них; на одну-то из этих перекладин осужденный, встав на колени, кладет свою шею. Над шеей последнего находится другая подвижная перекладина в рамке, которая входит в выемки брусьев. Ее нижняя часть снабжена широким острым и наточенным ножом от 9 до 10 дюймов длиной и 6 – шириной. К верхней части перекладины крепко прикреплен кусок свинца от 60 до 80-ти ливров весом; этот поперечник поднимают на один или два дюйма к верхней перекладине и прикрепляют к ней при помощи небольшой веревки; палачу стоит только

перерезать ее, и рамка, падая всей своей тяжестью вниз, пересекает шею осужденного. Когда доктор Гийотен предложил этот род казни собранию уполномоченных, членом которого он был, то на его счет много шутили: доктор, предлагающий машину, лишающую человека жизни! Однако они должны были принять ее. Знаменитый анатом, был снабжен рапортом, из которого, как нам кажется, мы должны сделать некоторые выводы: опыт и рассудок доказывают, что способ, употреблявшийся прежде для отсечения головы преступника, подвергал его гораздо мучительнейшей и ужаснейшей пытке, чем простое лишение жизни, в чем состоит формальное желание закона. Чтобы совершить его, необходимо, чтобы казнь была делом одного мгновения. Примеры доказывают, как трудно достичь этого.

Так я закончил описание ужасных картин различных видов казни, изобретенных человеком, чтобы лишать себе подобных жизни; прибавлю только, что прежде для исполнения приговора выбирали праздник и самое многолюдное место; в большом количестве городов даже различные орудия казни, как то: виселица, кобыла, колесо оставались постоянно на глазах народа. Этим как будто думали предупредить мысль о наказании и мучениях человека в минуту совершения проступков и преступления! Но, наконец, благодаря Монтескье и Монтеню, первым философам XVIII столетия, которые начали отыскивать средства избавить общество от преступников и злодеев, не муча их, поняли, что жестокостью наказаний нельзя достигнуть цели. Гильотина, выставленная публично на народной площади, должна была мало-помалу удалиться в места пустынные, уединенные и выполнять свое печальное назначение до того дня, весьма близкого, когда надо надеяться благодаря постоянно возрастающей во Франции цивилизации, она, наконец, исчезнет и перестанет оскорблять цель и назначение природы, пользуясь правом, которое принадлежит одному лишь Господу Богу.

Глава VII
Судебные испытания

Наши предки жаловали судебные испытания именем Суда Господня, которые могли заключаться в клятве или присяге, поединке или дуэли, называвшиеся ордалиями, и в испытаниях стихиями. Слепое и слишком продолжительное существование суеверия не замедлило заставить принять и участить употребление этих судебных испытаний. Церковь сначала только наблюдала это, потом она не только позволила своим членам совершать эти обряды служения, но даже обязала руководить церемониями и составлять тексты молитв и заклинаний.

Большое значение приписывалось присяге. Мы находим в их постановлениях доказательство тому, что осужденного могли освободить, если родители или друзья, которые перед судьями давали присягу, что осужденный не мог совершить преступление, в котором его обвинили. В данном случае присяга называлась заклинанием. Число заклинаний было различно; чаще оно достигало двенадцати. Еще в XIII веке мы встречаем в некоторых городах Франции обыкновение полагаться на совесть обвиненного в убийстве или отравлениях. Присяга производилась на Евангелие, но она стала причиной стольких клятвопреступлений, что в 1255 году совет в Бордо был вынужден запретить ее. Дуэль или судебное ратоборство принадлежит ко временам первого нашествия варваров. Постановления бургиньонов позволяли дуэль тем, кто не хотел идти к присяге. Феодальность распространила судебное ратоборство: женщины, дети и духовные лица должны были представить ратоборца, который с оружием в руках защищал их дело. Судебная дуэль, первоначально заключавшаяся в борьбе, должна была впоследствии сопровождаться священными и строгими обрядами.

Судебному ратоборству предшествовал вызов перед трибуналом: там, лицо, требующее дуэли, бросало свою перчатку

как залог борьбы; место, окруженное оградой, на котором должны были сразиться оба противника, измеряли; оно было заключено в палисад и охранялось четырьмя кавалерами. Судьи, разрешившие дуэль, присутствовали при ней. Ратоборцы, прежде чем приступить к битве, клялись крестом не употреблять искусства магии в этом справедливом ратоборстве, которое они намерены решить с оружием в руке. Они подтверждали клятвой, что их оружие не заколдовано чарами и что они не носят на себе предметов чар, полагаясь лишь на Бога, на свое справедливое дело, на свое оружие и телесную силу. Оружие было весьма разнообразно, смотря по званию ратоборцев: служители имели нож, палку и кожаный щит, называвшийся Canevas'ом, оруженосцы были вооружены щитом и шпагой. На побежденного смотрели как на осужденного судом Божьим, и если он не погибал под ударами своего противника, то его ожидала позорная смерть. В некоторых случаях можно было заменить себя другим ратоборцем. В 591 году Гонтрай приказал одному из своих егермейстеров, с которым они поспорили, кто убил буйвола, сразиться на ристалище. Камергер поставил за себя ратоборца. Егермейстер и ратоборец убили друг друга. Камергер, будучи уличен в несправедливости в связи со смертью ратоборца, был привязан к столбу и побит камнями. В некоторых случаях допускали также борьбу между человеком и животным. Кто не помнит истории собаки Монтаржиса? Дуэль допускалась во всех частных и уголовных случаях, даже для разрешения судебных споров и долговых взысканий. Людовик Толстый первый старался преобразовать эту дуэль. Людовик Младший, его преемник, объявил, что судебное ратоборство может иметь место только в таком случае, когда требование превышает пять солей; Людовик Святой старался заменить судебную дуэль показанием свидетелей; наконец, с царствования Людовика-Филиппа и до XVI века, дуэль допускалась только с дозволения короля и его верховного совета.

Один из примеров этих судебных ратоборств – дуэль Жернака и Ла Шатаньера в царствование Генриха II в 1547 году, которая прославилась ударом, нанесенным Жернаком Шатаньере, перерубившим ему подколенную жилу.

Испытания посредством стихий состояло из четырех видов:

1-е. ИСПЫТАНИЕ КРЕСТОМ, бывшее в употреблении во Франции в начале IX столетия, состояло в том, чтобы держать руки простертыми в виде креста как можно дольше в продолжение божественной службы. Тот из двух соперников, который оставался в этом положении дольше, побеждал своего противника. Шарлемань завещал, чтобы обратились к решению креста для уничтожения распрей, которые могут возникнуть при разделе его владений между сыновьями. Но сын его, Людовик Благочестивый, восстал против этого, опасаясь, чтобы орудие, прославленное смертью нашего Господа Спасителя, не было употреблено кому-либо во зло.

2-е. ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ было одним из самых священных. Когда оно имело отношение к письменам, то книги бросали в огонь и, смотря по тому, сгорали они или нет, судили: правдиво или ложно их содержание. Если это испытание касалось человека, то раскладывали рядом два костра, пламя которых соприкасалось. Обвиняемый с просфирою в руке быстро проходил через пламя, и если не получал ожогов, то считался невинным. О правосудии, которое состояло в том, что жгли подошву ног или ставили на горячую жаровню виновного, рассказывают испытания священника Пьерра Бартелеми. Этот священнослужитель в минуту вдохновения утверждал, что нашел сталь священного копья. Обвиненный в обмане, он прошел через пламя с просфирою в руке и остался совершенно невредим; но историки прибавляют, что он все равно через некоторое время умер.

3-е. ИСПЫТАНИЕ ХОЛОДНОЙ ИЛИ КИПЯЩЕЙ ВОДОЙ. Первому из этих испытаний вообще подвергались люди низшего сословия. Обвиненный присутствовал при церковной службе; потом, после нескольких молитв, священник приказывал ему поцеловать крест и Евангелие, кропил его святой водой; его раздевали и бросали в реку или в большой чан, наполненный водой: если он шел ко дну, что весьма естественно, то его считали невинным; если же он плавал, то говорили, что вода выбрасывает его, и он считался виновным. Испытание посредством кипящей воды состояло в том, что на огонь ставили большой котел, наполненный водой; когда вода начинала кипеть, то ее снимали с огня; сверху привязывали веревку с кольцом; при первом испытании обвиненному, чтобы достать ее, стоило только погрузить руку в воду; при втором – руку до локтя; при третьем – всю руку. По окончании испытания кисть или вся рука обвиненного была завернута в мешок, на который судья прикладывал свою печать, снимавшуюся лишь после трех дней, и в случае, если был какой-либо знак ожога, то обвиненный считался виновным; в противном случае – он был оправдан.

4-е. ИСПЫТАНИЕ ТЕПЛЫМ, ГОРЯЧИМ ИЛИ КАЛЕНЫМ ЖЕЛЕЗОМ. Это испытание состояло в том, чтобы взять руками накалившееся железо или пройти по нему босыми ногами. Во времена феодализма дворяне и лица духовного звания прибегали к нему, чтобы избегнуть судебного ратоборства. Обвиненный, который три дня ничего не ел, кроме хлеба и воды, присутствовал при обедне. Затем его отводили на то место церкви, где должно было произойти испытание. Там он брал железо, которое более или менее накалено, смотря по важности преступления, поднимал его два или три раза или нес его на какое-то расстояние, смотря по приговору. Как и в предыдущем испытании, руку его помещали в мешок, приложив к ней клеймо в виде печати, которое не

снимали ранее трех суток, и в случае, если не было следов ожога, а иногда по виду раны судили: виновен обвиненный или нет. Испытание каленым железом иногда состояло также в том, что на руку обвиняемого надевали раскаленную железную рукавицу или заставляли его пройти босыми ногами по раскаленным местам 9 раз, но которое могло продлиться и до 12. Мишель Палеолог, когда ему предложили испытать это, отвечал: «Если меня кто-либо обвиняет лично, то я готов его изобличить во лжи и сразиться с ним. Я умею нападать и защищаться, но не умею творить чудеса. Я не знаю средства держать в руках каленое железо и не обжечься». Фока, митрополит филадельфийский, отвечал ему: «Ваше происхождение требует от вас больше храбрости для защиты вашей чести и вашего имени: вы должны очистить себя от всякого подозрения. Оправдайтесь священным испытанием, которое вам предлагают». «Владыко, – отвечал ему Мишель, – у меня глаза не так хороши, чтобы я мог узреть что-либо священное в этой операции. Я – человек грешный, вы как человек не земной, беседующий даже с Самим Господом, можете творить чудеса. Возьмите сперва каленое железо своими руками и вложите его в мои, тогда я приму его с покорностью».

Все судьи убедились в невиновности Мишеля Палеолога.

Прежде чем мы закончим эту главу, нам кажется не лишним извлечь у Канчиани I древнее описание относительно ордалии: человек, преследуемый за воровство, распутство, прелюбодеяние или всякое другое преступление, отказывающийся сознаться пред Господом или Его легатами, подвергался следующему испытанию: священник, в полном облачении, держа в руках святое Евангелие и святое Муро, выходит к народу в присутствии обвиняемого и говорит: «Узрите, братья, обязанность закона христианства; вот закон, заключающий надежду и прощение грешников; вот святое Муро, тело и кровь нашего Спасителя. Остерегайтесь потерять участие в наследии и небесной отраде, делаясь

сообщниками злодеяния другого, ибо написано: не только творящие зло, но и те, которые будут общаться со злоумышленниками, будут осуждены» Затем, обернувшись к обвиненному, священник говорил ему: «О! Человек, во имя Отца, и Сына, и Святого духа во имя дня светопреставления таинством святого крещения, обожанием, которое мы обязаны питать ко всем святым, если ты виновен в сем преступлении, если ты его совершил, знал о нем или способствовал ему, если согласился на соучастие в нем, если ты умышленно помогал виновным в совершении его, я воспрещаю тебе входить в церковь и вливаться в общество правоправных, пока ты не очистишься публичным испытанием». Затем священник указывал место, где должны были развести огонь, повесить котел или же накалить железо. Сначала это место кропили водой; то же самое делали с водой и в котле. Потом священник начинал входную песнь и в продолжение службы пели только псалмы и антифоны. После богослужения священник, сопровождаемый народом, отправлялся на место испытания и читал молитвы, оканчивавшиеся следующими словами: «Мы умоляем и заклинаем Тебя, Милосердный Владыко, чтобы невинный, который от тебя, Спаситель и Возродитель света, должен судить живых и мертвых, погрузит свою руку в кипяток и возьмет сие каленое железо, не получил ожоги».

Испытания, основанные на мнении, что Господь Бог должен всегда чудом доказать невинность обвиняемого, были исключены из употребления в XIII веке, когда Людовик Святой, выше предрассудков своего времени, объявил, что ратоборство не есть путь правосудия, и судебные испытания или ордалии заменил показанием свидетелей. Следы этого постановления сохранились до XVI века.

Глава VIII
Допрос или пытка

Я нисколько не сомневался, что пытка – есть следствие древнего суеверия, которое породило судебные испытания. О некоторых из них я только что говорил. Под пыткой понимают известные мучения, которыми подвергали обвиненного для того, чтобы либо заставить его сознаться в совершенном преступлении, либо узнать от него имена его соучастников. По мере того как осужденный подвергался одной из этих пыток, судья уговаривал его говорить правду и записывал показания; отсюда и происходит название – допрос. Допрос был двоякого рода: решительный и предварительный. Эти два рода пытки подразделялись на допрос ординарный или экстраординарный. Первым – старались добиться от осужденного сознания в преступлении; вторым – пытались узнать имена соучастников преступления. Мучения, доведенные до известной степени, составляли ординарный допрос; их удваивали в случае экстраординарного допроса, этому допросу подвергались виновные, уже приговоренные к смерти.

Пытатели или допрашиватели, назначенные подвергнуть осужденного испытанию, увеличили число орудий пытки. Каждый парламент имел свои привычки, оставить которые они не могли; но прежде займемся различными видами пыток, которые были в употреблении и которые производились деревом, железом и огнем.

ДОПРОС или ПЫТКА ВОДОЙ состояла в том, что осужденный, прослушав свой приговор, должен был садиться на каменную скамью; ему за спиной сковывали руки кольцами, затем ноги – двумя другими кольцами, обращенными вперед; все веревки натягивались так, чтобы обвиненный не мог выпрямлять части своего тела, и затем ему ставили под поясницу козлы. Пытатель держал одной рукой пустой бычий

рог, а другою – наливал в него воду и заставлял ее пить: четыре пинты – при ординарном, и восемь – при экстраординарном допросе. Хирург приказывал остановить на минуту пытку, когда он чувствовал, что пульс обвиненного слабеет. В продолжение отдыха его допрашивали.

Испытание КОТУРНАМИ или ПОЛУСАПОЖКАМИ состояли в том, что ногу обвиненного сжимали между четырьмя дубовыми досками, в которых были проделаны дырки, через которые протягивали веревки, чтобы сильнее сжимать доски; затем палач вбивал при помощи молотка куски дерева между досок, чтобы еще более сдавить и даже переломить кости провинившегося. В некоторых парламентах эту пытку производили иначе: на ногу осужденного надевали пергаментный чулок; затем, смочив его, ногу приближали к огню, причем вследствие сильного сжатия обвиненный ощущал нестерпимую боль. При обыкновенной пытке вбивали четыре, а при экстраординарной – восемь деревяшек.

ДЫБЫ, которые, как я уже сказал выше, иногда применялись как смертная казнь и составляли в то же время род пытки. Обвиняемого поднимали при помощи каната на блоке к потолку; к ногам его была прикреплена тяжесть в 180 ливров, а между связанными на спине руками – железный ключ. При экстраординарном допросе к ногам обвиненного привешивали тяжесть в 252 ливра и, тихо подняв его к потолку, вдруг опускали, причем от сильного сотрясения у него происходили вывихи членов. Эту пытку повторяли три раза, и каждый раз убеждали его сказать правду.

Испытание при помощи ДЕРЕВЯННОЙ КОБЫЛЫ заключалось в том, что обвиняемого сажали верхом на кусок дерева с острыми концами, один из которых был обращен прямо вверх; к ногам его привязывали груз для того, чтобы острые

углы кобылы глубже вошли в его тело. Это служило наказанием для солдат, и вместе с тем этот вид пытки часто употреблялся римлянами при допросах.

КАЛЕНОЕ ЖЕЛЕЗО, ГОРЯЧИЕ УГЛИ также употреблялись в средние века для пыток обвиненных и получения у них признаний. В ту эпоху во Франции при допросах иногда обвиняемым давали держать зажженный прут, или жгли пальцы.

В начале главы мы сказали, что пытка была весьма неодинакова в различных парламентах королевства, и что судьи могли назначить лишь ту, которая была утверждена тем парламентом, в ведении которого находилось их судебное место. Парижский парламент допускал только два вида пытки: водой и котурнами. По постановлениям Бретонского парламента обвиняемого сажали на железный стул и постепенно приближали его ноги к огню. В Руэне сжимали большой или какой-либо другой палец посредством особой железной машины – при обыкновенной пытке; а при экстраординарной – ему сжимали два пальца или же обе ноги; в Безансонском парламенте употребляли деревянную кобылу; в Отене пытка состояла в том, что на ноги обвиненного выливали струю кипяченого масла. В Орлеане долгое время существовали дыбы, но 18 января 1697 г. в суд был прислан приказ употреблять только те виды пыток, которые применялись в Париже.

Я нашел у одного орлеанского автора любопытные подробности относительно некоторых видов пытки. Я постараюсь передать их, потому что они доказывают, что одна и та же пытка производилась в различных местах не одинаково, это подтверждает то, что я сказал выше, то есть, что пытатели сами не только изменяли, но и увеличивали число орудий пытки. В 1697 году орлеанские магистры по ходатайству получили разрешение заменить дыбы, приводящие в обморок самого крепкого из осужденных и таким образом не

позволявшие ему произнести слова признания в своем преступлении. Дыбы заключались в том, что между связанных крепко-накрепко за спиной руками обвиняемого вставляли железный клин; затем при помощи каната, продетого сквозь блок, его поднимали на высоту в два фута, предварительно прикрепив к его правой ноге тяжесть в двести пятьдесят ливров. В этом положении его сотрясали три раза, вследствие чего у него происходили вывихи рук, которые перегибались. Пытка водой состояла в том, что обвиняемого ложили на стол, ему обнажали грудь и с высоты четырех до пяти футов капали на место между ребер, что причиняло боль, как от удара молотом. При этой пытке, когда она была обыкновенной, выкапывали до трех горшков воды, если же экстраординарной – то до шести. Первой подвергались обвиненные, второй – присужденные к смерти, чтобы узнать от них, кто был их сообщником.

Было бы бесполезно в настоящую минуту стараться объяснять, сколько тиранства и невежества в подобном действии. «Разве в трепете и страданиях можем мы надеяться найти истину? – воскликнул главный адвокат Сервант в присутствии совета всех министров. – Соберите, если хотите, все преступления, преследуйте человека страданиями, он избежит их, если только найдет себе убежище. Самое большое злодеяние для нашей природы – это страдать, и даже сама смерть была бы безделицей, если бы ей не предшествовали страдания. Я бы усомнился в собственных словах своих, если бы не видел собственными глазами, что самые лучшие и мудрые правительства разрешают с ужасающей жестокостью пытку и таким образом совершают поругания как над нами, так и над последним убежищем, дарованным нам Господом Богом».

Еще до него, в XVI веке, против пытки восстали Роберт Этьеннь и Монтень. Первый писал: «Признания, извлеченные при помощи пыток, не всегда верны, потому, что иногда встречаются столь сильные люди, у которых кожа крепка, как

камень, и дух их столь стоек и могуществен, что они мужественно переносят адские пытки. Между тем как люди боязливые и робкие, еще не подвергнувшись пытке, теряются так, что дают неверные показания».

Монтень в своих выступлениях нападает на пытку с необыкновенной энергией: «Изобретение пыток весьма пагубно и опасно и служит, скорее, для испытания терпения, чем для выяснения истины; тот, кто может перенести их, скроет истину, как и тот, который не может их перенести и возьмет на себя вину».

Несмотря на справедливые и энергичные протесты, пытки были в употреблении в продолжение всего XVII и XVIII столетий. Монтескье требовал отмены их в своем сочинении «Дух законов». В 1777 году поднял голос Вольтер, умоляя Людовика XVI присоединить эту реформу к прочим, ознаменовавшим начало его правления. «Имели ли короли время думать об этих подробностях ужаса среди своих празднеств, побед и любовниц? Удостойте разбором их, о Людовик XVI, вы, который не прибегает ни к одному из этих развлечений». 24 августа 1760 года был обнародован указ, отменявший подготовительную пытку, оставляя предварительную. Второй указ от 1 мая 1788 года уничтожил пытку. В нем король признавал, что «Это испытание почти сомнительное. Бестолковые и вынужденные показания, противоречия и отпирательства преступников лишь затрудняют судей, которые не могут услышать истину среди криков от боли; и опасно для невинных, потому, что пытка вынуждает осужденных давать ложные показания, отказаться от которых они уже не могут из боязни, что снова подвергнутся мучениям». Следовательно, честь этой победы принадлежит Людовику XVI, королю, который должен был поплатиться жизнью за ошибки Людовика XV, его злоупотребления во время регентства и сатурналии. Вскоре после этой человеколюбивой и достославной

реформы древний трон, на котором восседал святой, должен был сам испытать пытку.

Глава IX
Исполнитель верховных приговоров

Я представил перед моими читателями все разнообразие картин казней, которые были введены в употребление прежним законодательством, начиная с розг, которыми наказывали за легкие провинности и до колес, виселиц, на которых злостные преступники или невинные жертвы погибали за свои преступления или принимали венец мучений; я развернул эту картину со всем ужасающим кортежем ее жестокостей и бесчеловечности.

Чтобы дополнить этот очерк, мне осталось описать властелина этого арсенала мучений и наказаний, того человека, который бил кнутом, клеймил, вешал, отсекал головы, колесовал, жег, и все это – во имя закона.

Но прежде чем описать обязанность исполнителя верховных приговоров во Франции, я считаю необходимым сказать несколько слов о том, в чем она состояла у древних и в чем заключается в настоящее время у некоторых других народов.

Палач – есть произведение или продукт возникающей цивилизации. Цивилизация более совершенная обязательно сотрет его.

Племена патриархальных народов, диких обитателей материков, открытых Христофором Колумбом, были ни что иное как большое семейство, выполнявшее правосудие закона во всей его простоте, силе и величии.

Старцы, мудрецы, священнослужители собирались, судили, присуждали, а весь народ выполнял приговор, который они выносили.

Так как понятие о правосудии соединялось с именем Бога, то они думали, что наказать виновного – это славить Создате-

ля. Отказаться участвовать в наказании было не только постыдным, но даже считалось святотатством.

У израильтян семейство жертвы имело право требовать мщения за нее.

Этот обычай заменился другим: сами судьи выполняли свой приговор.

Преступнику отсчитывали число ударов, соответственно его преступлению и установленное законом. Если он при наказании лишался жизни, то на его смерть смотрели как на суд Божий, и собратья, бившие его, нисколько не считали себя запятнанными и виновными.

Египетская феократия – первое общество, в котором звание лишать осужденных жизни появилось в форме постановления.

Республиканская Греция имела своих исполнителей, но ее постановления были составлены в полном согласии с человеческой свободой. Палач приготовлял отраву из цикуты, подносил ее преступнику, который сам предавал себя смерти.

Этот исполнитель народного правосудия не был подвержен презрению.

В Германии, прежде чем эту должность обратили в звание, самый младший из общества или города обязан был быть исполнителем, и так как случалось, что те, которые по своему возрасту оказывали неповиновение постановлению, то этих ослушников облагали довольно значительным штрафом.

Во Франконии новобрачный должен был сквитаться, совершив этот ужасный поступок по долгу к обществу, членом которого он становился.

В Тюрингии тому из жителей, который дольше всех проживал в этой местности, где должна была быть совершена казнь, поручалось ее исполнение.

Коллегия эшевенов в городе Анвере избирала палача из самых престарелых членов корпорации, чтобы вручить ему правосудие.

В Крыму, когда он составлял царство, царь поручал стороне челобитцев умертвить осужденного. Таким образом, жена закалывала кинжалом убийцу своего мужа; она пользовалась полным правом закона Линха.

Англичане и американцы не дошли до того, чтобы назначать палача: по-видимому, они не хотели знать орудия своих приговоров.

По объявлении приговора, шериф отвечал за то, чтобы он был приведен в исполнение.

Человек, состоящий на жалованьи у шерифа, вешает преступников за установленную плату. Его судебные обязанности нисколько не подвержены презрению. Если он презираем, то обыкновенно только чернью; если он достоин презрения, то по причине бедности, побудившей его принять эту ужасную должность. Но если он не является для того, чтобы отвести приговоренного на виселицу, и шериф не отыщет кого-либо, чтобы заменить его, то он должен сам заменить палача.

В Испании эта должность передается от отца к сыну, и палачи могут вступать в родство только с семействами, которые облечены той же должностью.

Дом палача выкрашен красной краской и стоит в отдалении от прочих.

Деспотизм и инквизиция доставили исполнителям приговоров столь деятельную и значительную роль в среде испанского общества, что нечего удивляться ужасу и отвращению, которые они вселяли.

Никто не общается с ними, они живут в одиночестве среди многочисленного населения: дети, мужчины и женщины – все обходят их, встречаясь с ними.

Отвергнутые своими собратьями, они обращаются к Богу: в нем они находят свое единственное утешение, свою единственную надежду.

Накануне казни их можно видеть усердно молящимися в церкви. Они весьма часто присоединяют свои благочестивые увещевания к увещеваниям священника, и когда казнь несчастного свершилась, то они умоляют о небесном прощении за то, что насильно разлучили человека с этим светом.

Один из бургонских палачей, который должен был заменить своего отца, несколько раз падал в обморок, и хотя его принуждали и истязали шесть алгвазилов, он все-таки отказался от выполнения казни. Один из исполнителей Саламанки каждый раз тяжко заболевал, когда ему приходилось казнить или пытать кого-либо; он окончил свою жизнь в бреду сумасшествия.

Доходы палачей были весьма значительны. На каждом рынке они имели право требовать от каждого продавца дичи или живности стоимостью в два соля. Прежде они имели право получать дань яйцами от продавцов этого товара; из своих же выгод они приняли на себя обязанность крикунов на рынках. Мы видим, что во Франции способ получать большие доходы исполнителями верховных приговоров имел близкое сходство с этим последним.

В Испании палач носил куртку из коричневого сукна с красными отворотами (обшивками), желтый пояс и шляпу с широкими полями, на которой была выткана серебром или золотом лестница.

Человек, на которого в давние времена наше французское общество возложило печальную обязанность казнить или вырывать у преступников показания пыткой, получил название исполнителя верховного правосудия, потому что верховные судьи, включая и королевских судей, единственно владели правом присуждать виновных к уголовным наказаниям.

Наименование исполнителей верховных приговоров, которое они получили почти в одно время с предыдущим, исходило из того, что почти во все времена смертные казни и другие уголовные или позорные наказания выполнялись на эшафоте или виселице, которые были видны всей толпе, и сначала это придавало наказанию большую зрелищность.

В 1323 году при осуждении барона Мейлана исполнителей называют комиссарами-спекуляторами.

В первый раз в царствование Людовика IX, около 1260 года, исполнителя стали называть палачом.

Многие были не согласны насчет этимологии этого слова.

Это слово сначала было ругательным. Лишь впоследствии слово ругательное стало означать звание.

В весьма многих приговорах, уставах находим, что палача называют не иначе как исполнителем верховных приговоров. Из числа подобных судейских решений я приведу указ Руэнского парламента от 7 ноября 1681 года Парижского парламента, выданный Жозефу Дубло, исполнителю казней в городе Блоа; другой приказ Руэнского парламента на имя двух палачей этого города: Феррея и Жуанна.

Последнее постановление запрещает препятствовать свободе всякого рода выполнения своих прав во всех публичных местах: как-то в церкви, на прогулках, зрелищах и проч. Наконец я упомяну еще постановление от 12 января 1787 года, «Рапорт подтвержден Его Королевским Величеством в Совете, которое запрещает именовать отныне палачами исполнителей уголовных приговоров».

Из всех этих уставов и актов можно заключить, что во все времена во Франции, может быть, напрасно презирали звание, которое мне принадлежало.

После смягчения судопроизводства, когда машина заменила отвратительное кровопролитие прежних времен, я продолжал испытывать то возвышенное чувство, которое нам внушали. Я не мог предполагать, что самоотверженность, с

которой мы служили обществу, давала право считать это чувство предрассудком.

До начала революции исполнителя уголовных приговоров определяли на службу грамотой, которая ему выдавалась за подписью короля из главной канцелярии Франции.

Лоазо, приводящий эту подробность, говорит, что это было единственное звание, которому не представлялось никакого отличия, и объясняет это тем, что оно было хотя и необходимо, но противоестественно.

Кроме того, обычай старался поставить эту профессию на иерархическую ступень, соответственно ее значению в народе. Когда король подписал и приложил печать к приказам назначения на место исполнителя верховных приговоров, шеф-сиры главной канцелярии бросали их под стол, откуда назначавшийся на место должен был их поднимать.

Это было отменено около 1645 года. Указ об определении на место исполнителей верховного правосудия передавали получающим эти места из рук в руки. Они присягали стоя, подобно всем вступающим в новую должность. В трибунале места их жительства утверждались по решению прокурорства после подробнейших справок на счет их поведения, и при удостоверении в исповедании римско-католической веры после предъявления об этом свидетельства.

Исполнителям верховных приговоров обычно не позволялось жить в городе, разве в так называемом Пилори (так назывался дом, предназначенный для жительства исполнителей и их помощников – дом позорный).

В некоторых ведомствах он носил костюм, состоявший из балахона, на котором были вышиты: впереди – виселица, сзади – лестница.

Ремесло исполнителя уголовных приговоров во Франции вначале, безусловно, не было, наследственным, как в Испании. Однако же причины того, что так случилось легко определить и разгадать, что я не беру на себя ответственности

описывать их, если оно сделалось однажды промыслом какого-либо семейства, чтобы другое лишилось его.

Эта наследственность эшафота дошла до того, что вышло об этом постановление, всю святотатственность которого не смогли понять его учредители.

Я уже говорил, и мне никогда не надоест распространяться об этом факте, что в 1726 году, по случаю смерти одного из моих предков, Шарля Сансона, его сын Шарль Жан-Баптист Сансон должен был занять его место. Так как ему было всего семь лет, то парламент назначил пытателя по имени Прюдомма для замены его или выполнения вместо него казней, но не желая изменить судебного порядка, этой вечной формы, он потребовал, чтобы несчастный ребенок облекал в законный вид своим присутствием все казни.

Эшафот мог переходить и по женской линии. Тот, кто вступал в брак с дочерью исполнителя, должен был наследовать место от своего тестя.

Ниже увидят, что именно таким образом этот печальный удел выпал на мою долю.

Место никогда не должно было оставаться свободным.

Если последний из занимавших его умирал, не оставляя наследников, и никто не изъявлял желания занять его место, то законы позволяли судьям уничтожить приговор, вынесенный преступнику с тем условием, что он станет исполнителем казней на всю жизнь или на определенный промежуток времени. И если последний отказывался от этого нового рода наказания, если он предпочитал скорее идти на виселицу как приговоренный к смерти, чем как палач, то судья для исполнения приговора назначал из числа подчиненных какого-нибудь бедняка. И как в том, так и в другом случае выбранное лицо должно было получать пять экю каждый раз, когда оно исполняло свою обязанность. Во Франции встречались женщины-палачи.

В одном приказе, данном Людовиком Святым в 1264 году, «что тот, кто злословил или поступил противозаконно, по судейскому решению будет высечен розгами лицом его пола, а именно: мужчина – мужчиной, а женщина – женщиной, без присутствия мужчин».

Прибавлю, что исполнители женского пола существовали весьма недолгое время и что только один сей указ служит нам доказательством их существования.

Хотя звание исполнителя верховных приговоров, как в средние века, так и во времена монархии было лишено почестей и отличий, зато оно доставляло весьма большое количество привилегий.

Главным было право, которым он пользовался почти во всех городах – брать на рынках съестные припасы даром.

Вследствие этой привилегии он мог брать зерна, которое продавалось на рынках, столько, сколько мог захватить руками.

Это право было предоставлено исполнителю, без сомнения, с целью доставить ему удовлетворение личных потребностей и избавить его от необходимости покупать продукты, которые не всегда легко было ему достать за деньги, так как многие отказывались принимать их из рук палача.

Исполнитель мог не использовать это право, и ему было дозволено предоставлять право участия в этом сборе своим помощникам.

К привилегии, которую я только что описал, присоединялось еще много других.

Еще он имел доходы и с казненных.

Сначала им было дозволено брать лишь то, что находилось под поясом; потом они получили право на всю одежду осужденных.

Кроме всех перечисленных мною привилегий, исполнитель казней получал еще известную плату за каждую экзекуцию.

В XIV и XV веках, кажется, она достигала пяти солей. Мы находим опять же в архивах города Орлеана подтверждение существования этого права.

В 1721 году жалобы, которые возникали по поводу права сбора доли со съестных продуктов, до такой степени надоели нашему правительству, что Его Королевское Величество, милостивейший государь герцог Орлеанский, регент Франции, упразднил его в Париже и заменил вознаграждением в шестнадцать тысяч ливров ежегодно.

До 1727 года эта сумма, как и другие оклады, исправно выплачивалась королевской казной; но указ от 14 января 1727 года повелел выдавать его из городских доходов Парижа.

До революции, для исполнения приговоров Парламента и других судебно-уголовных мест были назначены три лица, носившие следующие названия:

1-е. Исполнитель верховных приговоров города и всего ведомства Парижа.

2-е. Допрашиватель или пытчик.

3-е. Шарпантье или плотник.

Все казни, влекущие за собой немедленную смерть, состояли в ведении исполнителя.

Кроме шестнадцати тысяч ливров содержания, получаемых им вследствие указа от 1 октября 1721 года, он получал вознаграждение за каждое выполнение наказания вне стен Парижа; ему давали плату за все казни, которые он совершал в Париже, округе и ведомстве Парижского Парламентства. Помощники были двоякого рода: во-первых, сыновья провинциальных исполнителей, не получавшие жалованья, но которым давали квартиру и которых кормили; во-вторых, прислужники, которые исполняли обязанности слуг.

Кроме этих помощников, исполнитель должен был содержать за свой счет двух возчиков с оплатой в 1200 ливров в год и две повозки.

ДОПРАШИВАТЕЛЬ или ПЫТЧИК был часто сыном или родственником исполнителя уголовных приговоров. Он производил обыкновенное и экстраординарное испытание или пытку, также называвшиеся приготовительными, отмененные Людовиком XIV при вступлении на престол Франции. Ему была поручена доставка картона, на котором обозначали преступление приговоренного к аркану, и табличек, на которых изображали тех, кого судили за неявку в суд. Как исполнитель он носил звание чиновника правосудия.

ПЛОТНИК должен был наблюдать за сохранностью орудий казней: он строил, поправлял, поддерживал эшафоты, одним словом, все орудия пыток и казней.

В 1789 году, когда умы сильно волновались и стремились к принципам правосудия и истины, поднялось несколько голосов за этих несчастных, над которыми в продолжение столетий тяготело такое презрение народа.

Если я и склонил голову под гнетом моей участи, если я безропотно и принял позор, приписываемый обществом обязанностям, которые я должен был исполнять по своему происхождению, то я не откажусь привести в этом сочинении красноречивые слова, которыми требовали от национального собрания возвращения нам прав гражданства.

Это двойной долг признательности к тем, которые были нашими защитниками и сыновней любви моим предкам, ранее меня несшим крест, казавшийся мне таким тяжелым.

«Что сталось бы с обществом, – говорит относительно этого Матон де Ла Вареннь, – какую пользу приносили бы судьи, чему служила бы власть, если бы приговоры для наказания за поругание над законом не приводились в исполнение действительной и законной силой в лице одного из граждан, которых закон защищает? Если казнь бесчестит и позорит того, кто ее приводит в исполнение, то не должны ли быть причастными к этому позору и судебные лица, разбиравшие

процесс обвиненного и произнесшие приговор: повытчик, составивший судебное решение, докладчик и помощник уголовного судьи, присутствующие при выполнении его? Почему человека, который последний прилагает руку для наказания, презирают?

Злодей осмелился сжечь собственность своего соседа, обагрить руки кровью своего брата. Вы громко требуете его смерти, толпами присутствуете при казни и считаете позорным человека, который привел над чудовищем в исполнение ваш же собственный приговор, наказал его наказанием, которое вы сами же ему назначили? Будьте же, по крайней мере, справедливыми и не противоречьте себе; согласитесь, что ни судебные лица, ни исполнитель их приговоров, а один лишь преступник заслуживает ваше презрение».

В 1793 году национальный конвент окончательно преобразовал уголовное судопроизводство относительно исполнителей.

Указом от 13 июня 1793 года он постановил, чтобы в департаменте республики был один исполнитель уголовных приговоров.

Содержание этим исполнителям он назначил из сумм Штата.

В городах, народонаселение которых не превышает 50.000 душ, оно было до 2 400 ливров.

В тех, в которых было от 50–100.000 жителей, оно составляло 4,000 ливров, в городах, где народонаселение превышало 100.000 душ – 6.000 ливров.

Наконец парижскому исполнителю приговоров было положено жалованье в 10.000 ливров. Другой указ от третьего фримера второго года определил число помощников, которых мог иметь исполнитель уголовных приговоров, и назначил, что исполнителям в департаментах будет выплачиваться сумма в 1.600 ливров за двух помощников, то есть по 800 – за каждого; парижскому – 4.000 ливров за четырех помощников,

то есть 1.000 ливров каждому; этот указ содержал еще, кроме того, следующее положение: что пока французское правительство будет революционным, исполнитель города Парижа будет получать ежегодно прибавку в 3.000 ливров.

Этого было не слишком много за отсечение голов, которое от него требовали.

Указ запрещал столь часто позорить нас проклятым названием палача. На заседании, где был утвержден этот указ, было даже предложено дать нам титул национального мстителя, но с большим трудом мы получили имя менее звучное – исполнитель уголовных приговоров.

Итак, мы весьма далеки от эпохи, где парижский исполнитель получал пятьдесят ливров от своего права сбора доли съестных припасов. Заметим в то же самое время, что от патентованных писем, декретов, определявших положение исполнителей, мы перешли к приказам; содержание сделалось простым жалованьем, и из этого следует заключение, что если какая-либо должность подобным образом приходит в упадок, то недалек тот день, когда она совершенно исчезнет.

Да будут столь добры и уяснят себе сами читатели слово «палач», которое встречается в этом сочинении: я редко употреблял его, потому что мне принадлежало менее чем всем другим это звание, против которого мое семейство и я сам не переставали всеми силами восставать, и которое могло бы ранить каждого.

ЧАСТЬ II
Записки Сансонов, исполнителей приговоров парижского двора

Полная биография парижских палачей, содержащая в себе кровавые казни и пытки известнейших лиц в истории Франции. Поэтические тайны французских королей и их приближенных. Различные перевороты в системе правления этого государства, и самое точное описание революции и мартирологии 1793 г.

Глава I
Происхождение моего рода

Авторы Записок начинают обычно автобиографией, основой которой служат их рассказы, многочисленные подробности на счет генеалогии того, кого они выводят на сцену.

Человеческое тщеславие не может при этом упустить случая перечислить его титулы, развернуть его пергаменты.

Я слишком хорошо понимаю, до какой степени подобные дворянские претензии могли показаться смешными или же ненавистными у прямого и законного наследника палачей, чтобы постараться вывернуться из подобного положения.

Не без отвращения и после долгой борьбы с самим собой я решился счистить с тела благородного человека кровавые пятна, скрывавшие от всех истинный герб Верховных исполнителей Парижа.

Но Записки – та же исповедь.

Основа всякой исповеди, хотя бы она и была нечестивой, позорной – есть смирение; первым долгом она жертвует истине свои личные чувства.

Поэтому я должен рассказать, как волею природы тот, кто передал ужасное наследие, перешедшее, в свою очередь, ко мне, был дворянином. В начале этого сочинения я поневоле должен сознаться, что это была ошибка молодости, которая

столкнула шесть поколений моих предков на путь позора, на котором злой рок удерживал их, пока, наконец, судьба не сжалилась надо мною.

В 1829 году один издатель по имени Сотеле поручил обществу писателей составить Записки, сочинение которых он с невероятной смелостью приписал моему отцу.

Мой отец был человек мягкого и боязливого характера. До тех пор пока рука правосудия не постучалась в его дверь, пока общество не дало ему предписание, он ощущал глубокое отвращение покидать мрак, который только лишь один он мог мирить его с горечью печальной профессии.

Он долго колебался, прежде чем решился протестовать против этого бесстыдного злоупотребления его именем и личностью. Но только принял решение, как вдруг убийство издателя позволило моему отцу отложить свои возражения.

Спустя некоторое время окончилась революция 1830 года.

Катастрофа, ниспровергнувшая вторично монархию, существовавшую девять столетий, занимала умы всех.

Пал король. Какое кому было дело до палача, его печалей и жалоб или до приписанных ему Записок?

Два тома этого сочинения были выпущены в свет, но даже сами подписчики и не думали требовать продолжения.

Эти Записки составили сплетение вымышленных показаний и пустых ребяческих выдумок, лишенных, скажу, не только всякой истины, но даже малейшей вероятности.

Поэтому мой отец не упустил случая, чтобы снова возвратиться к своему уединению, сохранять которое он считал одной из обязанностей своего положения.

Вот объяснение, которое авторы думали вложить в уста моего отца по поводу происхождения нашей фамилии:

«Разбирая судебные летописи, – говорили они, – находишь, что в царствование Людовика XIII один из Сансонов был исполнителем по поручению герцога де Лоржа, верховного судьи Франции, и что он вступил в союз с семейством

Ферей, глава которого казнил преступников области Иль де Франса».

«Рассматривая внимательнее родословную моих предков, легко убедиться в наследственном предопределении, избавиться от которого я сам тщетно старался.

Первый из Сансонов, посвятивший свое существование каранию преступников, Пиетро Сансони, итальянец, был вынужден ступить на этот путь отвержения героическими чувствами эпохи, в которую жил, и стечением весьма ужасных обстоятельств. Его жизнь – это бесценный документ для всякого, кто желает узнать, до какой степени экзальтации могут дойти человеческие страсти».

Авторы этих так называемых Записок были не очень правдивы как в исторических рассказах, которые они нам приписывали, так и в этой генеалогической басне. Все ложно в истории этой, я докажу это, прежде чем перейду к родословной своих предков.

Король Людовик XIII имел своего последователя. Это был тот известный кардинал, который косил всех – большого и малого – и покрывал все красною рясой, но верховного судьи не существовало.

Ввести небывалое звание, облечь им герцога де Лоржа – это, поистине, переступить все границы псевдоисторического своеволия. Герцог де Лорж 1635 года, должен отыскивать верховного судью в царстве химер; лишь после смерти Тюренна, в 1676 году, представитель этого дома получил от Людовика XIV титул герцога и звание маршала.

При недостаточном знании обычаев Иль де Франса эти господа избежали этого богатства воображения. Определять на место исполнителя уголовных приговоров было предоставлено не верховному судье королевства, а канцлеру от имени короля; и всякий ученик четвертого класса назвал бы имя того, на ком лежала эта обязанность, и сказал, что его зовут Пьерр Сотье.

Наконец еще существует и неопровержимое доказательство: сохранились имена исполнителей верховного правосудия. Между ними до 1688 года нет ни одного Сансона. Исполнявшего эти обязанности ранее звали Никола Левассер, прозванный Ла-Ривьер.

Я не спорю, что эта романтическая выдумка, делающая Италию нашей колыбелью и низводящая нас от какого-нибудь браво, состоявшего на жалованьи одной из республик полуострова, была лишена картинности, которая должна была прельстить людей, отыскивающих все, что могло возбудить любопытство публики.

Вероятно, этим господам было недостаточно, что мы – палачи, и что им стоило присоединить кинжал к секире.

Что значило немного более, немного менее крови на руках палачей?

Если я так много распространялся об этих сомнительных Записках, то для того, чтобы они никогда не могли быть противопоставлены Сочинению, которое я сейчас выпускаю в свет, и которое есть единственно верное воспоминание моего семейства. В бумагах моего отца я нашел черновое письмо, которое он предлагал поместить в журналы, чтобы изобличить эти ложные Записки.

Вот оно:

«Господин редактор!

Многие уважаемые особы, делающие мне честь своим доверием, оказывается, считают, что я – автор Записок Сансона, – исполнителя уголовных приговоров. Тем заявляю, что я никогда не писал ничего подобного, и что воспоминания, оставленные нам отцом, нисколько не совпадают с этой публикацией, все подробности которой вымышлены.

Имею честь быть…»

На обороте находится список журналов, в которых он хотел поместить это письмо. Их семь: «Газета Франции», «Журнал де Деба», «Газета Трибуналов», «Конституционель», «Французский курьер», «Ежедневная газета» и «Курьер Трибуналов».

Впоследствии, после смерти моего бедного отца, я, в свою очередь, сделался предметом новых настоятельных просьб и домогательств покинуть таинственный мрак, облекавший нас. Я получил письмо от одного известного с хорошей стороны писателя, которое я помещаю, как и ответ, который я послал ему:

«Милостивый государь!

Так как один из книготорговцев предложил мне составить по некоторым источникам, которые обещал доставить биографию Вашего покойного отца, то я имею честь уведомить Вас, что я не хотел дать ему своего обещания, не получив на то Вашего согласия и полную уверенность в том, что этот договор будет во всем согласовываться с желаниями Вашего семейства. Мне, милостивый государь, известно, что правда, – есть постоянное достояние каждого из членов семьи. Я никак не могу дать повод публике к злословию и сознаюсь чистосердечно, что это-то и привлекает меня приступить к труду, который требуют от пера моего. Если бы Вам было угодно, милостивый государь, помочь нам своими советами и материалами, которыми Вы обладаете более чем ктолибо, то мы не были бы подвергнуты никакому заблуждению, малейшая неточность которого может лишить нас доверия читателей. Я считаю, кроме того, вправе сказать без боязни, что мы все достойны этого сочинения: вы – из памяти к обожаемому Вами отцу; мы, со своей стороны, светим добродетели, которую уважаем и которая имеет весьма немногих свидетелей.

Будьте так добры ответить мне, милостивый государь, как можно скорее и будьте уверены в моем глубочайшем уважении.

Париж, 3 октября 1840».

«Милостивый государь!

Я имел честь получить Ваше письмо и спешу поблагодарить за добрые чувства, которые Вы питаете относительно моего отца и моего семейства, но так как Вы столь добры, что спрашиваете моего совета насчет того, что нужно делать, то я должен сказать откровенно, что мне было бы неприятно, если бы обнародовали биографию моего отца, как уже было против его желания – напечатали Записки, которые не что иное, как только роман; я Вас прошу не считать неуслужливостью, что я имел честь Вам сказать, а лишь изъявлением желания, которое мы питаем, чтобы нас не знали в положении столь трудном, в которое поставила нас судьба. Мое семейство и я весьма признательны за выгодное мнение, которое Вы о нас имеете. Это утешение в нашем несчастьи, воспоминание, которое мы сохраним на века.

Примите уверение в почтении и высоком уважении, с которым я имею честь быть, милостивейший государь,

Вашим покорнейшим слугой».

Как видите, мы нисколько не были расположены занимать собою публику. Без случая, побудившего меня удалиться в уединение и доставившего моей старости позднюю и неожиданную независимость, эти Записки, которые я теперь публикую, без сомнения, не увидели бы света.

Я решился начать биографию моих предков гораздо ранее по времени, в которое пагубные страсти столь жестоко решили участь нашего поколения. Я – последний потомок предков, которые покоятся в своих гробницах, не обагрив рук своих иной кровью, как только кровью врагов своей родины. Эти Записки я пишу только для того, чтобы противопоставить истину выдумке и изложить с чистосердечием, как я обещал, печальные происшествия, сделавшие одного из нас палачом и заставившие променять шпагу на мрачную секиру судебных приговоров.

Происхождение моей фамилии основано на документах и устных преданиях, которые передаются у нашего домашнего очага от отца к сыну.

Я постараюсь в своем рассказе о моих предках сделать отличительным то, что основывается на неопровержимых фактах, от того, что перешло ко мне по Наследству.

Обреченные на самое ужасное уединение, одинокие среди ста двадцати тысяч себе подобных, не находя никогда в большом городе кого-либо, кто бы пожал нам руку, с кем могли бы чокнуться стаканами, мы должны были искать в нас самих источники против ужаса нашего положения.

Поэтому наши разговоры, о которых я только что упомянул, были искреннее, чище и теплее, чем у тех, для которых открыты удовольствия света.

В своем очерке о нашей профессии граф де Местр признает, что мы имеем право любить жену и детей наших.

Читая эти страницы, каждое слово которых подобно капле расплавленного металла падало на мое сердце и оставляло на нем свои следы, я часто удивлялся, что писатель, столь проникнутый Божественным участием в делах Земли, не признает законов правосудия, совершеннейшее олицетворение которых есть наш Создатель; я и до сих пор не понимаю: как он не думал, что Господь не мог допустить, чтобы, будучи под гнетом, подобным нашему, не доставить тайных милостей, которые бы услаждали наше существование, как он не предчувствовал, что общее презрение должно было породить в наших сердцах источник привязанности столь сильный, что, казалось, уже не принадлежишь к Земле нашей.

В эту минуту, в которую я пишу эти строки, уже прошло много лет, когда дорогие голоса не раздаются под этими почерневшими сводами, и между тем достаточно вспомнить длинные разговоры, нежные картины прошедшего, чтобы тотчас же образы, которые любил я и которые любили меня, отделялись от тумана, который я оставил за собой.

Я увидел моего отца. Я услышал шум его шагов по паркету. Он прошел огромный зал, сел в большое, обитое желтого цвета бархатом кресло, стоявшее в углу у печки и столь давно остающееся пустым; он остановил на мне свои печальные и мягкие глаза, и на устах его появилась грустная улыбка, столь ему свойственная. Я снова увидел на его лице то нежное, печальное выражение, которое юношей столь часто заставляло меня задумываться, и я почувствовал, как бьется мое сердце, волнение душит меня, и бывший палач Парижа плачет и вздыхает подобно ребенку, как плакал и вздыхал в тот день, когда отец сказал мне: «Сын мой, до свидания в лучшем свете!» Молиться, мечтать, любить друг друга и разговаривать – таковы были наши ежедневные занятия и развлечения.

История последнего столетия, в котором столкновение политических страстей доставило столь много жертв эшафоту, служила содержанием наших разговоров; но часто мы говорили и о временах, в которые Сансоны были людьми.

Мой дед рассказывал нам, что в одно из своих путешествий в Милан он нашел в Амброзианской библиотеке старые документы, в которых было упомянуто, что некто Сансон, сенешаль герцога Нормандского, Роберта Прекрасного, более известного под именем Роберта-Дьявола, участвовал в крестовых походах за обетованную землю.

Исторические и археологические занятия занимали все свободное время моего деда; он говорил нам, что все древние летописцы, которых прочел он: Виллегардуен, Гюи, архиепископ Тирский, Марциаль д'Овернь, Риго и сир де Жоенвиль, обозначают Сансонов кавалерами герцога Нормандского и говорят, что они принимали участие не только в крестовых походах, но и в завоевании Англии, в экспедициях Роберта Гискара и его сыновей, когда эти героические искатели приключений, отправившиеся для защиты Папы против набегов сарацинов, основали княжества и королевства южной Италии.

В этом заключается легенда. Но не только нет общества, даже нет народа, который бы мог объяснить тайны своего происхождения не иначе как посредством гипотез и догадок. Я же спешу перейти в область действительности.

В XV веке мои предки обосновались в Аббевиле. Они занимали почетное место в истории этого города до того дня как один из них низвергнул их внезапно на последнюю ступень общественной лестницы.

Если считать точными предположения моего прадеда, то нужно сознаться, что когда мы встречаем Сансонов, поселившихся в Пикардийском городе, то видим, что они довольно много потеряли от своего прежнего блеска.

Они уже не принимают участие при дворе герцогском. Они принадлежат к тому первостепенному мещанству, владевшему ленными поместьями, уравнивавшими некоторым образом дворян со средним классом, который, подобно первым, пользовался правом служить в качестве офицеров принцу, но не награждались муниципальными достоинствами и почестями.

Таким образом, несколько Сансонов подвизались на поприще эшевенства графства Понтье.

Один из членов этого семейства служил Генриху IV, сопутствовал ему во всех походах и был опасно ранен при Фонтень-Франсез, где сам Беарнец чуть было не был взят в плен одним из начальников испанской кавалерии. Когда Вервенский мир положил конец гражданской и внешним войнам, опустошавшим королевство, этот храбрый воин возвратился в свой родной город и провел в нем в уважении и обожании своих сограждан последние дни своей жизни и умер там 31 мая 1593 года.

Его внук был одним из замечательнейших людей первой половины XVII столетия: его звали Николай Сансон; он был основателем нынешней географии.

Родившись в 1600 году, этот знаменитый ученый уже в то время имел европейскую известность, и кардинал Ришелье, который никогда в провинциальном городе не оставлял без внимания человека, способного помочь ему в его замыслах, назначил ему приличную пенсию и почтил его своим особым доверием.

История судила Людовика XIII. Соединяя человека и властелина, она обвинила их обоих в ничтожестве.

Нет ничего ошибочного.

Сын Генриха любил искусство и науки, он был хорошим музыкантом, со вкусом и утонченностью судил о живописи; его воспитание было замечательно в эпоху, в которую невежество не передавалось по наследству в самых высоких классах общества. Он не замедлил признать достоинства географа, которого определил к нему его министр, и осыпал Николая Сансона доказательствами королевского расположения.

Соблазны двора, общение ученого с самыми знаменитыми личностями того времени удерживали весьма часто Николая Сансона в Париже, но все-таки он не поселился в нем постоянно.

Потребность в спокойствии ума и уединении, притягательная сила отцовского очага вынуждали его постоянно возвращаться в Аббевиль, где он проводил большую часть года.

В 1638 году, когда Людовик XIII посетил Аббевиль, он, несмотря на настоятельные просьбы чиновников, просил гостеприимства у своего географа.

Король Франции Бурбон провел две ночи под скромной кровлей семейства, один из потомков которого должен был однажды, во имя варварского и святотатственного закона, наложить руку на другого Бурбона, на другого короля Франции…

Странная игра рока!..

Шарль Сансон, который стал родоначальником жалкого поколения, последний потомок которого происходил по

всем преданиям от того же рода, что и Николай Сансон. Этим я и закончил описание тех из моих предков, которые были гражданами. Теперь перехожу к тем, которых называли палачами!

Глава II
Шарль Сансон де Лонгеваль

Воспоминание, надежда есть самые драгоценные дары, которые человек получил от Господа Бога.

Постоянно обреченный на преследование счастья, которое от него убегает, мучимый алчностью и чувством своего бессилия, он не находил никакого утешения в этой бесконечной цепи обмана и горечи, и был способен лишь только в своем воображении создавать фантомы, которые тщетно преследовал в реальной жизни.

Может быть, мы одни были лишены этого благодеяния: мы не видели перед собой горизонта, мы двигались во мраке.

Чтобы дать отдых нашим глазам, мы должны были повернуть голову и искать утешение в прошлом: Бог оставил нам только воспоминания!

Я уже сказал, что из всех этих воспоминаний мы предпочитали то, которое переносило нас к тому времени, когда род наш не терпел ни позора, ни унижений, но мало находили мы утешений в разборе причин, повергнувших нашего несчастного предка в эту пропасть. Таким образом, в продолжение ста семидесяти лет Шарль Сансон был героем рассказов, которые у домашнего очага передавал отец сыну.

Как будто отступая перед обвинениями, которыми, быть может, его потомство осыплет его память, Шарль Сансон перед смертью сжег свой портрет.

Излишняя предосторожность! Предание так точно рисовало его образ, что мне стоило закрыть лишь глаза, чтобы черты его лица, которые изображал часто мне мой отец в

своих рассказах, собрались, приняли форму, цвет и оттенок, и чтобы мрачная фигура бывшего офицера полка де Ла Боассьер предстала предо мною, отделившись от полотна, как будто кисть-резец Рембрандта начертил его на нем.

Весьма понятно, что все приключения его жизни, все подробности его историй мне знакомы; кроме того, я нашел в бумагах моего семейства множество документов, которые относятся к моему предку.

Если бы при издании этих Записок мною руководила лишь спекуляция, как некоторые предполагают, то я бы в этих документах нашел богатый источник, из которого, без сомнения, почерпнул бы одну из тех романтических эпопей, которые ведут читателя до десятого тома, нисколько не ослабляя интереса.

Но я никогда не думал об этом и спешу к описанию, как обещал, некоторых из наших великих исторических драм и, главным образом, мученичества 1793 года, чтобы заинтересовать читателей своими личными выводами.

Я обойду в истории Шарля Сансона все, что не касается объяснения его невероятного решения; все эпизоды его отважной жизни, которые имеют лишь косвенное отношение к его ужасной профессии, которую принял по своей собственной воле.

Источники, которыми я воспользуюсь, двоякого рода.

Они заключаются в некоторых письмах, которые займут свое место в этом рассказе, и в некотором роде исповеди, в которой мой предок, очевидно, хотел вкратце описать самый важный эпизод своей жизни. В минуты отдыха ума в старости, в часы раскаяния, когда душевные страдания лицом к лицу с его совестью дают ему понять весь ужас, которым наполняется его душа, когда он пред ликом Господа Бога, без сомнения, Шарль Сансон чувствовал, что изнемогает.

В продолжение двадцати лет он бесстрастно странствовал по своему печальному пути. Его сердце, переполненное

горечью, нашло адское утешение в том, что он должен сделаться ужасной пародией судьбы, носящего имя Палача. Ужас людей вознаградил его за их ненависть; он начал слышать шаги тех, которые пойдут по его следам. Однажды он бросил беспокойный взгляд назад и заметил, что те, которые обагрят кровью свои руки наследственной секирой, – его дети; он ужаснулся, и шум от голов, скатывающихся на помост эшафота, прерывал его сон.

Сын его был благочестив и покорен. Рожденный и воспитанный в печальных условиях исполнителя верховных приговоров, он безропотно склонил голову под гнетом участи, которая ожидала его. Но сын этот будет, в свою очередь, иметь детей, и Шарль Сансон предчувствовал, что и для них, как когда-то и для него, наступит минута боязни, ужаса и сомнения. Он попытался предупредить упреки, которые они могли бы сделать ему в эти тяжкие минуты, и которые, может быть, детское уважение остановит на их устах: он составил исповедь, в которой, не стараясь оправдаться, описал, какую роль сыграла судьба в его падении.

Помешала ли ему смерть закончить начатую исповедь, или сердечные терзания не позволили ему довершить печальное описание, которое он задумал, во всяком случае, эта исповедь не закончена.

Я должен заполнить пропуски и соединить в его рассказе происшествия, которые он оставил необъясненными.

Ввиду фактов, столь для нас важных, которые должны быть описаны на этих страницах, понимая довольно законное равнодушие публики к столь ничтожным несчастьям, как несчастье моего семейства, я постараюсь оживить свой рассказ, но не искажу истины. Я останусь верен и добросовестен к преданиям, которые слышал из уст моего отца и деда, даже в необыкновенном предсказании, которое задолго вперед возвестило моего деда об участи, его ожидавшей.

Шарль Сансон родился в 1635 году в Аббевиле.

Он был еще в колыбели, когда умерли его отец и мать.

Он имел брата, Жана-Баптиста-Сансона, родившегося в 1624 году, и, следовательно, был одиннадцатью годами старше его.

Брат их матери, Пьер Броссье сир де Лиме, взял к себе двух сирот. Его доброта, его нежное попечение смягчили их горестное положение.

Он имел дочь по имени Коломба. Он окружил заботой своих двух племянников и заботился о них как родной отец.

Коломба Броссье и Шарль Сансон были почти одних лет. Нежное товарищество детства еще более увеличило их узы родства и предрасположило их к взаимной привязанности.

Жан-Баптист был старше двоюродной сестры и брата. Дядя готовил его к гражданской службе: науки ему заменили детские игры; он начал изучать строгие формулы законов, между тем как другие лепетали, обмениваясь первыми выражениями нежности.

Эта взаимная привязанность росла вместе с ними, и однажды они поняли, что могут друг друга называть словом более нежным, чем брат и сестра.

Дружба их переросла в любовь.

Это чувство не заметили ни Пьер Броссье, ни Жан-Баптист Сансон; ни тот, ни другой не видели, что оно перерастает в страсть.

Для них Коломба и Шарль были все еще детьми: чувства, которые проявляли молодые люди друг к другу, они определяли возрастом, который считали совсем неопасным.

В одно воскресенье, между обедней и вечерней, Пьер Броссье объявил своей дочери, что вчера вечером он сообщил Жану-Баптисту, что он купил для него место советника в Аббевильском уездном суде.

Коломба и Шарль открыли рты, чтобы поздравить нового советника, но Пьер Броссье показал им знаком, что он еще не

закончил, и прибавил, что ему кажется, чтобы занять эту должность, Жану-Баптисту необходимо жениться.

Пьер Броссье считал женщину краеугольным камнем всех социальных отношений.

Молодые люди окинули друг друга беспокойным, тоскливым взглядом двух газелей, смертельно пораженных одной пулей охотника! Мрачное предчувствие леденило их, в ужасе они трепетали от ожидания услышать решение отца, и паузы, которые он делал между словами, казались им вечностью.

Что касается Жана-Баптиста, который с самого начала разговора проводил лезвием ножа по зубам, то он скромно потупил взор, и было невозможно определить, была ли складка, появившаяся на его верхней губе, следствием улыбки удовольствия или операции, которой он занимался.

Пьер Броссье продолжал.

Он прибавил, что союз его дочери с сыном его бедной сестры был самой желанной мыслью всей его жизни. Тот день, в который, спросив Жана Баптиста, какую жену он себе хотел бы, и, услышав ответ, что Коломбу, был самым счастливым днем в его жизни.

Он объявил своим слушателям, что так как обстоятельства не терпят отлагательства, то свадьба будет через две недели.

Пьер Броссье еще не закончил, как молодая девушка покинула свое кресло и под предлогом внезапного недомогания скрылась в свою комнату, где дала волю рыданиям. Он объяснил этот внезапный побег весьма естественным волнением молодой невинной девушки, которая в первый раз слышит о свадьбе.

Быть может, он изменил бы свою уверенность, если бы только один раз взглянул на молодого человека, сидевшего на своем стуле, точно горе парализовало его: он проводил рукой по бледному лбу, как будто старался избавиться от какого-то жестокого кошмара; но Пьер Броссье и Жан-Баптист немедленно приступили к обсуждению условий брачного контрак-

та. Так как оба были пикардийцами, забота о предстоящем деле устраняла в них всякую другую мысль.

Несколько слов, которыми он обменялся с Коломбой, и лихорадка, всю ночь воспламенявшая кровь молодого человека, прибавили ему немного решительности.

На другой день он, выбрав время, в которое его брат уходил из дому, отправился к своему названому отцу, который завтракал около огня в зале. Он бросился к ногам добродушного старика и с выражением, которое тронуло бы камень, сознался в своей любви к кузине и умолял его не разлучать их, которых предназначил Всевышний друг для друга.

В продолжение всего времени, пока Шарль говорил, Пьер Броссье наливал коричневое пиво в свою чашку и пил его небольшими глотками.

Он только что выпил полный стакан, как вдруг, потеряв свою обычную важность, которая его характеризовала, разразился столь внезапным и сильным взрывом хохота, что коричневое пиво вылилось изо рта и обрызгало пеной все вокруг.

За этим смехом последовал взрыв кашля, причина которого – та же веселость. Шарль страшно смутился.

Но его чувства были слишком сильны, чтобы могли оставаться долгое время под гнетом оцепенения. Он возобновил свои мольбы, он старался тронуть дядю, дав ему понять, какие могут быть впоследствии несчастья, которые готовы совершиться. В свою очередь, он призвал на помощь память его нежно любимой сестры. Он вызвал ее образ, и эта тень просила вместе с ним не только за счастье, но и за жизнь своего сына.

Пьер Броссье нисколько не был злым человеком. Он просто не знал об этой страсти и потому считал весьма логичным не принимать того, что ему не было известно. По его мнению, жизнь имела свою программу, которая предвидела

все обстоятельства: он был твердо уверен, что только один Бог мог что-либо изменить в ней.

Настойчивость Шарля оскорбляла его врожденные чувства; он перестал смеяться; он обратился к своему племяннику со строгостью, к которой тот не привык. Он сказал ему, что в его годы и в его положении следует думать о карьере на службе королю, а не об обогащении через приданое своей жены. Он прибавил, что если бы он даже не решился выдать свою дочь за старшего из своих племянников, то ничто на свете не могло бы заставить его отдать ее за младшего. Он грубо упрекнул его в неблагодарности.

Шарль с трудом встал и, потупив голову, вышел из комнаты.

За дверью он заметил девушку, склонившуюся на каменные плиты коридора.

Это была Коломба, подслушивавшая разговор своего отца с любимым человеком. Она плакала, закрыв лицо руками.

Услышав шаги своего друга, она не подняла головы; Шарль, в свою очередь, прошел в молчании, поглощенный отчаянием.

Оба поняли, что на этом свете для них все кончено.

Молодой человек немедленно покинул убежище своего детства. Он отправился к одному родственнику, живущему в Амьенсе, а оттуда – в Париж.

Но в Париже почувствовал, что его разделяет слишком близкое расстояние от Коломбы.

Его мысли беспрестанно переносились через пространство, отделявшее его от маленького домика, в котором жил предмет его любви; он видел, слышал ее, она ему улыбалась, звала его. Он мысленно вкушал все наслаждения, которые утратил, и когда из мира грез он переходил в мир настоящий, то пробуждение делалось еще более горьким.

Все его прогулки имели одну цель. Он выходил из Монмартрских ворот, через поля и сады проходил на Пикардий-

скую дорогу, но видел только высокие деревья, которые Сулли приказал посадить по обе стороны. Он бросался бежать, как будто видел силуэт своей подруги. На бегу он постоянно произносил ее имя, он звал ее, сжимая руки, и все бежал и бежал: казалось, что причудливый образ, по мере того как он приближался к нему забавлялся его горем; и когда, изнемогая, задыхаясь, истощенный от усталости, он падал на траву у дороги, то все еще в глубоком волнении звал ее.

Когда он понял, что день, предназначенный для союза Жана-Баптиста и Коломбы, приближается, то борьба любви с чувством долга, происходившая в его сердце, заставила его опасаться потери рассудка.

В минуты изнеможения, следовавшие за припадками, в которых отчаяние доводило его до пароксизма, он ужаснулся.

В его голове возникла мысль о самоубийстве. Его религиозные убеждения восстали при мысли, что одно мгновение помрачения ума могло стоить ему вечного спасения души.

Чтобы избавиться от искушения, он решил отправиться на другой конец света, если одна мысль что Коломба принадлежит другому, делала его до такой степени слабым.

Он думал, что когда он не будет дышать тем же воздухом, которым дышит она, не будет видеть существа, которые напоминают ему о ней, когда он не будет слышать голосов, говорящих языком, которым говорит она, тогда исчезнет привидение, не покидавшее его ни днем, ни ночью: он полагал, что долгая разлука – тоже избавление, и что он найдет по ту сторону морей утешение.

Потому он решил сесть на корабль.

В уважение его титулов великий адмирал Франции принял его в число войска кораблей Его Величества, и он тотчас же отправился в Рошфор получить приказ о выходе в море и через несколько дней отплыл в Канаду.

В Квебеке он нашел сестру своего отца, дом которой для него был открыт.

Но несмотря на развлечения, которые Новый Свет должен был предложить его юному воображению, ни гостеприимство, которое он встретил у своей тетки, ни дружба его двоюродного брата Пьера-Берто не могли изменить горькое состояние его души.

Необходимость пребывания на корабле заставляла его утаивать свои страдания; он научился страдать в тиши; он не показывал своего отчаяния, хотя оно делалось все сильнее и, главное, – опаснее.

В противоположность тому, что случалось под высокими вязами пикардийской дороги, когда образ Коломбы убегал, теперь он преследовал его и с каждым днем становился все лучезарнее, привлекательнее, соблазнительнее.

Успокоенный твердо принятым решением, он стал менее осторожным, стал меньше следить за собой. Он не видел возможности избавиться от своего горя, от прекрасных воспоминаний минувших дней. Вместо того чтобы оттолкнуть нежное видение, он простирал к нему руки. Избегая общества своих молодых друзей, он искал уединение, чтобы найти среди волшебного дуновения ветра, навевавшего воспоминания, звуки любимого голоса, который принадлежал ей. В продолжение долгих и скучных часов караула она была с ним на палубе; он странствовал с ней в улыбающемся царстве грез. Эти часы, столь ненавистные и тягостные для молодых моряков, пролетали для него быстро и приятно, и он ожидал их возвращения с лихорадочным нетерпением любовника, который ждет первого свидания.

И после того как он проехал от новой Франции до Антильских островов, от Антильских островов – в Тулон и оттуда – к пристаням Леванта, любовь Шарля Сансона де Лонгеваля к Коломбе была так же жива, так же сильна, как и тогда, когда он в первый раз вступил на королевский корабль.

Возвратившись вторично в Тулон, он нашел там письмо, которое его ожидало.

Оно было от Коломбы. Она призывала его безотлагательно приехать к ней.

Шарль едва дождался отпуска и пустился в дорогу.

В продолжение этого путешествия в его уме возникали самые странные предположения.

Письмо Коломбы было коротким, оно давало понять, что ее постигло большое несчастье. Она ничего не писала Шарлю о его брате.

Умер Жан-Баптист?

Как ни велика была катастрофа, предлогом и причиной которой был брат, Шарль все-таки никогда не переставал любить его; никогда мысль ненависти или гнева не присоединялась к его отчаянию.

Думая об этом весьма возможном несчастьи, его сердце терзалось, глаза хотели плакать, но их непокорные слезы отказывались быть вполне чистосердечными, и он слышал в самом себе тайный нечестивый голос, насмехавшийся над его горем, и, против его воли, между его взором и трупом его брата Жана-Баптиста возникал образ женщины, в настоящее время вдовствующей, свободной, и он чувствовал, как сильно билось его сердце.

Но одной секунды размышления было достаточно, чтобы рассеять это очаровательное видение.

Эта женщина для него была священна в этом мире. Он утратил право на ее руку. И он подумал, стала ли она вдовой, стала ли она свободной, и ужас переполнил его ум: он ревнует ее к своему брату, он чувствует отчаянную ревность к чужому счастью.

В это время путешествие из Тулона в Аббевиль требовало около пяти недель. Шарль шел днем и ночью и прибыл в этот город на двенадцатый день.

Как только он заметил на горизонте колокольню церкви, сверкавшую при лучах заходящего солнца, крытую тысячами рядов багряных черепков, он сошел с лошади и упал на колени.

Он хотел молиться и благодарить Бога; но находил лишь одно слово.

Приблизившись к предместью, он увидел деревья, кустарники, цветы, улыбавшиеся его детским играм, старый каменный крест, поставленный на перекрестке, и ему казалось, что все они стремятся к нему навстречу, и что голос зяблика, защебетавшего в боярышнике, приветствует его с приездом.

Сердце его билось с неимоверной силой, и он стал опасаться, что прежде чем он сделает несколько шагов, отделявших его от Коломбы, его грудь разлетится.

Повернув за угол улицы, он увидел дом Пьера Броссье с его заостренной кровлей, его разрезанными, стрельчатыми окнами и белым с черными пятнами фасадом.

Вопросительным взглядом он смотрел на дом, с беспокойством ожидая появления ее на пороге.

Когда он подошел ближе, то его сердце сжалось. Этот домик, имевший прежде строгий, но спокойный и ясный вид, подобно физиономии своего владельца, теперь имел вид пасмурный и мрачный.

Стены, за которыми прежде постоянно следили, теперь были изборождены длинными трещинами, повсюду виднелись глубокие расщелины. Крыша поросла мхом, стекла в окнах были выбиты, и между камнями у порога росла зеленая трава.

Молодой моряк поднял дрожащей рукой тяжелый молот, висевший у дверей дома. Источенные червями доски коридора отозвались тысячью отголосков, но никто не являлся. Никто не отвечал ему.

Внутри все казалось погруженным в глубокий сон.

Один сосед подошел к нему и, узнав его, сообщил, что дочь и зять Пьера Броссье уже не живут на площади Святого Жанна, что они уже с год как переехали в Амьеньское предместье.

Шарль и не подумал поблагодарить его. Он ужаснулся, что прошел близко от обожаемой Коломбы и ни один голос в нем самом не сказал ему она здесь!

Он пошел назад, потупив голову.

Ему указали новое жилище брата. Внешний вид этого дома был скромен, почти беден, и Шарль начинал понимать, какого рода несчастье постигло Жана-Баптиста, о котором ему дала знать в своем письме Коломба.

Он постучался.

– Войдите, – проговорил голос, разливший трепет по всем его жилам. Но он остался перед дверью неподвижным, как каменная статуя.

Счастье снова увидеть ее, ту, которая в продолжение трех лет была желанной, выражалось в каждом его вздохе и возбудило в нем чувство, походившее на ужас.

Послышались шаги, легко скользившие по полу, дверь легко повернулась на своих петлях, в полумраке появился силуэт женщины. Она громко вскрикнула и упала в объятия Шарля.

Это была Коломба, немного побледневшая, но все еще очаровательная.

Это была Коломба, столь же нежная, как и в то время, когда ее кузен, казалось, был единственным предметом ее нежности.

Мысли молодой женщины, без сомнения, от прошлого возвратились к настоящему, потому что, поддавшись без колебания влечению, которое кинуло ее к Шарлю, она вдруг откинулась назад и сделала усилие освободиться от объятий, все еще удерживавших ее на груди друга.

Покраснев, она взяла руку моряка, повела его в дом и остановилась перед дремавшим в широком кресле человеком.

Его лицо было изборождено столь глубокими, столь многими рубцами, что они обезображивали его. Его положение, как и рубцы, говорили о недавних и тяжких страданиях. Когда он поднял веки, то Шарль увидел его глаза – неподвижные,

безжизненные, без выражения, глядеть на которые было невозможно.

В этом призраке брата Шарлю было трудно узнать Жана-Баптиста.

Он взглянул на Коломбу. Она плакала, стоя на коленях в нескольких шагах от него.

Тогда, не сомневаясь, объятый необыкновенным волнением, он бросился к товарищу своего детства, покрыл поцелуями и оросил слезами следы его ужасных ран, и невнятным голосом бормотал несвязные слова, в числе которых можно было расслышать моление о прощении.

Быть может в эту минуту мысли, волновавшие его душу в течение трех лет, казались ему преступными.

Наконец, когда все трое немного успокоились, Шарль и Коломба сели подле Жана-Баптиста, и он рассказал свою печальную историю.

Шесть месяцев спустя после отъезда Шарля, Пьер Броссье переселился в жизнь вечную, и, казалось, первое несчастье открыло двери всем прочим. Лимесское ленное поместье, в котором заключалось все состояние Коломбы, потребовал назад владелец, основываясь на одном древнем пожизненном постановлении.

Документы Пьера Броссье были не в порядке. Он судился, но проиграл процесс, и у него не только отняли ленное поместье в Лиме, но, кроме того, он должен был продать свой домик, чтобы заплатить судебные издержки.

Некоторое время спустя после смерти Пьера Броссье непредвиденное банкротство одного из его друзей, которому он доверил свои деньги, ограничил их наследство одним поместьем, доход с которого был едва достаточным для насущной жизни.

Под влиянием этих несчастий возобновились старые нервные припадки, мучившие Жана-Баптиста в детстве, от которых он считал себя излеченным.

Однажды, когда его жена вышла из комнаты, оставив его сидящим около топившегося камина, с ним случился страшный припадок падучей болезни. Он упал с кресла в огонь. Когда прибежавшая на шум служанка подняла его, то лицо уже было покрыто страшными ожогами, и он ослеп.

Тогда, продав свое место в суде, он удалился в этот маленький домик-предместье.

И, кончив свой печальный рассказ, Жан-Баптист в величайшем волнении не находил слов, чтобы описать нежность и преданность Коломбы, говоря, что только ее заботам он обязан продолжению своей жизни.

Шарль взглянул на молодую женщину: она побледнела, избегая его взгляда, и ему показалось, что иголка, которой она вышивала, слегка дрожала в ее руке.

Он подошел к ней и голосом, которому он старался придать больше твердости, сказал:

– Сестра, – ударяя на это слово, – хотите ли вы, чтобы впредь мы вдвоем заботились о нем?

Улыбка гордости скользнула по устам Коломбы.

– Я этого ожидала от вас, брат мой, – отвечала она, – и так как я желала этого, потому и призвала вас.

Оба думали, что этих двух слов будет достаточно, чтобы избавиться от чувства, которое столь долгое время постоянно властвовало над их сердцами.

Таким образом, Шарль отказался от своей карьеры. Он тратил на ведение хозяйства брата доходы со своего Лонгевальского ленного поместья. Он обеспечил в доме достаток, в котором так нуждался несчастный страдалец. В заботе о брате он соперничал с Коломбой; его разговоры, его описания путешествий скрашивали ужасное однообразие существования слепца.

Эта преданность возбуждала в Жане-Баптисте признательность, высказать которую он никогда не упускал случая. Когда он был наедине с женой, благородный характер,

возвышенные чувства Шарля были постоянным предметом его разговоров; если же он оставался с братом, то он сравнивал Коломбу с ангелами Господа Бога.

Вероятно, Пьер Броссье не открыл Жану-Баптисту истинной причины отъезда Шарля, или, если он и сообщил ему об этом, то бывший советник, имевший тот же взгляд на вещи, как и его опекун, не думал, что это ребячество могло иметь последствия. Прося беспрерывно развлекать Коломбу, гулять с нею или помогать ей в домашнем хозяйстве, он предоставлял им возможность сблизиться друг с другом.

Коломба, со своей стороны, была столь непорочна, что не подозревала об опасности, которой подвергается. Вместо того чтобы избегать этих свиданий, она казалась более счастливой лишь тогда, когда гуляла наедине со своим зятем. Однако же вскоре заметила, что отставной моряк делается печальным и задумчивым. Ее начало беспокоить это, и она сказала об этом мужу.

Жан-Баптист глубоко вздохнул. С эгоизмом, свойственным всем человеческим страданиям, он обращал более всего внимание на то, что касалось его здоровья. Присутствие Шарля так улучшило его положение, что он без ужаса не мог подумать о его новом отъезде. Он отвечал, что ничего нет в том странного, что молодой офицер, который привык путешествовать по свету, скучает в доме маленького городка; что она должна прилагать всевозможные усилия, чтобы эта тоска не побудила его оставить их.

В тот же вечер Коломба предложила своему зятю маленькую прогулку за город; Жан-Баптист, чувствовавший себя дурно утром, под предлогом, что ему хочется заснуть, присоединил свои просьбы к просьбам жены.

Они пошли по дороге, по которой прибыл Шарль, и затем свернули на тропинку, проложенную между двумя рядами высоких колосьев.

Было то очаровательное время дня, когда солнце на краю горизонта посылает земле прощальный поцелуй – один из самых ярких и теплых своих лучей. Морской ветерок колыхал высокую рожь, которая переливалась яркими цветами. Птицы затихли, и только монотонный крик кобылки прерывал таинственную тишину этого вечера.

Шарль и Коломба шли друг возле друга. Рука молодой женщины покоилась на руке ее друга; с невинным самозабвением она склонила свою голову на его плечо, и локоны ее волос, развеваемые ветром, касались своими шелковистыми прядями его лица.

Коломба казалась столь же спокойной, как и окружающая ее природа в ту минуту, когда наступает для нее час отдыха. Она, казалось, думала только о том, как бы развеять тучи, собравшиеся на челе ее брата, и ничего не нашла лучшего, как напомнить ему одну из самых очаровательных сцен их детства.

Но Шарль делался все мрачнее, его волнение становилось странным. Он то ускорял шаги, как будто хотел увлечь свою подругу в место еще более уединенное, чем то, в котором они находились, то останавливался, и казалось, что он хочет повернуть назад. Коломба почувствовала, что он дрожит.

– Шарль, – сказала она ему, – правда, как говорит Жан-Баптист, что ты скучаешь о своей бурной жизни?

Шарль не отвечал.

– Шарль, – продолжала она, – разве ты не чувствуешь себя счастливее с братом, который тебе так дорог, и сестрою.

Последнее слово замерло на устах Коломбы, она не смела продолжать. Шарль хранил молчание.

Предчувствие того, что должно было происходить в душе товарища ее детства, вдруг озарило ум молодой женщины, она затрепетала, как будто пробудилась ото сна.

– Шарль, Шарль, – шептала она задыхающимся от волнения голосом, – Богу было угодно, чтобы мы навсегда остались

братом и сестрой. Будем уважать Его Святую волю, друг мой, не одним вздохом не станем сожалеть о несбывшихся мечтах нашего детства. Священная привязанность, соединяющая нас, разве недостаточна для нашего счастья; разве ты хотел бы сделаться неблагодарным Провидению, дозволившему мне без преступления еще любить тебя?

Говоря это, Коломба подняла свое лицо, чтобы Шарль поцеловал ее. Он наклонился к ней, но вместо лба его уста встретились с устами молодой женщины.

В продолжение секунды они были как бы оцепеневшими, позабыли про небо и землю.

Но Шарль пришел в себя. Он поднял сжатый кулак к небесному своду, произнес проклятие, и вне себя бросился бежать через поле.

Коломба возвратилась домой одна.

На третий день Жан-Баптист получил от своего брата письмо, в котором он извещал его о своем намерении оставить Аббевиль, и просил прощение за то, что у него не хватило духа сказать ему об этом.

Некоторое время спустя Шарль купил лейтенантство в полку де Ла Боассьер.

Он не захотел снова пуститься в море; он понимал, что, если долг и требовал, чтобы он удалился, то и обязывал его опекать дорогих ему существ, которым он был единственной опорой.

Жан-Баптист обвинил своего брата в неблагодарности. Что касается Коломбы, то с того времени никогда не видели, чтобы она улыбалась.

Глава III
Гороскоп

Дьепп был исключительно торговым городом. Его отважные моряки поднимали свои флаги на всех морях, его рыболовы соперничали в деятельности с рыбаками Сент-Мало, его

корсары состязались в смелости с морскими разбойниками Байонны, родины корсарства; Дьепп достиг знаменитости, но само собою разумеется, что изящество не входило в число его принадлежностей.

На его узких, мрачных улицах, окаймленных двумя рядами домов с остроконечными крышами, слышался запах дегтя, острый и наводящий тошноту запах соленой рыбы, встречались только несколько занятых делом граждан: работники морского ведомства, изредка матросы, прекрасные жительницы Дьеппа, неся на голове корзины с ночной добычей.

Само собою разумеется, что в ту эпоху гостиницы города Дьеппа далеко не походили на роскошные дворцы, предназначенные в настоящее время для безукоризненного приема иностранцев, приезжающих в этот город, чтобы почерпнуть здоровье в целебной воде его прибрежья.

«Сорвавшийся якорь», – самая известная гостиница в городе, – соответствовал скромному и мрачному виду города.

Она находилась на углу улиц де Ла Поассонери и де л'Епе.

Молодая сосна, горизонтально посаженная в стену, огромная вывеска, представлявшая якорь, висевший сбоку корабля, издали указывали на нее путешественникам. Дверь ее находилась под крышей, поддерживаемой огромными колоннами – остатками какого-то кораблекрушения, которые образовывали навес, под которым стоявшие в порту моряки обыкновенно искали убежище от дождя. Широкий вход вел и в нижнее жилье, и во внутренний двор. Направо находилась огромная кухня, а налево – общая зала. Наружная лестница вела со двора в комнаты первого этажа, выходившие на четырехугольную, открытую галерею, которая окружала все строение.

Эта постройка имела первобытный вид; она не делала чести ни работникам, тесавшим брусья и прилаживавшим камни, ни архитектору, руководившему работами, а между тем, «Сорвавшийся якорь» пользовался привилегией

принимать у себя не только морских капитанов, но и владельцев окрестных поместий и офицеров полка де Ла Боассьер, стоявшего в то время гарнизоном в Дьеппе.

В один из вечеров февраля месяца 1662 года большая зала «Сорвавшегося якоря» оглашалась громким шумом смеха и прибауток, смешивавшихся со звоном чокавшихся друг о дружку стаканов.

Было уже поздно, и шум был так велик, что многие жители города Дьеппа, запоздав и возвращаясь домой в сопровождении прислуги с большим фонарем в руках, поднимали глаза к узкому окошку, сверкавшему подобно адскому горну во мраке ночи. Вследствие суматохи, потрясавшей стекла в свинцовых косяках, они полагали, что все гуляки города собрались в этот вечер в «Сорвавшемся якоре», и, ускоряя шаги, с милосердным снисхождением людей к удовольствиям, которые они не разделяют, посылали ко всем чертям возмутителей общественного спокойствия.

Гостей у господина Бодрилльяра, владельца и повара «Сорвавшегося якоря», было гораздо меньше, чем предполагали прохожие.

Их было всего трое. Они сидели у длинного дубового с выточенными ножками стола, составлявшего главную мебель большой комнаты. Правда, этот стол был нагружен таким разнообразием съестных припасов, привлекательной коллекцией бутылок всех форм и всех размеров, что весьма вероятно, выпив за шестерых, трое гостей господина Бодрилльяра могли присвоить себе право шуметь за двенадцать человек.

По трем шпагам, висевшим на нескольких гвоздях, как и по костюмам владельцев, было очевидным, что все трое, о которых только что я говорил, принадлежали к категории знатных, первостепенных гостей.

Двое из них были молоды, третий был уже тех лет, когда за недостатком молодости здоровье предписывает благора-

зумие, а, между тем, если судить, глядя на них, то он-то из всех троих и был предводителем и затейником.

Это был человек лет за сорок. Он был высокого роста, худощав и костистого сложения. Его выразительное, почти угловатое лицо свидетельствовало о его южном происхождении, как и имя кавалера – де Блиньяк, как называли его товарищи. Вся наглость, дерзость и алчность гасконца выражались на его подвижной физиономии. Его глаза, глубоко впадавшие в орбиты, но чрезвычайно оживленные, превосходили типичную утонченность его соотечественников. Они выражали жадность и коварство. Главной особенностью, которая бросалась в глаза, было странное несоответствие нижней и верхней частей его лица. Глаза де Блиньяка светились от двойного влияния: вина и веселости, но он напрасно показывал свои короткие, острые, как у кота, зубы. Ему не удавалась улыбка своими тонкими губами, концы которых сильно спускались к подбородку. Поэтому, несмотря на правильность черт, несмотря на победоносный склад усов, закрученные концы которых касались бровей, этот недостаток гармонии придавал довольно неприятный вид особе дворянина. Де Блиньяк носил цвета полка де ла Боассьер.

Второму из собеседников было не более двадцати лет. Он был одет весьма изысканно и с большим вкусом. Материал и покрой его платья, множество лент, которыми оно было украшено, представляли роскошь, которую редко можно было встретить далеко от двора.

Под внешним видом щеголя этот молодой человек сохранял всю наивность молодости. Его разговор, его манеры были лишены жеманства модных франтов того времени. Его лицо сохраняло простоту при выражении его чувств и мыслей. Он пользовался удовольствиями, может быть, для него новыми, со всем увлечением его возраста; разгоряченный, быть может, более шумом, чем вином, которое выпил, он соперничал с де Блиньяком в криках, хохоте, прибаутках; он с энтузиазмом

повторял все остроты старого служаки, и достаточно было только минуты наблюдения, чтобы убедиться, что эти двое господ были наиболее виновны в шуме, который раздражал добродетельных граждан города Дьеппа.

Третий собеседник не казался в таком веселом расположении духа, как двое первых.

Это был человек от двадцати пяти до тридцати лет, с лицом бледным и строгим. Прежде чем бросалась в глаза красота черт его лица, приводил в изумление оттенок меланхолии, отражавшийся на нем среди самого шумного веселья. Можно было представить, какие горести, какие преждевременные страдания избороздили его молодое чело столькими морщинами. Как и де Блиньяк, он принадлежал к полку де Ла Боассьер. Его телосложение ни в чем не уступало телосложению его сослуживца, но в нем была сила, недостававшая последнему: широкие плечи, высокая грудь, развитые мышцы молодого офицера бросались в глаза, как и пепельно-русый цвет волос, падавших на плечи, как и матовая прозрачность его лица – все это выражало неизгладимые приметы, которые народы севера передали своим потомкам.

Хотя он и прикладывался к стаканам, наполняемым де Блиньяком, присвоившим себе роль тамады, он сохранял все свое хладнокровие; и его веселость достаточно отличалась от веселья самого младшего и самого старшего из собеседников. Если он иногда и улыбался, то причиной этому было упоение весельем юноши: глядя на его прелестное личико, разгоревшееся от удовольствия, он вставал и обнимал его с нежностью, казавшейся в настоящее время странной, но бывшей в нравах той эпохи.

Де Блиньяк откупорил новую бутылку, наполнил свой стакан, заставил играть яхонтом вино в хрустальном стакане, поднимая и опуская его перед свечами, затем начал отпивать его маленькими глотками с видом знатока.

Белокурый офицер, которого, казалось, несколько уже минут выводила из терпения чрезмерная болтливость его собеседника, воспользовавшись временем отдыха, к которому вынудили его эти важные занятия, наклонился к молодому человеку:

– Итак, Поль, – сказал он ему, – ты только через год возвратишься в Новую Францию?

– Да, – отвечал тот, которого он назвал Полем, – и весь этот год я проведу подле тебя, мой добрый Шарль.

– Он покажется нам очень коротким, но очень продолжительным для твоей матери, любезное дитя мое.

– Счастье, несомненно, делает человека эгоистом, Шарль; мое сердце так переполнено мыслью, что я, наконец, на своей родине, истинной, единственной, к которой можно быть привязанным, я так счастлив снова тебя видеть, что я не думал так, как следовало бы думать о матери, плачущей и вздыхающей там в мое отсутствие.

– Бедная тетка!

– Хотя путешествие это было необходимо, важны интересы, требовавшие его; она долго противилась моим настоятельным просьбам. А, между тем, Господу Богу известно, были ли они убедительны, Шарль, потому что в уединении, в котором живем мы, прекрасная страна, так рано покинутая мною, кажется мне раем, и я боюсь умереть, не увидев ее еще раз.

– Ты слишком молод, ты слишком легкомысленный, любезный Поль, чтобы понять все страдания, разрывавшие ее сердце. Из всех близких разве не ты один остался? Ах, если бы я имел мать, которую мог бы любить, ничто бы не разлучило меня с нею. Когда расстаешься на Земле этой, разве знаешь – свидимся ли снова?

Сильное волнение выразилось на лице юноши, но де Блиньяк не дал ему времени ответить своему собеседнику. Этот разговор уже возбудил в достойном дворянине нетерпение. Он

несколько раз щелкнул языком для того, чтобы привести товарищей к обыкновенному порядку. Наконец, выйдя из терпения, воскликнул:

– Черт возьми, молодые друзья мои, мне кажется, что если вам остается провести вместе целый год, то у вас хватит времени, чтобы поверить друг другу свои маленькие тайны, и позвольте мне заметить вам, что неприлично оставлять меня в углу с физиономией бутылки, из которой извлечен весь сок. Это относится к вам, лейтенант де Лонгеваль, потому что ваш кузен, господин Берто, без сомнения, не позабыл бы правил приличия.

Офицер, которого де Блиньяк назвал де Лонгевалем и титуловал лейтенантом, пожал плечами.

– Позвольте мне, в свою очередь, мой любезный де Блиньяк, – сказал он, – восстановить согласие наших отношений; пятнадцать дней назад, Берто, мой двоюродный брат, прибыл из Америки и, успев только обнять меня, в тот же вечер отправился в Париж, где он должен был вручить де Мазарену депеши губернатора. Сегодня, в то время, когда мы с вами выходили из цитадели, тот же Берто сошел с лошади, бросился в мои объятия и пригласил меня к ужину, который ожидал его в «Сорвавшемся якоре». Как я могу вспомнить, это были вы, любезный кавалер, которого просили оказать честь быть нашим гостем. А между тем было естественно, что после столь долгой разлуки мы желали быть одни. Вы думали иначе – мы на это не жалуемся – но, по крайней мере, обвиняйте лишь самого себя за затруднительность вашего положения.

Луч бешенства сверкнул в глазах гасконца; резким движением руки он схватил стакан, но почти в ту же минуту, демонстрируя определенную силу воли, он подавил угрожающее выражение лица, и его рука изменила направление, поднесши стакан ко рту.

Он осушил его залпом, поставил на стол и продолжал со свойственным ему насмешливым простодушием:

– Вот как ценятся наилучшие чувства! Под влиянием моей искренней к вам дружбы, любезный де Лонгеваль, под влиянием необыкновенной симпатии, которую не знаю почему я чувствую к вашему юному кузену, думая, что ваши лета, ваша неопытность вас предназначали в жертвы этого ужасного отравителя, который называется Бодрилльяром, я попросил у вас позволения заняться распоряжением вашего ужина, и вот как вы перетолковываете мои милосердные намерения? Кровью Христовой, лейтенант, если бы не наша старинная дружба!..

Поль Берто поспешил вмешаться в разговор.

– Ваша правда, господин де Блиньяк, – воскликнул он, – и я считаю себя столько вам обязанным, что, если вы не найдете ничего нескромного в моей просьбе, думаю просить вашего могущественного посредничества в делах, которые буду иметь в продолжение года с Бодрилльяром, который так опасен.

Белокурый офицер нахмурил брови, но при этом предложении лицо гасконского дворянина прояснилось, и он довольно неприятно расхохотался.

– Не в обиду моему двоюродному брату Шарлю, – продолжал юноша, – я прибавлю, господин кавалер, что вы присоединились к нам весьма кстати. Он был в дурном расположении духа и вполне способен был испортить мне один из самых приятных вечеров в моей жизни.

– Поль!..

– Черт возьми! Видно, кузен, видно, что ты не приехал, как я, из диких стран. Ты ничего не понимаешь! Это счастье слышать, петь, ругать, клясться по-французски. Уже пятнадцать дней я как сумасшедший. Выходя из катера, который привез меня на материк, я кинулся на шею к первой попавшейся мне навстречу женщине и поцеловал ее три раза, когда вдруг заметил, что она стара и дурна.

При виде этого энтузиазма Шарль де Лонгеваль не мог удержаться от улыбки.

– Вы несчастливец, любезный господин Берто, – сказал барон де Блиньяк, – клянусь честью, хорошенькие девушки – не редкость в добром городе Дьеппе.

Господин де Блиньяк чокнулся с увлечением, которое показывало, что в этом тосте для него нет ничего небывалого.

– Да, – сказал белокурый офицер своему двоюродному брату, – если ты наведешь этого добряка де Блиньяка на тему его побед, то увидишь, что он будет стараться доказать нам, что он Купидон, переодетый в старого воина, чтобы избежать любви и ласк женщин.

– Если бы вы спросили у отцов и мужей предместья Полле, любезный де Лонгеваль, то узнали бы, что тот, кого вы называете старым воином, поопаснее некоторых молодых людей, прикрывающих свои неудачи маской равнодушия, которому никто не верит.

Горькая улыбка скользнула по губам того, к которому обратился де Блиньяк.

– Фи! Ваше предместье Полле, – воскликнул юноша, – при одном этом слове я ощущаю запах рыбы, который бросается мне в нос и душит меня. Ей Богу, барон, я считал ваших прекрасных подруг совсем другого класса. Расскажите мне о придворных дамах, столь возвышенных, столь благородных, с их лебедиными шеями, их руками белизны слоновой кости, видневшимися из волн кружев, с их тонким и стройным станом, облаченным в шелк и бархат. Ах, я понимаю, что мы пренебрегаем вечным проклятием из-за этих красавиц, гордые взгляды которых как бы нехотя склоняются к простым смертным, как мы с вами. Я их видел только мельком, но не переставал мечтать о них.

– Ей Богу, – сказал де Блиньяк, изъявляя жестом свое согласие, – вы тонкий малый. К черту, с таким множеством способностей, почему вы не попросите у господина де Маза-

рена корнетство в полку де Ла Боассьер? Раньше года, если бы этот «восьмой мудрец Греции», которому вы приходитесь двоюродным братом, не препятствовал моим урокам, я бы сделал из вас безукоризненного дворянина…

– Искренне благодарен вам за ваши милосердные намерения, любезный де Блиньяк, но мой двоюродный брат уже на службе.

– На службе? Но вы мне тогда говорили, что господин Берто путешествует по своей охоте на корабле, который снимается с якоря только по его приказанию.

– Он, – продолжал лейтенант, – состоит на службе у господина, который никогда не совершает несправедливостей, никогда не показал себя неблагодарным, и который вознаграждает тех, кто посвящает себя его интересам в справедливой соразмерности усердия и заслуг.

Де Блиньяк вздохнул. Это, вероятно, означало, что он никогда не встречал в своей карьере подобного начальника.

– Как называется этот феникс из королей? – спросил он.

– Он называется Коффр-Фор.

При этом слове глаза гасконского дворянина забегали в своих орбитах и заметали искры.

– Я вас не понимаю, – пробормотал он.

– Я растолкую вам загадку, – сказал молодой человек, – под которой Шарль представил вам мое положение. Мой отец был одним из директоров могущественной ассоциации, которую называют «Обществом Новой Франции» и которая разрабатывает канадские месторождения. Я имел несчастье потерять своего отца и, весьма естественно, что вместе с огромным состоянием я приобрел положение в свете, которое дает мне возможность удвоить его.

Де Блиньяк погрузился в мечтания.

– Черт возьми, – сказал он дрожащим голосом, – и это общество? Каким образом вступить в него человеку благонамеренному, который этого желает?

Его лицо, которое яркой краской покрыла алчность, сияло, как кастрюля из красной меди, и так явно выражало жадность, которую породили в его душе эти подробности, что Поль Берто и его двоюродный брат одновременно разразились громким смехом.

Де Блиньяк закусил губы и продолжал с притворным равнодушием:

– Эта разработка «Новой Франции», о которой вы только что говорили, называется торговлей, а дворянин не может принимать в ней участия, не изменяя себе. Мы не бретонцы.

– Баста, мой бедный де Блиньяк, – сказал Шарль де Лонгеваль, – ваши три серебряные монеты на лазоревом поле, представляют ваш щит, походящий на мерлетты, украшающие мой герб, и весьма нуждаются в позолоте.

– И на самом деле, – сказал гасконец, с уверенностью показывавшей, что, несмотря на возражение самому себе, он далеко не считал дело невозможным, – почему бы вам не отправиться с нами, лейтенант?

– Это другое дело, – отвечал офицер, лицо которого помрачнело, – к моей ноге прикреплено ядро, которое мешает мне переступить борт судна.

– Ну! – воскликнул Поль, – Шарль начинает свою песенку de profundis. В первый раз вы оплошали, де Блиньяк, у нас нет вина!

– Бодрилльяр! Эй, Бодрилльяр! – заревел гасконский дворянин с поспешностью, доказывавшей его сокрушение. – Трактирщик проклятый! Тройной плут, явишься ли ты, когда зовут тебя?..

Кавалер де Блиньяк не успел еще закончить фразу, как Бодрилльяр явился на пороге в подобострастной и униженной позе, что бесспорно доказывало, что старый офицер не напрасно хвастался своим влиянием над трактирщиком.

– Бодрилльяр, подойди и поклонись, – продолжал де Блиньяк, – ты в эту минуту пользуешься честью иметь в своем

доме молодого барина, знаменитее всех дворянчиков виконтства, потому что он так богат, что, если захочет, может купить все их дворянства. Кроме того, он мой друг. Потому старайся, чтобы ему было оказано все внимание, которое требуют его достоинства. Когда он спросит вина, то не подавай пикетта, или я пришлю к тебе шалунов, которые так хорошо подбрасывают на скатертях.

Бодрилльяр поклонился с подобострастным видом, внушенным ему как сообщенными подробностями, так и угрозами де Блиньяка.

– А теперь, – еще прибавил последний, – принеси нам еще несколько бутылок нектара, который был бы своими качествами повыше того, который ты уже подавал нам.

– Но, – пробормотал трактирщик, – я осмелюсь заметить господину барону, что вино, которое я предложил их почтенной компании, было наилучшее, которое я только имею, и…

– Без возражений, вино должно быть наравне с весельем, crescendo, как говорят наши соседи итальянцы. Вина и карт!

– Карт, к чему это? – спросил Шарль де Лонгеваль.

– Закончить вечер подобным образом, без партии ландскнехта! Мой любезный, как человека, имевшего честь принадлежать к флагам судов Его Величества, и к полку де Ла Боассьер, я вас нисколько не понимаю!

– Как вам угодно, любезный мой де Блиньяк, – отвечал лейтенант, – но ландскнехт вдвоем, я думаю, что это будет немного скучновато.

– Вдвоем?

– Вы забыли, любезный кавалер, что я никогда не играю.

– Это, черт возьми, правда! Убирайтесь ко всем чертям, вы пошли не по той дороге, мой друг; ряса пристала бы вам лучше казаки.

– Быть может, я когда-нибудь надену ее, из угождения вам, кавалер, но вы не получите третьего для вашего ландскнехта.

– Черт возьми! Я должен добыть его. Эй! Бодриллъяр, в твоей гостинице должен же быть путешественник, имеющий несколько пистолей, которыми может поменяться с нашими! Пойди, попроси его, и если он будет жаловаться на то, что его разбудили, то ты это отметишь в своем счете: мой знаменитый друг, господин Берто, не торгуется.

Бодриллъяр мешкал.

– Черт возьми! – сказал кавалер де Блиньяк. – Случай умнее тебя, Бодриллъяр, потому что вот он посылает нам того, кто нам нужен. Пойди навстречу путешественнику и, кто бы он ни был, приведи его к нам.

Трактирщик повиновался, и несколько минут спустя человек, закутанный до глаз в большой красный суконный плащ, остановился на пороге зала.

Увидев трех офицеров, он колебался – идти ли ему далее.

Но де Блиньяк указал ему таким грациозным жестом на блюда и огонь, так весело сверкавший в камине, что пришелец решился войти в комнату и приблизиться к очагу, низко поклонившись тем, которые так радушно пригласили его.

Он снял свой мокрый плащ, а гасконец, не терявший времени попусту, рассматривая пришельца, тотчас же заметил, что он имел у пояса, подле рапиры страшных размеров, приятно округленный кошелек, из которого при каждом движении его владельца раздавался звук, приятно щекотавший уши.

Де Блиньяк сладко прищурил глаза, как кот, который чувствует мышь под каждой лапой.

Незнакомец был почти старик.

Его длинная борода, его курчавые волосы, коротко остриженные, окаймлявшие его низкий, но широкий лоб, имели тот сероватый оттенок, которому игра света иногда придавала металлический отлив.

Роста он был среднего. Умеренная полнота придавала округлость его частям тела; однако мускулистая шея, широкие

плечи и грудь, быстрая походка, твердость, с которой его мускулистые ноги ступали по земле, – все это доказывало, что он сохранил всю живость молодости.

Его одежда весьма походила на костюм солдата: она состояла из суконной куртки темно-красного цвета, поверх которой была надета казака из буйволовой кожи без рукавов, покрывавшая его грудь. Штаны, из той же ткани что и куртка, терялись в кожаных высоких штиблетах с разрезом сбоку, покрывавших ногу от колена до башмаков, которыми и в настоящее время нормандцы заменяют свои верховые башмаки.

Поза пришельца выражала замешательство, составлявшее резкий и странный контраст с почти дикой суровостью его выражения лица.

Он стоял у камина, грея свои широкие руки, и взгляд его, устремленный на пламя, как будто фантастическая игра огненных спиралей или треск горевших в камине головней поглотили все его внимание.

Один или два раза он поднял глаза, и Поль Берто был поражен их злым выражением.

Хотя лицо пришельца было спокойно, его глаза сверкали из-под его густых и седых ресниц; они метали лучи, подобные тем, которые производит лезвие свистящей в воздухе шпаги, прежде чем она падает для удара и, как эта сталь, они имели нечто острое, входящее в тело и проникавшее в сердце.

Не будучи в состоянии объяснить своих впечатлений, молодые люди при виде этого человека ощущали необъяснимое смущение; они рассматривали его с любопытством, которое походило на оцепенение.

Один только кавалер де Блиньяк не утратил своей веселости: он поставил прибор, установил бутылки, восстановил общую гармонию, несколько нарушенную начатыми блюдами с ловкостью, которой, без сомнения, позавидовал бы сам Бодрилльяр.

Путешественник первым прервал молчание.

Он, казалось, сделал усилие над самим собой и обратился к трем собеседникам:

– Поблагодарив вас, господа, за вашу учтивость, мне остается узнать, чем я могу служить вам.

В эту минуту гасконец придвинул к столу скамейку и смотрел на свои гастрономические расположения с гордым самодовольством.

– Чтобы вы сели на это место, – отвечал он, – спиной к огню и вашей правой облокотились на этот батальон бутылок, который будет резервом; затем, чтобы вы расширили брешь в этом пироге, чтобы вы сделали к нему приступ, после чего вам придется еще взять на помощь оружие против этой вьюшки под раковым соусом. Наведите свою артиллерию, – продолжал де Блиньяк, опустошая целую бутылку в самый большой кубок, который он только мог найти, – в припасах не будет недостатка.

– Это слишком много для такого человека, как я, господа, какое бы ни было мое звание, – возразил пришелец. – Хотя я и не такой дворянин, как вы, но имею обыкновение принимать только то, чем могу расплатиться сам.

– Итак, черт возьми! Нет ничего проще и легче устроить, – сказал гасконец, – вы ужинаете сегодня за наш счет, а завтра мы будем обедать за ваш!

– Нет, нет, милостивый государь, – отвечал незнакомец мрачным и насмешливым голосом, – никогда не осмелюсь я пригласить людей вашего круга переступить порог моего скромного жилища.

– Погодите! Вы думаете, что находитесь в обществе нескольких господчиков, зараженных своим дворянством, которые считают унизительным чокнуться стаканами с добрым товарищем? Вовсе нет. Какое нам дело до чаши, если только она велика, и если мы любим, чтобы вино было не вчерашнее, то это только потому, что древность происхождения увеличивает его достоинства. Пейте и ешьте, любезный

господин мой, я даю вам честное слово дворянина, что в ваш дом, хотя бы он стоял на одной из мерзейших улиц ада, в тот день, когда вы пригласите меня к вашему столу, я явлюсь немедленно.

Поль Берто присоединил свои просьбы к просьбам гасконца. Молодой человек все еще молча рассматривал незнакомца.

Этот не заставил просить себя более. Он сел на скамью, и огромный кусок пирога, который лежал перед ним на тарелке, не замедлил исчезнуть.

Но к крайнему удивлению гасконца, вместо того чтобы взять кубок чудовищных размеров, который де Блиньяк наполнил до края вином, незнакомец протянул руку, взял жбан с водой, к которому собеседники еще не прикасались, налил стакан и поднес его ко рту.

Де Блиньяк онемел и стал как парализованный при виде этого.

– Как, – вскричал он, – из такого множества бутылок вы вот какую выбираете!

– Почему нет? Я никогда не пью вина, милостивый государь, – отвечал простодушно пришелец.

– Вы не пьете вина? А, черт возьми, я хочу знать причину этого!

– Что вам за дело? Быть может потому, что оно красного цвета, – отвечал глухим голосом незнакомец.

Лицо де Блиньяка при виде такой умеренности, разрушавшей все его планы, которые он, казалось, наметил, выражало такую комическую горечь, что Поль Берто не мог воздержаться от взрыва смеха.

Пришелец подумал, что над ним насмехаются: его брови нахмурились, и с быстротой мысли он схватился за рукоять своей шпаги.

Молодой офицер удержал его руку и, внезапно успокоившись, этот человек вложил лезвие в ножны. Тогда,

обратившись к трем собеседникам и приняв почтительное положение, которое столь же мало согласовывалось с угрожающим выражением его лица, как и с дрожащим и отрывистым произношением каждого слова:

– Извините, господа, – сказал он, – вы молодые дворяне, отыскивающие развлечения, я – бедняк, который не может иметь возможность сразиться с вами, даже если бы вам было угодно забавляться на мой счет. Однако в своем низком звании я сохранил еще достаточно гордости, чтобы отгадать обиду в каждой из ваших шуток. Потому позвольте мне возвратиться к своему прежнему положению и удалиться в комнату, которая для меня приготовлена в этой гостинице.

Болезненное волнение незнакомца, умеренность, с которой выражался его справедливый гнев, тронули Поля Берто и его двоюродного брата.

– Милостивый государь, – сказал последний, – нам следует извиниться перед вами: я ни за что не хочу, чтобы вы считали меня виновником безрассудства, выбравшим жертвой человека, носящего шпагу, который, если, может быть, и не дворянин, но, вероятно, солдат.

– Откровенное объяснение, милостивый государь, нас тотчас же оправдает, – прибавил Поль Берто, – вежливость нашего друга де Блиньяка не была так бескорыстна, как вы могли подумать, он надеялся…

Гасконец считал необходимым вмешаться.

– И теперь еще надеется, – вскричал он, с живостью тасуя несколько колод карт, которые положил на стол трактирщик, – да, милостивый государь, если я выразил некоторое удивление к вашему вкусу, к напитку, который, по моему мнению, низводит человека до степени животного, я, тем не менее, узнал по величественному жесту, с которым вы схватились за рукоять орудия дворянина, что вы вовсе не такого обыкновенного происхождения, как хотите уверить нас, я остаюсь уверенным, что вы после ужина одобрите то, что нуж-

но делать честным дворянинам вместо того, чтобы терять драгоценное время, уединенно почивая под двумя одеялами в постели.

– Действительно, они могут употребить его, чтобы потерять свои деньги.

– Или выиграть их у своего ближнего, – возразил де Блиньяк, гордо побрякивая несколькими монетами, находившимися в кармане его штанов. – Вы отгадали, не стану скрывать более. Увидев вас, я сказал самому себе: вот услужливый человек, который не откажет мне и моему другу, господину Берто, в нескольких ставках; и чем я ближе узнаю вас, тем я делаюсь уверенней, что не ошибся.

– Вы не проницательны, господин кавалер.

– Одну минуту, – возразил гасконец, вовсе не бывший человеком, который вследствие одного двусмысленного слова отказался бы от своей мысли, – я должен, милостивый государь, сказать вам, что преследующее меня несчастье подтверждает пословицу, которая вам так же хорошо известна, как и мне. Обыкновенно, кому везет в любви, тому не везет в игре. Я вам предлагаю верный случай обогатиться и считаю вас человеком слишком рассудительным, чтобы вы отказались использовать его.

– Точно, – сказал незнакомец, уже несколько минут не спускавший своего проницательного взгляда с де Блиньяка, – точно, вам до сих пор не благоприятствовал случай, хотя вы никогда, как мне кажется, не упускали испытать его.

– Почему вы так хорошо знаете это? – спросил гасконец.

Странная улыбка скользнула по губам его собеседника, глаза которого оставались по-прежнему устремленными на кавалера.

– Господин кавалер, – возразил он, – я остаюсь должником вашим, и чтобы выразить признательность за благосклонный прием, который мне был оказан вами и вашими друзьями, я попрошу вашего позволения дать вам скромный совет.

– А не довольно ли того, – сказал де Блиньяк, – что вы отказались от ландскнехта и хотите заменить его поучительной беседой?

– Оставьте игру, господин кавалер де Блиньяк, – сказал глухим голосом незнакомец.

Гасконец захохотал.

– А! Вот прекрасная шутка, – воскликнул он, – но признаюсь, выдумка недурна, это внушает вам нежная привязанность к этой сумочке, округленной подобно Женовефену. Строгость, таинственный характер ваших советов вам кажутся превосходным средством разом уничтожить охоту, которую я задумал. Берто – любезный мой господин. Вы об этом не подумали? Оставить игру, черт возьми! Блиньяк улыбается при своей последней пистоле и никогда не отчаивается завладеть новыми.

– Я слишком хорошо знаю человеческое сердце, чтобы предвидеть смысл, который вы дадите моим советам; однако повторяю еще раз – оставьте игру, господин кавалер де Блиньяк.

– Почему? Посмотрим, – сказал гасконец, облокачиваясь на стол и принимая притворно веселый вид, – вы подняли один край вашей маски, чтобы показать нам нос брата проповедника, я хочу, в свою очередь, убедиться, что вы не употребляете во зло вышесказанное качество, и прошу вас начать свое вступление в проповедь.

– Не правда ли, господин кавалер де Блиньяк, что до сих пор игра была для вас крайне несчастной?

– После признания, которое я только что вам открыл, то, что вы говорите, не показывает, чтобы вы были великим клириком.

– Неожиданная смерть старшего брата сделала вас, младшего, наследником ваших предков. Господин де Блиньяк, где ваше наследство?

– Растаяло подобно снегам полуденным, как выразился Клеман Маро, – возразил кавалер, – но вы, кажется, знаете меня, любезный господин мой, и потому нет ничего удивительного, что вы рассказываете мою историю.

– Где делся вклад в монастырь ваших двух племянниц, предназначенных для монашеской жизни?

– Господь Бог принял их и без вклада, и это слишком большая честь для них, чтобы они могли о том сетовать. Это все?

– Немного терпения, господин кавалер, во время смут Фронды, вы, кажется, были ефрейтором в полку господина Кориненского.

– Черт возьми, – сказал Поль Берто, – вы, кажется, встречались с господином кавалером де Блиньяком.

– Господин герцог де Бофор, – продолжал незнакомец, – весьма любил вас, вы были добрым и храбрым товарищем: этого достаточно, чтобы понравиться внуку Генриха IV. Ваша болтливость была ему так дорога, что он оказал вам честь, которую вы только что хотели сделать мне. Дела шли так хорошо, что вы с каждым днем входили более в милость; к несчастью, этот знаменитый господин де Бофор унаследовал от своего деда презрение ко всему, что походило на поражение. Он проигрывал партию за партией и разгадал, что кости поддельные. Я не верю этому, но если основываться на том, что в то время рассказывали, то дурное расположение духа короля des Halles удивительно поменяло роли. Из бьющих вы стали битым, господин кавалер.

Гасконец, лицо которого попеременно принимало все цвета радуги, изрекая ужасное проклятие, и прежде чем товарищи подумали удержать его, он обнажил шпагу и бросился на незнакомца.

Лицо его сохранило свое насмешливое выражение и не обнаружило ни малейшего волнения; он протянул руку и сдавил своей широкой рукой кулаки кавалера де Блиньяка с

такой силой, что тот, не будучи в состоянии удержаться от крика боли, выпустил из руки свое орудие, которое со звоном упало на пол.

– Ты лжешь, – заревел гасконец, – если бы это случилось так, как ты рассказываешь, несмотря на то, что он был герцог, сын короля, я бы, наверное, потребовал от де Бофора объяснения.

– Вы так и сделали, потому что столь же самоуверенны, сколь храбры; но результатом вашего вызова было только то, что вас отвели в Бастилию, вследствие чего вы лишились случая получить командование ротой, которое вам обещал де Монтиньи в своем полку. Ваша ли это история и хорошо ли я знаю все, что вас касается, господин кавалер де Блиньяк?

– Тьфу ты черт, – сказал Поль Берто, – мне кажется, что вы веселитесь не так, как предполагали, господин де Блиньяк.

Де Блиньяк скорчил весьма кислую мину и подошел к незнакомцу.

– Кто вы, – спросил он его? – Я перерыл всю свою память и не мог найти в ней воспоминания ваших черт лица и вашей особы.

– Это весьма естественно, господин кавалер. Дворянин, как вы, пресмыкаясь, проходит мимо насекомого, не замечая его.

– Это притворное унижение не обманет меня, милостивый государь. Где вы узнали все эти подробности о тех лицах, о которых вы только что говорили?

– Господин кавалер, – отвечал незнакомец тем же саркастическим тоном, – насекомое, с которым я себя сравнил, между былинок травы, скрывающей его, глядит на светила, и малейшее расстройство запечатляется в его памяти.

– Все это не говорит мне о вашем имени, а я именно его хочу знать.

– Вы о нем не спрашивали, когда пригласили меня сесть за ваш стол; теперь я имею право в этом вам отказать.

– Я его узнаю, черт возьми, – воскликнул кавалер, подняв шпагу, встав в позицию и, топнув два раза ногой в виде вызова, обнажил свою рапиру. – Обманщик, защищайся!

Молодой товарищ де Бліньяка бросился между ним и незнакомцем, который стоял, скрестив руки, но не сделал ни одного движения.

– К моему величайшему сожалению, – сказал он своим твердым и убедительным голосом, – я должен буду заступиться за этого господина и встать против вас, любезный де Бліньяк: ваши недавние намерения были столь мало милосердны, что ваш настоящий гнев имеет вид весьма неприятный.

– Равная партия, черт возьми, – воскликнул гасконец, – ко мне, ко мне, любезный господин Берто, славная дуэль! Вот что еще лучше ландскнехта!

Юноша разразился смехом.

– Обнажать шпагу против моего брата? Вы с ума сошли, кавалер! Решительно вам не везет в эту ночь, и счастье для ваших экю, что мы отказались играть. Вложите в ножны, вложите в ножны! Что за дьявольщина! Не можете же вы драться с человеком, который защищается не более столба, врытого в землю, в который пускают дротиками!

– Я тебя отыщу, обманщик!

– Да сохранит вас от этого Господь Бог, кавалер, – сказал незнакомец, – а теперь позвольте мне объясниться. Если я вам напомнил ваше прошлое, которое, по-видимому, вам неприятно, то я только хотел заставить вас обратить некоторое внимание на мои слова, когда я говорил вам о будущем.

– О будущем, – повторили в одно время все трое.

– Да, господа, о будущем, – повторил незнакомец простым, но уверенным голосом.

В одну секунду всякий след гнева исчез с лица де Бліньяка.

– Именем Господа Бога, – воскликнул он, – вы астролог этого повесы Консини, последнего во Франции? Но я думал,

что его повесили на Гревской площади, а предварительно сожгли его любовницу.

– Я вовсе не астролог, господин кавалер, я просто человек, который наблюдает, сравнивает, припоминает и – ничего более.

– И что будет со мной, если я пренебрегу вашими советами.

– Вас постигнет несчастье, какое еще до сих пор с вами не случалось.

– Это очень неопределенно, милостивый государь, и вы должны быть еще столь любезны, чтобы указать мне камень, о который я споткнусь.

– Вы за вашу страсть, лишившую вас состояния, обесславившую ваше звание солдата, поплатитесь жизнью, господин кавалер де Блиньяк.

– Я, может быть, задохнусь от волнения, выиграв сто тысяч пистолей у Мазарена, и затем последует паралич?

– Нет, милостивый государь, вы умрете насильственной смертью.

– Такая смерть – достойная солдата, и я благодарю вас, мой любезный, за предсказание. – Не благодарите меня так, господин кавалер, – возразил незнакомец, – потому что я должен прибавить, что вы умрете через веревку.

– На виселице?

– На виселице.

– Это менее вероятно, любезный господин мой, потому что вам должно быть известно, что я – дворянин, а дворян не вешают.

– Я ничего не объясняю, господин кавалер, я говорю и ничего более.

– Клянусь честью, милостивый государь, – сказал Поль Берто, подойдя к незнакомцу, – вы, верно, скажете и мне что-нибудь?

– После того что я сказал вашему товарищу, – отвечал он, – ваше любопытство, милостивый государь, слишком отважно.

Говоря эти слова, он взял руку молодого человека и внимательно рассматривал ее линии.

В это время вмешался кавалер де Блиньяк.

– Я предупреждаю вас, милостивый государь, – сказал он, – что этот второй опыт не будет иметь для меня ничего убедительного. Легко разгадать лицо, которое, как мое, носит отпечаток всех страстей своего хозяина; так же легко наобум читать и на лице юноши, которому двадцать лет, затем, обладая небольшой проницательностью и некоторым воображением, легко сделать предсказание, которое не лишено правдоподобия, и таким образом рассказывать сказочки честным людям. Вы хотите, чтобы я питал полное доверие к перспективе, которую вы открыли на моем горизонте, чтобы считать себя повешенным, как был повешен покойный Иуда Искариот? Испытайте свои знания на мраморном облике моего товарища; объясните нам причину печали, которая облекает его чело большим количеством туч. Если вы откроете то, чего я тщетно добиваюсь уже три года, с тех пор как он стал моим сослуживцем, я поверю кабалистике, как во времена Катерины Медичи.

Шарль де Лонгеваль подал в свою очередь руку. Незнакомец лишь только успел овладеть ею, как погрузился в лихорадочное созерцание того, что имеет характер феномена.

– Странно! Странно! – бормотал он.

– Ну, что же, черт возьми, – сказал гасконец, – что, не сбивается ли с толку ваша тарабарщина?

Незнакомец встал, его мрачное лицо выражало неопределенное волнение.

– Вы рождены под жестоким созвездием, милостивый государь, – сказал он вполголоса, – и по морщинам вашего лба и по глубоким бороздам вашей руки я отгадываю вашу

жизнь, управляемую фатализмом, какое мы встречаем не часто.

– Гм! Гм! – сказал кавалер де Блиньяк, – вот безобидное предсказание.

– Тише! – вскричал молодой офицер.

– Вы любили; предмет вашей любви стал к вам еще ближе через узы родства, и эта привязанность, столь чистая, сделалась преступлением… Вы хотели бежать, вы отделили себя пространством морей от той, которая уже не могла принадлежать вам, – все напрасно. Ее образ преследовал вас постоянно, без пощады. Испытания были выше сил вашего возраста, и вы не могли противостоять соблазну.

Настал час, когда, чтоб только увидеть ее, вы рискнули бы своей жизнью. Она также ожидала вас, она также страдала, она требовала вашей опоры, она умоляла вас приблизиться к ней. Вы повиновались, и с этой минуты ваше существование было жестокой борьбой между долгом и страстью. Эта страсть, вы и в эту минуту стараетесь подавить ее, возбуждала в вашем сердце другие ощущения.

– Довольно, довольно, будьте так добры, милостивый государь! – сказал молодой человек задыхающимся голосом.

Поль Берто побледнел, как мертвец.

Де Блиньяк поднял пробку и машинально щипал ее, не теряя из виду действующих лиц этой сцены.

Все четверо оставались безмолвными в продолжение нескольких минут. Незнакомец первый прервал молчание.

– Мне жаль, милостивый государь, – сказал он, обращаясь к молодому офицеру, отиравшему крупные капли пота, выступившие на его лбу, – мне жаль, что я растравил раны вашего сердца из-за того, чтобы ответить на вызов, который мне сделал господин кавалер де Блиньяк, и я прошу у вас прощения.

– Милостивый государь, – отвечал Шарль де Лонгеваль, ходивший уже несколько минут в волнении по залу, – вы мне

говорили только о прошедшем, и это прошедшее достаточно мрачно, чтобы вы дали мне право спросить вас о будущем. Потому прошу вас, исполните мою просьбу.

Незнакомец взял свой плащ и накинул его на плечи.

– Позвольте мне удалиться, – сказал он, – позвольте мне уйти, молодой человек. Поверьте, мне не поднять тяжелую завесу, которую Провидение поместило между моими глазами и остатком ваших дней. Если я открыл де Блиньяку участь, которая, по моим предположениям, должна постигнуть его, то это потому, что вы не подозревали, что де Блиньяк – мой старый знакомый, которому я должен был отплатить за старую вражду. Но вы отстранили лезвие, угрожавшее моему колету. Еще раз прошу вас, – позвольте мне удалиться.

– Ни под каким видом. Напротив, я буду просить вас ради оказанной услуги объясниться.

– Пусть так, я буду говорить. К тому же, если я и умею угадывать на лбу человека таинственные знаки кабалистической планисферы, то я недостаточно безумен, чтобы полагать, что моя наука безошибочна. Если я и верю в человеческое предопределение, то я в то же время христианин, и верю, что святая воля и милосердие Всевышнего могут изменить это предсказание. Я буду говорить.

Офицер старался улыбнуться.

– То, что вы хотите сказать мне, должно быть очень страшно, судя по вступлению, которое вы сделали до объяснения. Этот фатализм, который вы открыли в моем гороскопе, следовательно, будет преследовать меня до конца моей жизни?

– Он последует за вами за пределы могилы, он распространится на ваш род.

– И в продолжение моей жизни?

Незнакомец колебался, он сделался столь же бледным, как окружавшие его, и веки его, движимые судорожным дрожанием, то поднимались, то опускались на глаза.

– Вы любите этого молодого человека? – вдруг воскликнул он.

– Это мой кузен, мой друг, мой брат.

– Итак! Этому молодому человеку суждено погибнуть от вашей руки.

Офицер оставался в продолжение нескольких секунд безмолвным, обводя все вокруг себя диким взором, как будто он не понял в чем дело; затем он обнял своими руками шею Поля Берто и, прижав его с непреодолимой горячностью к сердцу, проговорил голосом, который подавлял рыдания в гортани:

– Поль, мой Поль, мой единственный друг, мне сделаться твоим убийцей!

– Можно убивать, не будучи убийцей, милостивый государь, – возразил незнакомец грубым и жестким тоном.

– Я вас не понимаю.

– Даже сам палач – не смертоубийца, милостивый государь, разве вы этого не знаете?

Офицер упал без чувств на стул, и между тем как Поль Берто старался привести его в чувство, между тем как кавалер де Блиньяк заменил пробку игрою карт, разрывая их на кусочки и методически бросая их в огонь, незнакомец вышел из зала, и его тяжелые шаги послышались на лестнице первого этажа.

Глава IV
Проклятая Ограда

Предсказание, открывшее моему предку участь, его ожидавшую, имело значительное влияние на его ум.

Десять лет, которые он постоянно мечтал о единственном чувстве; деятельные силы его рассудка потеряли всю свою

власть, он без всякого сопротивления предавался оживлению своих впечатлений.

Он был слишком умен, чтобы полностью поверить словам незнакомца, и между тем он не мог воспрепятствовать, чтобы они не раздавались постоянно в его ушах, и если ему днем удавалось подавить воспоминание о них, то ночью они завладевали им, наводняли его сон ужасными кошмарами, и мало-помалу под влиянием этих мыслей, уверенность, что он не избежит своей участи, овладевала его рассудком.

Он до этих пор равнодушно смотрел на удовольствия и веселье своих товарищей, а со времени происшествия в «Сорвавшемся якоре» общество товарищей сделалось ему ненавистным. Он бежал, заслышав лишь их голоса. Если иногда дела сближали его с ними на несколько часов, то он, едва сказав несколько слов, спешил снова уединиться.

Его обращение с юношей, которому, как мы видели, он расточал столько нежных ласк, было чрезвычайно странно. Когда он встречался с ним, то по волнению, отражавшемуся на его лице, нежности, с которой он глядел на него, было очевидно, что привязанность его к молодому человеку нисколько не изменилась, а между тем он всячески старался избегать его.

Поль Берто боролся с этими непонятными для него чувствами. Он нисколько не полагал, чтобы ничтожное предсказание могло иметь в нравственном отношении какое-либо влияние на его опасения: он приписывал это какой-либо тайной печали и, стараясь обрести доверие своего двоюродного брата, заклинал его облегчить свои страдания, доверив их самому верному и преданному другу.

Шарль всегда сочувствовал этим нежным и настоятельным просьбам. Из его глаз катились слезы, текли по щекам, и Поль чувствовал, как дрожала рука, сжимавшая его руку. Иногда молодой офицер, не стараясь скрыть своих слез, орошавших его лицо, бросался в объятия своего друга,

прижимал его к своему сердцу со всем выражением признательности, и молодой креол думал, что он откроет ему свою душу, но как бы ни были убедительны просьбы, с которыми он к нему обращался, они всегда были тщетны, и Шарль продолжал упорствовать в своем молчании, как и в своем уединении.

Поль Берто был столь же горяч, сколь молод. Уединение, в котором жил Шарль де Лонгеваль, предоставило его двоюродного брата в полное распоряжение кавалера де Блиньяка. Последний, не видя никого, кто бы мог воспрепятствовать его наставническим намерениям, сделался ментором молодого креола и вел его по пути, который без сомнения возмутил бы добродетельные инстинкты сына Улисса.

Впоследствии, во второй части истории Шарля Сансона, я расскажу, какие пагубные последствия имела эта связь для двоюродного брата моего предка.

В эпоху, о которой мы говорим, упоение от удовольствий если и не уменьшило привязанность Поля к его двоюродному брату, то оно уменьшило на него влияние Шарля.

Между тем известия, которые Шарль Сансон получал из Аббевиля, еще более увеличили его страдания.

Из писем Коломбы было видно, что состояние здоровья Жана-Баптиста делалось с каждым днем все хуже.

Вот одно из этих писем.

«Шарль, брат мой, почему нужно мне умолять вас, просить, как милостыню, вспоминать нас? Почему я недостойна вашей дружбы?

Если сердце ваше возмущается при голосе той, которая считает себя вашей вернейшей подругой, почему остается оно нечувствительным для голоса того, кто соединяет нас в этой и в лучшей жизни. Ваш любимый брат страдает так жестоко. Все его ночи бессонны, и он в продолжение их сетует на то, что его оставил родной брат, не посылающий ему ни одного утешительного слова.

С четверга 24 числа настоящего месяца болезнь его очень усилилась. Я прошу Господа Бога, чтобы Он по Своей священной воле взял от меня жизнь взамен жизни моего супруга, – это мой долг как супруги и христианки, – но уже давно Всевышний не внемлет моим мольбам.

Я не чувствую в себе мужества, которое придали мне другие несчастья, так грустно и тяжко слышать как плачет страдалец и не быть в состоянии помочь ему. Почему вы вовсе не пишете нам, брат мои? Разве вы так изменились, что совершенно позабыли тех, которые так любили вас? Пишите вашему брату, Шарль. Я согласна, если это нужно, пожертвовать вашей дружбой, и клянусь вам, что если Создатель может меня лишить той опоры, которую Он дал мне, я никогда не стану беспокоить вас.

Но чтобы, по крайней мере, не был лишен вашей дружбы тот, для кого она составляет единственное благо, и если, волею Господа Бога, настанет для него последний час, – доставьте ему утешение, чтобы он мог благословить вас вместе со мной.

31 мая 1862 года.

Коломба Сансон».

Легко представить себе, какое влияние имели эти трогательные укоры на уже и так возбужденную душу Шарля Сансона.

При мысли, что навсегда потеряет любимого брата, он проливал искренние слезы, но в то же время другая мысль ускоряла биение его артерий и переполняла жестокими страданиями его сердце.

Он с ужасом вспомнил о том, что произошло между ним и Коломбой в тот день, когда он покинул ее; в этом воспоминании он черпал сознание своей слабости и суетность своих намерений и не смел задать себе вопроса, что будет с ним, когда рука Господа Бога уничтожит препятствие, перед которым его страсть отступила.

И как будто недостаточно было этих терзаний, чтобы удручить его, – к ним присоединились мелкие, но тягостные заботы о существовании тех, кто ему был дорог, и они грызли и щемили его сердце.

Болезнь Жана-Баптиста истощила последние средства несчастного семейства.

Шарль послал своему брату небольшую сумму денег, которую он имел при себе, но понял из молчания Коломбы в ее письмах, что эта помощь далеко не покрыла нужды, возраставшей по мере хода болезни брата. Его стесненное сердце хотело свою долю слез смешать со слезами, которые там, на Севере, льются у изголовья бедного слепца, оно перенесло его в ту комнату, малейшие подробности которой он столь хорошо помнил. Подле призрака смерти, приближавшегося к его брату, он увидел призрак, не менее ужасный, – призрак нищеты, и этот последний прикасался своими перстами к Коломбе, к Коломбе, для которой, как ему всегда казалось, Господь создал все богатства света.

Он отвечал своей свояченице, потому что я нашел два письма Сансона к Коломбе от июня месяца 1662 года. Многие черновые письма и копии руки Шарля, которые все относятся до болезни его брата, и большое число бумаг, на которых были начертаны фразы, во многих местах перечеркнутые, которые показывают, как дорого было ему все то, что напоминало о первой любви его юности.

Однажды после обеда, когда мой прадед возвратился домой, он нашел на пороге своего жилища посланника, ожидавшего его.

Последний вручил ему письмо.

Едва взглянув на подпись, он побледнел, как полотно, покачнулся, и если бы не скамейка, на которой сидел посланник, то он упал бы на землю.

Он узнал руку жены своего брата и строки, омытые слезами. Еще не вскрыв письма, Шарль понял, что Жан-Баптист мертв.

И точно. Коломба извещала его о постигшем ее горе. Она прибавляла, что отчаяние ее увеличивается тем, что вынуждена сообщить ему и о другом несчастьи. Смертные останки бедного слепца не были еще преданы земле, как его прежние собратья, члены суда, явились для расхищения их имущества. Коломбу изгнали из-под жалкой крыши, под которой столько страдал и скончался ее супруг – она не нашла ни защиты, ни помощи, ни милосердия у родственников, которых имела в Аббевиле; тогда она вспомнила о своем брате и отправилась к нему пешком, но силы изменили ее мужеству, она остановилась в селении Анверме, в нескольких милях от Дьеппа, где она ожидает, чтоб он приехал за ней и отвез ее в убежище, которое он для нее выберет.

Шарль оставался в продолжение нескольких минут неподвижным, немым и как бы уничтоженным этой новостью.

Наконец он вышел из своей немоты, отпустил посланника, сам оседлал лошадь и во весь опор пустился в направлении к Анверме.

Он уже оставил за собой последние дома предместья Полле и находился на пустынном возвышении тех крутых берегов, которые в виде пояса скал окаймляют отмели океана, когда заметил в нескольких шагах человека, лежавшего в одном из углублений скал, повернув голову на окна одинокого домика, видневшегося на некотором расстоянии среди сада из тощих яблонь.

Этот человек был в одежде моряка. Шарль не обратил бы на него никакого внимания, если бы при стуке копыт лошади о мостовую эта личность, обернувшись, не оказалась Полем Берто.

Офицер, проезжая, послал сердечное приветствие своему двоюродному брату, но среди тягостных, волновавших его

мыслей, он задавал себе вопрос, что привело Поля, переодетого таким образом, в это уединенное место; с некоторой горечью упрекая себя в том, что оставляет на произвол судьбы этого молодого человека.

В Анверм он прибыл около пяти часов вечера.

Приблизившись к селению, за последним подъемом на гору, он увидел каменный крест, из глубины долины Шарль заметил женщину, всю в черном, которая сидела на ступенях возвышения; его лошадь, запыхавшись от быстрого бега, хотела умерить свой ход, но сильно пришпоренная своим седоком, пошла галопом и в несколько секунд достигла вершины холма.

Коломба проводила своего посланника до этого места и остановилась там, чтобы ожидать того, кого она к себе призывала.

Когда она увидела его приближение, то закрыла свое лицо руками. Шарль сошел с лошади и стоял перед ней, а она не поднимала головы, лишь раздавались ее вздохи, и было заметно, как поднималась и волновалась в судорожных спазмах ее грудь.

Шарль наклонился над ней и назвал ее по имени, но Коломба, встав, увернулась от его объятий. Указав на крест, простиравший к ним свои почерневшие и поросшие мхом руки, она, казалось, хотела дать ему понять, что прежде чем приблизиться к ней, нужно обратиться к Тому, который подкрепляет и утешает во всех печалях и страданиях.

Оба встали на колени у гранитных ступеней, и их сердца слились в одной молитве за того, которого уже не существовало.

Когда Шарль встал, он почувствовал свою душу необыкновенно обновленной.

Он взял ее руку и, прикасаясь к ней, не ощутил, как бывало прежде, трепета, разливающегося по всем его жилам. Со-

зерцая ее, все еще прекрасную, несмотря на побледневшее лицо, выражавшее страдание, он был совершенно спокоен.

Он вздохнул продолжительно и свободно.

Он понимал, что с силой и энергией, которые ему доставит эта чистая и непорочная привязанность, он в будущем может не бояться рока.

Таким образом они друг подле друга дошли до хижины поселян, которые, тронутые бедственным положением Коломбы, приютили ее накануне. Она рассказала своему брату все о последних минутах жизни Жана-Баптиста и, глубоко тронутый описанием Коломбы их нужды и создавшегося положения, Шарль винил себя в слабости, с которой боролся сам; он умолял свою свояченицу простить ему безумство, лишившее его возможности продолжать свою обязанность утешителя несчастного брата, которую он разделял в продолжение нескольких месяцев с нею; и, слившись в одной общей мысли, они обращали взоры к небу, как будто стремились соединиться с тем, который раньше их перешел туда.

Шарль желал, чтобы Коломба, оказавшаяся слабой и изнеможденной, пробыла еще одни сутки у своих хозяев; но последняя, утешенная откровенностью, с которой ее друг сознался ей в своих провинностях, спокойствием его разговора и обращения с нею, спешила оставить Анверме и прибыть в Дьепп.

Шарль посадил ее на свою лошадь; взял ее под уздцы и, идя подле Коломбы, направился по дороге в город. Продвигаясь вперед, они говорили о прошедшем, то есть о Жане-Баптисте, потому что, казалось, они согласились замкнуть за собою горизонт, оставленный ими тем днем, в который Шарль покинул дом Пьера Броссье.

Борьба любви с добродетелью, самоотверженность, которая для нее была следствием этой постоянной борьбы, жизнь, переполненная безмолвными горестями и скрытыми страданиями, наконец, затруднительность ее нового положения – все это развило ум Коломбы.

Она дала ему понять, что они оба были слишком молоды, чтобы чистота их чувств не нуждалась в спасительном защитнике. Она объявила ему, что решила вступить в одно из тех религиозных братств, члены которых не связаны неразрывными узами, которые на Севере называются Бегинскими монастырями. Таким образом, она не будет окончательно разлучена с Шарлем; несколько свиданий, деятельная переписка будет поддерживать их взаимную привязанность и мужество переносить разлуку. Потом, когда годы будут служить им защитой от клеветы света и заблуждений их собственного рассудка, они возвратятся друг к другу, и в этой нежной дружбе, без пасмурных дней, проведут вместе остаток своей жизни, который Господу будет угодно даровать им.

В эту минуту, красноречивее моего пера, Коломба рисовала картину счастья двух стариков, которые, безгранично любившие друг друга, пожертвовали собою с необыкновенной самоотверженностью, дадут друг другу руку перед своим переселением в вечность, где единственно соединяются неразрывные узы. Они достигли вершины горы, с которой во всем величии предстал необъятный океан.

День был невыносимо жаркий. Над их головами собрались мрачные тучи медно-черного цвета, тяжело ходившие с востока на запад. Но они еще не достигли южного края горизонта, и сквозь расщелину между туч, походившую на горнило, заходящее солнце победоносно боролось с двойным мраком. Море сверкало, подобно жаровне, и волны его кипели, как потоки лавы. Ближе к берегу воды океана были мрачны, как небо, но время от времени устремлялся поток огня из кратера, и черноватая поверхность их испещрялась кровавыми отсветами.

Коломба остановила своего коня и погрузилась в немое созерцание этого величественного зрелища.

Начали накрапывать крупные капли дождя. Поднялся ветер, он поднимал с дороги густые вихри пыли, которые метал

во все стороны серые спирали, как казалось, в продолжение нескольких минут хотевших соединиться с грозными тучами. Отдаленные оттенки мало-помалу изгладились; небо и море сливались на краю горизонта в темно-красную полосу; последнее приняло красноватый цвет, и уже несколько минут его поверхность клубилась шипучей белой пеной.

Все предвещало страшную грозу; путешественникам оставался еще час езды до города, и как Шарль ни напрягал своих глаз, он не замечал ни одной хижины, где бы мог найти убежище.

Он сказал Коломбе, что надо спешить – и пустил лошадь рысью.

Сделав несколько сот шагов, она услышала, что дыхание его делается все прерывистее, и начала беспокоиться; она упрашивала его сесть подле нее, говоря, что таким образом они скорее достигнут города.

Шарль согласился.

Он сел в седло; окутал свою спутницу плащом, обнял правой рукой гибкий стан молодой женщины и левой рукой управляя лошадью, вонзил ей в бока шпоры и пустился галопом.

В эту минуту буря разразилась во всей своей силе.

Удары грома следовали один за другим, потоки пламени соединяли небо с землей; ветер выл, и к завыванию его присоединялся глухой шум бушевавшего моря, деревья на дороге с мрачным скрипом наклонялись и качали своими вершинами.

Внимая этим ужасным звукам, можно было сказать, что возмутившаяся природа имела и свою долю в этом ужасе и что, подобно чайке, носящейся под облаками, она посылала свои жалобы к Господу Богу.

Дождь падал потоками, и вскоре мрак так усилился, что Шарль мог различать дорогу только в те минуты, когда небо

разверзалось, чтобы дать проход огромному огненному змию, падавшему на землю.

Он прижимал к своей груди драгоценную ношу, которую мчал его верный конь; он прикрывал Коломбу своим телом, как будто хотел защитить ее от блеска молний, которые сверкали над их головами.

Молодая женщина обвила одной рукой шею своего друга и спрятала свое лицо в его плаще. Ее сердце тревожно билось, и биение его совпадало с биением сердца Шарля.

Необыкновенное волнение не замедлило овладеть молодым человеком.

Он с трудом вдыхал горячий воздух воспламененной атмосферы, и время от времени горестный вздох поднимал его грудь.

Коломба пробормотала несколько слов, которые потерялись среди шума бури.

– Коломба, Коломба! – воскликнул вдруг Шарль дрожащим голосом, – умереть – так быть убитыми на груди друг друга. Разве это не единственное вознаграждение, которое может даровать нам Господь Бог за все наши испытания? Пусть грохочет гром, завывает буря, разверзается земля под нами! Если я только унесу тебя таким образом в вечность, я благословлю молнию, я благословлю бурю, я благословлю дождь этот, подобный потопу!

Молодая женщина подняла свою голову с груди своего спутника.

– Не говори так, Шарль, – сказала она в сердцах, дрожащим от волнения голосом, – Шарль, ты оскорбляешь еще теплые останки.

Но Шарль не слушал ее.

Он казался во власти безумного упоения, как будто пламя бури перешло в его жилы.

Он опустил поводья; его шпоры, вонзенные с неистовством в бока лошади, понуждали животное к отчаянному бегу.

В сумраке ночи они мелькали, подобно призракам, которых нес на крыльях вихрь.

В то же время его объятия душили Коломбу; он прижимал ее к своему сердцу с невыразимой страстью, горячие уста его, подобно жгучим угольям, прикасались к ее лбу.

В эту минуту молния избороздила тучу и в продолжение мгновения осветила своим лучезарным сиянием сумрак ночи.

Из уст Коломбы раздался крик ужаса, потому что, увидев над собой бледное лицо, наклонившееся над нею, встретив его дикие, налитые кровью глаза, устремленные на нее подобно грифу на пташку, которую он собирается проглотить, ей показалось, что она видит перед собой демона.

Сверхъестественным усилием она старалась вырваться из объятий Шарля и соскочить с лошади, но ее как будто удерживали железные цепи.

– Шарль, Шарль, милосердия ради, прошу тебя, – шептала она задыхающимся голосом, – именем брата, именем Господа Бога заклинаю тебя!

Шарль отвечал проклятием.

В ту же самую минуту молния, как бы повинуясь его призыву, разорвала облако и разразилась над окрестностью: их окружило целое море пламени; в десяти шагах от них старая яблоня пошатнулась на своем основании и рухнула на землю.

Конь, взбесившись, встал на дыбы, опрокинулся назад, прежде чем седоки могли дать себе отчет о происшедшем.

Сильный толчок вырвал Коломбу из объятий моего предка.

Он встал весь в ушибах, покрытый ранами, но думал о Коломбе и не чувствовал, как струилась кровь из ран.

Напрасно искал он ее подле себя.

Он звал ее.

Никто не отвечал ему; он только слышал, как падали потоки дождя на землю, да стук копыт лошади, которая, поднявшись на ноги, пустилась по направлению к городу.

Тогда у него на голове волосы встали дыбом, он чувствовал, как смертельный холод пробегал по его жилам.

Он не решался протянуть руку, ему казалось, что она коснется покойника.

Он даже не смел думать, потому что его первой мыслью было, что Коломба убилась при ужасном падении. Это продолжалось только мгновение, но чтобы стать способным мыслить, он должен был сделать усилие, как будто бы хотел поднять весь свет.

Наконец он вспомнил, что на том месте, где он упал, дорогу окаймлял небольшой ровчик; он скорее бросился, чем сошел в него; он нашел там тело Коломбы, но оно было неподвижно, даже казалось бездыханным.

Он напрасно пытался привести ее в чувство; все его старания были тщетны, как и мольбы, рыдания, крики, раздирающие сердце, которыми он призывал к себе на помощь и которые ветер со свистом разносил по воздуху.

Тогда он взял Коломбу на руки и побежал через поле, не зная, в какую сторону направиться, – до такой степени расстройство овладело его рассудком.

В те минуты, когда он пробегал мимо изгороди, ветви раздирали его лицо, но в то же мгновение он заметил огонек, мерцавший между листьями деревьев сада, в который он проник, не чувствуя боли. Он бросился в ту сторону, нашел дверь, выбил ее ударом ноги и, изнуренный ужасными ощущениями вечера, из-за потери крови, изнемогая под тяжестью своей ноши, упал без чувств на пороге.

Он долго не приходил в себя.

Когда к нему возвратилось сознание, то его рассудок сбивался, как будто голова его опустела; напрасно старался он вспомнить о случившемся, распознать место, в котором находился. Луч света, проникавший через высокое и узкое окно в комнату, ярко освещал его и ослеплял глаза, когда он открывал их.

Однако он заметил светлую головку молодой девушки среди потоков света, которые лучезарным венцом окружали ее голову; она сидела в глубине окна и была занята составлением из полевых цветов большого букета.

В продолжение нескольких минут он не мог оторвать взгляда от этого милого видения; неопределенное, инстинктивное угрызение совести упрекало его в том, что он обращает внимание на женщину, которая не Коломба, но он не мог сосредоточиться на другой мысли; его сердце еще не обновилось жизнью, и разум его, переполненный впечатлениями, был еще нечувствителен для ощущений.

Он, вероятно, сделал какое-то движение на своей постели, потому что молодая девушка встала и подошла к нему.

Видя ее приближение, Шарль внезапно вспомнил все то, что мгновенно исчезло из его памяти.

Это имя Коломбы.

Эти мысли выражались в страдании, с которым он произнес их.

Молодая девушка молчала.

– Коломба, Коломба! – повторял мой предок, протягивая к незнакомке руку, как бы умоляя ее своими жестами.

Тогда он почувствовал, что две горячие слезы упали на его руку; он видел, как на нем остановились прекрасные глаза, из которых пробивались слезы с выражением нежного сожаления.

Потом, встав на колени перед деревянным распятием, помещенным над камином, молодая девушка начала молиться.

Эти слезы, эти мольбы незнакомки имели хотя свое немое, но трогательное красноречие; мой предок понял, что Коломбы не стало: силы оставили его и, убитый горем, он во второй раз потерял сознание.

Сильная лихорадка овладела им.

Когда моральное страдание достаточно сильно, чтобы расстроить всю физическую силу человека, то принцип

спасения находится в причине самого зла. Когда жизненная сила ослабляет и способность, которой обладали чувства сообщать свои впечатления существенным частям тела, мало-помалу сглаживаются, может показаться, что, внушенная неизмеримой опасностью, эта последняя возмущается и отказывается касаться всего, что не относится к ней.

Шарль лежал в ужасном бреду.

Затем он впал в какое-то состояние бессознания, продолжавшееся несколько дней.

В первое время этого оцепенения ему чудился не раз грациозный образ молодой девушки, наклонившейся над его изголовьем и с беспокойством смотревшей на больного.

Но когда он пришел в чувство, его взоры хотя постоянно и отыскивали ее, но он никогда не видел ее подле себя.

Старушка заменила его очаровательную сиделку.

Иногда к его постели подходил человек, лицо которого чрезвычайно его поражало, потому что ему казалось, что он не в первый раз встречает его.

Однажды вечером, когда Шарль проснулся, его хозяин вошел в комнату, взял его за руку и внимательно пощупал пульс.

При звуках этого голоса воспоминания моего предка пробудились с новой силой: он узнал необыкновенного человека, которого кавалер де Блиньяк пригласил к ужину в «Сорвавшемся якоре», того, который ему наговорил столько необыкновенных вещей.

Он поднялся со своего ложа и дружески пожал руку, державшую его пульс.

– Милостивый государь, – сказал он с грустью в голосе, – если вы такой же пророк, как и искусный лекарь, вы могли бы дать мне спокойно умереть.

– Милостивый государь, – отвечал ему незнакомец, – я не более врач, чем пророк. Осужденный на ощущение всех страданий тела, всех болезней души, я пользуюсь своими на-

блюдениями, чтобы оказать помощь мне подобным, и я не требую от них даже признательности.

– Что касается меня, то я в долгу не останусь, милостивый государь, я вам благодарен не столько за помощь, которую вы оказали мне, сколько за то, что исполнили последний долг по отношению к той, которая мне сопутствовала, моей сестре… Потрудитесь, – прибавил он глухим голосом, – провести меня на ее могилу?

Хозяин дома далеко не разделял воодушевления Шарля; его угрюмое лицо выражало скорее дурное расположение духа, чем сочувствие.

– Господин де Лонгеваль, – сказал он, – мне кажется, что вы достаточно поправились, чтобы переезд одного лье имел для вас дурные последствия.

Один из моих людей едет в эту ночь с повозкой в Дьепп. Он отвезет вас домой, а служитель при кладбище окажет вам услугу, которую вы от меня требуете.

Хотя мой предок и уважал странный образ действий этого человека, но его удивила эта грубость, которая столь мало согласовывалась с заботами, которые ему были оказаны.

– Пусть так, – отвечал он, – я слишком вам обязан, чтобы обидеться. Но прежде чем мы расстанемся, милостивый государь, вы, по крайней мере, скажете мне свое имя. Это имя вы имели право скрыть от моего любопытства, но вы не можете умолчать его, когда я вас прошу о нем, чтобы повторять его в моих молитвах.

– Молитесь за тех, кто страдает, господин де Лонгеваль, и вы помолитесь и за меня. Для вас бесполезно знать мое имя; и если вы точно считаете себя в отношении меня обязанным за оказанное мною гостеприимство, то вы это докажете, не настаивая более.

– Не могу ли я, по крайней мере, проститься с той…

Незнакомец быстро прервал его.

– Уезжайте, – закричал он мрачным голосом. – Мы с вами встретились два раза на этом свете, господин де Лонгеваль; да будет воля Господня, чтобы этот – был последний.

Затем он помог моему предку одеться; последний нашел во дворе тяжелую тележку, запряженную в одну лошадь, и около нее человека гигантского роста, который, казалось, ожидал его.

Он обернулся, чтобы в последний раз поблагодарить хозяина; но он уже возвратился в дом и запер за собой дверь.

В ту минуту, когда возница помогал офицеру взобраться на тележку, ему показалось, что занавески единственно освещенного окна на первом этаже зашевелились, и очаровательный образ молодой девушки, которую он видел утром, исчез за ними.

Тяжелая повозка тронулась.

На пути Шарль де Лонгеваль с удивлением заметил странные вещи, которыми была нагружена телега, в которой он сидел, состоявшие из брусьев, железных шестов, клещей, веревок и колеса странной формы, употребление которого он не мог отгадать.

Он напрасно старался развязать язык вознице; последний, по-видимому, решился строго выполнить данный ему приказ быть безмолвным. Все, что мог он от него узнать, было то, что дом, в котором ему оказали столь великодушное гостеприимство, назывался Проклятой Оградой.

Возвратившись в свою маленькую уединенную комнатку, Шарль с ужасом заметил, что воспоминание о прелестной обитательнице Проклятой Ограды за ним последовало туда, и что он не мог вызвать образа усопшей без того, чтобы другой призрак не поместился между ним и ею.

С этой минуты жизни мой предок начинает свой рассказ.

Так как в исповеди он умалчивает о своей любви к своей двоюродной сестре, сделавшейся женою его брата, и всегда говорит о ней лишь косвенным образом; но обвиняет неоп-

ределенные мучения, сильные страдания, жгучие опасения, не решаясь рассказать о них, то я должен был описать эту страсть, которая сыграла в его жизни огромную роль. Не менее важную роль в его жизни сыграла и встреча его с молодой девушкой в Проклятой Ограде.

ТОМ II

Глава I
Манускрипт Шарля Сансона

Господь Бог по Своему бесконечному милосердию возложил на наши плечи крест соответственно силам каждого; нет несчастья, с которым нельзя было бы свыкнуться, и все, что кажется нам с первого взгляда тяжелым, делается легким вследствие привычки. Возмутившись сначала против участи, выпавшей на мою долю, я, наконец, решился терпеливо подчиниться необходимости, умоляя Бога даровать мне хотя бы в последние минуты земного существования спокойствие, которого я напрасно искал в продолжение всей своей жизни. Родители – виновники существования своих детей, – даровав жизнь, передают им и свое положение в обществе, и потому я ужасаюсь при мысли, что мои потомки, увидев страшную противоположность своего положения тому, какое они могли бы унаследовать после меня, в глубине своего сердца восстанут против виновника своего существования, унижения и несчастий. Желая хоть как-то оправдаться в их глазах, я решился описать собственные проступки и обстоятельства, бывшие причиной моего падения и принудившие меня вступить на позорный путь палача; да простят они мне, если я заслуживаю прощения; пожалеют обо мне, если я достоин сожаления. Итак, я немедля приступаю к написанию этой исповеди, а именно, в четверг, в одиннадцатый день декабря месяца тысяча шестьсот восемьдесят третьего года.

Главное мое несчастье заключалось в том, что за недостатком силы воли я слишком необузданно подчинялся деспотизму своих страстей, и потому впадал в крайности и совершал проступки, делавшие меня недостойным милостей Бога, который не один раз пытался извлечь меня из бездны пороков, куда они меня повергали.

В молодые годы меня сокрушало сильное горе, но вместо того, чтобы подавить его силой рассудка, покорством и молитвой, я, напротив, поддерживал его, питая свою безумную страсть, расстаться с которой казалось мне труднее, чем с самой жизнью. Это-то порабощение и подстрекало меня к поступкам, которые подсказывало мое пылавшее страстью сердце, не слушая мудрых советов рассудка.

В 1662 году я служил лейтенантом в полку маркиза де Ла Боассьер. Полк наш после похода в 1658 году под начальством маркиза де Тюренння, прославившегося взятием Берга, Фурна и Гравелиня, расположился гарнизоном в городе Дьеппе.

В том же 1662 году в городе Аббевиле, в котором жил до своей смерти, умер мой брат, отставной советник, и это нанесло мне жестокий и роковой удар, тем более что несколько дней спустя погибла трагической смертью и его вдова – Коломба Броссье де Лиме.

В июле месяце Всевышний доказал Свое бесконечное милосердие, спасая меня от верной гибели; но в то самое время как Создатель избавил меня от покушения погубить душу, вечный враг нашего спасения готовил мне новое испытание.

Вследствие падения с лошади, я едва не лишился жизни и был отнесен без чувств в дом одного бедняка, называвшийся Проклятой Оградой и стоявший в уединенном и безлюдном месте – за Дьеппским кладбищем по Невшательской дороге. Этот человек поступил со мной подобно сердобольному самаритянину; он обмыл мои раны, перевязал их и отпустил меня, лишь уверившись в моем совершенном выздоровлении. Но я вынес из его дома страдание сильнее того, от которого избавился: я уехал влюбленный в молодую девушку по имени Маргарита, которая была его единственным детищем.

Сначала я не верил своим чувствам. Не зная настоящего звания и занятий отца Маргариты, я, тем не менее, считал его человеком из низшего круга общества и, не предполагая

жениться на ней, не мог решиться причинить зло дочери того, кто сделал мне столько добра.

Жестокая утрата обожаемого брата и нежно любимой сестры глубоко огорчили меня, и я твердо решил всю жизнь оплакивать их.

Но намерения человека – одни химеры, и потому, несмотря на свое решение, я днем и ночью видел перед собой образ той, мечтать о которой мне казалось преступлением.

В это время мой двоюродный брат по имени Поль Берто приехал по коммерческим делам в Дьепп. Он был членом общества Новой Франции, имущество которого было впоследствии куплено Его Королевским Величеством Людовиком XIV.

Хотя я уже тогда смутно ненавидел себе подобных вследствие печалей и несчастий, причиненных мне ими, и предпочитал уединение их обществу, тем не менее, я нежно любил Поля Берто, которого знал еще ребенком, находясь с королевским флотом в Квебеке.

Хотя Поль, подобно прочим, и не знал истинной причины моей печали и постоянной задумчивости, но всеми силами всегда старался развлечь меня различными удовольствиями и своей беседой в обществе господина Вальвена де Блиньяка, служившего, как и я, лейтенантом в полку господина маркиза де Ла Боассьер и бывшего храбрым воином и веселым товарищем.

Однажды осенью за приготовленным для нас ужином на берегу моря в доме Исаака Кромете во время горячей беседы мой кузен Поль объявил, хвастаясь, что еще до истечения этого месяца его любовницей сделается самая красивая девушка города и предместий Дьеппа.

Господин де Блиньяк, большой льстец от природы, постоянно потакавший тому, кого можно было поддеть и заставить хорошо угостить себя, подтвердил эти слова как будто бы знал предмет его страсти.

Я тотчас же почувствовал какой-то трепет и волнение. Сердце мое забилось, ибо уже несколько дней я замечал, что мой двоюродный брат носит на своей груди дикий полевой цветок, носящий одно название с той, к которой постоянно стремились мои мысли, и вообразил, что он делает это в честь дочери моего спасителя.

Подобная мысль была тройным безумством: во-первых, потому что после страданий, причиненных мне первой моей привязанностью, желая сохранить воспоминание о ней, я поклялся отныне любить лишь одного Господа Бога; во-вторых, так как я не видел Маргариты – это было имя молодой девушки – с той минуты, как оставил Проклятую Ограду, и, наконец, потому что, поверив даже словам Поля, безрассудно было волноваться, так как в городе Дьеппе и его предместьях существовало сто девушек, в честь которых он мог носить маргаритку.

Но будто бы подчиняясь воле, могущественнее своей собственной, я встал из-за стола и под предлогом, что мне нужно идти в замок, оставил своих товарищей и, направившись ближним путем – Бракемонской тропинкой, дошел до Проклятой Ограды на Невшательской дороге, на которую не возвращался с рокового дня моего падения с лошади.

Увидев между деревьев домик Маргариты, у меня мелькнула мысль возвратиться домой, но, несмотря на все убеждения рассудка, я все ближе и ближе подходил к Проклятой Ограде.

Два раза видел ее престарелого отца. В последний раз, исцелив меня, он угрозами запретил мне возвращаться в свой дом. Я считал, что он сделал это для того, чтобы я не вздумал ухаживать за его дочерью.

Поэтому я не решился переступить порог, боясь, чтобы он по нраву, который мне был очень хорошо известен, не наказал безвинную, а прошелся по садику, окаймленному только изгородью из шиповника, и, заметив ее в нем,

воспользовался минутой, когда она находилась в уединенном месте, перескочил через плетень и подбежал к ней.

Любит ли человек сильно или мало, одинаково ему суждено всегда заблуждаться, так что можно сказать, заблуждения составляют необходимую принадлежность любви. Я рассказал ей, что, не имея возможности поблагодарить ее жестокого отца, я хотел, по крайней мере, выразить ей свою благодарность за милосердие, которое она мне оказала во время моей болезни. Затем, без предисловий, как будто торопясь, я в волнении и шепотом признался ей в своей любви.

Молодая девушка покраснела, но не рассердилась. Однако я заметил, что глаза ее наполнились слезами, и на мой вопрос о причине их она отвечала, что я не должен любить ее, так как подобная привязанность доставила бы мне много несчастий, и умоляла меня удалиться как можно скорее, ибо каждую минуту ее отец мог прийти в садик и застать нас.

Тем не менее, я провел еще некоторое время с Маргаритой, повторяя ей то же самое, и, наконец, простившись с нею, возвратился в город в весьма расстроенном и подавленном состоянии.

На следующий день я снова посетил Проклятую Ограду, и затем уже ежедневно приходил туда. Иногда я не видел ее, или же она прогуливалась в обществе отца в прилегающем к дому садике, другой раз в нем работал слуга или служанка, собирая овощи. В таком случае я должен был прятаться и издали смотреть на Маргариту. Но время от времени я заставал ее одну, и как ни коротко было наше свидание, но, расставаясь с ней, я чувствовал еще большую страсть в своем сердце.

И точно, это вторичное безумство, следуя за первым, превосходило его своей силой. Тщетно старался я обуздать себя, тщетно искал силу в воспоминании о той, которую столько оплакивал; даже во время моей молитвы на ее могиле передо мной носился образ Маргариты.

Сама не зная того, молодая девушка еще более воспламеняла мою страсть. По мере того как последняя возрастала,

Маргарита с большим жаром умоляла меня отказаться от нее, а между тем сама становилась день ото дня задумчивее и печальнее.

Она была так робка, что однажды, когда я хотел поцеловать ее, молодая девушка рассердилась до такой степени, что мне стоило многих трудов получить прощение. Поэтому я перестал беспокоиться о слышанном от моего двоюродного брата Поля и совершенно позабыл о его очаровательной интриге.

Однажды вечером, когда, сидя за столом с господином Вальвеном де Блиньяком, под влиянием выпитого вина, я подшучивал и посмеивался над ним, разговаривая о сельской красотке и о жалкой роли, которую, если это правда, играл в этом случае кавалер, он мне отвечал, подмигнув глазом, что ничего нет достовернее и что, благодаря его распоряжениям, в эту минуту мой двоюродный брат должен разделять наслаждения страсти с самой прелестной девицей, которую только можно встретить на свете.

Так как Маргарита казалась мне очаровательнее всех женщин, то беспокойство снова овладело мною. Я забросал его своими вопросами; он немного колебался; но ко всем гадким качествам господина де Блиньяка присоединялась еще и неимоверная болтливость, и потому язык его скоро развязался. Он мне рассказал, что, так как девушка не поддавалась ни за деньги, ни на другие приманки, то, по его совету, Поль Берто купил у городского аптекаря снотворное, которое он передал подкупленному им слуге; последний должен был в этот самый вечер дать его госпоже и служанке; затем он прибавил, что отец красавицы и служитель должны в эту же ночь удалиться из дома, который стоял одиноко, и, следовательно, красавица будет в полной власти моего двоюродного брата.

Мне кажется, что если бы огромная башня церкви Свято-го Жака обрушилась на мою голову, то это не переполнило

бы меня таким ужасом и страхом, как слова господина де Блиньяка.

Я не мог выговорить ни слова и ничего не видел; затем так быстро вскочил со своей скамейки, что опрокинул стол и все, что на нем стояло; моя шпага и фуражка лежали на другой скамье; схватив только первую и обнажив ее, я бросился бежать по предместью.

Не знаю, какой инстинкт руководил мною, но в мрачную, темную ночь я находил столь же хорошо дорогу, как будто средь бела дня и, не пробежав еще часа, увидел огонек, светившийся сквозь яблони маленькой ограды.

При мысли, что этот огонек, быть может, озаряет своим светом бесчестье молодой девушки, я чувствовал в своем сердце столько ненависти и бешенства, что, кажется, готов был сразиться с двадцатью противниками.

Приблизившись к домику, я заметил тень человека, пробиравшегося вдоль стены дома. Эй! – закричал я. Человек обратился в бегство, но я вскоре нагнал его и убедился, что господин де Блиньяк нисколько не солгал, узнав в этом человеке своего двоюродного брата.

Схватив Поля и задыхаясь от бешенства и страданий, я стал грубо упрекать его в бесчестном и низком поведении, объясняя ему, как гнусно погубить молодую девушку, тем более, что она бедна и из низкого происхождения и, лишившись чести, теряет все, что только имеет.

Мой двоюродный брат потупил голову и, смутясь, не отвечал ни слова. Во всяком случае, если бы мы остались одни, то мне удалось бы пробудить в нем стыд и раскаяние, потому что проступки его были лишь шалостями юности и происходили от дурного знакомства; но приход господина де Блиньяка испортил все дело.

Вышеописанный кавалер, видя, что я во весь дух пустился от него бежать, боялся, чтобы не случилось чего-либо, а так как злые люди не могут без сожаления видеть разрушения

своих злонамеренных поступков, то он поспешно кинулся за мною.

Тогда, переменив тон, я стал с возмущением упрекать его в гнусной роли, которую он играл в этом случае, прибавив, что в продолжение шести месяцев, проведенных господином Берто в Дьеппе, он всячески старался развратить его, подстрекая к игре, пьянству, распутству и всякого рода бесчинствам.

Господин де Блиньяк, подшучивая по своему обыкновению, выговаривал моему двоюродному брату, как он мог обращать внимание на подобные уговоры, клятвенно уверяя его, что если мне неприятна его шутка с молодой девушкой, то это только потому, что я сам имел виды на красавицу, Требуя от меня извинения за сказанные на его счет слова, прибавив, что в противном случае он сумеет заткнуть мне глотку и, обнажив шпагу, кавалер напал на меня, крикнув Полю Берто последовать его примеру, предоставляя решить оружию, кому должна принадлежать девушка.

Любовь ли вскружила ему голову, или потому что его задели насмешки и плоские шутки господина де Блиньяка, господин Поль Берто не постыдился обнажить шпагу против своего родственника и друга и напасть на меня одновременно с господином де Блиньяком.

Я защищался, как мог, парировал удар, чтобы прикрыться деревьями, но в эту минуту господин де Блиньяк слегка ранил меня в плечо, а я, в свою очередь, так жестоко ударил его по руке, что он вынужден был выпустить из руки шпагу. Наступив на нее, я схватил и отбросил ее на значительное расстояние от того места, где мы сражались.

Господину Полю Берто, со своей стороны, я раскроил лицо, между тем как он уколол меня в руку.

Затем оба они оставили меня и удалились, клянясь, что завтра утром можно будет сразиться без боязни выколоть себе глаза подобно прокаженным.

После их ухода я решил провести всю ночь подле Проклятой Ограды – до такой степени опасался я господина де Блиньяка, человека достаточно низкого и развращенного, который мог убедить господина Поля Берто воспользоваться моим отсутствием для достижения своей цели.

Около полуночи, не слыша никакого движения в доме, несмотря на шум, которым сопровождался наш поединок, я начал опасаться, не отравил ли напиток как госпожу, так и служанку, и эта мелькнувшая в голове мысль и была первым шагом к моей погибели. Разбойник-слуга, следуя приказаниям Поля Берто, оставил дверь дома открытой, и потому я беспрепятственно вошел в дом и с поспешностью вбежал по лестнице, которая вела из нижнего этажа в комнату бедной девушки.

И тут я должен, к стыду своему, с большим сожалением сознаться, что позабыл все мудрые советы, наставления и упреки, которые сам проповедовал Полю Берто. Увидев девушку, к которой стремилось мое сердце, столь прелестной, распростертой на постели, я как будто лишился рассудка. Моя добродетель исчезла, как дым от дуновения ветра. Я не показал себя ни воздержаннее, ни благоразумнее своего кузена и не побоялся совершить преступление, в котором столь жестоко упрекал его.

Да простит мне Всевышний в той жизни, потому что я истинно раскаиваюсь в своем проступке.

На другой день ко мне явился слуга Поля Берто и объявил, что его барин ожидает меня на площади Соляного Колодца. Полагая, что мой двоюродный брат желает вызвать меня на поединок и назначил место встречи, я взял шпагу и последовал за лакеем.

На площади было многочисленное скопление народа, и я чрезвычайно удивился, что Поль Берто выбрал это место для переговоров.

Но при встрече со мною он нисколько не казался раздосадованным за вчерашнее происшествие, а, напротив, протянул мне руку; однако я не взял ее, помня, что Поль не поколебался присоединиться к господину де Блиньяку с намерением лишить меня жизни.

Затем, указав мне на эшафот, снаряженный на самой середине площади Соляного Колодца, он попросил меня взглянуть в ту сторону. Обратив туда взгляд, я узнал в человеке, прикреплявшем нескольких людей к позорному столбу, хозяина дома Проклятой Ограды и отца моей возлюбленной. В то же самое время Поль Берто прибавил, что так как пленившая нас красавица была дочерью Пьера Жуання, исполнителя уголовных приговоров города и виконтства Дьеппа, он мне очень благодарен за то, что я взял ее для себя, ибо не имеет ни малейшего желания входить в сердечные или телесные сношения с отродьем палача.

Теперь, в свою очередь, мне следовало вызвать его на поединок. Но на площади столпилось столько народа, что почти в ту же минуту нас разлучили, и я вынужден был возвратиться домой в самом расстроенном и печальном расположении духа.

Хотя наружность Пьера Жуання показалась мне чрезвычайно таинственной и мрачной в тот день, когда он предсказал столь странные вещи господину Вальвену де Блиньяку и мне, хотя он при втором нашем свидании, перевязав мои раны, скорее прогнал, чем удалил из своего дома, я все-таки никак не мог себе представить, чтобы он мог выполнять эту обязанность, к которой я питал столько презрения и ненависти.

А между тем, несмотря на все отвращение к отцу, я мысленно говорил себе, что было бы несправедливо клеймить дочь его тем, что зависит лишь от слепого случая, дающего иным в отцы – королей, другим – пастухов; что по своей красоте и добродетели Маргарита должна была родиться скорее

на троне, чем у подножия эшафота; и, наконец, что было бы неблагоразумно отталкивать молодую девушку, столь прелестную и страстно любимую, по причине презренного звания виновника ее жизни. Затем, вспомнив свой проступок и грех прошлой ночи, терзаемый стыдом и угрызениями совести, я заплакал, как ребенок.

Так как время было идти в замок, то я вышел из дома, еще не зная на что решиться.

Проходя через двор, мне показалось, что все мои знакомые от меня отворачивались, а в замке я даже заметил, что мои сослуживцы полка де Ла Боассьер принимали меня в этот день гораздо холоднее, чем обычно.

Так как я никогда ни с кем не имел слишком тесной дружбы, то обратил на это весьма мало внимания, и по окончании службы пошел домой, погрузившись в свои тяжкие мысли.

Случилось так, что, не избирая себе дороги, я по привычке пошел той, по которой ходил каждый день, и, не замечая того, подняв глаза, увидел перед собой Проклятую Ограду.

Маргарита стояла на пороге дома и заметила меня. Хотя рассудок и велел мне не идти дальше, а возвратиться в город, у меня не хватило твердости исполнить это. Меня же, напротив, непреодолимо влекло к ней. Я подошел и заметил, что она чрезвычайно побледнела и изменилась. Угрызения совести, уже душившие меня, приняли характер жестоких сердечных страданий. Так как Пьер Жуаннь, отец ее, не окончив своей обязанности, еще не возвратился из города, то мы пошли с ней в садик и, прогуливаясь, я не смел сказать ей ни слова о своем проступке, но был так счастлив быть около нее, что, простившись с нею, мне казалось величайшей глупостью, имея столь прелестную подругу, расстаться с ней из-за того, что Пьер Жуаннь переламывает кости и сдирает кожу, у нее ведь нет ни капельки крови на руках, которые она позволяла целовать мне!

Я стал навещать ее ежедневно; каждый день, хотя мы и продолжали оставаться в прежних дружеских отношениях, я не мог вымолить у нее ни одной ласки, ни одного поцелуя, не смел сознаться в своем преступлении и открыть ей, что она уже давно сделалась моею, тем не менее, с каждым новым свиданием я замечал, что страсть моя к ней становилась сильнее и, несмотря на ее позорное происхождение, я любил ее, как будто она была дочерью короля, и старался забыть о низком звании и гнусных обязанностях ее отца.

Между тем, господин Вальвен де Блиньяк, поправившись от своей раны, начал распространять обо мне разные унизительные и ложные слухи, так что однажды, на учении, мои сослуживцы сделали вид, будто не замечают меня и даже не кланялись мне.

Я возвратился домой в весьма дурном настроении; мой слуга объяснил мне, что главным виновником всего этого был Вальвен де Блиньяк, потому что в полку только и было разговора что обо мне, и один лишь я, по причине своей одинокой и уединенной жизни, не знал об этом. Желая тотчас же вызвать на дуэль кавалера Вальвена де Блиньяка, я начал отыскивать секунданта.

Но все, к кому бы я ни обращался, отказывались, не объясняя причины; даже простые корнеты нисколько не старались скрыть от меня, как неприятно им подобное предложение.

Я решил обратиться с этой просьбой к кому-нибудь из городских дворян и хотел уже удалиться, когда мой лакей объявил мне от имени господина маркиза де Ла Боассьер приказ тотчас же явиться к нему.

Я пошел к маркизу и застал его чрезвычайно разгневанным и в дурном расположении духа; он осыпал меня упреками, что я не только нарушил приказ и запрет Его Королевского Величества, сразившись в поединке, но и что, кроме того, осрамил полк своей унизительной связью с

родной дочерью палача; и затем, не дав мне времени сказать ни одного слова в свое оправдание, марал имя бедной девушки самыми обидными эпитетами, называя ее такими именами, что я не желаю повторять их из уважения к ее памяти.

Одаренный горячим темпераментом, я вспыхнул и так грубо ответил тому, к кому должен был питать уважение по его годам и званию, что господин маркиз де Ла Боассьер приказал мне выйти вон и быть под арестом в замке, пока он не напишет о моем поведении Его Королевскому Величеству.

Не будучи в состоянии далее сдерживать себя, я обнажил свою шпагу, и, положив на колено, переломил ее, говоря, что он может избавиться от труда писать к королю об отстранении меня от должности лейтенанта, потому что, возвратившись домой, я своими собственными руками разорву патент на это звание, как переломил эту шпагу.

Затем я удалился, но не возвратился домой из боязни, чтобы меня не схватили люди господина маркиза де Ла Боассьера. Собрав несколько оставшихся у меня денег и оседлав лошадь, я вскочил на нее и с поспешностью выехал из города.

Я решился отправиться на север и в каком-нибудь порту сесть на корабль, чтобы переехать в Ост-Индию, где думал посвятить себя прежней профессии моряка. Однако я не хотел уехать столь далеко, не простясь с Маргаритой, и надеялся убедить ее разделить со мной мою участь в стране, где никто не будет знать о позорном ремесле ее отца. Для того чтобы убедить ее согласиться последовать за мною, я решился сознаться ей, каким образом без ее ведома и вследствие преступного влечения я овладел ею.

Выехав за стены города, я пришпорил лошадь и прямо направился к Проклятой Ограде. Меня чрезвычайно удивило, что окна не были освещены, хотя было уже поздно.

Но, подъехав поближе, я заметил лучи света, проникавшие сквозь щели дверей навеса, примыкавшего к дому, и в то

же время мне послышались стоны, вылетавшие из этой пристройки.

Хотя я был не пугливого десятка, но весьма хорошо помню, что тело мое задрожало, как трепещут листья от дуновения ветра.

Привязав свою лошадь к древесному пню, я прислонился к вышеупомянутой двери и, приложив глаз к самой большой щели, окинул взглядом внутренность сарая. Волосы мои встали дыбом при виде происходившей за дверью сцены. Маргарита, моя дорогая Маргарита, была распростерта на кожаном мостилище, служившем для пытки обвиняемых; Пьер Жуаннь, походивший в эту минуту скорее на тигра, чем на человека, сжимал в тисках ее нежную ножку и при помощи колотушки своею собственной отцовской рукой вбивал клин, обагренный кровью его детища, и при каждом ударе говорил ей с бешеным гневом: «Сознайся!» И бедняжка, откинувшись назад, заливаясь слезами и испуская мучительные крики, призывала всех святых и Господа Бога свидетелями своей невинности.

Я смотрел на эти жестокости не более полминуты, затем я схватил бревно, лежавшее подле меня, и, почувствовав силу, которой никогда в себе не подозревал, одним ударом вышиб дверь сарая.

Узнав меня, Жуаннь далеко отбросил от себя колотушку и, схватив огромную рапиру, которой отсекал головы дворянам, не произнося ни одного слова, но потрясая ею над головой дочери, поклялся ужасным голосом, что если я сделаю хотя бы один шаг для ее защиты, то он немедленно отделит эту голову от плеч, ее поддерживающих. Я упал на колени, крича как только что кричала и стонала бедная Маргарита. Он спросил, что привело меня к нему, пришел ли я объявить ему имя соблазнителя, которого он тщетно добивался от своей дочери пыткой, и я сознался в своем проступке, говоря,

что один только я виновен во всем, а нисколько не безвинное и добродетельное его детище.

Услышав это, Жуаннь, жестокий и немилосердный Жуаннь, распростерся перед мостилищем пытки, заливаясь слезами. Он снял судебные полусапожки с ног своей дочери и, взяв в свои руки ее посиневшую ногу, стал покрывать раны поцелуями, умоляя ее о прощении с таким мучительным страданием, что его отчаяние могло бы тронуть скалу из гранита. Затем он начал жаловаться на положение несчастных на этом свете, говоря, что Бог должен был создать бедных девушек безобразными и страшными, потому что добродетель и целомудрие не могут предохранить их от сладострастия лиц богатых и могущественных.

Подойдя, я сообщил ему о своем намерении покинуть родину и объявил, что, уезжая, я с удовольствием возьму с собой Маргариту как супругу.

Жуаннь казался еще более тронутым, чем прежде, но был непоколебим и, обратившись к дочери, сказал, что ей не следует отвечать мне на мое предложение. В ту же минуту девушка взяла руки, столь жестоко истязавшие ее до крови, поцеловала их и сказала, что, так как она единственная опора и утешение одинокой жизни отца, то никогда не решится оставить его даже в том случае, если бы я предложил ей трон Индии, куда бы хотел взять ее с собою.

Жуаннь нежно и с умилением поцеловал свою дочь и указал мне на дверь, воскликнув, что он палач, но не убийца, что в этот день он пощадит меня, но чтобы я остерегался показываться в городе или его окрестностях, если дорожу своей жизнью.

Итак, я ушел с растерзанным сердцем, потупив голову. Ступив за порог, я услышал за собой глубокий вздох и, обернувшись, увидел Маргариту, упавшую без чувств в объятия отца. Я бросился к ней. Жуаннь еще раз грубо оттолкнул меня. Видя отчаяние молодой девушки и поняв, что эта разлука

заставляет ее страдать столько же, сколько и меня, что любим ею так же страстно, и ничто уже не смогло заставить меня расстаться с нею. Потому я стал упрашивать Жуання выдать за меня Маргариту, говоря, что мы все трое удалимся в места отдаленные, где сможем в неизвестности провести остаток своей жизни.

Но и это предложение не имело большего успеха, чем все предыдущие. Он отвечал мне, что подобная поздняя и внезапная перемена ремесла не помешает зятю презирать его и внушить это презрение дочери; и так как Маргарита изъявила желание не покидать его, то она может быть моею только в том случае, если моя любовь к ней достаточно сильна, чтобы презреть удел ненависти и позора, который я должен был унаследовать после своего тестя. «Вы без стыда, – добавил он, – запятнали дочь палача, и можете загладить свою вину, лишь сделавшись таким же палачом, как я сам».

Тут прерывается манускрипт моего предка.

Он не поясняет развязки этого происшествия, как и предшествовавших ему обстоятельств.

По-видимому, Коломба и Маргарита оставили в его сердце две неисцелимые кровоточащие раны, к которым он не мог прикоснуться без боли и содрогания. Развязка этих двух страстей, совершенно помутившая его рассудок, была различная, но как та, так и другая – обе имели для него самые пагубные последствия. Он женился на Маргарите Жуаннь.

Я нахожу в судебном акте одной казни, бывшей в Руане, доказательство, что немилосердный Пьер Жуаннь требовал от своего зятя точного исполнения условий их договора.

В этой записи сказано: «Когда Пьер Жуаннь, исполнитель верховных приговоров, потребовал от своего зятя, только что вступившего в брак, чтобы он нанес удар железным шестом преступнику; вышесказанный зять упал в обморок и был осыпан насмешками толпы».

Это счастье, которое Шарль Сансон купил столь дорогой ценой, должно было исчезнуть, как сон.

Маргарита покинула его вскоре и перешла в лучшую жизнь, оставив ему сына. Она умерла от болезни, которую называют чахоткой, и причина этого заключается более в душе, чем в теле.

Строго придерживаясь в нашем рассказе хронологического порядка, мы еще увидимся с кавалером де Бриньяком и Полем Берто; они должны были еще раз встретиться с Шарлем Сансоном в этой жизни; и этой встречей я закончу личную жизнь моего предка.

Глава II
Приезд в Париж

В конце 1685 года мой предок Шарль Сансон де Лонгеваль покинул Нормандию, где он оставил прах Маргариты Жуаннь, за которую взял столь ужасное приданое.

Все происшествия, печальное описание которых я только что привел, почти расстроили его рассудок; он был постоянно в мрачном расположении духа, беспокоен, что еще более увеличивало пасмурный вид, который ему и так придавало его мрачное звание.

В Руане ему давали со страхом дорогу; издали указывали на этого человека, постаревшего раньше времени, вся внешность которого носила отпечаток страдальческой жизни. А между тем большая часть из них не знала о бурях, которые потрясли его существование; но довольно было при виде Шарля Сансона сказать: «это палач!» – чтобы все: мужчины, женщины и дети со страхом уступали ему дорогу и пятились от него.

Поэтому понятно, что мой предок весьма желал избавиться от этой гласности, покинув места, изобиловавшие для него ужасными и мучительными воспоминаниями. Он с поспешностью принял сделанное ему предложение перейти в

Париж и таким образом поменял провинциальное место на звание палача в столице. Минута эта была торжественна.

Канцлер Летеллье умер, оставив печать президенту Бушера, человеку мягкому и безукоризненно справедливому. Маркиз де Булльон, истинный дворянин, был незадолго перед тем поставлен на место парижского превота. Магистратура возобновлялась на двух противоположных концах социальной лестницы: за канцлером Франции и парижским превотом следовал палач.

Длинный ряд внезапных смертей, опустошивших на ступенях трона королевское семейство; таинственные процедуры уголовного суда этого великого государства по случаю тонкой отравы, происходившей от Борджия и называвшейся порошком наследия, – все это исчезло; и ничто не омрачило бы спокойствия, если бы ни один безрассудный акт, который предуготовил для нашей страны, к несчастью, слишком привыкшей к религиозным ссорам, новую эру бедствий. Я говорю об уничтожении Нантского эдикта. Но я не имею права судить об этом перевороте и приписывать ему нетерпимость, которая столь долго воспламеняла и поддерживала у нас бедствия гражданской войны. Люди, влиятельнее меня, занимались этим и решили этот важный вопрос. Я только покажу, какой отклик, какое чувство должно было вызвать это происшествие в исключительной сфере, к которой принадлежал и Сансон де Лонгеваль; поэтому я обойду молчанием факты, слишком известные под именем Драгонад, Севенские кровопролития, и т. д., чтобы перейти к жестокостям, совершенным рукой исполнителя уголовных приговоров. Указ короля предписывал самые строгие наказания к больным, если они реформатского вероисповедания и отказывались от святых таинств. В нем было сказано, что в случае выздоровления эти еретики будут публично признаны преступниками и будут приговорены к пожизненной работе на галерах с конфискацией имущества,

а в случае смерти – процесс будет проведен в их память, тела будут уложены в плетеную тележку и брошены в места, куда свозили разные нечистоты.

Другой указ предписывал те же наказания реформаторам, которые будут уличены в намерении покинуть Францию, и тем, кто будет помогать им в этом. Наконец приказывалось под угрозой конфискации имущества всем протестантским эмигрантам или подозреваемым в этом намерении возвратиться в самый короткий срок во Францию, и назначалось вознаграждение в тысячу ливров всякому, кто донесет или воспрепятствует намерению эмиграции.

Спешу прибавить, что все эти распоряжения были сделаны правительством после переселения моего предка в Париж; в противном случае, он остался бы в Руане. Не мешает заметить, что эти жестокие постановления были лишь судебной уловкой; ими скорее хотели внушить страх, чем вызвать серьезные последствия. Я не нахожу в бумагах, оставленных Сансоном де Лонгевалем ничего, чтобы говорило о приговорах, вследствие несоответствия какого-либо из вышеописанных постановлений и приведенных в исполнение моим предком по его жестокой обязанности.

В эту эпоху протестантов преследовали больше в провинциях, чем в Париже. Что же касается награды, дававшейся за донесение, то кажется, что, как всегда, на это решались немногие, ибо, несмотря на строгую бдительность полиции, эмиграция продолжалась на всех пунктах государства, лишая Францию значительной части дворянства и цвета богатейших особ, которые по примеру и под влиянием Кольберта положили начало торговле и промышленности нашей страны.

Кроме этого, еще и другие обстоятельства омрачали первые годы пребывания Сансона де Лонгеваля в Париже. По приезде он должен был поселиться в Пилори aux Halles. Народ называл этот дом дворцом палача. Пребывание в подобном жилище не только не могло рассеять меланхолии моего

предка, но, напротив, еще более погружало его в грусть и уныние. И точно, оно представляло мрачное восьмиугольное строение, с остроконечной крышей, укрепленной на шпиле, и вращавшейся во все стороны деревянной башенкой. Я уже сказал, окинув историческим взглядом различные роды казней, что осужденных к позорному столбу прикрепляли к фонарику и постепенно поворачивали на все четыре стороны. Читатели, вероятно, не забыли, что это делалось обыкновенно в торговые дни с тем намерением, чтобы более унизить обвиненного, предавая его насмешкам и оскорблениям многочисленной толпы.

Перед этим странным строением возвышался крест, к подножию которого приводили обанкротившихся лиц, чтобы те публично отказались от своего имущества; после чего исполнитель надевал на них зеленый колпак.

Вокруг находились лавки, сдававшиеся внаем; доходами с которых жил палач. Пристройки состояли из конюшни и навеса, нечто вроде сарая, где сохранялись трупы преступников до их погребения.

Под этим-то навесом, при виде жертв своей злосчастной обязанности – этих бедных трупов, которым он доставлял последнее и зловещее убежище, у моего предка возникла мысль странная, но переполнившая его удовлетворением. Если бы, лишая жизни своих ближних, он мог изведать ее тайны, прежде чем предать эти останки земле, исследовать их, заменив смертоносный меч проницающим и открывающим тайны организма скальпелем, он мог извлечь из этого ряд выводов, полезных для облегчения человеческих страданий и той жестокой борьбы между жизнью и смертью, которая составляет необходимый и непреложный закон природы.

Эта мысль глубоко запала в душу Шарля Сансона, и нет сомнения, что в ту ночь, когда он впервые приступил к осуществлению ее, его волнение было столь же сильно, как Андреаса Везалия, презревшего религиозные предрассудки своей

эпохи и осмелившегося посягнуть на труп, дабы заложить основу современной анатомии.

Мой предок столь же мужественно приступил к осуществлению своего намерения. Хотя на лбу его выступили крупные капли пота, хотя скрип флюгера, прикосновение к окоченевшим и безмолвным трупам приводили его в трепет – он не робел, а старался себе внушить, что этим кропотливым трудом он хоть немного искупит вину за жестокость своей обязанности, и, собравшись с духом, продолжал неутомимо, при тусклом и мерцающем свете светильника, свои трудолюбивые исследования для пользы страждущих собратьев.

Его поиски не остались бесплодными, до нас дошли любопытные выводы действия и значения мышц и сочленений и многие рецепты против страданий органов нашего тела.

Изучение анатомии и употребление известных средств увековечились в нашем семействе. Все его члены занимались этой наукой, и в числе других лекарств мы имели бальзам, оказывавший удивительное действие на самые застарелые болезни человеческого организма.

Читатели, наверное, немало удивятся, что мы излечили многих больных, которых посылали к нам, отчаявшись отыскать причину болезни знаменитейшие хирурги того времени. Многочисленные доказательства подкрепляют это.

Сознаюсь, что мы весьма дорого продавали эти лекарства аристократам и богатым особам, но давали их бесплатно бедным людям. Одно окупалось другим.

Возвращаюсь к Сансону де Лонгевалю. Жизнь в Пилори, стоявшем среди шумного, многолюдного рынка и окруженного прилежащими к нему лавками, казалась ему недостаточно спокойной для его занятий и не соответствующей его состоянию духа. Кроме того, она представляла другое, не менее важное неудобство, заключавшееся в том, что в торговые

дни рано утром, с самого начала открытия рынка, пристав взимал долю из различных припасов, и эта добыча относилась в Пилори. Эта двойная операция совершалась не без затруднений. Многие торговцы неохотно следовали этому постановлению, потому что их отталкивало скорее назначение, чем размер требуемой с них и поступавшей в распоряжение исполнителя доли. Среди тревоги и волнения на рынке пристав не мог прибегать к другим средствам для отличия уже удовлетворивших его, как обозначить белым мелом крест на платьях торговцев. Этот знак сделался предметом насмешек, часто обидных, со стороны купцов, которые были непричастны к сбору, а иногда и прохожих. Однако это был уже несколько элементарный образ отметки, который должен был служить поводом ко многим распрям между сборщиками и торговцами. И точно, без них почти что не обходилось. Пристав, обеспеченный властью, не соблюдал необходимой умеренности в выполнении своих обязанностей, ибо в семействе моем говорили весьма часто, что поговорка «Груб, как служитель палача» произошла от частых ссор сборщиков с торговцами.

В предыдущем столетии неудовольствия возросли до такой степени, что исполнитель верховных приговоров Лоран Базар сделался жертвой возмущения народа, ожесточенного поступками его агентов. Однажды, когда он делал в Пилори необходимые приготовления для выставления обвиненных к позорному столбу, народ в одно мгновение ока кинулся с зажженными факелами к строению, и через несколько минут яркое пламя объяло Пилори. Когда некоторое время спустя бросились тушить пожар и вспомнили о Лоране Базаре, то нашли его уже сгоревшим. Следствие открыло только одного виновного; это был булочник по имени Лостьер, и он-то, без сомнения, снабдил толпу факелами.

Все эти обстоятельства побудили Сансона де Лонгеваля покинуть свое жилище в Пилори, потому что в его обязанности

не входило условие жить непременно в Пилори, а не в каком-либо другом месте. В то время в Париже существовал пустынный квартал, называвшийся Новой Францией; это место теперь занято частью Пуассоньерского предместья. Если бы мы не были свидетелями совершавшихся в течение ряда лет удивительных перемен в столице, то едва ли бы поверили, что квартал, где в настоящее время встречаем превосходные дворцы, прекрасные церкви, монументальную больницу, станцию двух самых больших наших железных дорог, еще недавно представлял лишь пустые места, на которых виднелось несколько жалких и далеко друг от друга стоявших жилищ. Только благочестивая обитель последователей Святого Викентия де Поля да церковь во имя Святой Анны возвышались среди этой пустыни. В настоящее время церковь превратили в пивоварню, а убежище миссионеров – в темницу.

В этой Новой Франции, возле церкви Святой Анны, и поселился Шарль Сансон, отдав взаймы дом в Пилори aux Halles за 600 ливров в год, что составляло значительную сумму для того времени. Впоследствии мы увидим, каким образом мое семейство окончательно поселилось в этом квартале и уже никогда его не покидало. Один лишь я оставил его, когда, получив увольнение, стал избегать всего, что могло напомнить мне о прошлом.

Первые годы пребывания Шарля Сансона де Лонгеваля в Париже не представляют ничего интересного до процесса и казни госпожи Тике, которому будет посвящена следующая глава этой книги. Причина этого заключается не в том, что в семейных наших летописях я не смог найти ни одной забрызганной кровью страницы; но увы, нужно сознаться, что даже преступления имеют свою аристократию, и я полагаю, что моим читателям несравненно интереснее знать достоверные подробности насчет этой молодой особы, которая в конце семнадцатого столетия занимала все умы в Париже, чем описание мрачных и неизвестных злодеев. Процесс, развязка ко-

торого была довольно трагична, в то время наделал не менее шума, чем в наше время тяжба госпожи Лафарж.

Чтобы скорее приступить к описанию этого драматического эпизода, я окину быстрым и мимолетным взглядом жертвы первых казней. К тому же все эти кровавые сцены походили одна на другую, и описание их сделало бы еще ужаснее и так уже слишком яркую картину жестокости и бесчеловечности.

Почти все смертные приговоры выносило особое отделение Парламента, которое называлось судом де Ла Турнель. Он решал просьбы обвиненных, которые они подавали в шателе и другие отделения, в ведомстве Парламента. Судебные формы были кратки и сжаты. Когда обвиненный упорно сопротивлялся проводимой над ним подготовительной пытке, тогда посредством жестоких страданий старались вырвать у него сознание в том, от чего он отрекался. В других случаях, когда виновность подтверждалась различными доказательствами, то суд де Ла Турнель, вынося смертный приговор, прибавлял еще и то, что осужденный, прежде чем будет отведен на лобное место, должен подвергнуться ординарной и экстраординарной пыткам для того, чтобы он указал сообщников своего преступления. К счастью, это не входило в обязанности исполнителя, а было поручено особым офицерам, которые назывались пытчиками. Один из моих двоюродных дядей был наделен этим званием. Как видно, все члены нашего семейства были обречены на позор и унижение. Он оставил описание пыток, при чтении которых волосы становятся дыбом. Я, в свою очередь, изложу вкратце сущность и порядок их исполнения.

В день исполнения приговора главный чиновник уголовного суда с приставом шателе отправлялись в отделение пытки. В эту большую, полуосвещенную комнату, в которой невозможно было ясно различить физиономии, и герметически закупоренная, чтобы крики пытаемого не проникали наружу.

Затем туда приводили осужденного: ему приказывали встать на колени и громким голосом читали приговор. Затем пытатель хватал, связывал и распинал его на кобыле. В эту минуту в комнату входили два Парламентских советника, на которых была возложена обязанность снять с него показания.

Допрос начинался тотчас же. Между каждым вопросом осужденного подвергали новой пытке; ему сжимали члены в тисках с винтами (шраубцвиинги); его тело разрывали, ему раздробляли кости. К чему щадить того, кто вечером будет трупом.

Чаще на возобновляемые и настоятельные требования выдать своих сообщников несчастный отвечал только болезненными криками и рыданиями.

Очень многие погибали в этих ужасных мучениях.

Самые сильные и крепкосложенные люди могли устоять в этом варварском испытании лишь определенное время. Когда на губах их появлялась кровавая пена, с побледневших висков начинал катиться пот агонии, тогда несчастных спешили освободить и положить на матрац. Это случалось почти всегда при восьмом испытании тисками или полусапожками.

Вот в чем состоял еще в конце XVII столетия последний день осужденного. Вечером труп передавали исполнителю уголовных приговоров. Повытчик и пристав сопровождали эти живые останки до места казни, еще раз уговаривали его назвать своих сообщников и затем удалялись, торжественно ему поклонившись.

Затем наступала очередь исполнителя. Ему следовало довершить столь хорошо начатое дело разрушения: переломить железным шестом сочленения этих изувеченных членов, прикрепить к колесу этот преждевременный труп, обратив его лицо к небу, и истязать таким образом до тех пор, пока в нем не останется хотя бы одна капля жизни. По-

чему же лицо обращали к небу? Разве для того, чтобы он мог вознести к нему крик о мщении за людское жестокосердие?

Спешу ответить: до нас дошло весьма небольшое число из этих чудовищных процедур.

Судебные летописи не сохранили имен приставов, бывших темными и немыми участниками кровавых драм той эпохи, но в последние двадцать лет XVII столетия они почти беспрерывно упоминают о Клоде Амио, который в качестве повытчика присутствовал при выполнении всех уголовных приговоров. Нужно согласиться, что жизнь этого несчастного имела некоторое сходство с существованием исполнителя. Советники, число которых было многочисленнее, могли чередоваться. В числе этих последних упоминается чаще господин Тике, о котором мне придется говорить в следующей главе, господа Ламбер д'Ербиньи, Барбери и проч. По-видимому, один лишь последний был в состоянии сохранить среди этих возмутительных сцен спокойствие и присутствие духа; его подпись, чрезвычайно размашистая, всегда верна и показывает твердость руки.

Не скажу того же самого о Заметках, оставленных Сансоном де Лонгевалем по поводу его первых экзекуций. Легко заметить, что все они написаны в расстроенном состоянии ума и сердца, что невольно заставляло дрожать его руку. Повторяю, они представляют мало интересных частностей и не разнообразятся в подробностях.

Время перейти к одной из тех прелестных женщин, которых, по-видимому, небо не сотворило для преступления и которые доходят до него вследствие пагубной склонности, так что когда приходится судить их, то ощущаешь к ним чувство ужаса и сожаления.

Глава III
Процесс и казнь госпожи Тике

В начале 1699 года одно необыкновенное происшествие произвело глубокое впечатление на Париж и вскоре сделалось всеобщим предметом всех разговоров. Один весьма уважаемый член магистрата, господин Тике, советник в Парламенте, как бы чудом спасся от смерти. Против него был составлен заговор и заговор не пустячный. Утолив кровожадность злодеев, ожидавших его на дороге, он упал в крови почти без признаков жизни недалеко от своего отеля, и, если бы не поспешность, с которой его камердинер, услышавший выстрелы, поспешил к нему на помощь, то весьма вероятно, что он бы не пережил это злодейское покушение на его жизнь.

Все весьма удивились, узнав, что господин Тике, несмотря на серьезное положение, в котором находился, решительно протестовал переносу его домой и предпочел просить гостеприимства у одной дамы, а именно графини де Виллемюр, с которой был дружен. Он предпочел этот дом своему собственному отелю, где он должен был найти нежные заботы своей жены и двух детей, которых он имел от этого брака.

Этот странный случай послужил поводом ко многим толкам, не слишком благоприятным для нравственности советника, если бы не возникли другие важные слухи, давшие этому случаю более жестокое значение. Узнали, что госпожа Тике, при известии о случившемся, кинулась к госпоже де Виллемюр и хотела видеть мужа, но последний отказался принять ее. При допросе он отвечал чиновнику, которому было поручено следствие по этому делу, что у него есть один только враг – жена.

Этого было достаточно, чтобы возбудить внимание и любопытство парижан, которых во все эпохи занимали тайны

алькова и домашнего очага. Поэтому только и толковали об истории господина Тике и рассказывали следующее.

Анжелика Николь Карлье (госпожа Тике) родилась в 1657 г. в Метце. Отец ее, богатый книготорговец-издатель, оставил состояние более миллиона, которое должны были наследовать она и брат, бывший несколькими годами старше. Осиротев на пятнадцатом году, она имела опекуном только одного брата, и он поместил ее в монастырь. Выйдя из монастыря и вступив в свет, Анжелика была вполне развившейся девицей и обладала всеми соблазнительными прелестями своего пола. Красота ее была замечательна, ум блестящ и гибок; все, казалось, предсказывало ей счастливое и блистательное будущее.

И точно, ее руки не замедлила искать толпа претендентов, в числе которых были весьма прекрасные партии. Но по затруднительности ли выбора, или потому, что сердце ее еще было безмолвно, Анжелика долго не могла решиться сделать выбор. Эта нерешительность весьма благоприятствовала господину Тике, который принадлежал также к числу искателей: благодаря своему званию Парламентского советника, льстившему самолюбию молодой девушки, он был счастливее своих соперников. Плебейское имя Пьер Тике достаточно доказывало, что высоким положением в магистратуре он был обязан скорее своим заслугам и личным достоинствам, чем происхождению; но в ту эпоху, когда неравные браки были не столь многочисленны, как в следующем столетии, мадемуазель Карлье по своей амбиции не могла не показать презрения к подобному союзу.

Прибавим, что господин Тике действовал не только по влечению своего сердца, но, кроме того, в этом браке видел двойную выгоду в отношении видов приличия и своего финансового положения, в котором наследство Анжелики должно было восстановить уже давно потрясенное равновесие. Итак, чтобы достигнуть своей цели, достойный советник

не щадил ни настойчивости, ни дипломатии. Он был так искусен, что приобрел двух бесценных союзников: старшего брата, воспитавшего Анжелику, и тетку с материнской стороны, которая имела влияние на молодую девушку. При помощи их энергичного содействия ему удалось победить чувство отвращения, которое он внушал Анжелике, быть может, не по причине своей суровой и непривлекательной наружности, как вследствие своих лет, которые уже перешли за почтенный зрелый возраст, и своего довольно простонародного имени.

Советы тетки и брата и перспектива сделаться женой советника Парижского парламента победили инстинктивное отвращение Анжелики, и она согласилась на предложение господина Тике.

Говорили, что господин Тике, чтобы ускорить развязку, решился на героическое усилие щедрости, которое немало должно было стоить его бережливой натуре. В день ангела Анжелики он поднес ей великолепный букет цветов, усеянный бриллиантами и другими драгоценными камнями, стоимостью не менее пятнадцати тысяч ливров (около 45.000 франков на нашу монету). Чтобы привести подобный подвиг щедрости в исполнение, господин Тике должен был не только переломить свой характер, но, кроме того, прибегнуть к помощи своих друзей.

Сердце женщин во все времена было чувствительно к драгоценностям, и нежная внимательность советника имела немалое участие в счастливом успехе его брачной интриги.

Медовый месяц продолжался около трех лет. Двое детей, мальчик и девочка, еще теснее сблизили узы этого брака, семейного счастья, которого еще ничто не нарушало.

Тем не менее, госпожа Тике имела огромные склонности к роскоши; она вела пышную жизнь, держала экипажи, многочисленную прислугу и т. д. Наконец, в ее доме собиралось блестящее, хотя и несколько пестрое, общество.

Супруг ее, со своей стороны, не имевший ничего, кроме жалованья, и наделавший немало долгов для заключения этого брака, делал время от времени своей жене робкие и дружеские замечания на счет ее страсти к расточительству. Однако она не обращала никакого внимания на это и продолжала жить по-прежнему.

Уговоры мужа, сначала нежные, потом настойчивые и повелительные, не производили на нее никакого впечатления. Напротив, она незаметно перешла от уважения к равнодушию, от равнодушия – к гневу и затем – к отвращению.

Брат ее, помимо своей воли, был немало виноват в этой перемене чувств Анжелики в отношении к мужу. Он ввел к ней в дом одного из своих друзей – молодого офицера, господина Монжоржа, капитана французской гвардии. Капитан был молод, прекрасен, имел величественную и стройную осанку, был одарен изящными манерами и представлял с угрюмым супругом госпожи Тике такой разительный контраст, что пробудил сердце молодой женщины. Беспрерывные сплетни, ежедневно до нее доходившие, сделали ее еще более доступной для страсти, которая овладевала ею. Вскоре госпоже Тике уже нечего было отказывать Монжоржу, и если что-либо могло простить подобный проступок, так это то, что эта страсть была единственной, и что среди своей рассеянной жизни она была верна ей до своей смерти.

Это была Индиана великого столетия, существовавшая гораздо ранее того времени, когда Жорж Санд создала этот необыкновенный тип женщины: возвышенной, подавленной под гнетом сварливого и ревнивого мужа.

Госпожа Тике не позаботилась, по примеру лицемерок того времени, скрыть свою любовь. Она дошла до той степени экзальтированной страсти, когда женщина отдается вся, не обращая внимания ни на мнение света, ни на законы. Старый советник, несмотря на ослепление, которое считают в таком случае милостью свыше, был уведомлен о дурном

поведении своей супруги, слух о чем уже успел распространиться по всему Парижу.

Он немало удивился и вполне предался своему гневу. Он начал с того, что избавился от Монжоржа и отменил приемные дни своей супруги. Но это нисколько не послужило восстановлению семейного согласия. Анжелика поклялась, что ни в коем случае не подчинится новому образу жизни, который хотел установить ей муж, и приложит все усилия, чтобы уничтожить это гнусное угнетение и варварство. Достигнуть цели, казалось ей, будет легко, так как она вышла замуж не с пустыми руками, а с богатым приданым. К несчастью, она нашла в том же брате и той же тетке, которые побудили ее к заключению этого неравного брака, вполне преданных помощников.

Вследствие их стараний, толпа безжалостных кредиторов бросилась преследовать господина Тике. Они решили пустить его отель в продажу.

Госпожа Тике воспользовалась этим случаем, чтобы в судебном порядке требовать раздела имущества.

Муж, со своей стороны, не оставался бездеятельным. Он принес жалобу с многочисленными доказательствами неверности своей жены, разжалобил своей участью Парламентских сослуживцев и, наконец, получил через посредничество первого президента, господина де Новиона, запрещение Анжелике вступать в раздел со своим супругом.

С этого мгновения он считал перевес на своей стороне и обращался с неверной женой более повелительнее и суровее, чем прежде.

Он требовал от нее, чтобы она на будущее была покорнее и, если дорожит своею свободой, то чтобы никогда не предпринимала попытки увидеться с прекрасным капитаном и отказалась от своего требования о разделе. Раздраженная Анжелика вооружилась невероятной энергией. Она упрекала

мужа в том, что он окружил ее шпионами, вступив в низкие сношения с прислугой.

Эта сцена была одной из самых бурных. В высшей степени взбешенный господин Тике торжественно поднял предписание суда и поклялся прибегнуть к его силе. Анжелика, почти столь же сильная, но несравненно проворнее и ловчее его, бросилась на него и без труда вырвала бумагу, которую тотчас же кинула в огонь.

Нельзя себе представить отчаяния и бешенства господина Тике, одураченного таким образом.

Напрасно старался он получить новое судебное предписание. Знатные лица, к которым он обращался и в числе которых значился господин де Мезм, сделавшийся впоследствии первым президентом, отказывали, не слишком стараясь скрыть насмешливую улыбку, появлявшуюся на их устах.

Это происшествие сделало господина Тике предметом насмешек в городе и при дворе. Жена его, со своей стороны, продолжала с прежней настойчивостью требовать раздела имущества, на что, наконец, получила разрешение из шатееле. Но это было для нее удовлетворением слишком неполным; она наиболее стремилась к возвращению своей свободы и разрыву супружеских уз, сделавшихся для нее ненавистными, Тогда-то она и решилась избавиться от мужа и заменить его Монжоржем, с которым продолжала тайно видеться. Она открыла свое намерение привратнику Жаку Мура, которого сделала соучастником этого ужасного мероприятия. Кроме того, в участии в этом заговоре обвиняли Клода Демарка, гвардейского солдата; Филиппа Лангле, по имени Сен Жермен, и Клода Русселя – оба в услужении у госпожи Тике; Жанну Лемеро и Марио Анну Лефор, горничную; Жана Демарка, бедного дворянина, прежде служившего при солончаках в Поату; Жанну Боннефон, девушку дурного поведения (любовницу советника Тике); Маделен Миллоте, вдову конюха Леона по имени Ла Шателен, у которой жила Боннефон;

Маргариту Лефевр, кухарку госпожи Тике; Жана Лоазо, ее кучера; Мари Бриарш, жену Рене Шезно; Грандмезона, солдата из роты гренадеров Монжоржа; Грандмезон Сеньера, племянника последнего, и еще трех лиц, которых не успели схватить.

В вечер, назначенный для совершения преступления, все эти люди сторожили Тике на дороге, по которой он должен был проходить, нисколько не подозревая об угрожавшей ему опасности; но в последнюю минуту Анжелика потеряла присутствие духа, и вследствие ли угрызений совести, или из боязни измены она хотела отменить приказ, щедро наградив каждого из своих сообщников.

Тике хотя и судился со своей женой, но все же ревновал ее. Справедливо не доверяя верности своего привратника, он прогнал его, осыпав упреками и угрозами; и не желая уже никому более доверять этого серьезного поста, он унизился до того, что сам сделался привратником, отпирая только людям хорошо знакомым, унося с собой ключ, когда уходил со двора, и пряча его под подушкой в течение ночи.

Эта мелочная инквизиция и безусловное заточение повергли госпожу Тике в отчаяние и лишь утвердили ее намерение освободиться от этого невыносимого тиранства. Однажды ей, по-видимому, представился удобный случай. Старый советник, будучи болен, не выходил из своей комнаты; жена его, сделавшись внезапно чрезвычайно к нему внимательной, приказала его камердинеру отнести ему чашку бульона, который сама приготовила; но сметливый лакей, угадав намерение своей госпожи, нарочно споткнулся, уронил чашку, отказался от своего места и оставил дом.

Он не сказал ни полслова. Тике ничего не узнал об этом неудавшемся покушении на его жизнь. С этой минуты Анжелика возвратилась к своей прежней мысли убить своего мужа.

Много толковали об одном разговоре, который она имела с одной из своих подруг, вдовой графа д'Онай. Однажды госпожа Тике вошла к ней чрезвычайно взволнованной. Подруга спросила о причине ее расстройства.

– Я провела два часа с сатаною, – ответила она.

– Признаться, вы были в прегадком обществе.

– Когда я говорю, что видела черта, то понимаю под этим одну из тех известных гадальщиц, которые предсказывают будущее.

– Что сказала она вам?

– Ничего, кроме весьма лестного. Она уверила меня, что спустя два месяца я буду выше врагов моих, и мне нечего будет опасаться их злобы. Вы очень хорошо знаете, что я не могу рассчитывать на это, потому что не буду никогда иметь ни малейшего спокойствия, пока жив господин Тике, который себя слишком хорошо чувствует, чтобы я могла надеяться на столь скорую развязку.

После этого разговора она возвратилась домой, где провела весь вечер в обществе другой подруги графини де Сенонвиль, которую господин Тике считал долгом исключить из числа тех знакомых, которых запретил своей жене принимать у себя.

В тот же вечер господин Тике был у графини де Виллемюр, занимавшей один из соседних отелей, которую он посещал весьма часто. Распростившись с нею и едва успев пройти несколько шагов по улице, советник был поражен выстрелами и упал, раненный пятью пулями; к счастью, ни одна не оказалась смертельной. Остальное нам уже известно.

На другой день после этого происшествия, стараясь отвлечь подозрения, собиравшиеся над ее головой, госпожа Тике, проведя ужасную ночь, встала весьма рано и имела достаточно самообладания, чтобы не показать беспокойства ни на своем лице, ни в своем поведении. Она отправилась, по обыкновению, к госпоже д'Онай, которая не знала о

подготовленном нападении. Первым ее вопросом было то, что подозревает ли господин Тике своих убийц.

– Если бы даже он и знал это, – отвечала Анжелика, – то, наверное, остерегся бы назвать их. Увы, любезная подруга, теперь меня повесят.

Графиня всячески старалась успокоить ее, говоря, что столь гнусное обвинение не могло задеть ее.

– Скорее и лучше сделают, – прибавила эта великодушная подруга, – если схватят привратника, которого прогнал ваш супруг. Быть может, он решился на этот поступок из мщения.

Слова эти озарили лучом света ум госпожи Тике; она тотчас же поняла всю выгоду, которую может извлечь для своей защиты из изгнания Жака Мура, выражавшего неоднократно крайнее неудовольствие своим прежним господином и иногда жестоко угрожавшего ему.

Успокоившись, она решилась посмотреть, что будет, и не слушала благоразумных советов, которые ей давали со всех сторон.

К ней явился феатинский монах, предлагая способствовать ее бегству, переодев ее в облачение своего ордена, которое позволило бы ей выйти из отеля, будучи никем не замеченной. Почтовая карета должна была ожидать ее и отвезти в Кале, откуда она могла бы переправиться в Англию.

Прошло более недели, а Анжелика все не слушала этих благоразумных советов. Преступная совесть всегда влечет за собой помешательство рассудка – вот почему преступление столь редко остается безнаказанным.

Тем не менее, несмотря на свою мнимую беспечность, госпожа Тике была пожираема мучительными опасениями. На другой день после попытки феатинца ей сделала визит графиня д'Онай, которая, будучи уверена в ее невиновности, осталась преданной ей до конца. В ту минуту, когда подруга хотела уйти, она удержала ее за руку и сказала:

– Останьтесь, я имею дурное предчувствие: что-то говорит мне, что придут меня арестовать, и если это случится, то мне будет приятно видеть вас подле себя.

Она едва успела закончить, как вошел помощник лейтенанта уголовного суда в сопровождении нескольких полицейских солдат. Это появление, поразившее бы всякого другого, казалось, нисколько не расстроило ее.

– Вы бы могли, милостивый государь, – сказала она ему, – прийти и без столь многочисленной охраны. Я нисколько не имела намерения оказать хотя бы малейшее сопротивление приказу, который лишит меня свободы, и если бы хотела бежать, то, конечно, не медлила бы до этой минуты.

Затем она попросила чиновника заняться приложением печатей и позволения проститься со своим сыном. К ней привели ребенка, которому было не более восьми или девяти лет от роду. Она поцеловала его, уронив несколько слез.

– Бедное дитя мое, – сказала она ему, – у вас отнимают мать. Но будьте уверены, что эта разлука не будет продолжительной. Клевета скоро обнаружится, и я еще прижму вас к своей груди.

После этого трогательного прощания она села в экипаж лейтенанта и сохранила в продолжение всего пути непостижимое спокойствие духа. Проезжая через рынок Невинных и заметив одну из своих знакомых, она поклонилась ей со своей обычной грацией.

Госпожа Тике была предварительно помещена в Малом шателе, но ее не замедлили перевезти в Большой. Процесс завязался с необычайной поспешностью. Едва распространился слух об ее аресте, как явился некто Огюст Шателен и объявил, что три года тому назад прежний привратник, Жак Мура, дал ему денег от имени Анжелики с условием, чтобы он умертвил господина Тике.

Вследствие этого доноса арестовали Жака Мура и даже самого доносчика. Они вынесли несколько испытаний и были

сведены на очную ставку с обвиняемой. Несмотря на самые деятельные допросы, судьи не могли добиться ни одного доказательства, что они были руководителями последней попытки убийства, но нашли множество их в составлении первого заговора.

Странная вещь! Этот первый заговор, оставшийся в некотором роде только проектом, потому что не был приведен в исполнение, послужил главным основанием осуждения обвиненных.

Сансон де Лонгеваль, до которого доходили все слухи, только что упомянутые мною, следил с беспокойством за всеми фазами процедуры, ибо предвидел, что новая жертва уже ждет его. Потому с болью в сердце он один из первых услышал 3 июня 1699 года, что приговор шателе, от того же числа, «присуждал Анжелику Николь Карлье, жену Тике, к отсечению головы на Гревской площади; Жака Мура, бывшего привратника – к виселице; имущества их конфискованы, отделив из этих последних десять тысяч ливров в пользу короля и сто тысяч ливров – для покрытия издержек и для Тике, доходами с которых он имеет право пользоваться в продолжение своей жизни».

Этот приговор, частные подробности которого я привел слово в слово, произвел большое впечатление, хотя и знали, что этим процесс еще не закончен. И точно, господин Тике подал апелляционную жалобу в Парламент, опираясь на то, что решение суда предоставляет в распоряжение его детей только сумму в сто тысяч ливров, доходами с которых он мог пользоваться, но он имеет право получить, кроме этой суммы, еще пятнадцать тысяч ливров из достояния своей супруги и прочих обвиненных.

Парламент не остался глухим к требованию одного из своих членов. Решением от 17 июня он предоставил Тике вместо пятнадцати – двадцать тысяч и утвердил наибольшее число пунктов приговора шателе.

Огюст Шателен, услужливый доносчик, был присужден к вечной каторжной работе на галерах, а прочие обвиняемые – оправданы. Приговор этот произвел огромное впечатление. Находим, что Парламент мстил слишком жестоко за честь и неприкосновенность одного из своих собратьев. Наконец господин Тике излечился от своих ран; он не погиб от покушения на его жизнь, не было и достоверных доказательств, что Анжелика или ее сообщники были руководителями этой интриги. Следовательно, ее осудили за первый заговор, который, как известно, не был приведен в исполнение, потому что в решительную минуту она высказала чувство раскаяния, которое удовлетворяет правосудие Господа Бога, но к несчастью не обезоруживает правосудие людей.

И, наконец, скажу, что госпожа Тике была прекрасна, знатна, умна и принадлежала к высшему обществу; ее любовная связь с Монжоржем, оглашенная вследствие процесса, неравный брак со старцем, которому она была пожертвована с первых лет своей молодости – все это возбуждало участие и расположение к ней. Все склонялись в ее пользу. Во всех классах общества пламенно желали ее оправдания и надеялись, что королевское милосердие пощадит эту прелестную жертву.

Всем было известно, что сам господин Тике ездил со своими двумя детьми в Версаль, чтобы пасть к ногам Людовика XIV. Не будучи настроенным просить ни прощения своей жены, ни смягчения ее участи, он ограничился вопросом конфискации имущества и просил разрешения пользоваться им.

Король согласился на это. Скупость, проявленная в этом случае старым советником, доказанная им уже однажды в апелляции в Парламенте, сделала, наконец, господина Тике для всех ненавистным и возбудила еще большее сочувствие к его супруге. Брат Анжелики также не оставался в бездействии. Благодаря своим связям, он склонил к содействию Анжелике многих знатных лиц. Быть может Людовик XIV и

уступил бы, но кардинал де Ноайль, архиепископ Парижский, по-видимому, предвидевший развращение нравов в последующем столетии и хотевший предупредить его спасительными примерами, убедил короля в непреклонности.

С этой минуты уже не на что было надеяться. Моему предку оставалось только ждать минуты, когда ему придется предать смерти эту новую жертву заблуждения человеческих страстей – она вскоре настала.

Казнь не могла совершиться в праздник, ее отложили до следующего дня. Рано утром Шарль Сансон де Лонгеваль прибыл на Гревскую площадь, чтобы приготовить эшафот и плаху. Многочисленная толпа с угрюмым видом смотрела на все эти приготовления.

В это время госпожа Тике была на допросе, где в присутствии помощника уголовного судьи, не побледнев, с покорностью слушала свой приговор.

Помощник уголовного судьи Дефитта был одним из прежних поклонников Анжелики: он с трудом скрывал свое волнение и между тем считал необходимым сказать ей несколько слов в назидание.

– Сударыня, – сказал он, – вы слышали приговор, ставящий вас в положение, резко противоположное тому, в котором вы находились прежде. Вы принадлежали к почетному классу общества; наслаждения и удовольствия, которыми вы пользовались, переполняли радостями вашу жизнь. Теперь вы покрыты позором и немного осталось времени до свершения вашей казни. Необходимо, сударыня, чтобы вы собрали все свое мужество, чтобы испить позорную, но спасительную чашу. Один Бог может облегчить вам тяжесть креста, возложенного на ваши плечи, и усладить горечь чаши, ожидающей вас. Наконец, казнь, на которую вы обречены, – только переход в другую, лучшую жизнь, и она не покажется вам ужасной, если, сударыня, вы вспомните, куда она ведет.

Бедная женщина вспомнила поневоле то время, когда этот самый чиновник вздыхал у ее ног, но обстоятельства заставляли говорить с ней подобным образом.

– Правда, – не без иронии возразила она, – что я теперь пала очень низко; но так как вы не позабыли очаровательных дней, которые, по своей доброте, напомнили мне, то вы должны, милостивый государь, знать, что тогда меня все уважали. Я нисколько, – продолжала через несколько минут она, – не страшусь казни. Вместе с моей жизнью прекратятся и мои страдания… Я не презираю смерть, но надеюсь встретить ее с покорностью, и, быть может, Всевышний будет столь милосерден, что позволит мне на эшафоте сохранить то же спокойствие, какое я ощущала на скамье обвиняемых и в этих стенах, где вы только что прочли мне приговор.

Помощник уголовного судьи стал снова убеждать Анжелику сознаться в преступлении и указать сообщников: ее хотели избавить от ужасов пытки. Казалось, что они боялись терзать столь очаровательное создание.

Сначала она наотрез отказалась от всякого признания. Но выпив первый кувшин воды и при виде приготовления к другим пыткам Анжелика решилась во всем сознаться. У нее спросили, участвовал ли Монжорж в преступлении:

– Великий Боже! – воскликнула она, – неужели я открыла бы ему свое намерение: он лишил бы меня своего уважения, которым я дорожила больше жизни.

Затем госпожа Тике была передана в руки аббата де Ла Шетарди, священника Святого Сульпиция и ее духовника. Он сел вместе с ней в зловещую тележку, где уже находился Жак Мура, бывший привратник, в сопровождении другого духовного лица.

Этот траурный поезд тихо тронулся между тесных волн народа к Гревской площади, с большим трудом мог пробиться сквозь густую толпу собравшихся зрителей. Госпожа Тике, по принятому обычаю, была вся в белом, что еще более

подчеркивало блестящую красоту, еще не утраченную ею, несмотря на ее сорок два года, и испытания, которым она только что подвергалась. Когда она увидела эту многолюдную толпу зрителей, сбежавшихся со всех сторон, чтобы посмотреть на нее, и заполнившую площадь, прилежащие улицы, окна и даже крыши домов, ее лицо покрылось яркой краской. Быть может, в первый раз она ощутила чувство стыда. Исповедник хотел воспользоваться этой минутой, чтоб тронуть ее душу, которая, по его мнению, была недостаточно проникнута истинным раскаянием.

– Сударыня, – сказал он ей, с трудом удерживая слезы, которыми увлажнились его глаза при виде этой несчастной, – обратите взор к небу, которое скоро примет вас; испейте горькую чашу с тем же мужеством, с каким Иисус Христос, бывший столь невинным, насколько вы преступны, испил свою. Столь великий пример и столь великое вознаграждение за ваше покорство воле Господней должны поддержать вас к перенесению бремени позора. Да скроют предметы, которые вы узрите очами веры, те, которые представляются глазам вашего тела. Дивитесь милосердию Творца Небесного, и, наконец, позор ваш лишь минутный. Разве слишком дорого купить такой ценою небесное блаженство?

Благочестивые слова священника несколько поддержали Анжелику: она подняла покрывало, которым до того времени закрывала глаза, и быстрым взглядом окинула толпу, посмотреть на которую не осмеливалась до этой минуты.

Едва траурный поезд успел прибыть на Гревскую площадь, как поднялась страшная буря: полил крупный дождь, смешанный с градом, стрелы молний пронзали облака, громкие перекаты грома раздавались над головами зрителей, пришедших столь издалека, а между тем ни один из них не думал тронуться с места. Были вынуждены отложить выполнение казни. В продолжение получаса, пока продолжался ливень, глаза Анжелики видели весь аппарат казни и дроги,

запряженные ее собственными лошадьми, которые должны были отвезти ее смертные останки к ее родственникам. Сансон де Лонгеваль говорит, что столь продолжительное ожидание было одним из ужаснейших мгновений его жизни. Его глаза невольно глядели на эту женщину, еще молодую, сияющую красотой, окруженную прежде уважением и почестями, которую его безжалостная секира должна была превратить в отвратительный труп. По странной игре случая и галлюцинаций, лицо ее представляло черты Коломбы и Маргариты, из которых каждая была схоронена в его сердце: вся прежняя жизнь проснулась в уме моего предка, оставляя за собой глубокий след отчаяния и боли.

В продолжение этого времени Анжелика дружелюбно разговаривала с соучастником своего преступления; она просила у него прощения в том, что, побудив его к участию в преступлении, сделалась причиной его смерти; она просила Жака Мура раскаяться и покориться. Последний, заливаясь слезами, упал к ее ногам.

– Дорогая моя госпожа, – сказал он ей прерывающимся от рыданий голосом, – я один виновен во всем; нас обоих погубила моя пагубная легковерность. Подобная казнь ничего не значит для такого бедняка, как я; но вы, столь прекрасная, столь добрая, кажется, созданная лишь для счастья, и вам суждено погибнуть такой жестокой смертью! Ах! Это ужасно!

Роковой момент настал: Жак Мура должен был быть казнен первым. Прежде чем перейти в руки помощников моего предка, он еще раз встал на колени перед Анжеликой:

– О, добрая госпожа моя, – сказал он, сложив руки, – повторите еще раз, что прощаете меня, и я умру спокойно.

Слишком взволнованная для того, чтоб быть в состоянии говорить, она сделала знак согласия, тихо махнув своим платком. Оба исповедника горько плакали. Минуту спустя Жака Мура уже не стало.

Очередь дошла до Анжелики. Она приблизилась, как вторая Мария Стюарт, грациозно поклонившись моему предку и протянув ему свою руку, чтобы он помог ей взойти по ступеням эшафота. Сансон де Лонгеваль с почтением взял руку, которая скоро должна была окоченеть от смерти. Тогда госпожа Тике взошла по лестнице той величественной и гордой поступью, которой всегда все восхищались. Взойдя на площадку, она встала на колени, прочла краткую молитву и затем обратилась к своему исповеднику:

– Милостивый государь, – с чувством сказала она ему, – благодарю вас за ваши утешения и благочестивые и добрые речи, – все это я передам Всевышнему.

Анжелика поправила свой головной убор и длинные волосы; затем поцеловала плаху и сказала моему предку, устремив на него свои очаровательные глаза:

– Милостивый государь, будьте так добры, указать мне, какое я должна принять положение.

У Сансона де Лонгеваля, потрясенного этим взглядом, едва хватило присутствия духа, чтобы указать ей, что она должна положить только голову на плаху.

Сделав это, Анжелика его спросила:

– Хорошо так?

В глазах моего предка потемнело; он поднял обеими руками обоюдоострый меч, употреблявшийся для отсечения голов, очертил им полукруг и изо всей силы ударил по шее прекрасной жертвы.

Кровь брызнула, но голова не отделилась от туловища.

В толпе раздался крик ужаса.

Сансон де Лонгеваль ударил снова. В этот раз, как и в предыдущий, раздался свист по воздуху и шум меча, упавшего на плаху; но голова не отделилась.

Близко стоявшим показалось, что тело затрепетало.

Крики многолюдной толпы делались грозными.

Ослепленный кровью, брызгавшей при каждом ударе, Шарль в третий раз взмахнул своим смертоносным орудием и с бешенством опустил его.

Наконец голова Анжелики скатилась к его ногам.

Правосудие людей удовлетворено, как говорят судебные журналы.

Помощники подняли голову. Что касается моего предка, то он удалился в отчаянии и каком-то расстройстве рассудка, в которое его повергали все казни. Ее оставили на некоторое время на плахе, обратив лицом к городской ратуше, и многие свидетели казни подтвердили, что и после смерти оно сохранило свою красоту и благородство.

В тот же вечер один гвардейский офицер бродил по самым мрачным и уединенным аллеям Версальского моста; он чрезвычайно удивился, встретив в этом уединенном месте самого короля в сопровождении толпы придворных.

– Капитан Монжорж, – сказал Людовик XIV, – я никогда не подозревал вас, но тем не менее удовлетворен, что несчастная женщина, которую мы сегодня утром должны были предать правосудию, подтвердила своею кровью вашу невинность. Чего же вы желаете?

– Отпуск на шесть месяцев, Ваше Величество, для путешествия за границу.

– Согласен, – сказал, удаляясь, король, сделав знак придворным следовать за ним, чтобы дать Монжоржу наедине предаваться своему горю.

Глава IV
Памфлеты в царствование Людовика XIV

Теперь я должен рассказать печальную историю, которая подошла к развязке лишь после трагической кончины госпожи Тике. Но так как происшествия, служившие ей началом, случились раньше этого, то я должен возвратиться

несколькими годами назад, к половине царствования Людовика XIV, к эпохе, в которую солнце, принятое великим королем за эмблему, начало тускнеть. Аугсбургская лига нанесла последний удар финансам, уже и так истощенным тридцатилетней войной и безрассудной расточительностью Людовика XIV и его приближенных. Франция одержала победу при Флерю, Нервиндене, Марсели, но она далеко не была ослеплена такой славой и с беспокойством считала, сколько осталось у нее золота и серебра, чтобы покрыть понесенные издержки; в то же время поражение Гоги, неудачный поход 1693 года, которым лично руководил Людовик XIV, обнажил как перед иностранцами, так и перед подданными глиняные ноги колосса.

Творение французского единства, которое ему вручил Ришелье, и которое он так славно окончил, было не без камня преткновения. Людовик XIV не умел останавливаться при виде гиперболы принципа, которой он был обязан своим величием. Создав это единство в управлении, он хотел внушить его своим совестливым подданным. 17 октября 1685 года король отменил Нантский эдикт и наводнил Францию теми странными апостолами, которых называли обутыми миссионерами. В 1686 году другим указом отняли у протестантов право крестить в свою веру своих детей. Кальвинисты переселялись толпами и, как я уже сказал выше, отправлялись обогащать нашей промышленностью чужие страны. Те, которых лета, болезнь или трусость побуждали к ложному отречению, повиновались, проклиная в глубине души своей власть, принуждавшую их к этому.

Тогда недовольный народ, сдерживавший себя более из уважения, чем из боязни к деспотизму, опомнился, и в частных и мелочных потребностях начал обнаруживать некоторый дух сопротивления, стал требовать возврата прежнего, Все это породило множество пасквилей. Насекомые облепляют трон; они оставили ему его форму, но долбят, подры-

вают, подъедают его, обращают в прах, который должен был развеяться от могучего дыхания революции.

Эти пасквили сделались тем опаснее, что в царствование Людовика XIV ослепление человека не пережило величие монарха. Двойные лучи венца исчезли. В то время герой турниров, рыцарский любовник Ла Вальер де Фонтанж де Монтеспан, женился в 1684 году на пятидесятилетней вдове безногого Скаррона! Это гражданское сумасшествие полубога доставило его врагам ужасное орудие. Орудие насмешки всегда смертельное в руках народа, который, не в состоянии устоять против искушения посмеяться над теми, кого любит, не считает преступлением позабавиться на счет властелина, которого ненавидит.

Соединенные Штаты, непримиримые враги Людовика XIV, знавшие вес всякой моральной силы, пользовались опорой, которую находили в памфлетистах, и потому давали убежище, ободряли, охотно содержали всех тех, кто брался вложить колючку в лавры, которыми великий король любил украшать свое чело.

Предположив даже, что этот ропот, это стремление к свободе не возмущали и не тревожили самодержавия Людовика XIV. Во всяком случае, достаточно было только вмешательства иностранцев для принятия самых строгих мер не только относительно сочинителей пасквилей, но и распространявших и даже читавших их.

В 1689 году наделал много шума памфлет под названием «Вздох рабствующей Франции, стремящейся к свободе». Либеральные выражения, которыми он был переполнен, составляли такую новизну, что, несмотря на тон несколько поучительный, это сочинение возбудило любопытство людей самого поверхностного ума, и несколько месяцев шла истинная борьба между народом и полицией, с равной жадностью искавших экземпляры: первые – чтобы прочесть их, вторые – дабы уничтожить. Это происшествие было причиной

заключения множества лиц в Бастилию, из которых некоторые были подвергнуты даже пытке.

Людовик XIV наказывал за всякое покушение на величие трона, малейшее возмущение против его самодержавия. Он был неумолим в отношении тех, кто осмеливался задеть избранную им подругу. Как человек возвышенного ума, король понял, что в политическом отношении сделал большую ошибку; но он был до такой степени испорчен лестью, что, по его мнению, величайшим преступлением было даже напоминать ему об этом.

В 1694 году в Париже и Версале начали ходить по рукам несколько экземпляров пасквиля под названием: «Тень господина Скаррона».

К сочинению была приложена гравюра, пародировавшая монумент, воздвигнутый господином Лафельядом на площади Победы в честь Людовика XIV. Как известно, на монументе король попирал своими ногами четыре скованные статуи; тут же было изображено, что его опутывают цепями четыре женщины: Ла Вальер, Фонтанж, Монтеспан и Ментером.

Самые ожесточенные враги старухи, как называет ее княгиня Палатин, находились при дворе, в числе принцев крови. Они были изобретательнее в своей ненависти, чем полиция в бдительности: еще господин де Ла Рейни и не знал о существовании этого сочинения, а король уже нашел один экземпляр под своим столовым прибором; мадам де Ментенон получила другой в то же время и таким же образом.

Эта обида, нанесенная королю в самом дворце, еще более ухудшила и так ожесточенный характер Людовика XIV. Потребовав господина де Ла Рейни в Версаль, король горько упрекнул начальника полиции за его преступную беспечность и приказал принять самые деятельные меры для розыска сочинителей пасквиля и наказать их.

Оттого ли, что люди, возбудившие королевский гнев, были очень могущественны или весьма ловки, или оттого, что в

ту эпоху средства начальника полиции были недостаточными, но, во всяком случае, искусные сыщики господина де Ла Рейни теряли лишь попусту время. Хотя они и заключили некоторых лиц, у которых нашли оскорбительный пасквиль, в Бастилию, но все-таки не смогли узнать ни сочинителя, ни печатавшего его.

Все это в глазах короля казалось весьма важным, хотя он в ту эпоху еще решал судьбы Европы. Его, по-видимому, столь же тревожила и смущала неудача агентов, как и само оскорбление. Лишь только он встречал полицмейстера, как подзывал его, с нетерпением выспрашивал о результате поисков и осыпал его упреками в том, что все остается безуспешным.

Наконец Бог, или скорее нечистый дух, сжалился над бедным господином де Ла Рейни, предвидевшим на горизонте несчастье, которого всякий сановник боится более смерти, именно – немилость.

Однажды он с рассеянным видом слушал жалобу одного ремесленника, у которого в предшествующую ночь похитили пять тысяч двести ливров.

Бедняк считал без сомнения полицмейстера провидением в малом виде, и, полагая, что от него вполне зависит возврат ему денег, не переставал горевать о своем горе и умолять о заступничестве.

Ремесленник говорил, что эта сумма была предназначена для важной уплаты, и для того, чтобы пополнить ее, он был вынужден прибегнуть к помощи сына, а лишившись ее, должен неизбежно разориться. В это время секретарь начальника полиции быстро вошел в комнату, передал ему письмо и просил тотчас же прочесть его.

Едва полицмейстер взглянул на эту бумагу, как подскочил в своем кресле. По данному знаку секретарь вышел, чтобы позвать урядника, между тем как господин де Ла Рейни с очевидным волнением написал несколько строк на пергаменте, к которому была уже приложена государственная печать.

Его волнение было столь сильно, что он совершенно позабыл о лице, жаловавшемся на похищение пяти тысяч двухсот ливров, что даже не замечал, что он, стоя в двух шагах от его бюро, мог читать все, что он писал; он даже не подумал опустить зеленую занавеску, которой обыкновенно в присутствии посетителей скрывал от них свои бумаги.

Ремесленник смотрел на господина де Ла Рейни с наивной уверенностью человека, столь убежденного в важности своего дела, что не сомневался в том, что именно он поглощает все внимание сановника, но вошедший с урядником секретарь заставил его довольно грубо отступить немного назад.

Вследствие шума, господин де Ла Рейни поднял голову и был неприятно удивлен, когда увидел все еще возле себя докучливого посетителя.

– Напишите ваше имя и фамилию, – сказал он отрывистым голосом, – вашим делом займутся.

Глубокое удивление выразилось в чертах челобитчика; он колебался несколько минут, потом подошел к бюро, взял клочок бумаги и перо, но, подумав, сказал:

– Позвольте мне вам, милостивый государь, заметить, что я уже имел честь объявить вам свое имя и занятие, и вы так хорошо запомнили их, что я даже удивился вашей памяти, увидев, как вы только что их написали.

Господин де Ла Рейни закусил губы и, мигнув незаметно глазом, подал своему секретарю знак подойти к ремесленнику.

– Вы зоветесь Жан Ларше, – сказал он последнему.

– Точно так, милостивый государь.

– Вы переплетчик книг на улице Льон-Сен-Поль, напротив отеля Фьебе, под вывеской «Золотая Книга».

– Милостивый государь ничего не забыли, – сказал бедный Жан Ларше, улыбаясь и комкая кусок бумаги, на котором начал писать.

Господин де Ла Рейни также улыбался, но улыбка его была совсем другого рода; он отошел с урядником к окну и, сказав ему на ухо несколько слов, представил его переплетчику:

– Вот этот человек, – продолжал он, – проводит вас до вашего дома; он наведет необходимые справки, чтобы найти похитителей вашего имущества. Мы примем все меры, чтобы оказать вам услугу, которую вы вполне заслуживаете.

Полицмейстер произнес последние слова с особенным ударением, и переплетчик, изумленный милостивым приемом столь страшного сановника, не переставал рассыпаться в знак благодарности и признательности.

Он оставил дом полицмейстера в сопровождении, как, по крайней мере, ему казалось, одного урядника, посланного с ним господином де Ла Рейни.

Он задавал различные вопросы переплетчику, который мало-помалу передал ему все подробности, рассказанные им начальнику полиции, не забывая описывать топографию местности, что, казалось, более всего занимало его спутника.

Жан Ларше был чрезвычайно доволен, видя, что господин де Ла Рейни принимает такое участие в его деле. Он не сомневался, что в скором времени возвратят ему пять тысяч двести ливров, и непременно хотел доказать свою признательность, угостив своего спутника лучшим вином, которое только мог найти в трактире.

После этого они направились на улицу де Льон-Сен-Поль.

Дозорные солдаты и урядники окружили дом переплетчика.

Жан Ларше казался скорее довольным, чем удивленным воинственным сборищем, которое оказало ему честь своим посещением: он с лукавым видом заметил своему спутнику, что если бы его дом так хорошо охраняли в прошедшую ночь, то не нужно бы было стольким храбрым людям беспокоиться в это утро.

Дом, занимаемый Ларше, углублялся внутрь, но был узок.

Он состоял из нижнего этажа, заключавшего в себе две комнаты: одна выходила на улицу и служила лавкой, где он

принимал покупателей, и столовой; другая – заменяла мастерскую.

На второй этаж вела лестница, находившаяся в конце коридора: этаж состоял из двух комнат. В одной Ларше спал со своею женой, другая составляла часть магазина, где он сохранял папки и книги, получаемые для переплета.

Войдя в коридор, Ларше хотел ввести урядника в лавку, где в одном окне стекло, по его словам, было выбито ворами; но урядник ответил, что этого не нужно, и попросил провести его на первый этаж.

Переплетчик так хорошо объяснил своему спутнику местность, что урядник, идя впереди, нисколько не ошибся дверью: он отворил именно ту, которая вела в магазин, где произошла кража, и прямо подошел к большому ореховому шкафу, в котором хранилось похищенное сокровище переплетчика.

Но пока ремесленник, поворачивая свертки сукна, так плохо скрывшие его деньги, старался привлечь внимание урядника на потаенное место, служитель господина де Ла Рейни, пробравшись к нижним полкам, поднял карниз шкафа, протянул руку и бросил на землю маленькую кипу брошюрок, на которую, как будто выросший в эту минуту из-под земли, комиссар кинулся с жадностью грифа, почувствовавшего под своими когтями добычу.

Ларше, удивленный тем, что обращают столько внимания на предмет, не имевший, как ему казалось, никакого отношения к делу, по которому все эти люди присутствовали в его доме, дергал урядника за рукав для того, чтобы показать следы взлома, оставшиеся на дверях шкафа. Обращение с ним урядника, казалось, чрезвычайно переменилось: он, по-видимому, более не слушал того, с которым несколько минут тому назад обращался как с закадычным другом.

Тем временем комиссар начал допрашивать переплетчика. Он показал ему брошюры и спросил – принадлежат ли они ему.

В своем нетерпении Ларше отвечал несколько безрассудно, что нет сомнения, что все находящееся в этом доме составляет его собственность или тех, кто ему ее доверил.

Тогда комиссар, развязавший кипу, взял один экземпляр брошюры, приблизил его к глазам переплетчика и потребовал, чтобы он указал лицо, от которого получил преступное сочинение.

Прочитав на первой странице титул памфлета «Тень господина Скаррона», о котором Ларше слышал довольно много, переплетчик побледнел, его колени подкосились, он поднес свою руку к покрытому потом лбу и в продолжение нескольких минут оставался безмолвным, подавленный предчувствием угрожающей ему опасности.

Ларше стал доказывать свою невиновность; клянясь всеми Святыми на земле и небесах, что он и не знал о присутствии этих зловещих брошюр в его магазине, что только в первый раз видит их.

Люди господина де Ла Рейни лишь презрительно пожимали плечами.

Напрасно удвоил он свои клятвы, тщетно старался оправдаться, напоминая, что сам привел правосудие в свой дом с уверенностью чистой совести; напрасно заметил им, что тому, кто хотел погубить, его было легко положить в шкаф зловещий памфлет, как и похитить деньги; урядники отвечали, что они все это передадут судьям, и приготовились увести его.

В углу комнаты жена Жана Ларше, закрыв передником лицо, испускала громкие вздохи и казалась поглощенной сильным горем.

В ту минуту, когда Жан Ларше переступал порог комнаты, он попросил урядника, с которым вошел в столь дружеские

отношения, позволить ему проститься с той, которую он уже не надеялся более увидеть.

Как ни было жестоко и грубо сердце урядника, как ни привык он к подобным сценам, его однако тронуло отчаяние бедняка: он сделал своим товарищам знак остановиться, и несчастный муж воскликнул троекратно: Марианна! Марианна! Марианна!

Но уже через несколько минут рыдания госпожи Ларше стали такими громкими, что она, казалось, не слышала голоса своего мужа.

Окружавшие толкнули ее к нему. Марианна еще с минуту колебалась, затем внезапно кинулась к Жану Ларше, обняла его со всеми признаками нежности и страдания.

Эта нерешительность не ускользнула от глаз урядника, заметившего, кроме того, что госпожа Ларше плакала, как плачут дети, то есть, что глаза ее были сухими и щеки не носили следов слез.

Все это показалось ему столь странным, что, несмотря на свое равнодушие ко всякого рода клятвам в невинности, он начал подозревать, что Жан Ларше не такой преступник, как те, арестовывать которых ему приходилось на своем веку много раз.

Когда его арестант был помещен в шателе, этот урядник отправился сообщить свои впечатления господину де Ла Рейни. Он напомнил ему, что анонимное донесение указало в точности место, где Жан Ларше спрятал свои памфлеты; передал ему все то, чему был свидетелем, и указал на все данные, которые заставляли предполагать, что несчастный переплетчик в этом случае был жертвой какого-то гнусного заговора.

Но полицмейстер уже донес об этом аресте королю, и монарх поздравил его с победой: он имел в руках виновного, и не был тем человеком, чтобы выпустить верную добычу с сомнительной надеждой на новый успех.

Если некоторые предположения и говорили в пользу обвиняемого, то важные факты обвиняли его. Еще до того времени как присутствие в его доме пасквиля поставило на ноги полицию господина де Ла Рейни, Жан Ларше провинился в весьма многом. Будучи ревностным протестантом, он допустил, чтобы его сын остался верным вере своих отцов, и позволил ему уехать в Англию искать убежище от гонений. К этому преступлению он присоединил и другое, а именно то, что имел с этим сыном постоянную переписку: это доказывали многие письма, найденные в его доме.

Жан Ларше должен был понести наказание.

Его три раза подвергали пытке, и он перенес ее с твердостью, которую нельзя было ожидать от бедного, уже престарелого мужчины. Он постоянно отказывался назвать своих сообщников. При всех допросах он отвечал, что довольно будет для совести судей смерти и одного безвинного, и что он не хочет, чтобы по его ошибке души других должны были отвечать за пролитую кровь еще одной жертвы.

Осужденный к смерти на виселице Ларше был отвезен на место казни в пятницу 19 ноября 1694 года в шесть часов вечера.

Он сидел в тележке подле некоего Рамбо из Лиона, товарища из типографии вдовы Шармо на улице де Ла Вьель-Буклери, арестованного и осужденного также по делу этого ужасного памфлета. Ларше вертелся на своей скамейке, казался рассеянным, с расстроенными мыслями, не имевшими никакого отношения к этому ужасному моменту, который так быстро приближался, и обращал весьма мало внимания на слова утешения своего исповедника.

Когда повозка остановилась у подножия виселицы, Рамбо сошел на землю первый, и пока около него хлопотали помощники, Шарль Сансон подошел к Ларше, который, опутанный веревками, с трудом сходил с повозки.

Он проворно наклонился к моему предку и сказал ему:

– Вы лишите жизни невинного: хотите ли вы, чтобы он простил вам за ваше участие в этой несправедливости?

– Говорите, милостивый государь.

– Как мой труп, так и вся моя одежда через несколько минут будут принадлежать вам; быть может, женщина, носящая мое имя, захочет потребовать мое тело, чтобы предать его земле. Поклянитесь, что вы отдадите его ей, только сняв сумочку, которую вы видите на моей груди. Эту сумочку, поклянитесь, сохранить и отдать ее моему сыну, когда он явится, чтобы расспросить вас о последних минутах жизни своего отца.

Мой предок обещал Жану Ларше исполнить все, чего он так настоятельно от него требовал.

Без сомнения, с исполнением последней воли было связано весьма много важного, потому что как только он освободился от этой заботы, его лицо необыкновенно прояснилось и, утверждая, что он ни в чем не виновен, Ларше устремил все свои мысли к Богу и в молитвах просил о спасении своей души.

Несколько минут спустя его тело качалось на виселице подле тела его товарища. Жана Ларше и Рамбо не стало.

Госпожа Ларше не сделала ни одного шага, чтобы получить позволение приличным образом похоронить своего мужа; напрасно мой предок держал тело казненного в Пилори, сняв с него бесценную сумочку, как обещал покойнику.

Глава V
Николай Ларше, мститель своего отца

Мой предок хранил в продолжение шести лет клад, доверенный ему Жаном Ларше.

В 1699 году, тогда ему было шестьдесят четыре года, этот старец, который до того времени с болезненной и пасмурной

решимостью нес свой крест, казалось, ослабевал под тяжестью бремени.

Он стал избегать уединения, которым прежде так дорожил. Будучи беспокойным, не меняя своего мрачного настроения, он содрогался при малейшем шуме, и в то же время нуждался в звуке человеческих голосов; малейшая тишина устрашала его. Часто, в продолжение длинных вечеров, которые ему посвящал уже взрослый сын, если случалось что он на несколько минут умолкал, то отец восклицал со злобным нетерпением: «Говори, да говори же!» С приближением ночи беспокойство, томившее его постоянно, принимало характер безумия: он бежал из своего дома, уходил к своим соседям и возвращался домой весьма поздно. Сумерки наводили на него такой страх, что подле его постели в продолжение всей ночи стояла зажженная лампа.

Этот беспорядок мыслей принял такой страшный характер, что его друзья и сын советовали ему избрать себе подругу, присутствие и заботы которой сгладили бы горечь и страдания последних дней его жизни.

Мой предок поклялся никогда не помещать соперницы подле тех, которые всегда жили в его воспоминаниях. Кроме того, он считал крайним безумством вступать в брак в столь престарелые годы.

Однако Всевышний, смилостивившись над его страданиями, все-таки послал ему женщину умную, нравственную и благочестивую, которая нисколько не страшилась мысли, что должна разделить участь этого старца. Она, казалось, поняла все величие святого призвания, которое она обязана была подле него выполнить.

Имя этой женщины Жанна-Рене Дюбю. Она была дочерью Пьера Дюбю, токарного мастера, жившего на улице Борегар прихода Нотр-Дам де Бонн-Нувель.

Жанна-Рене воплотила в жизнь надежды, которые все питавшие некоторую привязанность к Шарлю Сансону де

Лонгевалю возлагали на этот брак. Ее присутствие в доме в Новой Франции возвратило моему предку спокойствие. Женщина покорная, нежная подруга, она никогда не падала духом в бесславной участи, которую избрала сама по своей воле; благодаря ей, за недостатком счастья, на которое он уже не мог надеяться в этой жизни, старый исполнитель, наконец, узнал утехи чистой и безмятежной любви.

В крещение 1770 года в доме Шарля Сансона де Лонгеваля собралось многочисленное общество.

В нашем роду всегда строго исполняли священные обряды этого торжества. Мы дорожили этими безмятежными праздниками домашнего очага.

За столом моего предка сидело десять человек собеседников, и Шарль Сансон разрезал пирог на одиннадцать частей. В эту минуту постучали в дверь.

Первой мыслью всех было, что Господь Бог посылает того, кого ожидали, и предок мой, уверенный, как и прочие, наполнил большой кубок вином и приказал одному из своих слуг ввести пришельца.

Несколько минут спустя в зал вошел молодой человек от двадцати четырех до двадцати пяти лет, бедно, но чисто одетый, с небольшим пакетом под мышкой.

Он казался удивленным, встретив столь многочисленное общество, и спросил Шарля Сансона, которого заметил на самом конце стола, что точно ли он исполнитель верховных приговоров.

Мой предок отвечал утвердительно, и незнакомец просил его уделить ему несколько минут.

Шарль Сансон поспешил уверить молодого человека, что он в ту же минуту будет к его услугам, но надеется что, прежде всего, по причине торжества, которое одинаково празднуется как королями, так и пастухами, пришелец присядет на несколько минут к столу человека, готового услужить ему, если он нуждается в его услугах.

Незнакомец поблагодарил взволнованным голосом моего предка, взял скамью и присел в углу у высокого камина. Один из слуг отнес ему кубок и часть пирога.

Между тем, пока он ел, мой предок заметил, что по щекам молодого человека текли крупные капли слез.

Нежная и печальная физиономия незнакомца возбудила внезапную симпатию в душе Шарля Сансона; он твердо решился помочь ему, предполагая, что эти слезы должны были быть следствием глубокого горя, и не считал нескромным спросить об их причине.

Молодой человек отвечал, что если он плачет, то не потому, что был голоден или чувствовал жажду; а проливает слезы при мысли о том, что этот вечер он мог бы провести в кругу своего семейства в доме отца, а между тем несколько минут назад перед ним захлопнули дверь те, с кем его связывали узы крови, и отказали ему в этом уделе семейной радости, который так великодушно предлагал человек, совершенно ему чужой и незнакомый.

Шарль Сансон возразил ему, сказав, что если родные столь холодно и сурово его встретили, то без сомнения, он сам им подал повод к этому гневу и равнодушию, и с мягкосердечием уговаривал его осознать свои проступки, раскаяться и попросить прощение, прибавляя, что сердце отца никогда не бывает глухим к чистосердечному раскаянию своего дитя.

При слове «отец» молодой человек хотел подавить крик, невольно вырвавшийся из его груди; он закрыл свое лицо руками и голосом, заглушаемым рыданиями, сказал, что лишился отца, погибшего от руки человека, столь милостиво предлагающего ему в эту минуту кров и пищу.

Смолкнувшие собеседники потупили голову. Мой предок страшно побледнел: на его лбу появились крупные капли пота; он взял молодого человека за руку и повел его в свою спальню, находившуюся на первом этаже дома.

Там молодой человек рассказал ему, что зовут его Николаем Ларше, что он сын переплетного мастера Жана Ларше, повешенного шесть лет тому назад как владелец и распространитель пасквилей.

Как я уже сказал в предыдущей главе, он находился в Англии в эпоху казни своего отца.

Несколько месяцев до своей смерти переплетчик писал ему. Письмо его было печально и наполнено горестными и недосказанными выражениями. Он должен был уплатить значительную сумму, но у него не хватало некоторой части денег; и потому Жан просил своего сына помочь ему в этом случае.

Молодой человек послал отцу все свои деньги; последний уведомил его о получении их, и затем Николай Ларше уже не получал от него писем.

Война между Англией и Францией, надзор за общением с эмигрировавшими протестантами делали сообщения весьма затруднительными, если не совершенно невозможными.

Николай Ларше, знавший все это, не слишком беспокоился. Так как молчание его родных продолжалось, то молодой человек понял, что их, должно быть, постигло большое несчастье; но о плачевной кончине отца он узнал от одного француза лишь после Рисвикского мира.

Николай Ларше горел желанием отправиться тотчас же, чтобы снова увидеться со своей матерью, потому что, по его мнению, она в эту минуту нуждалась в утешениях и помощи сына; к несчастью, тяжкая болезнь, лишившая его на целый год возможности работать, истощила все ресурсы молодого человека, и он находился не только в самом бедственном положении, но, кроме того, был слишком слаб, чтобы предпринять подобное путешествие. Поэтому Николай Ларше должен был довольствоваться одними письмами.

Все они остались без ответа.

Он не мог поверить, чтобы мать, которая до дня его отъезда в чужую страну не переставала любить его самой сильной

материнской любовью, могла позабыть свое дитя. Он думал, что и ее нет уже на свете, и поэтому решился все перенести, претерпеть, все победить, чтобы только достигнуть Парижа.

Оправившись настолько, что мог перенести путешествие, он отправился в дорогу, прося, как милостыню, капитана одного корабля перевезти его на ту сторону пролива, питаясь собранным подаянием и скрываясь под чужим именем; потому что, будучи узнанным, он был бы приговорен на основании эдиктов к каторжной работе на королевских галерах.

Наконец после многих препятствий и затруднений молодой человек добрел до Парижа и тотчас отправился на улицу де Льон не потому, что думал найти там свою мать, а желая снова увидеть места, где она жила, надеясь узнать что-нибудь о постигшей ее участи.

Миновав монастырь Целестинцев и отель Фьебе, он мог окинуть взором улицу де Льон-Сен-Поль и чрезвычайно удивился, увидев вывеску «Золотая Книга», качавшуюся у дома отца, еще новее и блестящее, чем она была прежде, при его отъезде. Он ускорил шаги, но вдруг остановился, как будто ноги ему больше не повиновались: на пороге магазина появилась женщина, в которой Николай Ларше узнал свою мать.

Молодой человек хотел позвать ее, но голос, как и ноги, не повиновались ему: он мог только пробормотать ее имя и простереть к ней руки.

Вдова Жана Ларше взглянула в ту сторону; сделалась бледной, как полотно, а между тем, должно быть, не узнала своего сына, потому что в ту же минуту поспешно ушла в дом. Ноги подкашивались под молодым человеком, но счастье найти в живых ту, которую считал уже мертвой, заглушило все прочие переполнявшие его сердце чувства. Николай Ларше подошел к дому. В ту минуту, когда он прикоснулся к щеколде двери, затворившейся вслед за его матерью, она отворилась, и молодой человек встретился лицом к

лицу с незнакомцем, который к величайшему изумлению Николая, назвав его по имени, пригласил войти в комнату.

Этот человек повел его на первый этаж в знакомый уже нам магазин и с плохо скрываемым волнением спросил Николая, что побудило его возвратиться во Францию, где наименьшей из угрожавших ему опасностей было тюремное заключение. Затем, без предисловий и не дав ему времени для ответа, незнакомец объяснил ему, что имя его Шаванс и что он супруг вдовы Ларше.

Николай слушал его как бы в оцепенении, не зная, жив ли он или видит все это во сне.

Шаванс прибавил, что, не отвечая на письма сына, его мать надеялась дать ему понять, что он должен был, в свою очередь, вступив в брак, создать для себя другое семейство.

Когда молодой человек ему заметил, что ничто в этом мире не может заменить мать, то он возразил с некоторой запальчивостью, что перемена веры освободила госпожу Шаванс от всех обязательств в отношении сына, упорствующего в ереси, что она имеет других детей от своего второго брака, следовательно, и другие обязанности, и не может и не должна пожертвовать вторыми для первого.

Затем с двусмысленной улыбкой он прибавил, что полагает, что детская привязанность была не единственной причиной его решимости возвратиться на родину, что, без сомнения, узнав о смерти Жана Ларше, сын его думал получить свою часть из отцовского наследства, но он, Шаванс, считает себя обязанным тотчас же предупредить его, что этого наследства не существовало. Жан Ларше умер несостоятельным должником, кредиторы назначили дом к продаже, и он купил его. Вдове угрожали крайние бедствия. Любовь и преданность ее прежнего работника спасли ее от нищеты и позора.

Окончив этот рассказ, Шаванс с необыкновенной поспешностью вынул из коробки несколько бумаг и передал их Ни-

колаю, прося молодого человека удостовериться в справедливости его слов.

Последний оттолкнул бумаги, умоляя позволить ему, по крайней мере, обнять мать.

Но ободренный скромностью и терпением молодого человека, Шаванс сделался еще надменнее и смелее и ответил, что невозможно исполнить просьбу Николая, так как уже одно его присутствие в доме угрожает большой опасностью живущим в нем, что он вовсе не желает окончить свою жизнь подобно Жану Ларше и потому просит его возвратиться, как можно скорее, в Англию; в противном случае, повинуясь прежде всего Богу и королю, он будет вынужден сам донести о присутствии в его доме кальвиниста.

Задыхаясь от волнения, несмотря на глубокую антипатию, которую он чувствовал к человеку, занявшему место его отца, Николай упал к ногам Шаванса, умоляя его не изгонять сына без единой и последней ласки виновницы появления его на свет.

Но отчим сурово оттолкнул молодого человека, возобновив свои угрозы. В эту минуту дверь быстро отворилась, и госпожа Шаванс, вероятно подслушивавшая в соседней комнате разговор своего второго мужа с сыном, вся в слезах, бросилась в комнату и повисла на шее бедного Николая.

Видя, что материнская привязанность была сильнее всех его приказаний, Шаванс страшно разгневался.

Он почти был готов поднять руку на свою жену, но, наконец, побежденный ее слезами и мольбами, этот черствый человек дал ей десять минут времени на прощание с сыном и вышел из магазина. Когда мать осталась наедине со своим сыном, не отвечая, не слушая вопросов, которые он ей задавал о трагической кончине своего отца, начала умолять его ради своего спокойствия не сказывать безрассудного сопротивления и удалиться как можно скорее.

В то же время, чтобы облегчить ему горечь разлуки, она обещала извещать его о себе. Заметив бедность его одежды,

она взяла из ящика несколько золотых монет и положила их в карман молодого человека, и, наконец, в борьбе чувств матери и супруги, обнимая своего сына со всей горячностью, возобновила свои просьбы бежать как можно скорее, оплакивая жестокость этой разлуки и, толкая несчастного за плечи, она довела его до двери, которая затем быстро за ним затворилась.

Тогда ему пришла мысль, прежде чем возвратиться в изгнание, отыскать человека, присутствовавшего при последних минутах жизни Жана Ларше, и попросить его рассказать ему все то, что он тщетно пытался услышать от своей матери.

Когда закон произносит свое последнее слово, то хотят, чтобы секира, приводящая его в исполнение, была глуха, нема и слепа; однако требуют, чтобы рука, которая держит ее, снимала головы спокойно и бесстрастно. Есть жертвы, я сам испытал это, которых забываешь и которые напоминают только одно имя, и это имя переполняет память воспоминанием злодеяния. Но есть и другие, которые долгое время после своей казни не перестают преследовать человека, лишившего их жизни, не перестают являться перед его глазами столь же свежими, столь же окровавленными, как в тот день, когда голова их скатилась на эшафот, неподвижный, дикий взгляд, который, кажется, требует отчета у человеческого правосудия, кровь, пролить которую ему было приказано, и бледные губы как будто шевелятся и повторяют постоянно слово, которое шепнула ему, палачу, совесть прежде, нежели меч, которым владела его рука, опустился на плаху. Это слово – невинный.

В продолжение шести лет мой предок никогда не забывал Жана Ларше, и его последняя клятва в невинности в ту минуту, когда он с виселицы должен был перейти в вечность, постоянно раздавалась в ушах моего предка.

Как и пристав, арестовавший бедного переплетчика, он был убежден в его невиновности.

Косвенное участие, которое он принимал в этом деле выполнением несправедливого приговора, терзало его совесть; он видел перст провидения в случайной встрече с сыном его жертвы и решился сделать для него все, что только будет от него зависеть.

Он передал ему последние поручения его отца, и, взяв из сундука сумочку, которую Жан Ларше поручил ему снять с себя, когда он отдаст душу Господу Богу, вручил ее молодому человеку.

Николай осыпал поцелуями, орошал слезами эту реликвию несчастного мученика, и Шарль Сансон спросил его; не хочет ли он узнать, что содержит эта сумочка.

Молодой человек с удивлением посмотрел на хозяина дома, но тот продолжал: «Жан Ларше так настоятельно требовал передачи этой вещи, проявлял большое беспокойство и волнение до той минуты, пока не высказал своего желания тому, кто вел его на казнь, чтобы эта сумочка была не просто памятью».

Тогда Николай начал с большим вниманием ее рассматривать.

Это было одно из тех произведений удивительного терпения, до которого только может дойти человек, лишившись свободы.

Оно состояло из несколько раз сложенного куска черного сукна, части которого были сшиты или скорее прикреплены одна к другой волосами. Две иголки, вероятно служившие для этой работы, были приколоты в форме креста на одном из боков сумочки.

Бедный молодой человек не решался открыть ее. Он думал о том, сколько же должен был страдать отец, когда его пальцы соединяли эти куски материи. Мой предок взял ее из его рук и разрезал ножницами на две части.

Сумочка содержала другой кусок черного сукна, на котором осужденный вышил весьма явственно и четко волосами,

белизна которых показывала, что они были собственные, одно только слово.

Это было имя Шаванса.

Мой предок глубоко задумался. Он посмотрел на Николая Ларше и заметил, что на нежном, чистосердечном, женоподобном лице молодого человека произошла внезапная перемена; глаза его засверкали, и лицо приняло грозное выражение.

Оба не сомневались, что, начертав имя человека, почти для него постороннего, с такими предосторожностями и ценой стольких страданий – Жаном Ларше руководило не чувство ревности – они поняли, что в этом заключалось только указание сыну, в руки которого он хотел передать виновника своей смерти, завещая своему сыну отомстить за свою смерть.

– Что с вами? – поспешил спросить Сансон де Лонгеваль под влиянием внезапного страха. – Закон наказал вашего отца; но если тот, которого, как кажется, он обвиняет, точно виновен, то следует мстить его настоящему убийце также путем закона… Подумайте, может, бедняк, ожесточенный своим несчастьем, мог ошибиться в своих подозрениях. Мне знаком пристав, арестовавший вашего несчастного батюшку. Завтра я буду в состоянии дать вам более точные объяснения. В ожидании считайте этот дом вашим, я проведу вас в назначенную для вас комнату, где вы можете отдохнуть после дороги и всех волнений.

Молодой человек последовал за ним, но мой предок почувствовал, что все советы и утешения на него не подействовали, так как он был сильно возбужден.

На другой день Николай Ларше постучался в дверь комнаты моего предка, уже собиравшегося идти со двора.

Молодой человек казался еще более взволнованным, чем вчера; он подал Шарлю Сансону английскую золотую монету в двадцать пять ливров и объявил ему, что узнал в ней ту самую, которую послал вместе с другими своему отцу.

Нельзя было ошибиться; эта монета была первая, которую он заработал в Англии: на ней был изображен портрет королевы Анны. Так как она составляла редкость, то он хотел сохранить ее и вырезал на одной из ее сторон день ее получения.

Шарль Сансон рассмотрел золотую монету, попросил одолжить ее и вышел из дому, назначив ему свидание на Нотр-Дамской дороге, напротив часовни Сент-Денидю-Па.

Два часа спустя они встретились в условленном месте. Мой предок отвел Николая Ларше в уединенное место, на берег реки, и, попросив его вооружиться твердостью и терпением, сообщил все, что мог узнать от своего знакомого пристава.

Несколько месяцев спустя после отъезда Николая Жан Ларше принял в качестве помощника в свою мастерскую ремесленника по имени Шаванс. Это был человек двадцати шести лет, который под скромной наружностью весьма искусно скрывал самые развращенные чувства и пороки.

Изгнание сына повергло госпожу Ларше в некоторого рода отчаяние. Шаванс ловко воспользовался этим, чтоб заслужить ее расположение. Мало-помалу он сумел внушить этой женщине чувство, которое заменило материнскую нежность в сердце, слишком горячем и страстном, чтобы оно могло оставаться когда-либо свободным. Ей удалось заставить и мужа разделять дружбу, которой она одаряла Шаванса. Хотя он и не был хорошим работником, но Жан Ларше увеличил ему жалованье и обращался с ним, как с товарищем. Он заплатил за эту заботу самой черной неблагодарностью. Столь же жадный, сколь хитрый, Шаванс хотел овладеть не только женой, но и его скромным состоянием, и предательски составил заговор, который должен был довести несчастного переплетчика до разорения, позора и смерти. Без сомнения он сам принес в дом связку памфлетов и написал полицмейстеру

письмо, в котором с такой точностью было описано место, где хранились пасквили. Если нельзя было доказать, что донос писал никто другой, как он, то, с другой стороны, не было никакого сомнения относительно похищения пяти тысяч двухсот ливров: Шаванс несомненно похитил эти деньги.

Что значило лишить жену переплетчика мужа, если бы не удалось завладеть его состоянием. Если бы Жан Ларше мог уплатить долги раньше своей смерти, то сын имел бы полное право требовать свою долю наследства. Для полного достижения цели нужно было разорить переплетчика так, чтобы он после смерти оказался несостоятельным, а это можно было достигнуть, только похитив у него пять тысяч двести ливров. Он так и сделал. Деньги на другой же день перешли в чужие руки.

Устроив все таким образом, Шаванс избавился от Николая Ларше; кроме того, он приобрел средства для присвоения себе хозяйства переплетчика. Доказательств, что он обокрал своего хозяина, было много: внезапно появившееся богатство у простого ремесленника; равнодушие новобрачных, не сделавших ни одной попытки для дальнейших розысков похитителя, которые начал Жан Ларше. Они отвечали всем, кто удивлялся этому, что предполагаемая кража была лишь выдумкой покойного, желавшего таким образом провести своих домочадцев. Золотая монета, шесть лет спустя найденная у Шаванса, была неопровержимым доказательством его виновности.

Пока мой предок сообщал Николаю Ларше все подробности этого гнусного заговора, он дрожал как в сильном приступе лихорадки; лицо его побледнело и исказилось; зубы стучали друг о дружку, и он шептал сиплым и прерывистым голосом, походившим на хрипение: «Мать моя! Мать моя! Мать моя!»

Когда Шарль Сансон закончил, молодой человек возбужденно спросил его, полагает ли он, что его мать знала о преступлении Шаванса.

Мой предок потупил глаза, не отвечая ни слова. Николай Ларше поднял свои руки к небу, и в этом красноречивом молчании они дошли до деревянного моста, соединявшего предместье с Островом Святого Людовика, через который можно было пройти в квартал Сен-Поль. Он хотел бежать в этом направлении, но мой предок, следивший за всеми его движениями, остановил его и стал уговаривать не подвергаться верной гибели, явившись вторично в дом своего отчима.

Шарль Сансон добавил к своему рассказу, что знакомый ему пристав не советует доносить об этом деле правительству, так как Шаванс приходится родственником отцу Лашезу, исповеднику Его Королевского Величества. Замешанный в одно время с Рамбо и Жаном Ларше в дело о памфлете, он единственный был спасен от последствий высоким покровительством иезуита. Между тем вдова Кальвуэ умерла в Руане в Бастилии, вдову Шармо и ее сына, имевших типографию на улице де Ла Вьель-Буклери, приговорили к ссылке. Один Шаванс избежал наказания благодаря приказу об отсрочке, пришедшему на Гревскую площадь в ту самую минуту, когда уже была воздвигнута виселица и к ней подъехала зловещая тележка. Следовательно, должно быть, сильная рука вступилась за него и весьма вероятно, что было бы бесполезно и даже весьма безрассудно изгнаннику вступать в открытую борьбу с человеком, пользующимся высоким покровительством всемогущего исповедника, и что сын несчастной жертвы поступил бы весьма благоразумно, если бы представил наказать виновных святой воле провидения.

Шарль Сансон ожидал, что Николай Ларше возмутится при мысли, что люди могут оставить безнаказанным столь страшное злодеяние: ничего этого не было. Молодой человек, казалось, лишился всей своей силы и твердости; он шел в глубокой задумчивости и несколько раз сталкивался с прохожими. Мой предок взял его под руку, и он последовал за ним с послушанием ребенка.

В продолжение всего дня молодой человек был молчалив, но спокоен, и когда Шарль Сансон объявил ему, что он уже сделал необходимые приготовления к его безопасному переезду обратно в Англию, взял его руки и крепко сжал, не выражая ни согласия, ни отказа на это предложение.

После ужина, когда они остались наедине, он вдруг спросил, полагает ли мой предок, что будет вынужден дать Господу Богу отчет в пролитой крови.

Удивленный этим вопросом Шарль Сансон отвечал, что так как человеческое правосудие происходит от Бога, то Всевышний не может карать его за то, что он был слепым орудием приговоров, которые произносились во Имя Его. Он, кроме того, прибавил, что Иисус Христос сказал: «Блаженны страждущие и что довольно страдал, чтобы предстать, преисполненный веры и упования пред ликом Творца Небесного, когда настанет последний час его земной жизни».

Луч удовлетворения озарил лицо Николая Ларше, погрузившегося в тяжкие думы. Долголетние опыты научили моего предка читать впечатления человеческой души по выражению физиономии; это необыкновенное спокойствие беспокоило его; он видел в нем признак какого-то ужасного решения и потому из предосторожности запер на ключ дверь комнаты своего гостя, когда тот вошел в нее.

Но на другое утро, когда Сансон де Лонгеваль вошел в нее, он уже не нашел там молодого человека. Окно было отворено, и ветер играл простынями, по которым Николай Ларше спустился на улицу.

Он возвратился к себе в комнату, предчувствуя несчастье, и начал одеваться. В это время вошел один из служителей и сообщил, что ночью было совершено одно из тех преступлений, которое так сильно поражает все население: сын убил свою мать и своего отчима.

Мой предок тотчас же отгадал, кто был виновный и кто его жертвы: он побежал на улицу де Льон-Сен-Поль так быстро, как только ему позволяли его престарелые годы.

Увидев перед домом переплетчика толпу народа, он окончательно убедился, что не ошибся в своем предчувствии. С трудом протиснувшись к дверям и войдя в зал нижнего этажа, Шарль де Лонгеваль узнал Николая Ларше, сидевшего на скамье среди приставов и солдат дозорной стражи.

Молодой человек, в свою очередь, заметил моего предка в толпе, которая окружала его. Он сделал движение, чтобы броситься к нему навстречу, но был так крепко связан веревками, что едва смог удержаться на ногах и потому снова опустился на скамью.

Когда Шарль Сансон стал упрекать его в совершенном преступлении, несчастный поднял глаза к нему и воскликнул:

– Тот, кто восседает на небесах, решил так, Он руководил мною, он направил удар. И я также буду полон веры, когда предстану пред светлым ликом Его.

Один гражданский пристав напомнил ему о казни, которая его ожидает. Николай Ларше презрительно пожал плечами и ответил, что Всевышний, даровавший ему необходимую силу для выполнения правосудия, не оставит его и тогда, когда он будет на колесе.

Он держал себя решительно, но без всякого хвастовства и самохвальства; говорил охотно, как будто хотел забыться; ежеминутно приводил имена из священного писания, имевшие некоторое отношение к его гнусному поступку, и его выражения доказывали, что злобный фанатизм английских раскольников, среди которых он жил, имел на него большое влияние.

Он сознавался в своем злодеянии, но без всякого сожаления и угрызения совести; отказывался от объяснения обстоятельств, которыми оно сопровождалось, и когда его спрашивали о причинах, побудивших его решиться на столь ужасное преступление, то отвечал, что Создатель повелел ему принести эту жертву подобно тому, как в древние времена приказал Иефтий заколоть свою дочь.

Его отвели в шателе, и мой предок получил через несколько дней от полицмейстера позволение посетить Николая Ларше.

Тишина и мрак темницы успели произвести на него глубокое впечатление; он с отчаянием жаловался, что больше не может спать, и сердце его мало-помалу смягчилось. Когда Шарль Сансон, стараясь вызвать в нем чувство раскаяния, представил ему неразумность его преступления, он потупил голову, и глаза его прослезились; вскоре, не будучи в состоянии далее скрывать своего волнения, он разразился вздохами и рыданиями; наконец, упав в объятия моего предка, долго-долго плакал, склонив свою голову на плечо престарелого исполнителя уголовных приговоров.

Николай Ларше рассказал моему предку, что как только он услышал, что некоторые преступники остаются безнаказанными, он обратил свою душу к Всевышнему, умоляя о наказании виновных. «Рази!» – шептал внутри его голос, и с этой минуты он только и думал о средствах привести в исполнение приговор божественного правосудия.

Когда мой предок прервал его, заметив, что то, что он принял за глас Всевышнего, было лишь откликом его души, терзаемой жаждой мщения, он попросил его выслушать прежде все подробности его проступка, а потом уже высказывать свое мнение, и продолжил свой рассказ.

За ужином молодой человек выбрал острый нож, и спрятал его под своей одеждой. Удалившись в девять часов вечера в свою комнату, он начал усердно молиться и чувствовал, что чем больше молился, тем тверже становился в своем намерении. Затем, покинув дом, где был принят с таким гостеприимством, он пустился бегом на улицу де Льон-Сен-Поль.

Одна только стена разделяла двор дома переплетчика от сада купеческого старшины. Пробравшись в него, он перелез через стену и спустился во двор. Молодой человек заметил свет в мастерской нижнего этажа и, подойдя, увидел Шаван-

са, не ложившегося еще спать, желая окончить некоторые срочные работы. Так как ночь была теплая, то окно было отворено, и он мог легко проникнуть в комнату, не замеченным переплетчиком. Но, услышав скрип пола под ногами убийцы, последний обернулся, окликнул его, и вдруг, уступая чувству инстинктивного страха, кинулся к двери, громко призывая на помощь. Но прежде чем он добежал до коридора, молодой человек одним прыжком нагнал его, и несмотря на свою худобу и слабость, а Шаванс был высокого роста и силен, с одного удара свалил его на землю. Переплетчик узнал своего противника лишь тогда, когда перед ним сверкнуло лезвие ножа. Он понял, что ему нет спасения, и, перестав призывать на помощь, стал задыхающимся голосом умолять о милосердии сына своего бывшего хозяина и, чтобы смягчить его, он не побоялся свалить все преступление на свою сообщницу, клянясь, что она одна, а не он, виновна во всем. Эти обвинения воспламенили еще более жажду мщения, пожиравшую молодого человека; он с такою силой ударил ножом Шаванса, что сам поранил свою руку, и переплетчик уже не шевелился, а он все продолжал поражать неподвижный труп своего отчима.

Затем он стал прислушиваться: в доме все было безмолвно.

Он хотел уйти, но тот же голос, утром шепнувший ему: «Рази!» поднял в нем всю ненависть снова, и Николай Ларше задал себе вопрос, что не служит ли столь необыкновенный сон, сковавший чувства преступной супруги, доказательством того, что Господь руководит его мщением.

Он поднялся по лестнице.

– Мне казалось, – сказал он моему предку, – что мои ноги налиты свинцом. А между тем его воля казалась сильнее моей собственной. Она влекла меня вперед и вперед, и я незаметно, без шума и без особых усилий скользил по каменным плитам лестницы, окружавший меня мрак наполнился привидениями, которые умоляли, пытались остановить меня, но

другой призрак, облаченный в саван, с прикрытым лицом, отделяясь от темного мрака, шел передо мной, очищая мне дорогу.

Таким образом он дошел до дверей материнской комнаты, и прежде чем успел взяться за ручку, она сама без шума повернулась на своих петлях. Убийца прошел несколько шагов по комнате; спавшая не просыпалась, но он явственно слышал, как она дышит, ему казалось, что каждый вздох ее был молитвой, мольбой; несчастному слышался какой-то шепот, переходивший в напев, при звуках которого он засыпал ребенком и которым в эту минуту она, казалось, вопрошала его, осмелится ли он нанести удар в утробу, его носившую, в грудь, его питавшую.

Нож выпал из дрожащих рук молодого человека и упал на пол, он сам кинулся на колени перед кроватью в таком изнеможении, что был лишен всякой способности мыслить.

Тогда к нему приблизился призрак и, подняв свой саван, показал ужасное лицо с налившимися кровью глазами, посиневшими губами, распухшим и высунувшимся языком.

В этом ужасающем видении он узнал своего отца.

Казненный поднял нож и вложил его в руки своего сына. Он указал на синие борозды, которые оставила петля на его шее; затем простер руки по направлению к кровати и хриплым, но столь сильным голосом, что его можно было слышать у монастыря целестинцев, сказал молодому человеку три раза: «Рази! Рази! Рази!»

Николай поднял руку и бессознательно опустил ее.

Раздался крик ужаса. Госпожа Шаванс прошептала какое-то имя, которое не принадлежало ни ее детям, ни второму мужу, и затем все снова погрузилось в молчание.

Николай Ларше ничего не сказал о том, что мой предок узнал от лиц, арестовавших его. Когда с наступлением дня люди, нашедшие в мастерской бездушное тело Шаванса, проникли в комнату его жены, то нашли молодого человека в

слезах и молитвах перед второй из его жертв, с болезненным жаром благочестивого сына, у которого небо похитило виновницу его существования.

Кончив исповедь, он с беспокойством спросил Шарля Сансона, полагает ли тот, что в случившемся виден перст Божий. Старый исполнитель понял, что горести, нищета и, главное, фанатизм тронули рассудок бедного Николая, и что он совершил преступление под влиянием религиозной экзальтации.

Мой предок не захотел разуверять его в убеждении, которое могло успокоить последние минуты его жизни.

Правосудие того времени не обладало законной воздержанностью нашей эпохи, и оно не помиловало бы его. Горячка избавила его от ужасов казни; два дня спустя после посещения моего предка он заболел и умер в бреду, прежде чем успели перевести его в больницу.

Глава VI
Вольная община восемнадцатого века

Человек, очевидно, создан для борьбы, и его жизненная сила питается страданиями. В шестьдесят пять лет, несмотря на испытания своей молодости и зрелого возраста, Шарль Сансон де Лонгеваль был еще сильным и свежим старцем.

Однако с тех пор как его душа освежилась нежными и светлыми утехами любви без страсти, он избегал, насколько это от него зависело, мучительных волнений своей должности. Получив разрешение на передачу своего звания сыну, он воспользовался этим и перепоручил ему исполнение вместо себя обязанностей своей кровавой службы.

В 1702 году, хотя криминальность еще не достигла тех размеров, как во время регентства, должность исполнителя уголовных приговоров в Париже далеко нельзя было назвать праздною.

Под двойным влиянием налогов и дороговизны продовольствия нищета сделалась всеобщей.

Поэтому, если пороки поддерживали Пилори, то эшафот имел в голоде деятельного поставщика – и оба не оставались без действия. Воры и разбойники размножались на улицах Парижа, как грибы.

Образованию многочисленных шаек бродяг в конце царствования Людовика XIV посвящены Записки Шарля Сансона – второго сына Сансона де Лонгеваля.

Вот какие обстоятельства побудили его заняться этим.

Сансон де Лонгеваль был всегда благочестив и набожен, но в последние годы своей жизни он сделался еще религиознее.

Мой предок принадлежал к приходу Нотр-Дам де Бонньь-Нувель, приходская церковь которого в настоящее время разрушенная, занимала тогда основание треугольника, который образовывался из улиц Нотр-Дам де Бонньь-Нувель, де Ла Люнь и Борегар.

К этой церкви примыкало кладбище, стены которого тянулись вдоль улицы де Ла Люнь, и Сансон де Лонгеваль, спускавшийся с высот Новой Франции, должен был пройти через него, чтобы дойти до храма.

По обыкновению человек двадцать нищих: мужчин и женщин или, как тогда их называли, – попрошаек, останавливалось или у ворот кладбища, или же на паперти церкви.

Мой предок редко проходил мимо этих нищих, не подав им милостыни.

В числе получавших от него подаяние он отличил старца, который, в свою очередь, каждый раз, когда Шарль Сансон проходил мимо него, с необыкновенным вниманием следил за ним.

Этому человеку было около шестидесяти лет. Ни лета, ни нищета не исказили правильности черт его лица. По его высокому обнаженному лбу, изборожденному морщинами,

длинной, седой, опускавшейся до груди бороде, легко можно было принять за образ одного из тех апостолов христианства, которые были изображены на стрельчатом своде церковной паперти.

Но это сходство ограничивалось его станом.

Нижнее платье этого нищего имело разрез на бедре, сквозь который виднелась ужасная язва, возбуждавшая сострадание прохожих.

Нужно было иметь каменное сердце, чтобы не подать ему милостыню при этом свидетельстве страданий, которым подвержены люди. К счастью, эта язва, которую считали сто раз смертельною, оказалась совершенно особенного рода; она оставалась все в том же виде, нисколько не изменяясь: ни к худшему, ни к лучшему.

В продолжение пяти лет, в которые Сансон де Лонгеваль встречал нищего у дверей Нотр-Дам де Бонн-Норель, находя ежедневно ту же язву, того же вида, какого она была накануне, с теми же синими и припухшими мясными сосками, окруженными бледным кружком. Он должен был бы верить в чудо, если бы не было гораздо естественнее предположить, что это увечье – чистая фантазия глупого и бессовестного бродяги, который даже не считал нужным делать какие-либо изменения своим ранам.

Это впечатление, ставившее нищего Нотр-Дам де Боннь-Нувель в категорию лжекалек – бродяг, производящих на себе искусственно различные увечья, могло бы побудить моего предка исключить его из числа пользовавшихся его подаянием, если бы при нищем не было дитяти, отказать которому не мог престарелый исполнитель уголовных приговоров.

Когда Сансон де Лонгеваль в первый раз увидел девочку, ей было около десяти лет, и его поразила редкая красота и оригинальность ее лица.

Она, казалось, принадлежала к тем восточным народам, которых во Франции было довольно много. Она имела

черные бархатные глаза, алые губки, роскошные и слегка волнистые волосы, удивительные зубки цыганки и огненный быстрый взгляд, так характеризующий последних. Однако оттенок цвета ее лица был несколько темнее, чем он обыкновенно бывает у женщин этой касты.

Она называла нищего своим отцом, а он ее – дочерью; он был с нею чрезвычайно нежен. Улыбка ребенка вызывала улыбку на его устах, которые казались не способными ни к чему другому, как к бормотанию жалобных псалмов. Когда, желая защитить ее от лучей пылавшего солнца или доставить ей несколько минут покоя подле себя, он склонял свою голову к скамейке, на которой она отдыхала, то делал это с нежностью матери.

Несколько лукавая привлекательность маленькой девочки возбудила любопытство Сансона де Лонгеваля и он, наконец, забыл о бесстыдстве лжекалеки вследствие отцовской нежности, которую он оказывал дочери. Каждый день мой предок выделял ему большую долю из подаяний, которые мог раздавать; и девочка до такой степени привыкла взимать свою маленькую контрибуцию, что, завидев его, с веселым видом бросалась бегом к нему навстречу.

Несмотря на щедрость Сансона де Лонгеваля, нищий никогда не присоединялся к выражению благодарности, которую высказывала его дочь. Мой предок заметил, что между тем как старец провожал других молитвами, его он никогда не благодарил за подаяние. Шарль Сансон предполагал, что, зная его, этот человек не хотел молить Бога за исполнителя верховного правосудия. Видя в этом испытание Всевышним его смирения, он нисколько не огорчался этим, а видел в том повод увеличивать с каждым днем подаяние.

Между тем девочка стала молодой девушкой необыкновенной красоты, заметной даже под прикрывавшими ее тряпками. Каждый раз, когда Сансон встречался с нею, ему приходила в голову мысль об ужасной участи, ожидавшей

это прелестное создание, и он спрашивал себя, не будет ли величайшим благодеянием попытаться избавить ее от злосчастного удела, ей предназначенного.

Однажды утром, выходя после обедни, Сансон де Лонгеваль, воспользовавшись минутой, когда молодая девушка убежала, подошел к нищему и, открыв ему причину своего вмешательства, предложил старцу попросить за него некоторых милосердных особ, которые могли бы, поместив его дочь в один из приютов, предоставить бедному ребенку верное и уважаемое положение в свете.

Когда мой предок подошел к нищему, на лице его выразилось сильное волнение, но, услышав о предложении, он выразил живейшее нетерпение и прервал его, отказываясь от этой милости, но так как Сансон де Лонгеваль продолжал настаивать, то он возразил ему с выражением, демонстрировавшим всю силу его отцовской привязанности: «Кто же будет любить меня, когда ее не будет со мной?»

С этого дня молодая девушка не только не просила подаяния у моего предка, но даже насмешливо улыбалась, когда он проходил мимо нее; а старый нищий, казалось, от него отворачивался.

Таким образом прошло несколько месяцев.

Однажды утром, идя в церковь, Сансон де Лонгеваль не нашел более нищего и его подруги на их обычном месте; он не увидел их и в следующие дни. Удивленный этим внезапным исчезновением, мой предок стал расспрашивать их товарищей, но они не могли дать ему никакого объяснения.

Несколько дней спустя Пилори des Halles представлял зрелище, возбудившее огромное любопытство народа.

Жан Буре, королевский прокурор, Франсуа де Турнер, асессор, и Пьер де Манури, городской голова, обличенные в вероломном осуждении дворянина по имени Шарль де Губера де Ферьер к виселице, чтобы завладеть его имуществом, были приговорены к ссылке и выставлению к позорному столбу.

Скопление народа перед позорными столбами des Halles было многочисленным, и хотя день был торговый, но большая часть толпы была не из селян. Сансон де Лонгеваль, сопровождавший своего сына, различил в толпе многих из своих знакомых: это доказывало, что бродяги с любопытством пришли посмотреть на фигуру особы, которую выставляют к позорному столбу, привыкшую посылать туда других.

Вечером, когда он на обратном пути домой повернул на улицу Пюи д'Амур, громкие взрывы хохота заставили его обернуться. Смеявшаяся была прекрасная особа, в которой, хотя она была одета с роскошным изяществом, он тотчас же узнал дочь нищего Нотр-Дам де Бонн-Нувель.

Она со своей стороны также узнала старца, клавшего в ее маленькую и нежную ручку подаяние. Ее веселость моментально исчезла. Она дернула своего товарища за руку и исчезла с ним во мраке улицы де Монтедур.

Сансон де Лонгеваль понял, что предчувствие его сбылось, он увидел, что участь бедной девушки была плачевнее, чем он сам когда-либо предполагал, потому что не требовалось слишком большой проницательности, чтобы догадаться по одежде и обращению человека, с которым она шла под руку, что он принадлежал к той категории любопытных, которые составляли большую часть зрителей, окружавших утром Пилори.

Со времени своего второго брака, Сансон де Лонгеваль редко выходил из дома после захода солнца.

Его ужасные обязанности обеспечили ему много врагов в числе злоумышленников, которыми был наводнен Париж. Квартал, в котором он жил, был так пуст и отдален, что подобная осторожность была чрезвычайно благоразумной.

Однако в один из вечеров он должен был возвращаться ночью, и его сопровождал только один лакей, шедший впереди и освещавший ему дорогу.

Пройдя спокойно улицу Сент-Есташ, улицу Пуассоньер, и в то время так называемую улицу Святой Анны, которая была лишь продолжением последней, он вдруг, приблизившись к деревянному мосту, перекинутому через большой овраг, увидел, что пять или шесть человек вышли из сада с очевидным намерением напасть на него.

Слуга бросился к моему предку, но не успел сделать десяти шагов, как выстрел из пистолета, – пистолет делался любимым орудием бандитов, – распростер его мертвым на дороге.

Уже успев обнажить широкий тесак, висевший вместо шпаги у его пояса, мой предок, столь же отважный, сколь сильный, бросился на нападавших сзади, но в эту минуту один из них, подкравшись, схватил его поперек тела и таким образом лишил возможности сопротивляться. В одно мгновение Сансона де Лонгеваля повалили на землю, в рот вложили кляп и связали с ловкостью, доказывавшей, что людям, с которыми он имел дело, уже не впервые случалось поступать таким образом и им нечего было привыкать к различным процедурам подобного случая.

Человек гигантского роста, одетый пилигримом, взвалил его себе на плечи, и вся шайка, из которой одни освещали дорогу, другие шли подле пленника, отправилась в путь, избрав себе дорогу через поля и пашни.

Они, казалось, превосходно знали моего предка.

Продвигаясь вперед, эти люди осыпали его самыми грубыми и неутешительными шутками.

Сансон де Лонгеваль слышал, как они заливались смехом, говоря о бедном Шарло, который, казнив стольких мошенников, должен был в свою очередь сочетаться браком с вдовой казненного.

Весьма понятно, что престарелого исполнителя тревожили весьма мрачные мысли; ему была известна ненависть злодеев к тем, кого закон предназначил для наказания их

проступков; он не сомневался, что они устроили эту засаду, чтобы, овладев им, утолить свою жажду мщения; но в то же время он думал, что как ни низка была его обязанность, но она, тем не менее, в глазах врагов общества представляла правосудие, и потому твердо решился мужественно защищаться и дорого продать свою жизнь.

Бандиты думали только об одном, а именно сбить с пути своего пленника.

Описав довольно значительный круг, вся шайка снова продолжала идти далее. Вместо того чтобы взойти на холм, она некоторое время шла по совершенно ровной дороге и затем начала спускаться по довольно крутому и длинному спуску. Наконец начали всходить на гору, но к ней подошли слева, а ему казалось, что холм Монмартра должен находиться справа. Это топографическое несоответствие расстроило все его предположения.

Вдруг все смолкли и даже старались заглушать шум своих шагов; Сансон де Лонгеваль понял, что он находится в обитаемом месте. Так они шли некоторое время. Остановившись, мой предок ощутил острый и зловонный запах, столь свойственный парижским шинкам.

Спутники его начали шептаться; он услышал глухой скрип опускавшейся двери, которую поднимали, и почти вслед за этим раздался как бы из глубины земли сильный шум песен, криков и смеха.

Его повели по лестнице вниз. Слова тех, к которым они приближались, делались все более явственными. Крики: «Палач! Палач!», восклицания, шутки раздавались, сливаясь в каком-то адском концерте, но в ту минуту, когда нога исполнителя коснулась пола, чей-то голос приказал смолкнуть, и шум тотчас же прекратился. Затем тот же голос велел проводникам господина офицера короля освободить его от веревок и кляпа, что было исполнено в ту же минуту.

По предосторожностям, которые относительно его были приняты, Сансон де Лонгеваль, наконец, убедился, что они не

хотят лишить его жизни; но, открыв глаза, он увидел, что находится в логове самых отчаянных разбойников столицы.

Там находилось человек двадцать мужчин и пять или шесть женщин. Преступники всех мастей имели там своих представителей. Но большая часть из них принадлежала к тому классу злодеев, которые никогда не отказывались от убийства, если того требовал успех замысла.

Оглядевшись вокруг, мой предок увидел, что находится в обширном погребе; стены которого были обшиты досками и, как видно, он лишь недавно был превращен в приемный зал, потому что несколько толстых брусьев да рассеянных там и сям бочек составляли пока единственную мебель этой конуры.

Тусклый свет трех или четырех жестяных ламп так слабо освещали этот мрачный погреб, что свод его оставался во мраке, и присутствовавших можно было различить лишь в те минуты, когда на мгновение лампы вспыхивали мерцающим светом.

Через несколько минут все эти люди, оставив свои занятия по случаю прибытия исполнителя уголовных приговоров, принялись за них снова. Одни из них играли в кости и карты, другие – пили, третьи, рассуждая вполголоса, казалось, обдумывали свои замыслы. Постарше и помоложе возились с толстыми и крепко сложенными девушками с живыми глазами, видеть профиль которых было достаточно, чтобы определить разряд социальной иерархии, к которому они принадлежали.

Сансон де Лонгеваль знал, как важно для его безопасности не показывать страха, а, напротив, казаться совершенно спокойным. Потому он решился заговорить первым и спросить у этих людей, что они от него хотят. Но старик, вовсе незамеченный им и поглощенный игрой в карты с одним из своих товарищей, по-видимому, угадав намерение моего предка, приказал ему знаком руки иметь терпение и хранить молчание.

Вид старика был страшный, почти фантастический.

Он, казалось, дожил до последних границ человеческого существования, кожа его была бурого цвета, длина его рук и ног доказывала, что прежде он был высокого роста, но стан, согнувшись, утратил свою стройность до такой степени, что, сидя, он казался едва ли выше карлика. Дряхлость не оставила ни грамма мяса в его мускулах, он был необыкновенно худ, так что, когда старик тасовал карты, то казалось удивительным, что его пальцы не стучат, подобно перстам скелета. Несмотря на все признаки дряхлости, он сохранил силу, принадлежавшую лишь молодости. Голос и смех его обладали металлическим звоном юного возраста; движения его были быстры и резки; игра лица показывала невероятную живость впечатлений и, когда ему улыбалось счастье, то из его глубоких, как пещеры, орбит, сверкал луч, подобный тому, какой блистает во взгляде молодого человека, когда он глазами хочет сказать что-нибудь своей возлюбленной.

Разгоряченный игрой, он обнажил свою гладкую, без волос голову, сняв парик, который большая рыжая девушка, сидевшая возле него, с обожанием держала в своей руке. Он был одет в фуфайку желто-зеленоватого цвета и в такое же нижнее платье; обут в высокие сапоги из буйволовой кожи с серебряными шпорами. Покрой его одежды был несколько стар, галуны немного почернели, порвались, но он носил их с важным видом, который разительно отличался от щегольства его собратьев; и в манере, с которой он проводил между своих ног длинную шпагу с железной рукояткой, висевшую на портупее, было столько непринужденности, что он походил более на дворянина, чем на разбойника.

Счастье не благоприятствовало ему, он проиграл и далеко отбросил от себя карты, воскликнув гасконское проклятие, которое заставило задрожать моего предка.

Фигура старца ничего не напоминала моему предку, но ему показалось, что это проклятие он уже много раз слышал и что голос старика был ему близко знаком.

Между тем престарелый игрок уселся на бочке, которая только что заменяла ему стол, подозвал жестом к себе всех присутствовавших и, обратившись к Сансону де Лонгевалю, с притворной вежливостью и избегая наречия бродяг, на котором изъяснялись его товарищи, спросил моего предка, точно ли он исполнитель верховного правосудия города Парижа.

– Да, – отвечал самым суровым тоном мой предок, – чего вы хотите от меня? Подобные вам люди обыкновенно скорее избегают, чем отыскивают людей моего звания.

При этом возражении старик сделал гримасу, выражавшую, вероятно, улыбку, потому что он продолжал с самым любезным видом.

– Сто чертей, клянусь вам, любезный мой сударь, вы ошибаетесь в наших чувствах. Разве храбрый человек не предпочтет всегда вашего знакомства этому скучному дарованию жизни, которое приковывает нас к скамьям галеры?

– Чего вы хотите? Зачем вы меня схватили? Привели сюда? Зачем убили моего слугу?

– Это все подробности маловажные; ведь яичницы не сделаешь, не разбив яиц. Перейдем прямо к делу, которым мы должны прежде всего заняться, любезный мой сударь. Мы нуждаемся в ваших услугах; но, без сомнения, все наши просьбы остались бы напрасными, Потому мы и устроили все таким образом, чтобы иметь некоторое право требовать от вас услуг. Разве мы дурно распорядились?

Сансон де Лонгеваль сделал знак презрения.

– Тут есть человек, осужденный к смерти, – продолжал старик со своим ироническим хладнокровием, – мы не решились присвоить себе ваших прав и привилегий. Его передадут вам в руки, и мы надеемся, что вы позволите нам быть свидетелями вашего искусства.

– Осужденный! – воскликнул Сансон де Лонгеваль, разразившись, в свою очередь, громким смехом. – Осужденный! Осужденный кем? Шателе, судом де Ла Турнель или

начальником полиции? Вы, милостивый государь, вы, без сомнения, повытчик уголовного суда и, вероятно, предъявите мне приговор по всем формам? Где процедура, где приказ о казни, чтобы я тотчас же мог приказать своим людям смазать веревки или наточить меч?

Один из присутствовавших, по-видимому, выведенный из терпения насмешливым тоном моего предка, подошел к нему и сказал, приставив к его лбу дуло пистолета.

– Приказ о казни? Вот он, Шарль, и не находишь ли ты, что этот стоит другого?

С ловкостью и проворством, которых едва ли можно было ожидать от человека его лет, старик соскочил со своей бочки и оттолкнул разбойника.

– Милостивый государь, – сказал он, – вы должны были убедиться, что всякая попытка к сопротивлению и упорству бесполезна. Эти господа желают насладиться казнью по всем принятым правилам, так что ни в чем не будет недостатка, – ни даже в вас, и если бы вы знали как велико их упрямство, то избавили бы нас от совершенно лишних и бесполезных возражений и упорства. Наконец, чтобы избавить вас от всякого угрызения совести, я вместе с этими господами уверяю вас, что человек, на котором вам придется показать свои дарования, виновнее всякого, кто когда-либо качался на услужливой веревке, о которой вы только что нам говорили.

– Нечего сказать, вы мне предлагаете славное поручительство, – сказал резким голосом Сансон де Лонгеваль. – Моя шпага есть меч закона – знайте это. Она обнажается против вас, но для вас никогда не выйдет из ножен. Если вы хотите совершить убийство, обратитесь к вашим кинжалам и, наверное, не получите отказа.

В кружке поднялся гневный ропот; старик сделал знак рукой, и все умолкли снова.

Глава VII
Нищий. Встреча через сорок лет. Невольный братоубийца

Сансон де Лонгеваль начал удивляться терпению, с которым главарь переносил все его обиды, и стал подозревать, что в этом должна была скрываться какая-то таинственная цель.

– Милостивый государь, – возразил главарь банды, – вы не станете оспаривать, что находитесь в нашей власти; в месте, куда ни комиссар, ни пристав, ни полицейские солдаты никогда не проникали и не проникнут. Потому, не совершая ничего низкого, вы можете показать себя благоразумнее, чем были до сих пор. Вы сомневаетесь в нашем слове. В таком случае, извольте, вы можете услышать из уст самого осужденного признание в совершенном преступлении, и я надеюсь, что вы перестанете упорствовать, удостоверившись в его преступлении.

Сказав это, старик сделал знак рукой.

Двое из тех, которым он, как казалось, отдал приказание, отделились от группы и направились к огромной доске в перегородке. Они толкнули ее, и доска повернулась наподобие двери. Мой предок услышал стон, доказавший, что эта темница нового устройства была обитаема; и точно, бандиты вытащили из нее связанного веревками человека и доволокли его за ноги к месту, где происходило это необыкновенное заседание.

Как я уже сказал, в погребе было очень темно, и Шарль Сансон с трудом мог рассмотреть черты лица несчастного узника.

Старик слез со своей бочки, взял одну из ламп за цепь, на которой она висела, и, осветив ею лицо человека, сказал исполнителю:

– Знаком он вам?

Сансон де Лонгеваль, что он точно, в продолжение нескольких лет, встречал этого бедняка на паперти церкви Нотр-Дам де Боннь-Нувель. На устах главаря бандитов появилась странная улыбка.

Это точно был тот нищий, дочь которого мой предок встретил несколько дней тому назад в Париже. Однако же он чрезвычайно изменился: глаза и веки его покраснели от слез. Вид его был мрачен: время от времени он вздрагивал. Язва на его ноге совершенно исчезла, и на том месте, где она находилась, не осталось ни малейшего следа от ее столь долгого существования.

Он обвел диким взглядом все собрание с выражением очевидного беспокойства; его взор старался проникнуть в тесные ряды столпившихся в кружок товарищей. Не замечая лица того, кого, казалось, искал, нищий снова опустил голову.

Старик продолжал:

– Милостивый государь, – сказал он, – этот человек обокрал своих собратьев. В семействе, начальником которого имею честь быть я, существует обычай, чтобы из всех подаяний, посылаемых нам небом, оставалась определенная часть; она прячется на черный день, или служит для тех из нас, кто потерпит какую-либо неприятность в своих коммерческих оборотах. Я доверил эти деньги этому человеку, и он присвоил их себе. Когда я спросил у него отчет, то кошелек его был также пуст, как череп аббата. Правда ли это?

Нищий сделал утвердительный знак.

– Негодяй! – продолжал старик, обращаясь к нищему. – Подобно мне, ты по своей собственной воле избрал себе место среди бродяг. Ты знал, что как общество, которое покидал ты, так и они имеют свои законы? Тебе было известно, каким наказанием они карают за измену?

– Знал, – пробормотал несчастный.

– Смерть ему! Смерть ему! – шумно воскликнули все присутствовавшие. – Смерть негодяю! Смерть похитителю!

– Ты заслужил смерть, – сказал старик нищему, – и должен быть казнен, но я хотел, по крайней мере, избавить тебя от мучений, которые делают ее еще ужаснее.

Нищий сделал знак, выражавший, что ему нет нужды до этого, что его не пугают мучения, которыми грозил ему главарь шайки.

– Будь хоть откровенен в последний час твоего существования, и я клянусь тебе дружбой, которую питал к тебе, бедный преступник, я не позволю пытать тебя, хотя бы мне пришлось разделить одинаковую с тобой участь. Что сделал ты с этими деньгами?

– Я тебе уже сказал, начальник, – отвечал нищий, – я их промотал.

– Ты лжешь… Постарев, черт сделался отшельником, а ты под старость из мота превратился в скрягу. Твое место на кладбище приносило тебе не менее экю в день, а ты с дочерью не тратил и десяти солей; нам известна твоя скупость. Говорю тебе, что ты лжешь, ты где-нибудь спрятал эти деньги. Укажи собратьям, где они могут найти их, и они простят тебя и позволят тебе самому избрать себе вид смерти.

Престарелый нищий молчал. Самые ожесточенные из шайки, казалось, были готовы кинуться на него. Старик защитил его еще раз; но было очевидно, что как ни была велика власть его над бродягами, а все-таки она должна была вскоре сделаться бессильною. Он подошел к моему предку.

– Итак, господин де Лонгеваль, – сказал он ему глухим голосом, делая особенное ударение на частичку «де», – итак, этот человек для вас только нищий, которому вы бросали несколько денье на кладбище Нотр-Дам де Нувель, и не напоминает вам никого другого.

Старый исполнитель отступил в оцепенении несколько шагов от предводителя шайки. Смутные воспоминания, которым, по причине многих невероятностей, он не смел поверить, вдруг осуществились. Он взглянул на этих двух людей,

которые были перед ним, и в одну секунду узнал в их увядших чертах лица под их пергаментной кожей двух товарищей своей молодости. Он испустил громкий крик и, бросившись к нищему, воскликнул:

– Блиньяк, Поль, ты тут, среди этих…

Господин де Блиньяк не дал ему докончить.

– Черт возьми, господин де Лонгеваль, – сказал он ему своим обыкновенным саркастическим тоном, – мне кажется, что нам нечего пенять друг на друга; хотя мы и шли различными дорогами, но можем похвалиться, что все трое превосходно совершили свой путь.

Старый исполнитель с негодованием оттолкнул руку, которую ему протянул бывший сослуживец.

– Извините, господин де Блиньяк, – сказал он ему, – кровь ваших собратьев еще не запятнала моих рук, и я не желаю загрязнять их.

Восьмидесятилетний старец ухватился за рукоять своей шпаги с живостью, доказывавшей, что лета не умерили его запальчивости, но почти в то же мгновение, заметив, вероятно, по волнению, поднявшемуся в кругу бандитов, что они ждут только его знака, чтобы поспешить к нему на помощь, он вложил шпагу в ножны и сказал, указав на Поля Берто:

– Было бы забавно возобновить через сорок лет нашу ссору подле Проклятой Ограды; но нам нельзя терять попусту время в личных делах, господин де Лонгеваль. Я велел привести вас сюда не для того, чтоб вы лишили жизни прежнего своего товарища и друга, а в надежде, что вы будете иметь столько влияния на этого несчастного, чтобы побудить его указать место, где он скрыл похищенные у товарищей деньги.

Бесстыдство, которое господин де Блиньяк сохранил в своем положении, возмутило Сансона де Лонгеваля, но в то же время он чувствовал болезненное сострадание к своему несчастному двоюродному брату, столь справедливо, но и столь жестоко наказанного за свою беспорядочную и распутную

жизнь. Он встал подле него на колени и старался пробудить в нем раскаяние и в то же время побудить его к сознанию, которого от него требовали.

Поль Берто молчал, несмотря на все настоятельные просьбы, и, как бы желая положить конец всем этим уговорам, вдруг воскликнул дрожащим и отрывистым голосом:

– Я сознался во всем; я промотал эти деньги, я промотал их. Боже мой, ничтожных одиннадцать тысяч ливров, что это значит? Я спустил побольше этого. Разве ты не помнишь, начальник, когда мы остановились в Лондоне на обратном пути из Монреаля? Одиннадцать тысяч ливров, Спаситель! Да их бы хватило только на один день. Так как я сознаюсь в похищении ваших денег, то убейте меня. Убейте меня поскорее, я желаю смерти, я желаю смерти!

Нищие и убийцы, составлявшие шайку, не понимая жажды смерти, овладевшей престарелым нищим, с безмолвным удивлением посматривали друг на друга.

Блиньяк наклонился к своему прежнему другу:

– Не знаю, какая цель у тебя, – сказал он ему, – но уверен в том, что ты стараешься провести нас.

Время, о котором ты говоришь, Поль, прошло, и в настоящую минуту ты знаешь цену одному денье! Скажи-ка еще мне, почему удалил ты дочь, которую так любишь, с которой никогда не расставался, именно в тот день, когда я должен был прийти к тебе за отчетом в деньгах? Скажи, почему все наши поиски ее остались напрасными?

В то время, пока он говорил о дочери, глаза Поля Берто сверкали, и глубокий вздох вырвался из его груди; но он не отвечал на заданные ему вопросы.

Мой предок вмешался в разговор и рассказал де Блиньяку, как вечером того дня, в который были выставлены к позорному столбу прокурор и его соучастники, он встретил молодую девушку; не скрывая удивления, которое овладело

им при виде ее изящного туалета и гнусной наружности ее кавалера.

Предводитель шайки произнес громкое проклятие и встал со своего места.

– Сто чертей! – вскричал он. – Негодяй, это дочь обокрала тебя! Отчего ты этого не сказал?

– Обокрала… – отвечал в необыкновенном волнении нищий, стараясь отчаянным усилием освободиться от веревок, – обокрала! Это ложь, слышишь ты, начальник? Нет, нет, не она, один я виновен в этом преступлении! Меня следует наказать! Обокрала! Моя дочь, ребенок, который так любит своего отца! Ах! Великий Боже! Кто мог выдумать это?

Блиньяк пожал плечами, обменявшись с Сансоном де Лонгевалем взглядом, означавшим, что предположение, бывшее минуту тому назад лишь подозрением, делалось несомненным фактом.

Однако он попытался еще раз спасти своего прежнего друга и спросил у бандитов, не встретил ли кто-нибудь из них дочь нищего, которую на языке мошенников называл Прелестноокою.

Один из бродяг отвечал, что, кажется, он точно видел ее в руанской карете возле человека, имеющего две профессии: вербовщика и шпиона; но отправлявшаяся в путь карета проехала так быстро, что он не уверен в своем предположении.

– Ну, хорошо! – сказал предводитель шайки, старавшийся, по-видимому, выиграть время. – Дрилльон и Мармот пойдут в Руан, и когда мы узнаем что надо, то дело негодяя может еще принять хороший оборот.

Сильный шум, поднявшийся в шайке, убедил его, что большая часть далеко не разделяет его мнения, и один злодей, бывший смелее своих товарищей, сказал, если деньги похитил не он, а его дочь, то единственная возможность заставить его сознаться в этом заключается в пытке.

Власть предводителя в этой республике бродяг была более номинальная, чем существенная. Его влияние основывалось на силе и смелости.

Не таково было положение бывшего товарища моего предка в полку де Ла Боассьер.

Как Сансон де Лонгеваль узнал впоследствии, господин де Блиньяк, предавшись всякого рода порокам и распутству, разорил дотла Поля Берто, которому стал злым гением, теснимый долгами, без всяких средств к существованию, возвратившись в Париж, закончил свою плачевную карьеру, сделавшись тем, кого в то время называли сельскими разбойниками, то есть грабителем на больших дорогах, и увлек в эту страшную бездну и несчастного переселенца. Под именем Большого Жака он составил шайку из бывших контрабандистов, беглых солдат, и во главе их разбойничал на больших дорогах Восточной Франции. Громкая слава, громкая молва о шестидесятилетнем бандите доставили ему истинную знаменитость среди людей его ремесла, что побудило парижских бродяг, которых он часто посещал, избрать его своим предводителем. Так он провел еще шесть лет в бродяжнической, обильной приключениями жизни. Затем, ограбив одного путешественника и получив из добычи свою долю в шестьдесят тысяч ливров, он поселился в Париже, куда ранее его отправился Поль Берто. Поль был не один: с ним была дочь, которую он прижил с принадлежавшей к шайке мулаткой во время своей бродяжнической жизни. Любовь к этому ребенку имела на него большое влияние. Хотя Поль и не полностью прекратил все свои отношения с прежними жалкими товарищами, но, по крайней мере, он уже не принимал столь деятельного участия в их мошеннических делах. Не решаясь расстаться с дочерью, он стал просить подаяния у дверей храмов. Что касается господина де Блиньяка, то, переменив место действия, он не изменил своего образа жизни. Картежные дома не менее больших дорог доставляли ему наживу; он

находил там двойное удовольствие, удовлетворяя свою страсть к игре, преобладавшую в нем над всеми прочими, и встречая в них многочисленных простаков, позволявших себя обирать. Но среди этой новой жизни он скоро заметил, что влияние на людей, приобретенное грабителем больших дорог, большая часть которых имела достаточно смелости, чтобы отнять кошелек и обнажить шпагу, слабеет, и, несмотря на постоянно вызываемое к нему уважение, понял, что оно рухнет при первом его несогласии с большинством шайки. Заметив волнение, овладевшее собранием, этот глубокий политик, страшась утратить власть, которая становилась для него тем дороже, чем больше она ослабевала, был в нерешительности.

Чувство добра так глубоко врезано в душу человека, что даже тогда, когда она, вступая в открытую борьбу с обществом, попирает ногами все принципы правосудия, все законы чести, ему никогда не удается заглушить голос укоряющей его совести.

Несколько минут тому назад этот восьмидесятилетний, погрязший в преступлениях, грешник считал себя вправе обращаться запанибрата с бывшим своим сослуживцем. Теперь он ощущал какую-то неловкость, потому что свидетелем его низкого поступка должен был быть человек честный и благородный, и это смутное чувство совестливости, выражавшее душевный трепет, говорило ему, что глубокая пропасть разделяет его от этого человека, которого он с таким презрением назвал палачом.

Присутствие Сансона де Лонгеваля не только отнимало у него охоту казаться цинично веселым, но, кроме того, лишало его возможности притворяться чистосердечным, что единственно могло несколько говорить в его пользу; оно вынуждало его прикрыться маской лицемерия.

Блиньяк встал около нищего на колени и уже не принуждал его, а умолял во всем сознаться; он так униженно просил

его, вызывал столько печали и жалости, причиной которых было непонятное упрямство Поля Берто, что несколько минут Шарль де Лонгеваль считал все это искренним.

Двоюродный брат моего предка оставался безмолвным, несмотря на все красноречие де Блиньяка. Когда говорили ему о нем самом, о казни и пытках, его ожидавших, он, казалось, не понимал того, что слышал; несчастный забыл все, исключая угрозы относительно дочери, и с самым величественным упорством старался оправдать ее; он уверял предводителя шайки в ее невинности и самыми ужасными клятвами призывал в свидетели небо, что он один только виновен в похищении денег.

Блиньяк встал, притворяясь глубоко опечаленным, и сделал жест, говоривший, по-видимому, что он более не в силах уговаривать строптивца.

Затем он хотел уйти. Группа, окружившая его, еще более уплотнилась, и в их глазах сверкала жажда крови. Вполголоса они стали обмениваться скверными и угрожающими словами. Как ни привык мой предок к самым ужасным зрелищам, которые только можно представить, но дрожь невольно пробежала по его телу. Он схватил Блиньяка за руку и остановил его.

– Вы, конечно, не оставите человека, которого, без сомнения, довели до этого положения и всех этих несчастий? – сказал мой предок Блиньяку.

Морщинистое лицо начальника бандитов побледнело; он с минуту колебался, но люди его стояли так близко, что должны были слышать каждое произнесенное им слово.

– Эх! – сказал он, с равнодушием слишком чудовищным, чтобы оно не было притворным, – в наши лета, все равно, немногим раньше, немногим позже?

– Именно потому, что слишком мало важности в том: упадут ли наши седые головы сегодня или завтра, мы и должны пожертвовать своей жизнью для его защиты.

Бандиты разразились громом проклятий; их начальник, поняв, что пора, наконец, кончать – сделал знак рукой. Тройной ряд раздвинулся, и сорок рук протянулись к человеку, которому было суждено утолить жажду крови этих несчастных безумцев.

Сансон де Лонгеваль пытался оттолкнуть их и своим телом защитить несчастного Поля Берто, но, увлеченный напором толпы, он был далеко отброшен от своего двоюродного брата. В ту минуту, когда он хотел выхватить пистолет из-за пояса одного разбойника, тот предугадал его намерение и сильным ударом кулака поверг на землю моего предка.

Удар был так силен, что в глазах Сансона де Лонгеваля потемнело, и из ужасной бури воплей, криков и проклятий, потрясавших своды погреба, в продолжение нескольких минут он слышал только глухой шум, походивший на плеск ударяющихся о скалы волн.

Прийдя в себя, мой предок увидел Блиньяка, старавшегося привести его в чувства, наливая ему в рот несколько капель водки.

В эту минуту раздался ужасный крик.

Бандиты уже импровизировали пытку, которая должна была принудить Поля Берто указать место, где он спрятал похищенные деньги, и воображение их превзошло все ужасы, которым правосудие того времени подвергало преступников.

Принесли жаровню и на пламени горевших углей жгли подошвы его ног.

Сансон де Лонгеваль оттолкнул своего прежнего сослуживца, встал и хотел кинуться на пытателей своего двоюродного брата; но все еще оглушенный ударом, покачнулся, как пьяный, и снова упал на землю.

Их главарь сжал руку моего предка.

– Одно движение, жест, крик, – сказал он ему, – и я призову на помощь моих людей и велю связать вас! Видели ли вы когда-нибудь тигров?

Сансон де Лонгеваль сделал отрицательный знак.

– Я видел их и клянусь вам, что скорее желал бы видеть вас под когтями свирепейшего из них, чем в руках людей, нас окружающих. Я велел привести вас сюда, потому что, не подозревая настоящей причины его упорства, а именно что деньги похитила его дочь, надеялся при вашей помощи победить его упрямство и вынудить его сознаться в совершенном преступлении. Я не хочу, чтобы вы стали жертвой моего желания спасти этого бедняка. Поверьте, при настоящем состоянии их умов не только всякое вмешательство было бы пагубным для вас, но, кроме того, оно послужило бы поводом к более продолжительным мукам, которые я постараюсь сократить, насколько это будет в моей власти.

Господин де Блиньяк, видя, что прежний сослуживец немного успокоился, отошел от него и присоединился к своим прочим товарищам.

Сансон де Лонгеваль понял, что эгоистичные доводы бывшего капитана полка де Ла Боассьер имели свою выгодную сторону, так как бандиты, несомненно, отомстили бы первой же жертве за помощь, которую он напрасно попытался оказать Полю Берто. Он прислонился к стене и, упершись локтями в колени, заткнул большими пальцами уши и закрыл глаза. Он не хотел ничего ни видеть, ни слышать.

В десяти шагах его родственник, друг детства бился и корчился в ужаснейших муках, и он забыл все нанесенные им обиды, его вину, преступления и помнил только привязанность, связывавшую их прежде, и ввиду этих жестоких мучений она делалась пламеннее, глубже, чем была когда-либо.

Лишив себя возможности слышать, он чувствовал сердцем, всей душой голос, ему знакомый, не походивший на другие – это голос брата. Он призывал его на помощь и, проникая в грудь моего предка, как острое лезвие кинжала, раздирал ее.

Напрасно он, подавляя волю, отворачивал свой взгляд. Красноватый круг, окруженный мрачными силуэтами, походившими на адские привидения, преследовал и терзал его. Голова его кружилась, как будто он стоял на краю бездонной пропасти. Непреодолимая сила поднимала его сжатые руки. Глаза открывались, и хотя он тотчас же смыкал их снова, было достаточно одного мгновения для того, чтобы все подробности ужасной сцены предстали перед ним и глубоко запечатлелись в памяти моего предка.

В двадцатый раз поднимался он, чтобы броситься на помощь несчастному Полю, и в двадцатый раз опускался на землю, уничтоженный как физическими страданиями, так и сознанием своего бессилия.

Сцена, происходившая в логове бандитов, была так ужасна, что, опасаясь оправдать обвинение в моем расчете на эффект подобного явления в моем рассказе, я попрошу у читателей разрешения не входить в описание подробностей этого мучительного зрелища.

Я уже сказал, что в борьбе с обществом, бродяги и разбойники обращали против него самого не только орудия, которыми они пользовались, преследуя и карая их, но даже превосходили своей жестокостью законы, сохранившиеся еще с варварских времен, и своим адским умом создавали и усовершенствовали самые жестокие пытки для определения стойкости у жертв своей кровожадной мести.

Общины парижских бандитов в ту эпоху весьма часто прибегали к пытке как для наказания за проступки своих членов, так и для того, чтобы принудить своих жертв отдать вещи.

Чаще, как мы видим в описываемом мною происшествии, они употребляли пытки огнем.

Поль Берто переносил ее с твердостью, которой не изменял ни на одну минуту. Ноги его были сожжены; запах горелого мяса сделался так силен, что самые жестокие из его

мучителей должны были отвернуться; одна женщина лишилась чувств. Он не переставал твердить придуманную басню оправдывать дочь и защищать ее невиновность.

Даже тогда, когда в нем начала ослабевать жизненная сила, когда его страдания дошли до высочайшей точки и окончательно потрясли его тело, даже среди этого ужаса, похожего на бред, его решимость не ослабевала ни на минуту. Он молился, чтобы поддержать свое мужество, и в молитвах просил простить неблагодарную и преступную дочь, покинувшую его, за проступок которой он должен был заплатить своей жизнью.

Поль Берто называл ее самыми нежными словами, как будто в его ужасном положении, в котором он находился, его воображение сохранило силу вызвать образ той, за которую он страдал. Было заметно, как шевелились его уста, шепча и посылая в пустое пространство воздушные поцелуи.

Несмотря на все усилия, чтобы скрыть свое волнение, господин де Блиньяк был бледен, как мертвец. Быть может, в первый раз в своей жизни он забыл о самом себе и, не подумав о последствиях, которые могла иметь его решительность, приказал этим импровизированным палачам прекратить бесполезные истязания, говоря, что, так как виновный отказывается от признания, то в наказание за это упорство надо лишить его жизни.

Это решение не согласовывалось с кровожадными инстинктами и жадностью бандитов. Их черствая, закостенелая в пороках душа не могла понять всего величия отцовского самопожертвования. Они думали, что если молодая девушка точно похитила деньги, то не иначе как с согласия старого нищего, и все еще надеялись, что осилив муки пытки, они принудят его к возвращению похищенной суммы.

В рядах бандитов поднялся ропот на мягкосердечие начальника; но последний с такой решительностью отдал свой

приказ, что бандиты, несмотря на свое несогласие, решились повиноваться.

Железный крюк, вбитый в свод погреба, должен был заменить виселицу, к нему прикрепили веревку, на шею Поля Берто надели петлю, и один из присутствовавших вскочил к нему на плечи.

Но слишком слабая веревка разорвалась под этой тяжестью; и палач, и осужденный – оба грохнулись на землю.

Нищий, лишившись на мгновение сознания, поднялся полный жизни, и пополз на четвереньках, твердя глухим голосом имя Терезы, что соответствовало полету чувств, которое должно было поглощать все его существо до последней минуты земного существования несчастного.

Между тем пока тщетно отыскивали новую веревку, один из бродяг иронически заметил, что попрошайка храма Нотр-Дам де Боннь-Нувель был, как и предводитель, дворянином, и потому имеет право быть казненным шпагой.

Это предложение было принято с таким восторгом, что предводитель не осмелился противоречить своим людям. Но на замечание другого, что, так как палач в их власти, то нужно заставить его казнить виновного, Блиньяк ответил, что он не дозволит, чтобы принуждали насильно это сделать Сансона де Лонгеваля. Так как некоторые из бродяг, сохранившие покорность и дисциплину прежних времен, высказали готовность взять сторону предводителя, то кровожадная часть шайки ограничила свои требования казнью, вносившей столь привлекательное разнообразие в их дикие и необузданные развлечения.

Один из толстых брусьев, служивших подставкой для бочек, заменил плаху. Несчастного Берто заставили положить на него голову, и самый сильный из шайки, вооружившись большим поварским ножом, нанес ему удар по затылку.

Но по неловкости ли или вследствие адского желания продолжить страдания, казавшиеся ему слишком кратко-

временными и ничтожными, он нанес неверный удар и произвел ужасный разрез на шее, не поразив источников жизни.

Прежде чем он успел нанести новый, осужденный, подчиняясь страху смерти, который удесятеряет человеческие силы, поднялся, разорвал удерживающие его веревки, и вне себя, пустился бежать вокруг погреба.

Уже несколько минут как к Сансону де Лонгевалю возвратилась сила молиться. Уверенный в том, что печальная трагедия подходит к развязке, он молил Господа Бога смилостивиться над душой несчастного, которая вскоре предстанет перед Святым ликом Его.

Но вдруг сильный толчок заставил его поднять голову и открыть глаза: он увидел сцену, описать которую невозможно.

Поль Берто, истекая кровью, призывая смерть голосом, в котором не было ничего человеческого, старался спастись от человека, который должен был лишить его жизни.

При этом зрелище мой предок забыл все угрожающие ему опасности. Одна мысль овладела им: избавить своего несчастного родственника от его преследователей и отомстить одному из них.

Могущественным движением, прежде чем господин де Блиньяк мог препятствовать его намерению, он выхватил шпагу, висевшую на боку гасконца.

В эту минуту осужденный и импровизированный палач, все еще преследовавший его, поравнялись с Сансоном де Лонгевалем. Преследователь Поля Берто готовился нанести ему новый удар, но в эту минуту в руках престарелого исполнителя уголовных приговоров сверкнула шпага и, очертив круг, опустилась. Двоюродный брат, приемля смерть от руки друга, единственное благодеяние, на которое еще мог надеяться, упал, не испустив ни одного вздоха, и прежде, нежели остановившийся бандит успел прийти в себя от оцепенения, Шарль Сансон поднял свое окровавленное орудие и вонзил его в грудь разбойника.

В ту же минуту в глазах моего предка потемнело, силы оставили его и, хотя ни одна рука не поднялась на него, он пошатнулся и, как пораженный молнией, упал на землю.

На другой день на рассвете поселяне, ехавшие со своими припасами в столицу, привезли с собой престарелого исполнителя уголовных приговоров.

Они нашли его во рву на Пикардийской дороге, и так как им казалось, что он еще дышит, они положили его на одну из своих повозок.

Призванный врач объявил, что Сансона де Лонгеваля поразил мозговой удар и весьма удивлялся, как он мог пережить его. Обнажив ему руку для кровопускания, с еще большим удивлением он заметил, что эта операция на нем была уже проведена, и вероятно мой предок ей-то и был обязан сохранением своей жизни.

Долгое время не могли объяснить этой тайны, потому что следствием удара был местный паралич, который, отняв язык у Сансона де Лонгеваля, лишил его возможности рассказать происшествия той ужасной ночи.

Но его крепкое телосложение восторжествовало над этим жестоким потрясением; однако впечатления всех виденных им кровавых сцен вселили в его душу зародыш моральной болезни, опаснее апоплексии, от которой он избавился.

Он передал свои обязанности сыну, но все, что напоминало моему предку происшествия истекших лет, внушало ему чувство ужаса, смешанное с отвращением. Вид одной капли крови хотя бы животного вызывал у престарелого исполнителя нервные припадки, приводившие в ужас свидетелей этих страданий. Горькие слезы беспрерывно струились из глаз человека, у которого они уже давно должны были иссякнуть.

Была ли то лестница Господа Бога, тяготевшая над моим предком?

Пребывание в Париже стало для него столь ненавистным, что он решился оставить столицу и уехать со своей супругой Рене Дюбю на маленькую мызу, в Конде, близ Бри, купленную им несколько лет тому назад, где он, наконец, нашел успокоение, а именно – смерть!

Несмотря на все поиски, я не мог отыскать точного числа его кончины. Реестры и книги маленького прихода, к которому он принадлежал, были затеряны, подобно многим другим во время революции.

По-видимому, незадолго до своей смерти Сансон де Лонгеваль узнал о трагической гибели господина де Блиньяка, которому он, вероятно, был обязан своим спасением из притона бандитов.

Смерть гасконского дворянина сопровождалась такими необыкновенными обстоятельствами, что я не могу умолчать о ней; к тому же, хотя я вовсе не желаю делать выводов из данных фактов, которые могут приписать делу случая, эта кончина, по-видимому, осуществляет третье из предсказаний отца Маргариты Жуаннь.

Бродяги, предводителем которых был господин де Блиньяк, казалось, были недовольны нерешительностью и слабостью, которые их главарь показал в деле нищего церкви Нотр-Дам де Боннь-Нувель. Не будучи в состоянии внушить к себе прежнее почтение силой своей руки, бывший знаменитый грабитель больших дорог ломал себе голову, отыскивая какую-нибудь удивительную выдумку, которая могла бы восстановить утраченное о нем высокое мнение его буйных подчиненных.

В ту эпоху в селении Кажо, близ Палезо, жил богатый бенефициарий, о котором говорили, что он чрезвычайно скуп и постоянно копит деньги, откладывая свой доход. Быть может, это была лишь клевета, но им только и было нужно удостовериться в истине этих предположений. К несчастью, преподобный отец видел в физиономиях самых невинных –

воров и грабителей, и эта досадная недоверчивость сделала его святилище недоступным.

Тем не менее, в один прекрасный день господин де Блиньяк, казалось, нашел средство провести этого неусыпного драгуна в рясе и проникнуть в это пресвитерство Гесперид.

Он предложил полдюжине своих приближенных переодеться дозорными солдатами. Они должны были явиться к священнику с одним из своих товарищей, переодетым в одежду бандита, предварительно связав его, и объявить, что взяли под стражу нарушителя закона, которого должны были повесить на первом попавшемся дереве и просить его употребить свою святую власть спасти от погибели бедную душу преступника.

Господин де Блиньяк уверил их, что за недостатком христианского милосердия, инстинктивная ненависть, которую пребендарий питал ко всем бродягам, не позволит ему колебаться.

Чтобы посмотреть, как спровадят на тот свет одного из тех, в которых он видел своих естественных и первых врагов он оставит все, а вместе с тем и свой дом, а вслед за ним и все жители селения, обыкновенно весьма любопытные к подобного рода сценам, отправятся также в путь к месту действия этого привлекательного зрелища. Между тем как они будут забавлять зевак, другая шайка, спрятавшаяся поблизости селения, проберется не только в жилище священника, но, кроме того, и в дома его паствы.

Этот план был принят с истинным энтузиазмом. Однако приняв его, бандиты находились почти в том же положении, как крысы в своем совете. Никто не хотел взять на себя роль осужденного. В плане, составленном их предводителем, заключались некоторые условия, которые пугали самых отчаянных в шайке.

Решили, что жребий укажет того, кому придется исполнять роль преступника и как всегда он выпал на долю тому,

который был наименее способен к ней, то есть был трусливее прочих.

Это был бедняк, падавший в обморок при одном виде виселицы.

Накануне дня, назначенного для приведения в исполнение прекрасно задуманного плана, те, которые должны были принять в нем участие, собрались в харчевне под названием «Бюиссон Ардан», содержатель которой был одним из их сообщников.

Все были веселы, и только грустное расположение духа предназначенного к виселице омрачало общее веселье сборища.

Под предлогом развлечь своего подчиненного, главарь шайки предложил ему сыграть партию в кости; тот согласился, но услужливость господина де Блиньяка была весьма худо вознаграждена фортуною, потому что менее чем в полчаса он проиграл все свои деньги.

Противник предложил продолжить игру на следующих условиях. Если господин де Блиньяк выиграет эту партию, то он отыграет все потерянные деньги; но если и в этот раз счастье изменит ему, то он обязан принять на себя выполнение роли, до такой степени беспокоившей бедняка, которому она выпала.

Странность ставки привлекла всех бродяг к столу игравших. Подстрекаемый присутствующими, их предводитель согласился на предложенные условия и проиграл.

Блиньяк был вынужден для своей же выгоды и поддержания чести перенести со смехом свое несчастье; к тому же подобный подвиг восьмидесятилетнего старца должен был не только доставить ему уважение подчиненных, но, кроме того, сделать его имя предметом восторга всех бродяг будущих времен.

На другой день он отправился с шайкой в селение Кажо. Все случилось по его желанию.

Священник не только согласился исполнить печальный долг, который требовали от его евангельского усердия, но он был до того услужлив, что предложил свою лестницу для совершения казни.

Слуга, занимавший должность церковного ключника, объявил, что он по своей должности обязан принять участие в избавлении человеческой души от когтей злого духа и поэтому последовал за своим господином. Служанки также хотели насладиться предстоявшим зрелищем. Как только новость, что будут вешать известного преступника, распространилась по селению, как все его жители: мужчины и женщины, старцы и дети, и даже собаки заняли свое место в процессии, во главе которой шли ложные полицейские, солдаты и их пленник.

Когда священник сделал несколько замечаний относительно преклонных лет предполагаемого преступника, предводитель солдат отвечал, что этот бездельник в продолжение своей преступной жизни находил особое удовольствие грабить преимущественно духовных лиц и это, по-видимому, убедило его решиться присутствовать при казни престарелого преступника.

Господин де Блиньяк играл свою роль с искусством опытного и даровитого актера.

Но в минуту, когда бандит, представлявший палача, помогал ему взойти по лестнице, сверху которой качалась веревка, прикрепленная к самому толстому из ветвей прекрасного дуба, когда толпа, задыхаясь от волнения, с беспокойством, выражавшимся на всех лицах, ожидала развязки, случилось то, о чем господин де Блиньяк не подумал при составлении своей программы.

По воле ли случая или какой-нибудь изменник известил полицмейстера, что вероятнее всего, но в эту самую минуту уже не подставные, а настоящие полицейские солдаты поя-

вились на месте действия, кинулись на своих двойников, которые при виде их рассыпались во все стороны.

Ложный палач, сидевший на ветке над головой осужденного и, по-видимому, готовивший веревку, увидел и узнал первых врагов людей своей компании.

В один прыжок он был на земле; но, соскакивая, столкнул господина де Блиньяка, стоявшего на верхней перекладине лестницы. Несчастный предводитель упал и переломил себе позвоночник: он лишился жизни, думая быть в шутку повешенным.

Глава VIII
Целламарский заговор

Сын Сансона де Лонгеваля, носивший имя отца, официально вступил в должность, обязанности которой он уже выполнял в продолжение пяти лет.

Приказ его назначения на эту службу отмечен сентября 1703 года.

Шарль Сансон имел мягкий и меланхолический характер своей матери, Маргариты Жуаннь; его чувства были скорее нежны, чем страстны: он любил только один раз в жизни, но сохранил эту привязанность до самой смерти.

30 апреля 1707 года он женился на Марте Дюбю, сестре своей мачехи.

Нет ничего странного в том, что отец и сын вступили в брак с двумя сестрами, если вспомнить, как несоответственна была вторая женитьба годам Сансона де Лонгеваля, искавшего в этом союзе более подругу и утешительницу своей старости, чем жену, чтобы разделять с нею супружеское ложе. К тому же, кстати, скажем об этом справедливо, что при печальных условиях, в которых мы жили, мы не могли выбирать себе жену вне нашей сферы. Таким образом, вдова Сансона де Лонгеваля сделалась невесткой того, которому

прежде приходилась мачехой, и молодая женщина, на которой женился Шарль Сансон, была до своего брака его теткой.

Шарль Сансон приложил все усилия, чтобы сделать для Марты Дюбю сносной печальную жизнь, в которую он ее ввел. Должность исполнителя приговоров была в то время чрезвычайно доходна; прибыль от взимания в его пользу части товаров достигала шестидесяти тысяч ливров ежегодно, а расходы по сбору поглощали только незначительную часть суммы. Потому мой второй предок мог окружить свою жену всем материальным достатком и даже всеми предметами роскоши повседневной жизни.

Спустя некоторое время после свадьбы, он покинул старый дом в Новой Франции. Его нотариус, господин Тувено, купил для него превосходный отель на углу улиц де Поассонье и д'Анфер, где теперь находится фобург Поассоньер и Синяя улица. Это тот самый дом, который в настоящее время стоит на углу улиц Папильон и Синей; но он претерпел такие преобразования, что его невозможно узнать. В ту эпоху это был большой отель, построенный между двором и садом и занимавший не менее тысячи двухсот акров. За домом находился обширный, живописно расположенный сад, часть которого, украшенная рощицами и длинными аллеями, имела вид настоящего парка.

Этот отель принадлежал господину Полю-Антоаню Кепье и достался через жену, Катерину Кенье, Шарлю-Огюсту Виллефонтеню, когда Шарль Сансон через своего нотариуса, господина Тувено, приобрел его в свое владение. Этот дом был достоянием нашего семейства до моего дедушки, продавшего его в 1778 году господам Папильон и Рибутте. Их имена носят две улицы, которые они провели на том самом месте, где при моих предках были расположены многочисленные аллеи сада. Без сомнения, немногим из обитателей этих двух улиц известно, что их дома стоят на том месте, где прежде прогу-

ливались парижские исполнители уголовных приговоров после свершения своих кровавых обязанностей.

В 1778 году цена на землю так возросла, что мой дед продал этот дом и его принадлежности за сто тысяч ливров, между тем как Шарль Сансон отдал за него только шесть тысяч. Дом был двухэтажный и стоял в глубине обширного двора, окруженного всякого рода пристройками: навесами, конюшнями, каретными сараями, теплицами и т. д. В нижнем этаже находились сени, которые через двойную лестницу, составлявшую крыльцо, вели в сад. Направо от них были расположены кухня и службы; налево – столовая и зала. На первом этаже – комнаты моего предка, на втором – чердаки и людская.

С правой стороны главного строения, между ним и прачечной, находился проход, соединяющий двор с садом.

Прилегающий сад был одной из тех диковинок, которые соответствовали требованиям удобства той эпохи, и жалкие остатки которых мы находим среди груды строений городов настоящего времени. По-видимому, по мере того как человек делает успехи в цивилизации, он все более и более лишает себя воздуха и света. В больших городах целые семьи живут в темных углах, куда никогда не проникает дневной свет, и самые обеспеченные классы прозябают в своих каменных темницах, где зеркала и позолота не могут заменить им лазурь небесного свода, который недоступен их взорам, недоступен и чистый воздух полей, столь необходимый для их здоровья.

Обширные сады моих предков, по крайней мере, убеждали их в необходимости жить в городах; вечером они отдыхали в них, вдыхая свежий, чистый воздух. Сад Шарля Сансона, как уже я сказал, был своего рода образцом, потому что оставил в нашем семействе глубокие и неисчерпаемые воспоминания. На первом плане был расположен цветник, в котором кусты распускающихся цветов красовались по бокам аллей, – на клумбах и на вершине двух параллельных холмов; по ту

сторону цветника тянулся длинный ряд гряд и клумб различной величины, разделенных дорожками, усеянными песком и старательно подчищенными. Дорожки были обсажены плодовыми деревьями, защищавшими их от лучей солнца, а в грядах росли всякого рода растения. Наконец, в конце сада находилась группа деревьев, которая, вместо беспорядка, характеризующего английские сады нашей эпохи, представляла, одну главную и четыре боковые аллеи, расположенные так, что под сенью зеленых деревьев можно было, не углубляясь в гущу леска, найти тень и прохладу от знойных лучей полуденного солнца.

В этом очаровательном жилище Шарль Сансон провел свою жизнь вместе с женой, Маргаритой Дюбю.

Он жил там, покорный судьбе, в неизвестности и уединении, которые никогда не удовлетворяли его, забывая, насколько мог ужас, который при характере моего предка должна была внушать ему его печальная профессия. Однако мне кажется, что он никогда не оправдывал опасение и страх, терзавшие последние годы жизни Сансона де Лонгеваля. Окинув взором сожаления прошедшее, все потери, причиной которых был его поступок, искренняя привязанность, истинное благочестие приучили его обращать свои взоры и желания к другому лучшему свету.

С 1703 до 1716 года список казней, совершенных вторым Сансоном, содержит только имена неизвестные – обыкновенных преступников. Тут встречается постоянно один двигатель – жадность; одно средство – убийство; и иногда – несколько бандитов, несколько грабителей больших дорог.

1 сентября 1715 года скончался Людовик XIV.

Я ощущаю чувство, похожее и на уважение, и на стыд, когда под моим пером возникают имена тех, которые представляли здесь, на земле, все то, что только есть возвышенного в величии человека.

Моя оценка политических событий имела всегда тот недостаток, что походила на приговор их посредникам. И я хо-

чу, по крайней мере, сохранить сознание своего собственного достоинства и положения моих предков.

Кроме того, в исторических данных, которые должны были служить вступлением или заключением к драмам, описанным в этой книге, я буду строго придерживаться истины без всяких прибавлений оправданий, и главное, осуждений.

Впервые пятилетний ребенок взошел на престол Регентство, находившееся в Бозе, которое король желал вручить герцогу дю Мену, перешло в руки герцога Орлеанского.

Людовик XIV оставил Францию в состоянии унижения и разорения. Трудная задача предстояла тому, кому пришлось исправлять ошибки великого короля.

Одним из первых дел нового властелина было обнародование указа, относившегося к казенным откупщикам. 12 мая учредили судебную палату, чтобы выжать из богатого слоя людей золото, которым они обогатились. Комиссия из шести членов обнародовала богатство капиталистов последнего царствования, она напечатала двадцать списков с указанием суммы, достигавшей двухсот двадцати миллионов; и четыре тысячи четыреста семьдесят капиталистов того времени должны были дать отчет в происхождении их богатств.

Суд неумолимых был помещен в монастыре Великих Августинцев, соседняя комната которого превратилась в палату судебных пыток.

Наказание, к которому присуждали виновных, состояло в публичном признании в преступлении, выставлении у позорного столба, работах на галерах, даже смертной казни. И во всех случаях – с конфискацией имущества.

Результат этой длинной инструкции был обыкновенный – распри высших сановников. Добыча перешла в другие руки, но народ от этого не выиграл. Едва ли восемьдесят миллионов возвратились в казну короля, остальной частью завладели именно те, кому было поручено наказывать за лихоимство. Это было вечное обкрадывание воров такими же грабителями,

как и они сами, что, как говорят, чрезвычайно радовало и забавляло нечистого духа. Президент Фуке присвоил себе имущество некоего Бурвале, славившегося своим безмерным богатством; в числе прочих предметов роскоши, найденных у него, были два прекрасных массивных серебряных ведра для охлаждения воды в жаркое время года.

Суд неумолимых произносил строгие приговоры. Папарель, шурин маркиза де Ла Фар, бывший фаворит регента, был приговорен к смертной казни. Ферле Франсуа Обер, Жан Жак д'Авальи, Пьер Маренг, Гильом Гюро де Библли, Гуржен Антуан Кроже, Жан Пьер Шальон, Жан Реме Гено и множество других подверглись той же участи. Регент, который как достойный внук Людовика XIII любил показать себя защитником и поборником правосудия, оказался неумолимым и приказал, чтобы приговор был выполнен по всей строгости.

Но нужно полагать, что все совершенные экзекуции не представляли ничего примечательного, потому что в бумагах Шарля Сансона я не нашел ничего, чтобы относилось к ним, и так как я вовсе не желаю переполнять эту книгу описанием резни людей, то пусть мне позволят не распространяться о происшествиях, не представляющих ничего интересного.

К тому же я спешу приступить к описанию более значительного события той эпохи, в котором, по странной воле случая, принял участие и сын Сансона де Лонгеваля.

Неблагопристойные оргии в Пале Рояле, злословия памфлетов окончательно подорвали авторитет регента, и его враги определили это время благоприятным для захвата власти.

Весьма естественно, что во главе противников стоял король Испании Филипп I, ничего так не хотевший, как получения французской короны, приобретение которой сделало бы его властелином полусвета.

Честолюбие и ненависть подали друг другу руки.

Кардинал Альберони, министр короля Филиппа V, принц де Целламар, испанский посланник в Париже, герцогиня дю

Мень, которая не могла успокоиться, потеряв случай управлять Францией, – были главными лицами этого заговора.

Их план был коварный.

Они решили схватить Филиппа Орлеанского, заключить его в Таррагонскую цитадель и объявить регентом герцога дю Меня; уничтожить союз Франции с четырьмя государствами, удалить претендента в Англию, уступить Неаполь и Сицилию Империи, присоединить Нидерланды к Франции, отдать герцогство Тосканское второму сыну испанского короля, Сардинию – герцогу Савойскому, Комашио – папе, Мантую – венецианцам, признать право Филиппа V на трон его предка в случае смерти Людовика XV. Одним словом, образовать католическую империю, которая должна была иметь непреодолимый перевес над всей Европой.

Это несомненно была широкомасштабная мысль, и достойно удивления то, что гений ее изобретения ошибся в надежности средств и орудий, которые он употреблял для ее успешного осуществления.

Ни один из знатных дворян, которые поддерживали мстительную герцогиню, не имел в себе ни малейшего качества заговорщика. Союзники, которых набирали эти бессильные возмутители, были большей частью интриганы без отваги и силы, не владевшие талантом руководства заговорщиками.

Эти государственные мужи, толковавшие в будуаре госпожи герцогини дю Мень об изменении участи великой нации, сделали непростительную ошибку, доверив переписку бумаг, отправляемых в Испанию, писцу Королевской Библиотеки, некоему Дюва.

Одна записка, забытая в бумагах, отданных однажды для снятия с них копии бедному каллиграфу, пробудила в нем подозрение, и он, идя от принца де Целламар, отправился сообщить обо всем аббату Дюбуа – первому министру регента.

Дюбуа сделал этого человека своим шпионом и был посвящен ежедневно, ежечасно во все тайны переписки,

информацию о которой он не прерывал до той минуты, пока не узнал все подробности заговора. Затем, позабавившись некоторое время своей добычей, он прервал нити интриги, приказав арестовать заговорщиков. Регент, могущество которого увеличилось вследствие этого заговора, возбудившего общее негодование посланником, поступившего так гнусно правилами чести, мог без опасности показать себя милосердным. Ни одна казнь не обагрила кровью этот будуарный заговор, и я бы не упомянул о нем, если бы случай не дал Шарлю Сансону роль в одном из его малоизвестных обстоятельств.

Мало было во Франции властелинов, о которых писали бы так много, как о регенте. История и романы попеременно популяризировали эту странную и противоречивую личность. Одни писатели поставили Филиппа Орлеанского в ряду великих людей, другие предполагали, что посредственность его дарований не может быть оправданием совершенных им ошибок.

Регент был образованнее и умнее не только принцев, но и дворян своей эпохи; его склонность к химии играла немаловажную роль в постыдных толках, обвинявших его в смерти семейства Людовика XIV.

Одному итальянскому дворянину, вошедшему к нему в доверие обещанием научить его секрету как делать золото, удалось убедить регента, что он имеет власть вызывать черта, и, выбрав местом своих магических операций Ванвские возвышенности, он получил от принца обещание приехать туда в сопровождении господина маркиза де Мирепо.

Этот итальянец был агент одного силезского искателя приключений, посланный во Францию герцогиней Дезюрзен, которая покровительствовала ему, Это был Шлибен.

Шлибен обещал кардиналу Альберони схватить герцога Орлеанского; где не удалась сила, должна была победить хитрость.

Невероятное любопытство регента имело для него пагубные последствия, и предупреждение, спасшее его свободу и, быть может, жизнь, было сделано человеком из весьма низкого класса общества.

Вполне понятно, что после раскрытия Целламарского заговора, все выходцы из Испании вызывали подозрение не только правительства, но и самого народа.

Женщина лет тридцати, но еще необыкновенной красоты, занимала меблированную комнату на улице Понт-о-Шу.

То аббат, то офицер, то поселянин или просто прохожий стучались в ее дверь. Соседи, подозревавшие, что она торгует своим телом, не слишком удивлялись разнообразию ее посетителей; но одному из них, который был проницательнее прочих, это изобилие поклонников показалось подозрительным, и он узнавал в них одно и то же лицо, которое посещало незнакомку, переодевшись в различные одежды.

Он сообщил об этом полицмейстеру, который решил арестовать этого нового протея и его красавицу, но в один прекрасный вечер ужасная сцена привела в смятение весь дом, в котором жила иностранка.

В занимаемой ею комнате послышались крики, проклятия, и когда прибежали на шум, выломали двери, то нашли незнакомку, боровшуюся с человеком, одетым мушкетером, в котором сосед снова узнал того же самого посетителя, несмотря на густые усы, которые он приклеил, несмотря на то, что он изменил язык и голос. Казалось, причиной этой ссоры была ревность, потому что женщина угрожала тому, кто, по-видимому, был ее любовником, кинжалом, который держала в руке.

Послали за стражей, но мушкетер успел еще до ее прибытия скрыться, и потому арестовали только одну незнакомку; притом сделали большую ошибку, что не воспользовались ее состоянием, в котором она находилась, чтобы допросить ее

сразу, а лишь несколько дней после ареста занялись ею. Волнение ее прошло, она сделалась снова хладнокровной, и все показания были обманчивы и без всякого значения.

В наказание за поднятый скандал и ее наглое обращение с человеком, который, как она утверждала, был точно мушкетером, лейтенант полиции присудил ее к публичному наказанию кнутом.

Это наказание, которому в то время весьма часто подвергались девушки дурного поведения, выполнялось служителями исполнителя.

Вечером того же дня, когда было выполнено бичевание, Шарль Сансон с удивлением заметил на пальце одного из тех служителей, на которых было возложено его выполнение, кольцо с гербом, по-видимому, весьма ценное; притом он заметил, что тот покраснел, когда его взор остановился на этой драгоценности.

На его вопрос, каким образом оно досталось ему, слуга ответил не без некоторого замешательства, что, так как осужденная билась, то волосы ее распустились, и из них выпали это кольцо и небольшой алмаз, завернутый в лоскуток черной тафты, скрыть которые таким образом удалось несчастной женщине при обыске. Затем служитель прибавил, что в ту минуту, когда полицейские хотели увести осужденную, она сказала ему тихим голосом, что видела его поступок, но не донесет на него и даже подарит ему алмаз с условием, чтобы он отнес кольцо к купцу по имени Планта, которого найдет в отеле господина герцога де Ришелье. Последний, говорила она, щедро наградит его за этот поступок; наконец, она умоляла служителя передать ее просьбу, не забыть о ней, когда настанет время.

Невероятно, чтобы владелец этого кольца был купец, герб которого был украшен графской короной, жил у господина герцога Ришелье, который, как известно, неохотно знался с людьми ниже своего положения. Странность содержания по-

следней части ее поручения показалась Шарлю Сансону подозрительной.

Он сделал строгий выговор служителю и тотчас же отнес кольцо к полицмейстеру.

Женщину привели на очную ставку с исполнителем уголовных приговоров и пригрозили ей пыткой, если она не решится во всем сознаться.

Ее звали Антуанеттой Сикар, и она была любовницей господина де Шлибен, который привез ее из Байонны в Париж и посещал ее ежедневно. Она мельком слышала о дерзких планах, осуществление которых должно было принести богатство ее любовнику; он весьма часто приводил с собой одного итальянца, с которым был в весьма близких отношениях. Однажды за обедом в ее присутствии они подсмеивались над простотой одного лица, согласившегося приехать в Ванвское ущелье, чтобы посмотреть на черта, между тем как он мог легко и удобно видеть его, не выходя из своего дворца: ему для этого стоило только взглянуть в зеркало.

Эти показания были сообщены аббату Дюбуа.

Он знал намерение регента и напрасно умолял своего властелина отказаться от этого сумасбродства. Открытие, сделанное лейтенантом полиции, благодаря проницательности Шарля Сансона, подтверждало его подозрения; он хотел арестовать черта и его товарища, но они успели скрыться.

Итальянцу удалось пробраться в Испанию, а Де Шлибен был схвачен в ту минуту, когда хотел переехать через границу. Его привезли в Париж в дилижансе, не сказав ни слова о своем намерении путешественникам, ехавшим вместе с ними. Прибыв в Париж, возница получил приказ ехать в Бастилию, что привело в ужасное смятение и беспокойство всех находившихся в экипаже путников.

Кольцо Шлибена осталось у Шарля Сансона; в этом заключалась единственная награда за услугу, которую он оказал государству.

Глава IX
Маркиза де Парабер

Вечером 23 марта 1720 года Шарль Сансон прогуливался один по аллеям сада, когда слуга доложил ему, что какая-то дама настойчиво требует аудиенции. Удивленный таким визитом и в такое время, он приказал ввести даму в приемный зал и сам поспешил туда же.

Так как слуга собирался зажечь свечи, потому что уже стемнело, посетительница, лицо которой было закрыто длинной вуалью, обратилась к Шарлю Сансону и сказала ему взволнованным голосом.

– Милостивый государь, прикажите не зажигать свеч; мне нужно сказать вам только несколько слов; а глаза мои так слабы, что свет сильно вредит им.

Мой предок не поверил этому предлогу. Свежий и мягкий голос этой женщины доказывал, что она еще молода, и столь слабый свет не мог навредить ее глазам, которые к тому же были предохранены густой, опускавшейся на ее плечи вуалью. Он понял, что незнакомка желает скрыть черты своего лица не столько из скромности, сколько из приличия, и сделал слуге знак удалиться.

Оставшись с нею наедине, он сказал:

– Могу ли я узнать, сударыня, что доставило мне честь принимать вас в моем доме?

Незнакомка была в сильном волнении; грудь ее поднималась с такой силой и так высоко, что рыдания, казалось, душили ее.

Сквозь роскошные кружева своей вуали она устремила на Шарля Сансона робкий взор, выражавший одновременно страх и страдание, любопытство и ужас. Тафтяная кармелитская мантия, в которую она ежеминутно как-то судорожно закутывалась, не могла скрыть роскошного наряда и украшений знатной дамы того времени. Открытый вырез, украшен-

ный, как и рукава, множеством шелковых лент, обхватывал очаровательные ее плечи и шею; ее волосы, собранные небрежно, но с необыкновенным вкусом, были украшены цветами и драгоценностями, среди которых развевалось гордо приколотое перо. Ни мантия, ни покрывало не могли скрыть от проницательного взора Шарля Сансона этот шикарный наряд, свидетельствовавший одновременно о высоком положении, кокетстве и изысканном вкусе посетительницы.

Красота этой дамы, насколько мой предок мог разглядеть под вуалью, не уступала ее наряду: удивительной белизны лоб, удивительно красивые брови, большие, полные истомы и неги глаза, немного согнутый тонкий нос, несколько толстые, но очаровательные губы, образующие именно такой рот, который, по мнению Лафатера, служит признаком сладострастия; наконец, безукоризненный овал лица, в котором не знаешь, чему более удивляться: правильности ли черт или чистоте и свежести тона. Вот портрет, оставленный нам Шарлем Сансоном в описании его свидания с этой женщиной. Сейчас узнаем мы ее имя, которое в первой половине XVIII столетия приобрело громкую известность.

– Успокойтесь, сударыня, – сказал мой предок, тронутый глубокой печалью, которую, несмотря на все старания, она не могла скрыть. – Эта бедная обитель редко удостаивается посещения особ вашего круга, но зато эти особы всегда встречают в ней достойный прием и глубокое уважение. Я с удовольствием подожду, пока вы успокоитесь и будете в состоянии объяснить мне причину своего посещения, которая, как я подозреваю, должна быть из самых тягостных и печальных.

При этих словах незнакомка залилась слезами.

– О да, – воскликнула наконец она, – она ужасна, тягостна, мучительна! Поверите ли, что я не могла добиться ему помилования? Они поклялись погубить его, его – ребенка двадцати лет Они хотят передать его вам… вам!

И она устремила на моего предка пламенный и сверкающий взор.

– Слушайте, – продолжала она, – это сведет меня с ума. Я только что вырвалась из этого проклятого Пале-Рояля, этого логовища алчности и разврата. Я бежала оттуда, потому что бешенство переполнило мое сердце. Они все трое произвели на меня ужасное впечатление: ничтожный аббат-слуга, жалкий глупец шотландец и наконец этот бесстыдный принц, воображающий позолотить свою поддельную, воровскую монету, окрасив ее кровью этого несчастного ребенка. Они подлецы!

Боясь, чтобы это увлечение не зашло слишком далеко и желая наконец убедиться в том, о чем он начал подозревать, Шарль Сансон решился перебить незнакомку.

– Позвольте вам, милостивая государыня, заметить, что мне еще неизвестна сущность дела и особы, о которых вы изволите говорить.

– Как, ты их не знаешь? Боже мой! Я говорю о Дюбуа, Лоу и его высочестве регенте. Хотела бы я посмотреть, как ты их не знаешь! Это хитрецы, которые придадут тебе работы, любезный мой, если не успеют воспрепятствовать их намерениям.

Удивленный и почти оскорбленный этой внезапной фамильярностью, мой предок отвечал:

– Я – бедный офицер короля и служитель правосудия Парламента. Мое звание низкое, предрассудок заклеймил его позором. Поэтому я избегаю людей и не вмешиваюсь в дела знатных особ.

Незнакомка, казалось, не слушала.

– Да, – продолжала она, – тщетно умоляла я их, они не хотели меня выслушать. Аббат принял набожный и лицемерный вид, шотландец – важный, они толковали мне о выгодах государства, финансах, банкротстве, и мне показалось, что Филипп даже улыбнулся. Клянусь Господом Богом! Я ото-

мщу им всем троим, но ему – последнему. Горе тебе, Лоу! Берегись, Дюбуа! И потом очередь и за тобой Филипп!

Говоря эти слова, незнакомка в волнении стала ходить по комнате. Мантия и покрывало соскользнули, и изящная красота ее лица открылась во всем своем блеске.

– Ты видишь, – сказала она моему смущенному предку – я нарядилась в надежде соблазнить его понравиться ему, произвести хотя бы какое-то впечатление на этого расслабленного развратной жизнью принца. Все напрасно. Его чувства, как и сердце, мертвы. Я им говорила об этом несчастном ребенке, о его знатном происхождении, знаменитом родстве, невинности, потому что не он убил этого презренного жида, а они мне толковали только о своих ассигнациях, системе и народном кредите. Терпение мое лопнуло, я бросилась из Пале-Рояля и побежала сюда, потому что вся моя надежда теперь только на тебя. Один ты можешь спасти его, и ты сделаешь это, не правда ли?

– Сударыня, – отвечал печально Шарль Сансон, – не в моей власти ни спасать, ни губить. Я не государь, не министр, не судья; даже – не человек. Вы видите во мне только руку, меч, которым управляет воля других людей. Когда мне говорят «рази» – я должен повиноваться. Если приказывают лишить кого-нибудь жизни – я казню. Мои права совершенно противоположны правам регента, о котором вы только что говорили; он может помиловать именем короля: я же в состоянии избавить от мучений только ускорением смерти.

– Но ты можешь дать ему возможность бежать. Слушай: будут приняты меры к освобождению молодого человека во время переезда из тюрьмы на Гревскую площадь. Не препятствуй его бегству и тебя наградят по-королевски.

Мой предок сделал движение.

– Ты, может быть, не знаешь, о ком я говорю. О графе Антуане де Горне, бедном двадцатилетнем молодом человеке. Они обвиняют его, что он убил жида на улице Кенканпуа,

чтобы овладеть портфелем. Это неправда – ему нанес удар пьемонтец.

– Милостивая государыня, – прервал ее Шарль Сансон, – уже несколько минут тому назад я понял, что вы посетили меня именно по делу графа де Горна. Меня весьма опечалило известие об осуждении этого молодого дворянина, который более по своей молодости, чем по происхождению, должен был возбудить милосердие судей. Но повторяю, я могу сделать для господина де Горна не более чем для самого последнего из преступников, которых вручает мне правосудие Парламента. В моем печальном положении необходимо быть глухим, немым, слепым и бесчувственным: мы не можем существовать без этих четырех недостатков.

– Человек этот помешан, – воскликнула посетительница в припадке горячности. – Разве ты не понимаешь, что он – выходец из первых домов Европы; что его брат – влиятельный человек и наследственный командир войск Империи; что казнь его будет кровным оскорблением всему дворянству, дворянству Франции, в числе которого он имеет многочисленных родственников. Все желают спасти его. Ну, отвечай же! Скажи мне, что ты не помешаешь его бегству и не наложишь руки своей на подобную жертву.

– Сударыня, моя обязанность исполнять приговоры Парламента. Потому я не сделаю ни шагу для этого дела. Если родственники или друзья графа де Горна составили заговор для его освобождения во время переезда или на месте казни, они не найдут во мне ни препятствия, ни помощи. Я уже имел честь сказать вам, что я бесчувственен, а кто бесчувственен, тот мертв. Я подниму руку на этого несчастного молодого человека только тогда, когда исчезнет всякая надежда на помощь.

– О! Благодарю, – воскликнула молодая девушка, которую, казалось, утешили эти слова, – я знаю, что ты не будешь столь же бесчеловечен, как они. Ты исполнитель уголовных

приговоров, не правда ли? А они: регент Франции, министр, главный контролер – люди без души, и я должна была обратиться к тебе просить некоторого милосердия к жертве их жестокости, страстей и расчетов. Вот, возьми этот сверток, он содержит сто луидоров, и на другой день после бегства графа приходи ко мне. Даю тебе честное слово, что ты получишь все, чего бы ты ни потребовал.

Мой предок отрицательно покачал головой.

– Оставьте это золото у себя, – поспешил сказать он. – Когда я даже буду в состоянии разделять ваши надежды и рассчитывать на помощь для избавления господина графа де Горна от ожидающей его жестокой участи, то сочту долгом отказаться от всякого вознаграждения за мою нейтральность в этом деле. Приставам и жандармам следует стеречь осужденного; если они позволят бежать ему, то возблагодарим Господа Бога за это, потому что тогда мы оба избавимся от горести: вы – видеть кончину его, а я – нанести ему смертельный удар. Наконец, – прибавил он суровым тоном, – я получаю хорошее содержание от короля за службу ему, и повторяю еще раз, что не могу ничего более сделать.

Незнакомка казалась удивленной и смущенной, затем, переменив тотчас же тон, продолжала:

– Ах! Извините меня, отчаяние помрачило мой рассудок. Знаю, что предлагаю вам слишком незначительное вознаграждение за услугу, о которой я вас умоляю; но признательность как моя, так и знатнейших домов Франции будет безгранична. Возьмите это золото, а когда граф будет в безопасности, вы получите все, чего ни потребуете.

– Сожалею, что вы так худо поняли меня, – возразил Шарль Сансон. – Я уже имел честь сказать вам, сударыня, что отказываюсь от всякого вознаграждения и что, к несчастью, не могу ничего сделать для господина графа де Горна.

– Перестаньте! Не лицемерьте и не жеманьтесь, – сказала молодая женщина, возвращаясь к своей прежней необузданной

энергии отчаяния. – Я знаю, где нахожусь. Итак, хочешь ли ты знать мое имя. Я маркиза де Парабер и меня считают любовницей регента. Я не хочу, чтобы этот молодой человек погиб! Слышишь ли ты это!

Шарль Сансон поклонился.

– Маркиза, дни жизни графа де Горна, к несчастью, не находятся во власти вашего покорнейшего слуги, хотя провидение и избрало меня, недостойного, орудием пресечения жизни, обещавшей такое блестящее будущее. Буду сожалеть вечно, что должен буду невольно причинить вам это огорчение. Перестаньте, прошу вас, говорить о вознаграждении. Ни мое положение, ни характер не позволяют принять его, и я не хочу, чтобы мое поведение было омрачено хотя бы малейшим пятном такого рода.

Маркиза с удивлением посмотрела на моего предка.

– Говорят, что вы люди, запятнанные кровью, и что только жажда денег вооружает вашу руку и побуждает вас убивать себе подобных. Прощайте, сударь, я помню ваше слово и не забуду обещания; в торжественную минуту, когда будет оказана какая-либо помощь господину Горну, то вы не будете препятствовать правосудию Бога, оно, кажется, имеет более прав, чем правосудие короля… или скорее – господина регента.

– Увы, милостивая государыня! Я ежедневно умоляю Всевышнего, чтобы Он принял меня в царство свое. Я скоро завершу свой путь земной.

Маркиза хотела удалиться, но вдруг остановилась как бы пораженная предчувствием, и, приблизившись к Шарлю Сансону, сказала с невыразимым ужасом.

– Однако если я ошиблась в своих надеждах, если в числе знатных лиц, принимающих участие в спасении несчастного ребенка, в жилах которого течет их же кровь, не найдется ни одного достаточно ловкого человека, которому удалось бы подкупить его тюремщиков ценою золота, или довольно

храброго для освобождения несчастного осужденного с оружием в руках, если ненавистная полиция Дюбуа уничтожит все меры, принятые для его спасения, если бы, наконец, пришлось обагрить вам меч кровью этой невинной жертвы… обещайте мне шепнуть ему на ухо мое имя раньше, нежели он перейдет в вечность. Скажите ему, что я старалась, умоляла за него до последней минуты, что сделала все для его спасения и что никогда его не забуду.

Маркиза зарыдала.

Милостивая государыня, – отвечал мой предок, – ваши желания будут исполнены в точности, и если по воле Господней граф де Горн погибнет от этой руки, то она же передаст вам память о нем.

– О! Благодарю, благодарю вас! – воскликнула госпожа де Парабер вне себя, убегая из комнаты.

Через несколько минут раздался шум коляски, ехавшей по улице д'Анфер, и Шарль Сансон отправился снова в сад, где продолжал свою столь печально прерванную прогулку.

Глава X
Система Лоу

Граф Антуан Жозеф де Горн, о котором мы говорили, происходил из княжеского рода и был в родстве с самыми знатными лицами Европы. Потому весть, что он арестован и заключен в тюрьму за двойное обвинение – в грабеже и убийстве, привела к общему удивлению. Но прежде чем я приступлю к описанию подробностей этого необыкновенного происшествия, которое к тому же еще не вполне разъяснено до сих пор, мне хочется бросить взгляд на то время, когда оно случилось, потому что эта эпоха представляет одно из интереснейших явлений в нашей истории.

Ничто не ново под луною. Видя в наше время со всех сторон желание как можно скорее обогатиться, моралисты,

занявшиеся указанием пагубных последствий этих стремлений, казалось, смотрели на это, как на новый факт, и полагали, что лишь в нашем столетии начали поклоняться золотому руну. Они забыли о многих эпохах и, главное, о той, в которую случилось описанное мною происшествие.

Один иностранец, выходец из горной Шотландии по имени Лоу, ловко воспользовавшись затруднительным состоянием финансов, сумел приобрести расположение и доверие регента, и, благодаря этому могущественному покровительству, разработал теории, которым суждено было не исчезнуть, а, напротив, принести роскошные плоды впоследствии. Весьма справедливо один умный, проницательный, знаменитый писатель, столь же замечательный историк, как и оратор и государственный чиновник, считал Лоу основателем народного кредита. Компания Миссисипи, акции которой имели высокий курс и ходили как наличные деньги, хотя и представляла что-то нестройное и несовершенное, но в ней заключался зародыш Французского банка и кредитных билетов, которые в настоящее время служат деятелям всех торговых оборотов, сделок и обширных финансовых систем, которые впоследствии обогатили государство.

Необходимо прибавить, что она была первым из частных обществ, утвержденных правительством. Невольно возникает вопрос: что было результатом их влияния на производительные силы страны – вред или польза. Мы видели, что уже два раза, особенно в начале этого столетия, политические предубеждения начинали утихать и уступать место непреодолимому стремлению умов к спекулятивным предприятиям. Экономические начала, зародыш которых заключался в смелой выдумке Лоу, послужили основанием более совершенных форм, соответствующим нашему времени, и дали толчок ходу дел, разоблачив богатство общества.

Когда нравственность и здравый смысл уступают пагубным влияниям страсти к обогащению, то человек теряет все

свои достоинства и чувства приличия. Он попадает в первую западню, расставленную для преобладающей в нем страсти, и потому мы стали свидетелями беспорядков, которые уже невозможно исправить. Напрасно из самых разнообразных мест шли протесты против страсти к наживе.

Во всяком случае, повторяю, что вовсе не наша эпоха подала первый пример этого необузданного стремления к спекуляциям. Регентству в эпоху первых опытов системы Лоу нечего было завидовать. Акции королевского банка скупались обществом XVIII века, которое бросалось на все, обещавшее прибыль, с такой жадностью, какой мы не встречаем даже у наших современников. Отель на улице Кенканпуа буквально осаждали, как биржу в лучшие дни ее расцвета. Дворяне, граждане и простолюдины, духовные, судебные и военные лица, купцы, ремесленники и лакеи, знатные дамы, гражданки, актрисы и куртизанки толпились у входа в храм шотландского Плутона, ссорясь из-за акций, которые там выдавались. С этого времени начало встречаться то, что видели так часто и позже: разорившиеся господа шли пешком, а бывшие их лакеи ехали в экипажах. Всем известна история горбуна, обогатившегося только тем, что подставлял свою спину для писания этой нетерпеливой толпе. Разве этот полишинель барышничества не представляет предка корпорации маклеров?

В эту-то минуту общего сумасбродства молодой граф де Горн, отставной капитан австрийской службы, живший некоторое время в Париже, был обвинен в убийстве в сообществе с пьемонтцем, кавалером де Миль, и третьей особы, оставшейся неизвестной, жида, барышничавшего акциями королевского банка, чтобы овладеть его портфелем, содержавшим сумму в сто тысяч ливров.

Убийство было произведено в таверне улицы Кенканпуа, где граф де Горн и его сообщники назначили свидание еврею под предлогом, что хотят купить акции, которыми он торговал.

Чтобы ограбить его, по словам обвинения, граф де Горн первый нанес удар, после чего кавалер де Миль и третий соучастник довершили убийство и овладели его портфелем.

Это дело наделало много шума в Париже из-за высокого звания обвиняемого, – его родственным связям и отношениям с самыми знатными домами и лицами. Процесс вели с почти беспримерной поспешностью, и, казалось, все попытки спасти этого несчастного молодого человека способствовали ускорению его казни. Как видно из предыдущей главы, маркиза де Парабер тщетно старалась оказать влияние на регента, хотя до этих пор оно было довольно значительно.

Лишь только родственники графа де Горна узнали о его заключении в тюрьму, как начали со всех сторон собираться в столицу. Накануне дня, назначенного для вынесения приговора, пятьдесят семь человек отправились в Парламент и ожидали в коридоре членов уголовной палаты, разбиравшей преступления этого рода, чтобы приветствовать их во время шествия, что значило косвенным образом просить их о сострадании к обвиненному. Этот поступок не зависимо от числа особ, принявших в нем участие, был украшен известнейшими именами Франции, но, несмотря на это, не имели никакого успеха: уголовная палата вынесла приговор, присуждавший графа де Горна, кавалера де Миля и третьего обвиненного ослушника к раздроблению при жизни членов их тела и колесованию до смерти. Приговор этот повергнул родственников и друзей несчастного молодого чело века в ужас и уныние.

Тогда как маркиза де Парабер просила Шарля Сансона помочь графу де Горну они обратились к регенту с просьбой помиловать своего родственника.

Он остался неумолимым относительно помилования и с трудом согласился изменить род казни, то есть заменить колесование отсечением головы. Для этого нужно было ему напомнить, что он сам, первый принц Франции, связан через

свою мать, принцессу Палатину узами родства с обвиненным. Утомленный настойчивыми просьбами, регент дал это обещание, и мы увидим позже, как он его сдержал.

Все терялись в догадках о причинах этой непреклонности правителя; в ней видели личную ненависть принца к молодому графу. Тотчас же в городе распространились разные, нашедшие многих приверженцев, слухи. Молодой, прекрасный, стройный господин де Горн своими любовными подвигами возбуждал всеобщее любопытство. Как известно, двор Филиппа Орлеанского не отличался нравственностью, и не одна из многочисленных модных красавиц интересовалась молодым чужеземцем. В этих сплетнях дошли до того, что запятнали даже имя госпожи де Парабер. Рассказывали, что регент, застав однажды господина де Горна в слишком задушевной беседе с прекрасной маркизой, в порыве гнева указал ему угрожающим жестом на дверь и сказал только два слова: «Подите вон!» На что будто бы граф ответил не менее гордо и чрезвычайно кстати: «Ваше высочество, наши предки сказали бы: „Пойдемте вон!“»

В этом правдивом или вымышленном происшествии находили главную причину глубокой вражды, питаемой регентом к счастливому сопернику, которого он твердо решил погубить. Я не намерен входить в разбор правдоподобия этих толков, потому что, по моему мнению, даже визит к Шарлю Сансону и разговор с ним госпожи де Парабер служат достаточным подтверждением этой гипотезы. Сострадание, как и любовь, могли побудить ее обратиться к моему предку и подсказать ей слова, которыми, как мы видели, она умоляла его о содействии об освобождении несчастного графа.

То, что самыми ожесточенными врагами графа де Горна были Лоу, главный контролер финансов, и Дюбуа первый министр, имевший в то время огромное влияние на регента в том нечего сомневаться. Кредит акций королевского Банка и общества Миссисипи начал разоряться; они думали

восстановить его, жестоко наказав главных виновников этого похищения и убийства.

Как увидим из следующей главы, они не довольствовались смертью графа, а хотели, чтобы приговор уголовной палаты был выполнен во всей своей силе и убедили регента Франции открыто изменить слову, данному знатнейшим лицам государства.

Глава XI
Граф де Горн

Не только маркиза де Парабер посетила Шарля Сансона по делу графа де Горна. На третий день после ее визита его навестил маркиз де Креки, бывший руководитель и организатор всех попыток, предпринятых для спасения молодого человека. Он не говорил ему ничего о возможности бегства от того ли что не знал о действиях маркизы де Парабер, или потому что хотя они и были известны ему, но он не разделял их. Маркиз, казалось, нисколько не сомневался в слове регента и был твердо уверен, что граф будет только обезглавлен.

Маркиз де Креки показал Шарлю Сансону даже письмо от герцога Сен-Симон к герцогу д’Авре, подтверждающее то же самое из самых достоверных источников, потому что герцог Сен-Симон был одним из любимцев регента. Привожу письмо, найденное мной впоследствии в воспоминаниях маркиза де Креки, потому что оно служит подтверждением догадок моего предка.

Письмо герцога Сен-Симон к герцогу д’Авре.

«Любезный герцог, на пасху, по своему обыкновению, я отправляюсь в Ла-Ферте. Я не преминул уже представить герцогу Орлеанскому разницу, существующую как в Германии, так и Нидерландах, между впечатлениями, производимыми различными казнями, и то ужасное оскорбление, которое будет нанесено

столь знатному и замечательному своими связями дому. Кажется, невозможно надеяться на помилование и дарование ему жизни по причине происков этих двух человек, которые, как вам известно, столь сведущи в делах денежного промысла и столь ревностно защищают ростовщиков и промышленников деньгами, без чего, нет сомнения, их бумаги страшно бы упали в своей цене. Принявшись решительно за дело, я имел счастье получить согласие регента заменить постыдную казнь отсечением головы, которая ни в одной стране не считается позорной и потому не лишит знаменитый род де Горнов возможности пристроить своих дочерей и младших сыновей, если он имеет таковых. Герцог Орлеанский согласился со мной. Он дал мне слово изменить казнь и поэтому, я полагаю, что это дело решенное. Я даже имел осторожность, расставаясь, сказать ему, что тотчас же уезжаю и умоляю его не забыть данного слова, так как ему не дадут покоя двое приближенных, ревностных приверженцев колесования, которые могут представить ему в ином свете последствия этой жестокой казни. Принц обещал ни в коем случае не изменить своего решения. Я тем более доверяю его честному слову, что он сам высказал много доводов, о которых я и не подумал. Могу вас уверить, что он говорил со мной как нельзя лучше, в противном случае, я отложил бы свой отъезд. Вы знаете, любезный герцог, насколько я предан вам

Сен-Симон».

Как ни казались выражения этого письма точными, они все-таки оставили в Шарле Сансоне смутные и печальные предчувствия. Легко было заметить, что, несмотря на уверенность, с которой писал герцог Сен-Симон, он был озабочен, хотя и желал это скрыть.

Во всяком случае, маркиз де Креки был твердо уверен в слове регента. Он сказал моему предку, что по обещанию Его Королевского Высочества казнь будет произведена на тюремном дворе, чтобы избавить осужденного от стыда идти на

Гревскую площадь под взглядами толпы, жадной к подобного рода зрелищам. Следовательно, осталась только одна забота: сделать смерть этого несчастного молодого человека как можно менее мучительной. Господин де Креки хотел видеть орудие, которым будет произведена экзекуция. Он побледнел, когда мой предок показал ему огромный, обоюдоострый блестящий меч, которым отсекали головы осужденным.

Господин де Креки, с трудом удерживая просившиеся на глаза слезы, просил Шарля Сансона оказать в исполнении своей ужасной обязанности снисхождение, которое будет в его власти: обнажить лишь шею осужденного и нанести ему смертельный удар лишь тогда, когда он совершит свой последний долг и получит отпущение в грехах от священника, который в эту торжественную минуту будет сопутствовать несчастному. Затем разговор перешел к приготовлениям, необходимым для передачи тела казненного его родственникам. Он поручил моему предку приготовить глухой гроб для останков, которые затем должны быть перенесены в предназначенную карету. Шарль Сансон с грустью в сердце обещал позаботиться о всех этих печальных частностях возложенного на него поручения.

Удаляясь, господин де Креки хотел, подобно маркизе де Парабер, предложить моему предку вознаграждение за требуемые от него услуги и предложил ему также сверток в сто луидоров, настоятельно прося его принять их.

Шарль Сансон был непоколебим и решительно отказался от всякого вознаграждения.

– Господин маркиз, – сказал он, – такое щедрое вознаграждение мне уже предлагала особа, имя которой позвольте мне умолчать. Как и сейчас, я отказался от него, потому что это унизило бы долг человеколюбия, возложенный на меня Богом для смягчения ужасных обязанностей моей службы. Позвольте мне не изменять чувствам, составляющим единственное утешение моей совести. Я принимаю деньги только от короля, и вам известно, даром ли они мне достаются.

Едва прошло несколько часов после ухода маркиза де Креки, как Шарль Сансон получил приказ на следующий день в шесть часов утра взять графа Антуана де Горна из тюрьмы, отвезти на Гревскую площадь, ко входу палаты пыток, и привести в исполнение во всей силе и строгости приговор Парламента. Предчувствия моего предка оправдались: регент изменил своему слову; Лоу и Дюбуа восторжествовали над герцогом Сен-Симоном и всей знатью, столь горячо вступившейся за Антуана де Горна.

Это глубоко поразило моего предка. В приговоре не было даже указано на смягчение казни с приказанием исполнителю задушить преступника прежде, нежели приступить к перелому членов, что избавляло несчастного от жестоких страданий. Каким образом сдержать обещание, которое он дал маркизе де Парабер и господину де Креки?

Эта грустная ночь была проведена в доме моего предка так, как ее часто проводили впоследствии в нашем семействе. Бедная Марта Дюбю, поверенная в печали своего супруга, молилась, а Шарль Сансон ожидал с ужасным беспокойством рассвета рокового дня, когда он должен будет приступить к выполнению своих ужасных обязанностей.

Уже совершенно рассвело, и большая толпа народа собралась у ворот Парламентской тюрьмы, когда в своей роковой тележке туда прибыл мой предок. Он тотчас же вошел в низенький зал, где находились граф де Горн и кавалер де Миль, только что подвергнувшиеся мучениям пытки. Оба были ужасно изувечены. Граф был чрезвычайно бледен; он бросал дикие взгляды на всех окружающих и не переставал осыпать упреками пьемонтца, казавшегося гораздо хладнокровнее и с набожным вниманием слушавшего сорбонского доктора, который утешал его.

Вместо апатии, обыкновенно следующей за жестокими страданиями, Горн размахивал руками с лихорадочным воодушевлением; он даже произносил несвязные речи,

по-видимому, подтверждавшие расстройство его умственных способностей; грубо отталкивал сорбонского доктора, который успокаивал его и Миля молитвами и уговорами, и настоятельно требовал Франсуа де Лоррена, епископа из Байе, причащавшего его за день до казни. Этого прелата не было тогда в Париже, и потому невозможно было удовлетворить это желание.

Роковой час настал. Осужденных посадили на позорную телегу. Шарль Сансон сел возле графа. При виде чрезмерного волнения несчастного молодого человека, моему предку пришла в голову мысль успокоить его, подав луч надежды, хотя этот обманчивый луч имел бы только минутное заблуждение.

– Ваша светлость, – шепнул он ему на ухо, – надейтесь. Вы очень хорошо знаете, что за вас беспокоятся ваши родственники.

Граф Горн не дал ему закончить.

– Они оставили меня, – сказал свирепо несчастный.

– В особенности одна дама хлопочет за вас, и быть может, она не ограничивается одними просьбами. Она имеет возможность. Будьте уверены, что она не бездействует. Я видел ее в слезах, убитую отчаянием…

– Ее имя! Ее имя! – прервал его с увлечением граф и так громко, что, казалось, не боялся быть услышанным посторонними.

– Маркиза де Парабер, – отвечал тихим голосом Шарль Сансон.

Услышав это имя, молодой человек, казалось, немного успокоился. Его лицо приняло выражение живейшего интереса. Мой предок хотел воспользоваться этим.

– Кто знает, – прибавил он, – еще могут прислать приказ об отсрочке казни.

Губы молодого человека презрительно сжались.

– Если бы они хотели даровать мне жизнь, то не изувечили бы так, – возразил он с горечью, бросив взор на свои израненные ноги.

– Вас могут освободить нечаянно и внезапно. Я обещал маркизе не оказывать сопротивления этому.

В эту минуту Шарль Сансон походил на тех докторов, которые у изголовья больного обещают ему выздоровление, между тем как могут сосчитать минуты, оставшиеся ему прожить. Однако же в своих заметках он говорит, что вспомнил слова госпожи де Парабер, и сердце его забилось сильнее. Время от времени мой предок оглядывался, чтобы посмотреть, нет ли среди этой толпы нескольких друзей, которые подают осужденным условные знаки.

Увы! Он увидел только подозрительные лица сыщиков полицейского лейтенанта, число которых Дюбуа удвоил, не уменьшив количество тех, которых он тайно задействовал для выполнения своих темных замыслов.

Нечего было надеяться. Граф устремил на Шарля Сансона взор, который, казалось, хотел сказать: «Вот видите, что вам только хотелось обмануть меня».

– Ваша светлость, – пробормотал в смущении мой предок, – клянусь вам, что госпожа де Парабер подала мне надежду…

– Скажите маркизе, что я ее прощаю и что на колесе и на эшафоте сумею умереть дворянином.

Это внезапное спокойствие и решимость, чтобы вызвать которые достаточно было одного имени женщины, удивили Шарля Сансона, но, казалось, не облегчили выполнение остальной части жестоких обязанностей исполнителя.

Наконец прибыли на место казни. Осужденные не могли пошевельнуться; их нужно было снять с тележки и нести на руках.

Шарль Сансон взял графа де Горна, и, как новый Эней, но с ношей более тягостной, хотя и менее священной, всходил

по ступеням эшафота. Против воли, план освобождения, о котором ему говорила маркиза де Парабер, снова предстал перед ним, и ему казалось, что поднимая как трофей эту трепещущую жертву, лежавшую на его руках, он возбуждает отвагу и мужество медлящих заговорщиков и подает им знак приступить к исполнению задуманного мероприятия.

В то же самое время мой предок уговаривал графа, чтобы выиграть время, в течение которого могла быть предоставлена ему помощь. К несчастью рассудок Антуана де Горна, казалось, снова помутился и им овладел припадок помешательства, подобный тому, в каком он находился в низком зале Консьержери.

– Я знал, что епископ не прийдет, – повторил он. – Они его арестовали, потому что он также имел акции, но мы посмотрим. Я дорого продам свою жизнь, дайте мне только оружие… В этом мне отказать не могут…

Таким образом, несчастный молодой человек бредил. Шарль Сансон отступил несколько шагов назад, сделав помощникам знак, чтобы они приступили к делу, то есть прикрепили осужденного к брусьям, сложенным в виде креста Св. Андрея. Сорбонский доктор, отпустив пьемонтцу грехи, подошел к графу:

– Сын мой, – сказал он ему, – оставьте чувства гнева и мщения, волнующие вас в последние минуты вашего земного существования. Помышляйте только о Господе Боге. Он – верховный властелин всякого правосудия. Он примет вашу жестокую кончину, если вы предстанете пред ликом Его с покорностью и раскаянием. Я прочту за вас молитвы отходящих в жизнь вечную.

Эти слова тронули, наконец, молодого человека. Губы его шевелились и, казалось, что он читает вместе со священником молитвы.

Мой предок вспомнил о просьбах господина де Креки, и в этом отношении его совесть отчасти успокоилась, но ведь он

также обещал избавить его от страданий! А эта жестокая предстоящая казнь?

Шарль Сансон решился. Что значили кровавые обязанности его позорной должности, которые он выполнял против своей воли, в сравнении с честным словом, данным им этой бедной женщине и благородному дворянину, доверившимся его чести? Принц изменил своему слову, палач должен был сдержать его.

Под предлогом, что ему нездоровится, он передал шест, служивший для переламывания членов, Николаю Гро, самому старому и преданному из своих помощников; взял тонкую веревку, служившую для секретных экзекуций, ловко накинул петлю на шею графа и, в ту минуту, когда Гро поднял тяжелый шест, который должен был переломить сочленения этого несчастного, он сильно потянул и избавил его таким образом от ужаснейших страданий, которые только могла изобрести жестокость людей.

Кавалер де Миль и пьемонтец, которых начали казнить, испускали ужасные крики; мужество и решимость, казалось, оставили их. Напрасно бедный сорбонский доктор вытирал платком крупный пот, выступавший на их лбах.

Шарля Сансона смутила мысль, что он подвергал этих двух людей столь жестоким страданиям, между тем как избавил от них графа де Горна. Ведь все они были осуждены за одно преступление, и потому он решился положить конец этому.

– Довольно на сегодня, Гро, – сказал он своему помощнику, – нанеси-ка удар милосердия.

Так назывался удар шестом, переламывающий ребра.

Гро повиновался, бросив беспокойный взгляд на комиссара, присутствовавшего при казни на балконе ратуши. Комиссара, без сомнения, весьма мало занимали подобного рода зрелища, к которым, может быть, этот человек слишком

пригляделся, потому что он, казалось, не обращал ни на что внимания.

В эту минуту доктор, удивленный тем, что граф де Горн, проявлявший до того столь мало терпения, теперь не испускал криков, подобно соучастникам своего преступления, подошел к нему и увидел, что смерть предупредила его. Веревка еще висела на шее несчастного молодого человека, и предок мой воспользовался присутствием доктора, заслонявшего его со стороны ратуши, чтобы проворно снять ее, затем, приложив палец к губам, этим знаком просил достойного отца о молчании, на что последний ответил ему легким наклоном головы.

Они вдвоем провели весь день около этих печальных останков, которые не замедлили посетить многие известные и знатные лица. Через несколько минут после завершения казни на Гревской площади появилась карета, запряженная шестью лошадьми, впереди которой ехал берейтор, а позади – шесть лакеев в полной ливрее. Это был экипаж де Круа д'Авре, герб которого можно было явственно различить на дверцах кареты сквозь траурный креп, которым она была обтянута.

За ней появились еще три подобных экипажа, которые разместились на северной стороне площади. Все они были обтянуты трауром, также как и сбруя лошадей и ливреи лакеев; занавесы были плотно затянуты для того, чтобы скрыть от благородных посетителей ужасное зрелище, их ожидавшее. Народ, в числе которых находились знавшие герб и ливрею знатных домов, не замедлил узнать, что прибывшие были князь де Линь, герцог де Роган и Крюи – потомок знаменитого рода Арпадов, восходившего до Аттилы и претендовавший на Венгерский престол, утверждая, что он имеет на него более прав, чем Габсбургский дом.

Эти знаменитые имена, переходившие в толпе из уст в уста, дошли до моего предка, чрезвычайно удивившегося, что

среди них нет имени маркиза де Креки. Но вскоре у въезда на площадь произошло сильное волнение, затем одновременно появились две кареты, еще великолепнее и пышнее предыдущих.

Это был, наконец, маркиз де Креки. Он велел отпереть дверцы и вышел в полной генеральской форме королевской армии, со знаком отличия Туазон д'Ор, большими крестами Людовика и Святого Иоанна Иерусалимского на груди. Несмотря на глубокую печаль, он прошел твердым шагом и без затруднений через Гревскую площадь. Толпа с почтением давала дорогу этому знаменитому лицу, бывшему крестником Людовика XIV.

Казалось, что чиновник только и ждал прибытия маркиза де Креки; заметив его, он оставил балкон и удалился. Это означало, что приговор приведен в исполнение.

Маркиз с суровым видом направился прямо к моему предку. Он остановил на нем мрачный и почти угрожающий взор:

– А вы, милостивый государь, – сказал он грубым тоном, – что обещали вы?

– Ваше превосходительство, – отвечал Шарль Сансон, – сегодня утром в восемь часов граф де Горн уже не существовал, и мои люди истязали лишь его труп. Сорбонский доктор наклонился к уху господина де Креки и подтвердил слова моего предка.

– Благодарю вас, – сказал маркиз более нежным тоном, по-видимому, весьма успокоенный этими словами, – наш дом не забудет, что, не получив ни малейшего снисхождения ни от регента, ни от правосудия Парламента, он, по крайней мере, обязан кое-чем человеколюбию палача.

Затем занялись отвязыванием тела графа, чтобы перенести его в одну из карет маркиза. Этот жалкий труп был до такой степени изувечен, что члены его болтались и едва держались за прочую часть тела. Господин де Креки непременно

хотел в виде протеста против жестокости приговора держать одну ногу, которая была прикреплена к стану только несколькими лоскутками обагренной кровью кожи.

По совершении этого печального долга экипажи тронулись и потянулись в погребальном кортеже к отелю графини Монморанси-Лоньи, урожденной де Горн, где смертные останки были положены в гроб и поставлены в домашней церкви. Там они стояли двое суток. Многочисленное духовенство читало погребальные молитвы у трупа несчастного графа.

Это происшествие сильно возмутило знатнейших лиц в государстве против регента и его любимцев; оно не принесло никакой пользы Лоу и его системе, падение которой было неизбежно. Герцог де Сен-Симон по возвращении из Ла-Ферте поспешил написать герцогу д'Авре, чтобы оправдаться и показать, как он сам был обманут обещанием регента. Я привожу это письмо по причине, что оно выражает чувства и мысли французского дворянства по этому печальному случаю и подтверждает все вышеприведенное мною относительно Шарля Сансона.

«Любезный герцог!

Вполне понимаю и глубоко благодарю Вас за высказанное к нашему горю участие. Не знаю, правда ли, что маркиза де Парабер побудила парижского палача к милосердному поступку, ему приписываемому, но твердо убежден в том, что смерть графа де Горна есть следствие ложной политики, страсти к обогащению, беспутства, а, может быть, также и ревности герцога Орлеанского. Вам известно, насколько я уважаю Вас,

Круа д'Авре».

Точно ли граф де Горн был невинен в возведенном на него преступлении? Не наше дело судить память тех, кого мы по своей грустной обязанности лишали жизни. Однако я считал необходимым упомянуть в предыдущей главе о толках, хо-

дивших по городу с минуты его ареста и представлявших его жертвой личной вражды к нему регента. Прибавлю, что в столице так же распространялись и другие слухи, которые почти оправдывали или, по крайней мере, значительно облегчали его участие и вину в деле убитого еврея: если эти слухи справедливы, то произнесенный над ним приговор был верхом самой жестокой несправедливости. Говорили, что граф де Горн и кавалер де Миль вовсе не назначали жиду этого свидания с умышленным намерением убить и ограбить его, а только для того, чтобы получить от него обратно значительную сумму в акциях банка, данных взаймы ему молодым графом; и что еврей не только отказывался от полученных денег, но, забывшись, ударил по лицу Антуана де Горна.

Только тогда молодой человек, наследовавший от своих предков вспыльчивый и раздражительный характер, потеряв власть над собой, схватил со стола нож и нанес еврею рану в плечо. Окончательно убил еврея Миль, завладевший бумажником; граф не соглашался ни под каким видом принять участие в разделе содержавшихся в нем денег.

Нужно согласиться, что если эти рассказы были справедливы, то регенту и судебным лицам, служившим орудиями его ненависти, пришлось дать тяжелый ответ Господу Богу, судящему судей в безвинно пролитой ими крови… Шарль Сансон в день, проведенный им около этих трупов, отрезал локон русых волос с молодой головы, так преждевременно похищенной смертью. Он положил его в мешочек, послал его маркизе де Парабер со следующей подписью: «На память по обещанию».

Глава XII
Картуш, известный парижский мошенник. Процесс его и казнь

15 октября 1721 года Париж находился в лихорадочном напряжении, как на другой день после победы. Улицы, сады, лавки, таверны, гостиницы были заполнены парижанами; столица кипела подобно муравейнику; все, встречаясь друг с другом, повторяли одну и ту же фразу, находившую еще много неверующих:

– Картуш схвачен!

Большая новость в Париже. Я упоминал прежде о Картуше, известном мошеннике, которого искали повсюду и нигде не могли найти. Думали, что это все выдумка. Но он существует. Сегодня в 11 часов утра он был арестован. Никогда ни один вор не удостаивался такой чести, какая была оказана ему.

Толки, которые возбуждал он, заставили регента опасаться его, и потому были отданы секретные приказания непременно схватить его; но, согласно с политикой двора, распустили слух в Париже, что его уже нет в живых, что он умер в Орлеане и даже рассказывали, что никакого Картуша нигде и не было, что все это одни сказки, и этим замаскировывали желание поймать его.

На его след навела кража, совершенная им ночью у шинкаря, при соучастии трех женщин, (из них две были арестованы), а также показание одного солдата, сообщника, выдавшего его. Солдат заслуживал смерть на колесе, а между тем был совершенно спокоен. Пеком, майор гвардейской стражи, человек ловкий, зная, что они знакомы, приказал взять солдата и отвести в шателе для предания суду, если он не укажет место, где скрывается Картуш. Солдат согласился стать шпионом. Господин ле Блан, секретарь военного министра, вмешавшийся в это дело, взял с собой сорок отборных и

отважнейших солдат и сержантов. Им отдали приказ взять Картуша живым или мертвым, то есть стрелять в него, если он вздумает бежать.

Картуш в эту ночь лег спать около шести часов утра в одной таверне на улице Куртиль. На столе, стоявшем подле него, лежали шесть пистолетов. Дом окружили. Его схватили в постели. К счастью, обошлось без боя.

Крепко связав, его повезли в карете к господину ле Блан, который не видел его, потому что, чувствовал себя нездоровым и не мог встать с постели. Затем был отдан приказ отвести его в шателе пешком для того, чтобы народ узнал о его аресте.

Говорят, что Картуш был рассержен, скрежетал зубами и повторял, что хотя его и скрутили, но продержат недолго. Народ считает этого мошенника отчасти колдуном, но что касается меня, то я думаю, что конец его колдовства будет обыкновенный – на колесе.

Таким образом, при многочисленном стечении народа его привели в Гран-шателе, посадили в темницу, привязав ничком к бревну, для того чтобы он не мог разбить себе голову о стены тюрьмы, и у двери поставили четырех караульных.

Никогда не предпринимали таких предосторожностей против одного человека. Завтра должен был начаться допрос.

Говорят, что солдат, о котором мы уже упоминали, был убит этим разбойником. Это был шпион, присоединившийся к нему, чтобы вместе заниматься грабежом, но проницательный Картуш, заподозривший его, повел своего ложного товарища за Картизианский монастырь под предлогом какого-то мероприятия и там убил за неверность и для внушения страха другим.

Удивительно то, что Картуш, находясь в своей комнате, имея при себе шесть заряженных многоствольных пистолетов, так легко дался в руки арестовавших его солдат.

Говорят, что он очень хорошо отвечает на предлагаемые ему вопросы и вовсе не называется Картушем: его настоящее

имя – Жан Бургиньон, родом из Бар-ле-Дюка. Вероятно, со временем откроется еще больше подробностей.

Шум, произведенный арестом знаменитого мошенника, доказывает, до какой степени Картуш внушил народу страх, разбойничая в столице в продолжение десяти лет. Страх этот равнялся только его смелости.

Я нисколько не разделяю мнения автора «Новейших знаменитых процессов», полагающего, что значительные, а иногда и необыкновенные свойства всех бандитов, расплодившихся в Париже, отразились в этой загадочной личности, и что народ, падкий до всего необыкновенного даже в отношении злодеяний, стал приписывать Картушу все злодеяния и подвиги известных преступников того времени.

Я докажу это рядом казней, описанию которых будет посвящена следующая глава. Никогда еще не произносилось столько приговоров за грабеж и разбой с оружием в руках, как с 1715 по 1725 год. Можно было подумать, что половина населения Парижа занималась только обкрадыванием остальной части жителей.

Эта жажда грабежа и преступлений была весьма естественна.

Регентство было эпохой общественных преобразований.

Народ, подавленный строгим самодержавием Людовика XIV, начинал освобождаться от тяготевшего над ним гнета, и в своем протесте против аскетизма последних лет царствования великого короля стремился только к удовлетворению своих материальных нужд.

Эта страсть к обогащению, жажда удовольствий, прилив и отлив богатства наводняли Париж множеством обманутых честолюбцев, разорившихся игроков, ненасытных развратников, готовых искать в преступлении тех наслаждений, которых они не могли найти в правильной жизни. Роскошь обогатившихся лакеев достигла неслыханных размеров.

Потому-то разбой, как отдельных личностей, так и организованный, мог вступить в открытую борьбу с обществом,

сопротивляться мерам, предпринимаемым для его искоренения и совершать безнаказанно в продолжение нескольких лет самые жестокие и неслыханные преступления.

Картуш остался идеалом грабителей XVIII столетия. В лице этого злодея есть что-то похожее на разбойника средних веков и вместе с тем на мошенника нашего времени. Подобно первому, он часто прибегает к насилию, но хитрость и обман – его любимые орудия: он в них доходит до совершенства, Он имел предчувствие всех усовершенствований, сделанных его последователями в искусстве посягать на чужое имущество, и его можно смело назвать родоначальником грабителей нашего времени.

Как бы то ни было, но биография Картуша не может войти в состав этого сочинения. Картуш становится важен для меня лишь с той минуты, когда закон передаст его в руки моего предка.

Поэтому я ограничусь лишь несколькими словами о рождении и жизни Картуша и главных его сообщников и приведу несколько историй, находящихся в моих заметках.

Все, что повествуется о детстве Картуша, принадлежит к области легенды, и я даже не стану опровергать этого. Будучи по очереди то бродягой, то вербовщиком, то, наконец, солдатом, он, как мне кажется, возвратился в Париж около 1715 года. Его биография говорит о том, что он был уволен со службы по случаю мира, но мне кажется гораздо естественнее, что он был дезертиром.

Мне кажется более достоверным предание, приписывающее ему могущество предводителя и представляющее нам этого Цезаря больших дорог во главе легиона, в котором он учредил воинскую иерархию, единоначалие, и имевшего своих приверженцев во всех классах общества, укрывателей на углу любой из улиц и даже своих медиков.

При полиции бессильной и ничтожной шайка Картуша так всполошила и устрашила общество, оставаясь долгое

время безнаказанной, что без сомнения послужила бы причиной многих народных бедствий.

Число грабителей было столь значительно, ночные нападения столь часты, что вечером на улицу выходили только под охраной; вдоль набережных и через мосты ходили только партиями по нескольку человек вместе. Злоумышленники действовали так единодушно и по столь хорошо составленному плану, что все их намерения венчались полным успехом. Ничем другим невозможно объяснить многочисленность и разнообразие их преступлений.

Весьма естественно, что сила и смелость Картуша, его удивительная находчивость, ловкость акробата, энергия, с которой он переносил все лишения и усталость, и, главное, его изобретательный ум делали его достойным звания предводителя всех этих шаек, составленных из огромного числа деятелей всякого рода.

Несколько приключений, в которых были замешаны лица, принадлежавшие к аристократии, были перетолкованы и добавлены салонным злословием, что еще более увеличивало известность Картуша. Удачные планы нескольких оригинальных проказов довершали его популярность.

Приключение с архиепископом Буржским на несколько дней предоставило пищу словоохотливым распространителям новостей.

Его высокопреосвященство кардинал де Жевр, архиепископ Буржский, отправился путешествовать и только успел миновать Сен-Дени, как был остановлен и ограблен шайкой Картуша. У него отняли пастырский крест, первосвященническое кольцо, десять луидоров, которые он имел при себе, паштет из дичи и две бутылки токайского вина, выигранные им у господина де Бретеля, – плохая добыча от такой знатной особы.

На эту тему сатирическое направление того времени сочинило свою скандальную хронику.

Рассказывали, что мошенники приняли молодого аббата Черутти, одаренного прекрасной наружностью, ехавшего в одной карете с прелатом, за девицу в рясе; и Картуш, заметив, как обидело это предположение его преосвященство, остановил своего подчиненного, сказав: «Как ты смеешь забываться перед представителями нашего духовенства! Вот сумасшедший! Он смеет обижать Буржского кардинала? Разве ты не знаешь, что он не хотел взять своей доли с полей, побитых градом!»

Маркиза де Боффремон сделалась также героиней одной из таких побасенок.

Говорили, что она раздавала пропускные билеты ночным разбойникам и удивлялась доверию, которым они пользовались у Картуша. Причину этого приписывали следующему обстоятельству.

Однажды возвратившись часа в два ночи домой, она отпустила горничных и села писать к столу, стоявшему около топившегося камина. Вдруг в трубе раздался глухой шум, и вскоре оттуда, среди облака сажи, груды ласточкиных гнезд и мусора, спустился вооруженный с ног до головы человек.

Так как при быстром падении ночного посетителя головешки и угли разлетелись из камина на середину комнаты, то он взял щипцы и, не обращая внимания на впечатление, какое должно было произвести подобное появление, положил, не торопясь, все головешки обратно в камин, отодвинул ногой угли, чтобы не раздавить их, и затем обратился к маркизе де Боффремон.

– Осмелюсь ли спросить, сударыня, – сказал он ей, – с кем имею честь говорить?

– Милостивый государь, – пробормотала маркиза, дрожа от страха, – я госпожа де Боффремон, но не зная вас, не могу понять, что побудило явиться ко мне таким путем и в такое время.

– Сударыня, – отвечал незнакомец, – извините меня, я не знал, в какое жилище попаду. Поэтому, чтобы сократить путь, который, без сомнения, кажется вам не совсем приличным, позвольте мне попросить вас проводить меня до дверей вашего отеля.

В то же самое время он вынул из-за пояса пистолет и взял со стола свечку.

– Но, милостивый государь…

– Сударыня, будьте так добры, поспешите немного! – прибавил он, взводя курок пистолета. – Мы спустимся вместе, и вы прикажете меня выпустить.

– Говорите тише, ради Бога, говорите тише, – прошептала маркиза, – маркиз может вас услышать.

– Накиньте мантилью, сударыня, не ходите в одном пеньюаре – сегодня страшный холод.

Все было исполнено по желанию отважного гостя. Госпожу де Боффремон до такой степени потрясло случившееся, что она была вынуждена присесть на несколько минут в комнате швейцара, когда незваный гость переступил порог. Тогда она услышала снова стук привратника в дверь, выходившую на улицу, и голос господина с пистолетом.

– Господин швейцар, – говорил он, – сегодня ночью я прошел около двух лье по крышам, чтобы скрыться от преследовавших меня сыщиков. Не вздумайте сказать вашему господину, что это было любовное похождение и что я любовник госпожи де Боффремон; вы будете тогда иметь дело с Картушем; впрочем, я дам о себе знать послезавтра по городской почте.

Госпожа де Боффремон, возвратившись к себе, разбудила мужа, но тот уверял, что ничего этого быть не могло, что все это кошмар, что все это она видела во сне. Дня два или три спустя она получила извинительное и благодарственное письмо, которое было написано в весьма почтительных и любезных выражениях и содержало охранную грамоту для

маркизы де Боффремон и письменное позволение пользоваться ею всем членам ее семейства. К письму был приложен маленький ящик с прекрасным неоправленным бриллиантом, который мадам Ламперер оценила в две тысячи экю. Эту сумму госпожа де Боффремон вручила государственному казначею Франции, пожертвовав ее в пользу больницы Всех Скорбящих.

Шутка, которую Картуш сыграл с начальником дозорной стражи, похитив среди белого дня его серебряную посуду, гораздо достовернее уже потому, что она не достигла той степени известности, как анекдот о госпоже де Боффремон.

Этот чиновник обыкновенно обедал в зале, находившемся на нижнем этаже отеля, выходившего окнами во двор.

Однажды около полудня, когда он садился за стол, ворота с шумом отворились, и во двор въехала превосходная карета, на запятках которой стояли два огромных лакея в красной, обшитой галунами, ливрее.

Старик важного и сурового вида вышел из экипажа, и, выдавая себя за знатного англичанина, попросил свидания с начальником дозорной стражи.

Его ввели в столовую. Увидев накрытый для обеда стол, знатный иностранец стал рассыпаться в извинениях, отказался от приглашения присесть, и, объявив на ломаном языке, не допускавшем никакого сомнения насчет его национальности, что желает сказать господину начальнику дозорной стражи только несколько слов, удалился с ним в угол комнаты, встав таким образом, что его собеседник должен был непременно стоять спиной к окнам.

Он рассказал ему, как в анонимном письме его известили, что следующей ночью бандиты нападут на отель, в котором он живет, попросил у него караульных и обещал сто гиней полицейским солдатам, если им удастся схватить знаменитого Картуша, затем он простился с хозяином дома, который, восхищенный новым знакомством, обещавшим ему весьма

много хорошего, проводил его до кареты и, в продолжение нескольких минут, стоя на пороге отеля, следил за быстро удалявшимся экипажем.

Он был выведен из своей задумчивости громкими криками лакея, который, возвратившись в столовую, заметил, что со стола была унесена вся серебряная посуда.

Картуш, потому что это был он сам, сыграл свою роль так искусно, что господин начальник дозорной стражи стал защищать своего посетителя от обвинений прислуги и утверждал, что его гость даже вовсе не подходил к столу.

Но несколько солдат, проходя через двор, видели людей знатного иностранца, небрежно прислонившихся к отворенному окошку; стол стоял на небольшом расстоянии от окна, и потому весьма вероятно, что в то время как мнимый англичанин своим рассказом занимал все внимание господина начальника дозорной стражи, огромные лакеи, ростом и ловкостью которых тот не успел даже полюбоваться, протянули руки и унесли драгоценности со стола.

Несколько минут спустя подозрения превратились в уверенность, потому что вошел комиссионер и передал господину начальнику дозорной стражи дюжину оловянных ложек и вилок превосходной отделки взамен потерянной им столовой посуды.

Самую разительную черту всех похождений Картуша составляет та остроумная выдумка, которой они почти все неизменно заканчиваются. Он не довольствуется тем, что грабит свои жертвы, он насмехается над ними самым оскорбительным образом. В этом-то и заключается вся тайна его знаменитости; Картуш понял, что ему простят весьма многое, если он будет забавлять тех, которым внушал страх.

Шарль Сансон увидел в первый раз Картуша 27 октября 1721 года. Он находился еще в шателе, а уже у ворот этой тюрьмы теснились многочисленные толпы народа. Все хотели иметь право сказать: «Я видел его». Пропуск в его темницу

требовали с такой же настойчивостью, как добиваются величайшей милости. Более всех желали посмотреть на него женщины. Любовница регента, госпожа де Парабер, несмотря на горькие воспоминания, которые это обстоятельство должно было пробудить в ней, хотела одна из первых посмотреть на черты человека, которому приписывали столько же удач, сколько преступлений. Она явилась в шателе, переодевшись, в сопровождении господ де Носе и де Тренеля.

Шарль Сансон должен был быть потерпеливее, но легкомыслие, характеризующее эту эпоху, по-видимому, распространилось и на исполнителя верховных приговоров: он не мог устоять против настойчивых просьб своих друзей провести их к Картушу и не подумал о том, как нехорошо показываться на глаза тому, для кого его присутствие составляет самую жестокую из всех угроз.

Это был человек, казавшийся вследствие своей худобы, высокого роста, тогда как рост его не был выше среднего. Его лоб был необыкновенно развит; он имел редкие и курчавые волосы, тупой сплющенный нос, как у бульдога, большой рот, маленькие, не без коварства, глаза. Лицо его было безобразно и морщинисто. И нам казалось странным, что из такого урода сделали похитителя женских сердец. Мы не могли удержаться, чтобы не передать друг другу свое удивление. Он казался веселым и здоровым, и на вопрос одного из нас, точно ли он Картуш, пожал плечами и затянул песенку на наречии мошенников.

Впрочем, Картуш узнал своего ужасного посетителя.

Шарль Сансон рассказывает, что Картуш побледнел, дрожь пробежала по его губам; но это волнение продолжалось не более минуты; он тотчас же опомнился и, делая намек на ожидавшую его казнь, указав на трость, которую держал в руках исполнитель, спросил, не взял ли он ее с собой для того, чтобы снять с него мерку.

Из-за попытки бежать, которая чуть-чуть не увенчалась успехом, Картуша перевели в Консьержери.

Вот как Барбье рассказывает об этой попытке, которая говорит об отваге и энергии заключенного.

В ночь с понедельника на вторник Картуш хотел бежать из тюрьмы. Он был заключен в одну темницу с другим преступником, который, по воле случая, был каменщиком, и не был закован. Они просверлили дыру в водосточную трубу и безо всякой опасности опустились туда. Затем, вынув большой камень, они пробрались в погреб продавца плодов. Каменщик нашел в груде обломков, лежавших в трубе, железный лом. Из погреба они пробрались в лавку продавца плодов, которая была заперта только небольшой задвижкой; но они почти что ничего не могли видеть: к несчастью (так выразился господин Барбье) в лавке находилась собака, поднявшая страшный лай. Служанка, услышав шум, вскочила с постели, подбежала к окну и изо всей силы начала кричать: «Воры!» Хозяин лавки начал спускаться со свечкой вниз, – это еще более упростило им побег. Но другое несчастье: четверо полицейских солдат кутили за бутылкой водки. Они прибежали на крик, вошли в лавку и, узнав Картуша, отвели его назад в тюрьму.

«В ту же ночь Картуша перевели в Консьержери секретно и без большого конвоя. Он сидит в башне Монгомери, его хорошо кормят, но и хорошо стерегут».

Процесс Картуша продолжался весьма недолго. 26 ноября уголовный суд приговорил Луи-Доминика Картуша к смертной казни на колесе, после ординарной и экстраординарной пытки.

Тот же приговор присуждал еще двух сообщников Картуша: Жана-Баптиста-Маделень, по прозвищу Балье, и Жана-Баптиста Месье, прозванного фламандцем, к смертной казни на виселице.

На другой день, 27 ноября, Картуш подвергся пытке. Грыжа, которую нашли у него хирурги, избавила его от пытки на дыбе; он перенес пытку испанскими сапогами с необыкновенной твердостью и мужеством до восьмого клина.

Положив на матрац, его перенесли в часовню Консьержери, где священник церкви Св. Варфоломея, попросивший позволения сопровождать его на эшафот старался тронуть эту зачерствелую в пороках и преступлениях душу.

Между тем как эта грустная сцена происходила в палате пыток, плотник уголовного суда получил приказ соорудить на Гревской площади пять колес и две виселицы.

Слух о казни Картуша и его сообщников распространился по городу. Гревская площадь и соседние с нею улицы были заполнены толпами народа; окна отдавались внаем за высокую плату. Пять колесованных и двое повешенных – полный праздник!

Желали ли судьи удовлетворить это гнусное любопытство, или, напротив, хотели дать новую пищу для него, или же Баланьи, Бланшар и Мер, которых решили казнить вместе с Картушем, – просто были слишком утомлены пыткой, чтобы тотчас же перейти на эшафот, – мне это неизвестно. Только около двух часов, после обеда, пришел приказ снять четыре колеса и одну виселицу.

В четвертом часу Шарль Сансон прибыл со своими служителями в тюрьму; комиссар уголовного суда, прочитав приговор, передал осужденного в руки того, на кого была возложена обязанность привести этот приговор в исполнение.

Картуш был очень бледен; но ни перенесенные страдания, ни приближение смерти, которая уже подошла к нему в лице исполнителя, казалось, не производили никакого впечатления на его зачерствелую душу.

Безрассудное любопытство народа имело горькие последствия; этот энтузиазм парижан взволновал Картуша. Он решился взойти на эшафот, как на пьедестал; подобно гладиаторам древнего Рима, отойти в вечность при шумных рукоплесканиях зрителей; его последний вздох должен был быть вздохом удовлетворенной гордости и самолюбия.

Когда его привязали к телеге, ожидавшей его у тюремных ворот, Шарль Сансон подал знак, и мрачный кортеж, окруженный сильным конвоем из полицейских и дозорных, тронулся с места.

В продолжение поездки Картуш, распростертый на дне тележки, опершись спиной в скамью, на которой сидел палач, проявлял сильное волнение и беспокойство.

Он несколько раз пытался обернуться, чтобы взглянуть вперед, но все безуспешно.

Наконец потеряв терпение, он спросил Шарля Сансона, едут ли другие тележки впереди их?

Когда тот ответил, что кроме той, в которой они сидят, других нет, его волнение усилилось.

Когда миновав набережную де Ла Таннери, тележка повернула на Гревскую площадь, он сделал сверхъестественное усилие, приподнялся на локти и взглянул на эшафот.

Когда Картуш увидел только одно колесо, он побледнел, как мертвец, крупные капли пота выступили на его лбу, он повторил несколько раз: «Изменники, изменники!»

Увидев, что в кровавой трагедии, в которой взял на себя первую роль, он будет единственным действующим лицом, этот человек, твердый и решительный до этой минуты, почувствовал, что силы его слабеют. Малейшее изменение в программе действий этого невольного актера – мужество его исчезло и уступило место страху смерти.

Какое чувство вызвало в нем эту внезапно родившуюся слабость? Уступил ли Картуш чувству ненависти к тем, которые, как он предполагал, купили себе помилование тем, что

он называл словом «измена»? Поддался ли он тому гнусному чувству, которое делало его участь менее жестокой, когда она постигала всех тех, кто делил с ним радости и преступления или просто появилось в нем желание пожить еще хотя бы один день, один час, одну только минуту – чувство, овладевающее всеми осужденными в то мгновение, когда вид орудий в ожидании их казни истребляет в них неопределенную, смутную надежду которую они питают до последней минуты.

Никто не в состоянии изведать этих тайн человеческой души. Когда приблизился к Картушу актуарий, то преступник объявил, что желает дать показания, и был отведен в ратушу, где заседали парламентские судьи.

Эшафот стоял всю ночь, и народ, собравшийся со всех концов города, чтобы присутствовать при последних минутах жизни Картуша, остался до самого утра на площади.

Все окна домов, окружавшие место казни, светились как в большой праздник. Ночь была чрезвычайно холодная; на площади разожгли костры, так что все это походило на иллюминацию. Торговцы со всякого рода съестными припасами ходили взад и вперед, пробиваясь сквозь толпы народа; толпа ела, пила и пела вокруг снарядов казни, мрачный силуэт которых рисовался черной тенью на ярко освещенном фоне. Наверное, никто бы не подумал, что причиной всего этого веселья – казнь человека.

Показания Картуша были маловажны. Он говорил о невинности своего отца, матери, братьев и любовниц, сознался в преступлениях, в которых Франсуа Грутус Дюмателе, продавший и выдавший его, был также замешан и, наконец, указал некоторых укрывателей воров и их добычи.

Но эта ночь имела огромное влияние на состояние его души. Чувство ужаса, принудившее его просить некоторой отсрочки казни, побудило в нем раскаяние, какое можно было только ожидать от Картуша: он молил Господа Бога о прощении за все проступки, внимательно слушал наставление своего

исповедника и согласился повторять за ним молитвы отходящих, которые священник читал за него.

На другой день, когда в час после обеда его во второй раз передали в руки исполнителя приговоров, это был уже совершенно другой человек: он сохранил спокойствие духа, и не было прежнего цинизма; твердость его не уменьшилась, но она утратила оттенок чванства и хвастовства, и слезы блестели на глазах, которые, казалось, были созданы для того, чтобы никогда не прослезиться. Однако его жалкие инстинкты еще только один раз пробудились в нем и одержали верх над благоразумием.

Когда его растянули на андреевском кресте и раздался глухой и невнятный гул железной булавы, которая, рассекая воздух, обрушилась на кости преступника, Картуш воскликнул громким голосом, как игрок, считающий свои взятки:

– Раз!!!

Но это был последний возглас. Раскаяние, пробудившееся в нем, тотчас же взяло снова верх над всяким другим чувством, и он не переставал уже молить о милосердии Всевышнего.

Приговоры, присуждавшие к колесованию, как мы уже говорили, были смягчаемы секретным пунктом, называвшимся удушением. Как ни многочисленны были преступления Картуша, но все-таки его приговор смягчили удушением; его избавляли от страданий второй части его двойной казни – переломов членов и колесования; но вследствие ли рассеянности, смятения или беспорядка при столь необыкновенной экзекуции, только актуарий забыл предупредить об удушении исполнителя уголовных приговоров.

Несмотря на свой слабый и хилый вид, Картуш был так живуч, что при казни ему нужно было нанести одиннадцать ударов; и хотя это не упоминается в письменном донесении о казни Картуша, но я могу сказать уверенно, что он еще прожил двадцать минут после прикрепления к колесу.

Глава XIII
Сообщники Картуша

Если бы Картуш, глубоко огорченный тем, что сообщники его преступлений не разделяют его участи, мог предвидеть будущее, то убедился бы, что они ничего не выиграли, и подобно ему, не избежали вполне заслуженного наказания. И точно, на четвертый день после казни предводителя шайки, то есть 2 декабря, Бalаньи, прозванный Капуцином, и несколько других сообщников Картуша закончили свою жизнь на том же позорном и варварском колесе, которое в то время служило необходимой развязкой всех антисоциальных стремлений. Преступники решились во всем сознаться, и при виде эшафота дали показания, которые у них не могли вырвать мучениями пытки.

Они запутали в это дело стольких людей, что началось новое следствие, продолжавшееся довольно долго. Показания преступников, выдававших один другого, выявили многочисленность этой шайки злоумышленников, столь долгое время насмехавшейся над всеми усилиями полиции того времени. Уже во время казни Картуша и Баланьи в темницах Парижа было заключено более семидесяти человек, арестованных за сообщничество с ними. Это число возрастало с каждым днем вследствие беспрерывных показаний этих жалких негодяев, думавших таким путем избавиться от смерти. В июне следующего года оно перешло уже за цифру полтораста. В марте казнили Луи Маркана, в июне – Рози, прозванного Лгуном, и вся эта кровь, вместо того чтобы потопить, искоренить злодеяния, напротив, подобно адскому дождю, казалось, оживляла злоумышленников и подстрекала их к новым преступлениям. Ежедневно делались новые открытия, и это доказывало, как глубоко было заблуждение тех, которые оспаривали власть Картуша как главного двигателя этой

ужасной шайки, которой он пользовался, растягивая эту огромную сеть злодеяний над парижским обществом.

Рози показал больше, чем все его предшественники. В ночь, которую он был приведен в последний раз на допрос, арестовали восемьдесят человек и всех их заключили в тюрьму парламента. Господин Арно де Буйе, советник-докладчик, провел, не вставая с места, тридцать два часа, допрашивая преступников одного за другим.

Этот чиновник показал в течение всего времени неизменное усердие и твердость. Некоторые даже обвиняли его в излишней суровости и непреклонности. Если это точно справедливо, то не трудно найти весьма законное оправдание в его пользу. Господин Арно де Буйе был сын заслуженного помощника уголовного судьи Ангулемского уездного суда, который приехал несколько лет тому назад в Париж для защиты в одном процессе и, выиграв его, на обратном пути в провинцию был убит. Подобные воспоминания преследуют всю жизнь того, кто считает себя обязанным отомстить за такое преступление; поэтому нечего удивляться необыкновенной ненависти, которую господин Арно де Буйе питал ко всем убийцам.

Самым главным из показаний Рози было обвинение в сговоре со злоумышленниками двух полицейских приставов Ларе и Бурлона, подозрительная и даже роскошная жизнь которых не соответствовала их скромному жалованью и должна была бы уже давно возбудить подозрение и обратить на себя внимание полиции. Рози энергично говорил о их потворстве шайке и особенно обвинял их в гибели бедняка – поэта по имени Вержье, убитого год тому назад на улице Бу-дю-Монд.

Враги регента, в которых, как мы видели, не было недостатка, старались запутать и его в это гнусное преступление. Они говорили, что тут произошла ошибка; что убийцы, подкупленные этим принцем, приняли Вержье за Лагранж-

Шанселя, автора Филиппик, сатирических од, которые чрезвычайно раздражали регента. Эта ужасная клевета поразила регента и, быть может, была отчасти причиной его милосердия к автору этих стихов; потому что вместо того чтобы дать ему сгнить в темнице Бастилии, как госпожа Помпадур поступила с Латюдом, он ограничился тем, что послал его в ссылку на острова Святой Маргариты, откуда поэту удалось бежать и пробраться в Голландию.

Арест Ларе и Бурлона наделал немало шума в Париже. Уже не в первый раз уличали полицию в потворстве и помощи злоумышленникам; но этих двух людей так горячо защищали, что их дело приняло необыкновенные размеры. Господин д'Аржансон, лейтенант полиции, заступился за своих подчиненных; господин де Врильер, государственный секретарь, у которого прежде служил Бурлон, присоединился к нему; оба хотели оправдать обвиненных. На следующий вечер после ареста явился господин де Марепа с тайным повелением короля перевести преступников из парламентской тюрьмы в Бастилию. Тюремщик, считавший себя обязанным повиноваться только Парламенту, отказался их выдать. Господин де Марепа явился вторично с другим тайным повелением короля, предписывавшим арестовать самого тюремщика, если он будет упорствовать в выдаче преступников. Об этом донесли первому президенту, который, в свою очередь, посоветовался с господином Амело, президентом уголовного суда, и оба эти чиновника решились передать Бурлона и Ларе в руки людей господина де Марепа, заключивших их тотчас же в Бастилию.

На другой день Парламент, чрезвычайно дороживший своими правами, почувствовал себя задетым и стал обвинять своих начальников в слабости и излишней снисходительности. После открытия заседания Парламент направил в Пале-Рояль депутатом генерального прокурора, но регент отказался принять его. В полдень президент Амело снова явился во

дворец в сопровождении двух советников. На этот раз они были приняты. Во время аудиенции они весьма почтительно изложили Его Королевскому Высочеству, что просят его назначить комиссаром для завершения розыска шайки Картуша, потому что они, пожалуй, освободят всех преступников, заключенных в настоящее время в темницах Парижа. Принц желал избежать скандала, который был бы непременным последствием этой меры, и уступил. Поэтому Бурлон и Ларе были снова заключены в тюрьму Парламента.

Приятно встречать, особенно в эпоху деспотизма и самодержавия, подобные примеры твердости и независимости, так часто проявлявшиеся во французской магистратуре. Во всяком случае я могу предполагать, что Бурлон и Ларе, благодаря этим беспорядкам, избежали наказания, потому что я не нашел их имен в списке Шарля Сансона.

Между тем эшафот и виселица не оставались свободными в продолжение 1722 года, и казалось, что никогда не окончится дело о шайке Картуша, существование которой автор «Новейших известных преступлений», из любви к парадоксам, считает химерическим.

После мужчин дошла очередь и до женщин. Картуш, разумеется, не отличался строгой нравственностью. Его сопровождала во всех странствованиях целая группа одалисок, которые служили ему не только для развлечения и забавы, но вместе с тем были полезными и деятельными помощницами, не щадившими себя, которые благодаря своему полу устраняли всякое подозрение и играли важную роль во всех его смелых замыслах. Получив свою долю из добычи, они должны были также принять участие и в развязке.

В июле 1722 года в течение нескольких дней были повешены одна за другой две любовницы знаменитого бандита: девица Нерон и большая Жаннетон. Последняя из них во всем созналась и рассказала на допросе про множество грабежей, вследствие чего было арестовано еще шестьдесят че-

ловек, преимущественно из числа тех падших женщин, которые подстрекают несчастных девушек к разврату.

Вследствие этих беспрестанных доносов, наконец, все укрыватели мошенников и их добыча перешли во власть правосудия. С удивлением встречаешь среди них имена многих известных золотых дел мастеров, которых до того времени считали честными и зажиточными ремесленниками. Осыпали похвалами современную полицию, и в особенности Видока и его не столь заметных, в сравнении с ним, преемников за изобретение шпионства или выведывания, которое состоит в приобретении доверия к преступнику, чтобы заставить его случайно проболтаться. Жалкая выдумка, и мне кажется, что наша эпоха этим не может гордиться. Во все времена к подобным уловкам прибегали только низшие чины полиции. Видок обладал особенной ловкостью для своего времени, потому что в виду своей прошлой жизни был способнее всякого другого к тесному знакомству со злоумышленниками. Но эта система должна была пасть вместе с Видоком, и если смотреть на Видока как на исполина, то нужно согласиться, что его преемники кажутся в сравнении с ним жалкими пигмеями.

Наконец известно, что полиции необходимы были доносчики, и подобные люди всегда существовали. Предатели ведут свой род от начала христианской веры; родоначальник их – Иуда.

Спешу прибавить, что все показания соучастников Картуша резко отличаются от доносов нашего времени. Теперь язык заключенного развязывается, и он открывает тайны своих товарищей в надежде на лучшее обращение с ним в тюрьме, в надежде получить денежное вознаграждение и избегнуть наказания. В прошлом же столетии его побуждали к тому совсем другие причины. Сообщники Картуша спокойно ожидали приговора; они не сказали ни слова в продолжение всего ведения этого бесконечного дела, тянувшегося около двух лет; многие из них перенесли стойко пытку, отказываясь

от всякого показания, но у подножия эшафота или виселицы все принимало другой вид. Бодрость исчезала, твердость оставляла их, и все или почти все осужденные останавливались в ратуше, прежде чем решались идти на казнь. Какая же причина руководила людьми, утратившими всякую надежду на спасение, участь которых не могла быть облегчена? Какая причина, говорю я, побуждала их прервать молчание, которое они хранили, несмотря на все мучения пытки, и сознаться не только в своих преступлениях, но и назвать своих соучастников? Причину легко отгадать. Почти все были настроены друг против друга: осужденные взаимно обвиняли один другого в своей смерти и в последние минуты своей жизни желали еще насладиться удовольствием мщения. Среди подобных мыслей религиозное чувство проявлялось живее, чем в обыкновенное время, озаряло их лучом раскаяния и заставляло высказать их истину.

Мы видели, что даже сам Картуш не избежал этого и дал показания, которые продолжили список новых имен. Однако же он старался оправдать своих братьев, утверждая, что они не принимали участия ни в одном из его преступлений, потому что, по его словам, он скорее бы изувечил их, чем согласился бы сделать сообщниками какого-либо преступления. Эта приверженность не принесла никакой пользы. Его младший брат, имевший не более пятнадцати или шестнадцати лет от роду, был приговорен к пожизненной каторжной работе и повешен под мышки на два часа на виселице на Гревской площади.

Едва этот ребенок был прикреплен подобным образом к виселице, как начал кричать, умоляя лучше лишить его жизни, чем подвергать подобным страданиям. Он говорил, что вся кровь приливает к подошвам его ног, на которых действительно стали показываться фиолетовые пятна. Шарль Сансон и его помощники с беспокойством глядели друг на друга, потому что несмотря на многочисленные казни того времени,

они еще не видели подобной. Но так как этот маленький Картуш считался чрезвычайно злым и уже преждевременно склонным ко всякого рода преступлениям, то они несколько минут думали, что он преувеличивает свои страдания. Однако же видя, что лицо его наливается кровью, язык высунулся изо рта и слова замирали на его устах, они поспешили снять его, хотя еще не истек предписанный двухчасовой срок. Его перенесли в ратушу, где он вскоре скончался, не прийдя в чувство.

Это происшествие наделало много шума, и с той минуты начали роптать на господина Арно де Буйе, которого считали виновником смерти молодого Картуша. Среди волнений и шума, вызванных его трагической кончиной, народ даже не заметил казни Тантона, дяди жертвы, которого повесили в тот же день.

Инстинкт самосохранения, который, вполне естественно, проявляется у некоторых людей в виду неизбежной смерти, побуждал этих несчастных стараться хотя бы несколько часов продолжить свое земное существование.

Итак, я закончил описание этой шайки, существование которой осмеливались оспаривать. В заключение перечислю несколько казней, совершенных в то же время. Первым подвергся казни Пелиссье, прозванный Буало, смелый мошенник, который, переодеваясь то медиком, то жандармом, отваживался на преступления, не уступавшие попыткам Картуша. Поживившись богатой добычей, позволявшей ему отойти от дела, он поселился в Лионе, где стал жить на широкую ногу; в это время он был вдруг арестован и привезен обратно в Париж. Процесс быстро закончился, хотя преступник ни в чем не сознавался и утверждал, что не имеет ни товарищей, ни соучастников.

Пелиссье был повешен в пятницу 17 июля 1722 года, отказавшись от утешений религии и предаваясь до последних минут своей жизни безграничной ярости. Мне кажется, он

положил свое беззаконно нажитое богатство в Венецианский банк и имел намерение бежать из Франции, но, завлеченный в любовную интригу, отложил давно задуманное намерение, и был арестован.

Это была одна из последних экзекуций Шарля Сансона. Хотя он был еще и не стар, но здоровье его все более истощалось; им овладела какая-то изнурительная болезнь, и все заботы Марты Дюбю не могли остановить ее развития. Мой предок почти умирал, когда 24 мая 1726 года он должен был встать с постели, чтобы присутствовать при казни, употреблявшейся весьма редко в то время, а именно, при сожжении на костре.

Дело касалось Этьенна Веньямина де Шоффур, лотарингского дворянина, обвиненного в противоестественном разврате, который он распространял среди других. В доме этого Шоффура нашли список более чем двухсот лиц, собиравшихся у него, чтобы предаваться самому постыдному разврату. Циничный регент, быть может, посмеялся бы только, и в уважение к памяти отца, которого подозревали в подобных же поступках, замял бы это дело, как и хотел уже сделать; но министры молодого короля оказались более строги. Не будучи в состоянии наказать столь значительное число лиц, решились, по крайней мере, наказать строго Шоффура.

Чтобы найти наказание, соответствующее такому необыкновенному преступлению, обратились к постановлениям Людовика, в которых говорится, что нужно присуждать к сожжению уличенных в подобных проступках. На костре сжигали еретиков; а то преступление, о котором мы говорим, составляло чистую ересь по сравнению с законами природы. Вот почему де Шоффур, человек ничтожный и развратный, погиб смертью Жанны д'Арк.

Он перенес ее с мужеством, какого нельзя было ожидать от этого расслабленного и истощенного противоестественными привычками человека. Правда, ему была оказана ми-

лость «удушения», и его задушили, прежде чем предали пламени. В следующую ночь загорелась коллегия иезуитов, и шутники говорили, что это прах Шоффура поджег ее.

Шарль Сансон недолго жил после этой казни. Он умер 12 сентября 1726 года, сорока пяти лет от роду. Вдова похоронила его богато и пышно в церкви Святого Лаврентия в присутствии всего духовенства этого прихода.

Толпа бедных людей провожала моего предка до его последней обители; Сансон де Лонгеваль, первый в нашем роду, старался деяниями милосердия и благотворительности искупать жестокие обязанности своего положения, и его примеру последовала большая часть моих предков, унаследовавших его имя и позорное звание уголовных исполнителей.

Шарль Сансон оставил троих детей: одну дочь, Анну-Рене Сансон, родившуюся в 1710 году, вышедшую замуж за Зелля из Суансона, и двух сыновей, Шарля-Жана-Баптиста и Николая-Шарля Габриэля Сансона; первый из них родился в апреле 1718, а последний – в мае 1721 года. Малолетний возраст этих двух наследников палача представлял прекрасный случай Марте Дюбю избавить их от этого кровавого наследия. Но она рассуждала иначе и делала все возможное, чтобы, несмотря на свою молодость, Шарль-Жан-Баптист был официально посвящен в печальное звание своего отца. Строгий образ этой женщины, портрет которой занимает место в нашей семейной галерее, доказывает, что она обладала необыкновенным характером и имела особые понятия об обязанностях матери. Она считала своим долгом оставить своим сыновьям неприкосновенным наследие отца вместе с жестокими обязанностями его службы.

Благодаря покровительству лейтенанта уголовного суда и генерал-прокурора, к которому она обратилась, едва ему минуло семь лет, как он был посвящен в звание исполнителя верховного правосудия.

Во время малолетства его обязанности были поручены Жоржу Гариссону, бывшему впоследствии исполнителем в Мелене.

Они-то и водили этого несчастного ребенка на Гревскую площадь присутствовать при казнях, чтобы своим присутствием придать им законный вид. Однако он не достиг того возраста, чтобы, подобно своему отцу и деду, быть в состоянии записывать впечатления, которые производили на него кровавые обязанности. Поэтому в наших записках оказался существенный пробел, заставляющий меня почти ничего не сказать о многих казнях, и в особенности о казни Ниве и его сообщников, последовавшей 31 мая 1729 года. Она занимала одно из главных мест воспоминаний о детстве Жана-Баптиста Сансона, и все что я могу сказать о ней, дошло до меня по устным рассказам.

Ниве походил на Картуша своею славой, но превосходил его в жестокости, потому что его обвиняли в несравненно большем числе убийств. Он около года содержался в тюрьме Парламента, где с ним довольно хорошо обращались, так как он выдал всех соучастников своих преступлений. Среди прочих, он указал на Баремона, сына харчевника на улице Дофин, и семидесятилетнего старца Провансе, которого нашли в Сетте. Последний уже десять лет жил честным образом, хотя до того вел самую буйную, самую необузданную жизнь, и уже на двадцатом году был уличен в преступлении и клеймен каленым железом.

В минуту казни этот старец показал необыкновенное мужество и твердость. Между тем как Ниве и Баремон, привязанные к кресту Св. Андрея, уже предавались горю, рыдали и под предлогом новых показаний были сняты с креста, то он спокойно ожидал смерти, объявив, что не желает ни в чем сознаваться. И точно, когда ему раздробили все члены, он не испустил ни одного вздоха, ни одного крика. Будучи удивительно крепкого сложения, обагренный кровью и изувечен-

ный, он жил еще два часа на колесе, прежде чем испустил последнее дыхание.

Пробел, оставленный Жаном-Баптистом Сансоном в летописях нашего семейства, лишает меня также возможности описать подробности казни Пулалье, которым заканчивается список знаменитых преступников первой половины XVIII столетия.

Мне только известно, что насколько Ниве превосходил Картуша в жестокости, настолько же Пулалье, если верить рассказам, превосходил всех своих предшественников в смелости и свирепости. Число его жертв доходит до ста пятидесяти; поневоле не поверишь в эти рассказы.

Тем не менее, жестокость казни, к которой был приговорен он, заставляет полагать, что он внушал страшный ужас своим судьям. Он перенес жесточайшие пытки, ему раздробили все члены тела и заживо бросили в пламя костра.

Но оставим хотя бы на мгновение все эти картины злодейства и бездушия; перед нами человек, казнь которого была еще ужаснее, несмотря на то, что его оправдывал фанатизм и стремление принести пользу своим преступлением. Мне необходимо собраться с силами, чтобы описать эту неслыханную казнь, жестокость и бесчеловечность которой уже составляют резкий контраст с духом того времени, в которое ока свершилась.

ТОМ III

Глава I
Франсуа Дамьен

Когда жертвой политического убийства становится особа государя, то с этим преступлением часто связывается вопрос о спокойствии всего государств, о существовании целого народа. Это преступление до такой степени не мирится с духом и нравами нашего народа, что общество, судящее преступника, беспощадно карает его. Суд в этом случае ни под каким видом не соглашается смотреть на это преступление только как на безумную выходку фанатика или помешанного.

А между тем в огромном большинстве случаев мысль о цареубийстве рождается только при болезненном воображении, при экзальтации, близкой к умопомрачению. Редко у цареубийц бывают сообщники. Не так давно, во время одного процесса, возбудившего общее и справедливое негодование, один генерал-прокурор, ставший впоследствии министром Людовика-Филиппа, довольно двусмысленно сказал, что у подобного рода преступников бывают только нравственные сообщники.

В эпоху смут, потрясающих общество до самого основания, в эпоху лихорадочных движений, предшествующих революции и следующих за нею, все умы волнуются; в это время встречаются сумасшедшие, помешательство которых доходит до исступления. Эти сумасшедшие – цареубийцы.

Были у Равальяка какие-нибудь соучастники или все определили упомянутые нами обстоятельства? Говорили об этом, но не доказали. Несмотря на уверения д'Ескомана, кажется весьма вероятным, что ужасные мучения, которым подвергали убийцу Генриха IV, а главное негодование народа, столь красноречиво доказывавшее его чувства, побудили Равальяка в последние минуты его жизни указать вооружившую его руку.

Если после этого процесса и осталось какое-либо сомнение, то я твердо уверен, что в деле, к описанию которого я намерен приступить, не было других виновных, кроме того несчастного, который своею смертью на колесе искупил совершенное им преступление. 4 июля 1756 года была совершена кража у одного С.-Петербургского негоцианта по имени Жан Мишель, жившего на улице Бурдоне, у лоскутника Депре.

В его отсутствие взломали шкаф и забрали все из чемодана, в котором негоциант хранил деньги, всего было похищено двести сорок луидоров.

В то же время Жан Мишель заметил, что исчез его слуга, которого он лишь несколько дней тому назад взял в услужение. Не сомневаясь ни одной минут, что этим самым слугой и была совершена кража, он донес обо всем случившемся полиции, которая немедленно приступила к поискам. Слугу звали Роберт-Франсуа Дамьен.

Рассматривая протоколы допроса цареубийцы, невольно приходишь к убеждению, что это воровство, которым дебютировал Дамьен, повлияло на покушение, доставившее ему столь грустную известность.

Дамьен родился 9 января 1715 года в селении Тьелуа, в пяти лье от Арраса. Отец его, бывший прежде фермером, должен был впоследствии идти в работники. На девятом году умерла мать Дамьена, на пятнадцатом он поступил в услужение к одному соседнему мызнику.

Роберт-Франсуа Дамьен уже с самого детства обнаруживал свои дурные наклонности: был он мрачный и угрюмый, вспыльчивый и необузданный. Малейшее сопротивление его капризам вызывало в нем припадки безумного гнева; из-за своей склонности к лени и праздности он не мог долго оставаться у одного хозяина; но я не имею намерения следить за всеми подробностями его скитальческой жизни.

Он был попеременно то земледельцем, то слесарем, то прислуживал в кабаке, то становился маркитантом, поваренком и,

наконец, нанялся в лакеи в коллегию Людовика Великого. Занимая уже это место, он женился в феврале 1739 года на кухарке, Елизавете Молерьенн, служившей у графини де Крюссоль.

Он имел от нее двух детей: сына, который умер шести лет от роду, и дочь, которая во время совершения ее отцом преступления занималась раскрашиванием картин у одного торговца эстампами на улице Сент-Жак.

Брак не изменил Дамьена: отцовство не имело никакого влияния на его дурные наклонности. Переходя беспрестанно с места на место в продолжение семнадцати лет после брака, он, наконец, как я уже упомянул выше, обокрал своего последнего господина.

Боясь, чтобы его не схватили, Дамьен удалился в Пикардию.

Судебное следствие определило шаг за шагом весь путь, по которому шел Дамьен, и все, что он делал в продолжение пяти месяцев со времени бегства из Парижа и до самого возвращения туда. Получив относительно значительную сумму денег, Дамьен прежде всего позволил себе маленькую роскошь в жизни, что, должно быть, уже давно было предметом его пламенных желаний. Он оставил Париж и в почтовой карете отправился в Сент-Омер. Один из его братьев, бывший чесальщиком шерсти, имел в этом городе свою мастерскую; сестра его, вдова Калле, также жила в этом городе; отец его служил в Арке привратником одного аббатства; Дамьен отправился повидаться с ними и подарил им немного денег.

При крайней бедности это семейство было удивительно честно. Через несколько дней по приезде Дамьена в Сент-Омер Людовик, младший брат Дамьена, также занимавший в Париже место лакея, уведомил в письме свою сестру о воровстве, которое совершил Роберт-Франсуа. Это известие повергло несчастных родственников Дамьена в отчаяние: они умоляли его возвратить украденные деньги; но благородство

чувств не могло тронуть низкую и испорченную душу Дамьена; он вывел только одно заключение из всех увещеваний своих родственников, а именно, что правосудие, несомненно, напало на его след и что благоразумие требует удалиться из Сент-Омера, если он не только хочет сохранить украденные деньги, но и желает избегнуть заслуженного наказания.

Он бежал в Сен-Венан, оттуда в Ипр, потом в Инотланд и, наконец, в Поперинг. Здесь уже в нем начали обнаруживаться первые признаки помешательства, которое должно было довести его до посягательства на цареубийство. Преследования, от которых он должен был скрываться, лихорадочное беспокойство, бывшее их необходимым последствием, возбуждая его сангвинический темперамент, потрясли его умственные способности. Будучи раздражительного и необузданного нрава, как я уже говорил выше, он приходил в отчаяние при виде невозможности пользоваться безмятежно плодами своего преступления, и, быть может, это скрытое ожесточение и родило в его уме мысль как можно сильнее отомстить обществу, преследующему и карающему преступников. Общее неудовольствие было распространено.

В эту эпоху в массах народа начало проявляться неопределенное стремление к независимости и свободе.

Налоги, делавшиеся с каждым днем обременительнее, гнусное шпионство, тайны которого открыл нам Мальзерб, – все это привело народ в отчаяние, а король Людовик XV возбуждал общее неудовольствие и довершал дело разрыва с народом, начало которому положило постыдное правление регента. Величие монарха утратило столько обаяния, что со времени указа, предписывавшего хватать всех бродяг и праздношатающихся и отсылать их в Канаду, распространились по городу слухи, что король приказывает похищать детей, чтобы брать ванны из крови, и такого рода обвинение нашло стольких приверженцев, что произошло восстание народа, продолжавшееся три дня в столице.

Везде раздавался ропот: в замках и в хижинах, в салонах и на площадях. Весьма вероятно, что разговоры, слышанные Дамьеном в кабаках, где он проводил целые дни в пьянстве, курении табака и игре, внушили ему мысль о преступлении, которое он совершил впоследствии.

В Поперинге, в харчевне Иакова Мосселена, он познакомился с бедным чулочником Николаем Плайу и поселился с ним в одной комнате, которую этот ремесленник снимал у одной лавочницы.

Николай Плайу показал при допросе, что Дамьен ему казался немного помешанным. Они спали на одной кровати, и в продолжение пятнадцати дней, которые они прожили вместе, он заметил, что его товарищ проводит большую часть ночей в бессоннице, что в продолжение дня он постоянно расстроен и беспокоен и малейший шум заставляет его вздрагивать.

Он рассказал при этом несколько случаев, которые неопровержимо доказывали помрачение рассудка Дамьена.

Так Дамьен обвинил своего хозяина в чародействе за то, что нашел под его кроватью свечу, проколотую в семи местах; свечка эта случайно переломилась в руках Дамьена, и он уверял, что ему было предсказано, что он будет вечно несчастлив, если нечаянно сломает свечку.

Чтобы убедить Дамьена в своей невиновности, Плайу должен был вместе с ним отправиться в лавку, где была куплена свечка. Дамьен успокоился только тогда, когда продавец свечей подтвердил, что сам проколол в нескольких местах эту свечку, чтобы сделать на ней необходимые для него заметки.

Дамьен часто говаривал: «Я возвращусь во Францию; умру там, но вместе со мною умрет величайший человек на земле»; и при этих словах, как говорят очевидцы, он обыкновенно становился в угрожающую позу.

Нередко по нескольку часов Роберт-Франсуа оставался погруженным в глубокие размышления. В это время губы его

шевелились, как будто он шепотом читал молитвы. Однажды Плайу сказал ему, что тот, кто молится Богу столько и с таким благочестием, может быть уверенным в спасении своей души, На это Дамьен отвечал: «Что пользы в моих молитвах? Он меня не слышит».

10 сентября Дамьен оставил Поперинг и своего товарища. Причиной этого было дошедшее до него известие, что бургомистр Поперинга желает его видеть. Это известие до того смутило Дамьена, что он позабыл даже взять с собою свои вещи. Он возвратился в Сент-Омер. Здесь он пришел к отцу, велел позвать брата и сестру и потребовал от родных тех денег, которые когда-то дал им; но по отъезде его эти честные люди отослали негоцианту ничтожную сумму, которую от него получили. Дамьен, обманувшись в своих надеждах, страшно рассерженный, удалился от них.

После этого некоторое время он скрывался у одного из своих двоюродных братьев – Тэйльи, бывшего фермером в Фьесе. Оставив его 3 ноября, Дамьен отправился еще к какому-то родственнику; 21 уехал оттуда и отправился в Аррас и в продолжение месяца шлялся с фермы на ферму в окрестностях этого города. Наконец 28 декабря нанял повозку, в которой возвратился в Париж.

Все лица, у которых он пробыл некоторое время в продолжение этих пяти месяцев бродяжничества, были совершенно согласны в своих показаниях. Везде он обнаруживал признаки умственного расстройства, близкого к помешательству. В это время уже стало заметно, что мысли Дамьена получили определенное стремление, волновавшее его во время пребывания в Поперинге; инстинктивные чувства ненависти, презрения и гнева нашли себе выход. Видно было, что помешанный остановился, наконец, на одном пункте помешательства. В это время он уже с жаром восстает против поведения духовенства; объявляет себя горячим защитником Парламента; говорит и повторяет всем и каждому, что королевство

погибло, что его жена и дочь умрут с голода, что ему предстоит свершить великое дело и что свет еще заговорит о нем.

По-видимому, он возвратился в Париж уже с твердой решимостью убить короля. Прибыв в столицу, он послал за своим братом, который явился к нему в таверну на улице Бобург, где он ему назначил свидание. Когда брат начал говорить Дамьену о совершенной им краже, то тот вдруг прервал его и объявил, что он возвратился в Париж только потому, что члены Парламента подали в отставку. Так как Людовик Дамьен, казалось, чрезвычайно изумился нелепости этого ответа, то Роберт-Франсуа объявил ему, что весьма сожалеет, что не отправился прямо в Версаль, и просил брата обнять его, говоря, что они, быть может, видятся в последний раз на этом свете.

Жена Дамьена была в то время кухаркою госпожи Риподелли, жившей на улице кладбища Сен-Никола де Шан; дочь его проводила ночь у этой дамы и уходила каждое утро на работу к торговцу эстампами. Расставшись с братом, Дамьен отправился к жене и дочери. Он прожил в доме госпожи Риподелли до утра 3 января.

В этот день Дамьен сильно поссорился со своею женою; госпожа Риподелли, услышав в кухне шум, поспешила туда и, чтобы положить конец этой сцене, выгнала мужа своей кухарки, объявив ему, что не желает более видеть его в своем доме.

Удалившись от госпожи Риподелли, он прямо отправился в контору придворных карет, находившуюся на Университетской улице; пообедав в ближайшей харчевне, выехал в половине двенадцатого и прибыл в Версаль в три часа утра в почтовой одноколке. Он остался в почтовой конторе до утра, выспался здесь и затем отправился к одному из своих знакомых Фортье в гостиницу Ланньон, близ Четырех Столбов, где и поселился.

На следующий день, во вторник, он целый день бродил в окрестностях замка: король был в Трианоне, и Дамьен жало-

вался своей хозяйке, что отсутствие государя лишает его возможности кончить то дело, ради которого он сюда приехал.

Ночью со вторника на среду он почувствовал себя нездоровым и стал просить госпожу Фортье пригласить лекаря, чтобы пустить ему кровь; так как с виду он вовсе не походил на больного, то его требование приняли за шутку и не обратили на слова его никакого внимания. Впоследствии при допросе он показал, что если б вовремя пригласили врача, то он не нанес бы удара; потому что, говорил он, кровопускание всегда освежало его мозг и успокаивало волнение крови.

В среду он позавтракал с большим аппетитом; из гостиницы он вышел только около двух часов пополудни и отправился прямо к замку. Заметив во дворе лошадей мушкетеров, Дамьен стал расспрашивать одного лакея и узнал, что король находится в Версале у своих деток и только к вечеру возвратится в Трианон.

Дамьен начал снова бродить по дворам замка и продолжал эту прогулку до вечера. В половине шестого он догадался по шуму и движению – король собирается уехать. Дамьен отправился вслед за королевской каретой, которую сопровождали лакеи с зажженными факелами, и шел за ней до самого Мраморного двора. Здесь карета остановилась, и Дамьен спрятался в углублении под лестницей.

Глава II
Покушение

Людовик XV вышел из комнат их высочеств в сопровождении дофина и нескольких придворных, и, сойдя с лестницы, направился к карете, ожидавшей его. Ночь была темная, холодная; все дрожали от стужи в своей легкой одежде, которую в то время только что вывезли из Англии и которую наши соседи называют редингот. На короле были надеты два

таких сюртука, один поверх другого, верхний из них был на меху.

В ту минуту, когда он поставил ногу на бархатную подножку экипажа, человек в шляпе на голове пробился сквозь окружавших его гвардейцев, проскользнул между дофином и герцогом д'Айен и бросился на короля, который в то же мгновение вскрикнул:

– Ох! Меня кто-то страшно ударил кулаком. – В смятении никто не мог разобрать, в чем, собственно, заключается дело.

Только Селим, небольшого роста лакей, шедший пешком сзади кареты, заметил, что какой-то незнакомец положил руку на плечо короля; Селим кинулся на незнакомца и успел удержать его при помощи двух своих товарищей, Фьефре и Вавереля.

Между тем король просунул руку под жилет и вынул ее всю в крови.

– Я ранен, – сказал король.

В то же время он обернулся и, увидев незнакомца, которого держали лакеи и который стоял с покрытой головою, прибавил:

– Если он нанес удар мне, то арестуйте его, но главное, не причиняйте ему никакого вреда.

И затем он возвратился в свои покои, поддерживаемый господами де Бриеннь и де Ришелье.

Телохранители короля и солдаты швейцарской гвардии схватили убийцу и отвели его в свою дежурную комнату.

Убийца был на вид человек лет сорока или сорока пяти, высокого роста, с продолговатым лицом, орлиным выдающимся носом, глубоко посаженными глазами и курчавыми, как у негра, волосами; цвет его лица был так красен, что, несмотря на волнение, которое он должен был чувствовать в эту минуту, он, казалось, нисколько не побледнел; на нем был надет коричневый редингот, сюртук из серого драгета, жилет из зеленого бархата и плисовые брюки красного цвета.

Его обыскали и нашли при нем оружие, которым он нанес удар королю. Это был нож с двумя лезвиями: одно из них, широкое остроконечное, походило на лезвие обыкновенного ножа; другое имело форму лезвия перочинного ножика огромных размеров; оно было в пять дюймов длиною; этим-то длинным ножом он и нанес удар Людовику XV. Кроме того, в его карманах нашли тридцать семь луидоров, немного мелких монет и книгу под заглавием «Христианские наставления и молитвы».

При первом же допросе он объявил, что имя его Франсуа Дамьен, и сознался, что он нанес удар этот по воле Всевышнего, для народного блага.

На вопрос одного из телохранителей по имени Боно, не составляют ли найденные при нем деньги часть суммы, данной ему в вознаграждение за совершение преступления, Дамьен ответил отрывистым и грубым тоном:

– Мне нечего отвечать вам.

Затем, как будто под влиянием внезапного раскаяния, он сказал:

– Предупредите Его Высочество дофина, чтобы он не выходил сегодня.

Эти слова, произнесенные несчастным безумцем в припадке бреда и с целью придать большую важность своему гнусному поступку, подали повод к предположению, что Дамьен только агент обширного заговора, угрожавшего жизни всего королевского семейства. В это самое время солдат, стоявший у дверей комнаты, объявил, что вечером, когда он стоял на часах, в проходе, ведущем к часовне, он заметил незнакомца, который с пяти часов и до половины шестого ходил взад и вперед по этому месту; к этому незнакомцу подошел другой человек низенького роста, в довольно поношенном коричневом платье и в простой шляпе и спросил его: «Ну что?» «Жду», – отвечал взволнованным голосом первый незнакомец. Затем оба стали шептаться и через несколько ми-

нут расстались. Так как по описанию Дамьен был похож на первого из этих незнакомцев, то все были почти уверены, что он имеет сообщников.

Тогда гвардейцы, проводившие этот экстренный судебный допрос, в пылу возмущения, забыли о том, что они дворяне и офицеры, и не постыдились начать собственноручно пытать преступника: они привязали его к скамье и начали мучить и требовать ответить на их вопросы.

Между тем, короля отвели в его покои, раздели и уложили в постель.

Большая потеря крови вследствие полученной раны возбудила сильное беспокойство окружающих; Сенак, первый лейб-медик, и Ла Мартиньер, первый хирург, явились в ту же минуту и успокоили короля и всех присутствовавших.

Длинный нож Дамьена прошел сквозь тройную одежду и ранил Людовика XV в нижнюю часть правого бока. Лезвие вошло в тело на три пальца снизу вверх, между четвертым и пятым ребром, и не задело ни одного важного органа грудной полости.

Но королем, который выказывал столько хладнокровия в первые минуты после покушения на его жизнь, в это время овладело чрезвычайное волнение, особенно, когда один придворный очень неловко заметил Ла Мартиньеру, что хотя рана и не опасна, но лезвие могло быть отравлено ядом; после этого король два раза посылал спросить преступника, не обмакнул ли он своего кинжала в какой-либо ядовитый состав. Опасения короля были так сильны, что он приказал позвать своего духовника и пять или шесть раз получил от него отпущение грехов. Затем поручил дофину председательствовать на совете, одним словом, сделал все распоряжения как человек, близкий к смерти.

Беспокойство короля распространило смятение во всем дворце и повергло всех в уныние. Вследствие этого импрови-

зированные палачи Дамьена удвоили мучения, которым они его подвергали.

Ответы Дамьена были непоследовательны и бессвязны: он утверждал, что не имел намерения убить короля, а хотел только «дать ему хороший урок», чтобы он прекратил притеснения Парламента и изгнал парижского архиепископа как виновника всех бедствий. Вообще все ответы Дамьена прямо указывали на болезненное состояние его мозга вследствие ипохондрического настроения духа и приливов крови.

В это время в зал, в котором находился Дамьен, вошел вице-канцлер, господин де Машо.

Положение вице-канцлера в это время было очень незавидно, потому что со смертью короля он должен был впасть в немилость; принципы, которыми руководствовался дофин, не позволяли ему оставить при себе министра, который был созданием госпожи де Помпадур.

Самолюбие вице-канцлера было задето: ему нельзя было оправдываться ни неопытностью молодости, ни привычкой к суровости, вынесенной из боевой жизни. Поэтому вице-канцлер забылся до того, что не постыдился присоединиться к офицерам и принял участие в истязаниях Дамьена. Мало этого, вице-канцлер превзошел своим усердием и безжалостностью офицеров.

Он подошел к камину, взял щипцы и приказал накалить их докрасна; когда они были готовы, то вице-канцлер начал ими усердно жечь ноги несчастного; он прикасался щипцами то к одной, то к другой части ноги, выбирая место, где это прикосновение могло бы доставить самые страшные мучения страдальцу.

Несмотря на все ужасы пытки, Дамьен не дал ни одного показания и только заметил своим палачам, что они действуют против желания Его Величества, приказавшего не причинить ни малейшего вреда своему убийце; затем, обернувшись к вице-канцлеру, он сказал:

– Вы исполняете здесь роль палача, а между тем, если бы вы сами не предали своих товарищей, то мы с вами не встретились бы в этом месте.

В эту минуту в зал гвардейцев вошел герцог д'Айен. Увидев прекрасное занятие хранителя печатей, он сделал строжайший выговор господам д'Эдувилю и Бенору, служившим под начальством вице-канцлера и помогавшим ему. «Кто носит шпагу, – сказал герцог, – тому неприлично принимать на себя обязанности палача».

Этот выговор, сделанный довольно резким тоном, не заставил лишь вице-канцлера отказаться от своего нового занятия, он приказал солдатам швейцарской гвардии прибавить в камин еще две охапки дров, пододвинуть Дамьена к камину и держать его перед огнем. В скором времени поверхность ног несчастного обратилась в две огромные язвы. Так как Дамьен все-таки хранил упорное молчание, то господин вице-канцлер стал грозить ему, что бросит его в огонь.

Лейтенант, Леклерк де Буалье, вошедший в эту минуту в комнату, прекратил, наконец, эту жестокую и гнусную сцену; он потребовал, чтоб ему передали преступника, говоря, что только суд имеет право судить за совершенное преступление и подвергать допросу. Вслед за тем велено было отвести Дамьена в темницу.

В четверг утром по Парижу распространился слух, что король убит. При этом известии с прежней силой и единодушием проснулась та привязанность народа к королю, которую он высказывал неоднократно и в особенности во время болезни монарха в Метце, но которая ослабла вследствие его беспорядочной жизни и ошибок в управлении государством.

Но эта вспышка народной любви продолжалась только до того времени, пока не миновала опасность, вызвавшая ее. По истечении нескольких дней рана Людовика XV превратилась в незначительный рубец, и народ скоро забыл, что для него в продолжение нескольких часов этот самый король был Людовиком Возлюбленным…

Когда Дамьена перевели в темницу превотства, то его посетил Жермен де Ла Мартиньер, лейб-хирург, перевязывавший рану королю. Он наложил повязки на раны на обеих ногах несчастного, лишавшие его возможности стоять.

Страдания его были ужасны, а между тем его непоколебимая душа и крепкое тело не обнаруживали ни малейшего следа изнеможения, упадка сил или уныния. Ему предложили подкрепить себя пищей; Дамьен выпил немного вина, и, вероятно, тронутый этим обращением, столь резко отличавшимся от мучений, которым его подвергли в зале гвардейцев, снова дважды повторил, чтобы берегли жизнь дофина.

На следующий день приступили к допросу.

Дамьен описал несколько подробностей своей прошлой жизни; он говорил, что исповедывает римско-католическую религию, что уже около восьми месяцев он причащался Святых Тайн, что прежде его исповедниками были иезуиты, но что он никогда не открывал им своего намерения. Он говорил также, что мысль о преступлении, постоянно преследовавшая его, побудила его уехать в провинцию, что после он стал чувствовать какое-то влечение возвратиться в Париж, и это влечение было сильнее его воли; что если он и покусился на жизнь государя, то причиной этого было угнетение религии, вследствие запрещения архиепископа приобщать к Святым Тайнам, а также потому, что ходят слухи, что королевство неминуемо должно погибнуть вследствие неутверждения королем постановлений Парламента. Его стали убеждать указать своих сообщников; он отвечал, что в эту минуту он не в состоянии что-либо сказать, потому что если он назовет тех, кто побудил его к совершению преступления, то «все будет покончено». Требовали также, чтоб он объявил, что знает о заговоре, угрожающем дофину; Дамьен отвечал на это, что не знает ничего, что это только слухи, ходящие в народе.

На вопрос, не чувствует ли он раскаяния в совершенном посягательстве на жизнь короля, Дамьен отвечал, что сознает

всю гнусность своего преступления и высказал искреннее раскаяние.

Вторичный допрос Дамьена составляет точное повторение первого.

Однако при третьем допросе одно обстоятельство дало совершенно другой оборот этому делу.

Там, где ни щипцы господина де Машо, ни все усилия великого Прево не имели никакого успеха, там, с надеждой на успех, решился сделать попытку один простой офицер городской стражи по имени Бело. Это был молодой человек в высшей степени честолюбивый и сгоравший желанием выдвинуться и составить себе карьеру.

Он уверил маркиза де Сурша, что Дамьен высказал ему столько доверия и симпатии, что он берется на себя добиться от него показаний, которые так важны для спокойствия государства.

Ему дали на это разрешение, и не прошло суток, как он уже вручил своему непосредственному начальству письмо, адресованное на имя короля. Письмо это писал он сам со слов преступника. Вот копия этого письма.

«Ваше Величество!

Я глубоко скорблю о том, что имел несчастье к Вам приблизиться; но если Вы не перейдете на сторону вашего народа, то в самое короткое время, может быть через несколько лет, Вы сами, дофин и еще некоторые лица неизбежно должны будут погибнуть. Грустно подумать, что жизнь такого доброго государя будет в опасности вследствие излишней снисходительности к духовным лицам, которых он облекает своим полным доверием. Если Вам неугодно будет принять заблаговременно меры, то обрушатся на нас несчастья, опасные для благосостояния Вашего королевства.

Некоторые из подданных Ваших, будучи главными виновниками всего дела, уже отступились от него. И если у Вас не будет

сострадания к своему народу, если Вы не прикажете духовенству причащать умирающих; если Вы будете допускать такие явления, какое было, например, в Шателе, где священник, причастив умирающего, должен был бежать, а суд велел продать утварь его, то повторяю Вам, что Ваша жизнь постоянно будет в опасности. Будучи совершенно убежден в справедливости своего мнения, я осмеливаюсь уведомить Вас об этом через офицера, подателя этого письма, который пользуется полным моим доверием. Архиепископ Парижский – виновник всех смут, потому что по его милости запрещено причащать умирающих. Совершив ужасное преступление против Вашей священной особы, я, принося это чистосердечное признание, осмеливаюсь надеяться на великодушное милосердие Вашего Величества.

Дамьен.

Я позабыл уведомить Ваше Величество, что, несмотря на приказание Ваше не причинять мне никакого вреда, господин вице-канцлер пытал меня: для этого он велел накалить двое щипцов и, держа меня своими собственными руками, приказал жечь мне ноги, что и было исполнено; затем он велел принести дров, жарко накалить печь с тем, чтобы кинуть меня туда. Без всякого сомнения, если бы господин Леклерк не воспротивился выполнению намерения господина канцлера, то я в настоящее время уже не имел бы возможности известить Ваше Величество о том, что было сказано мною выше.

Дамьен».

Несчастный Дамьен показал себя в этом письме. Гордясь возможностью непосредственно говорить с самим королем, он начинает свое письмо суровым тоном полупомешанного фанатика, а заключает его лукавым воззванием к монаршему милосердию.

На обороте второго листа этого письма находились еще следующие строки:

«Господин Шагранж второй,

Бэсс де Лисси,

де ла Гиони,

Клеман,

Ланбер,

президент де Рие-Бонненвилье, президент де Масси и почти все. Необходимо восстановить Парламент и дать обещание не преследовать как вышеупомянутых лиц, так и всех их единомышленников.

Дамьен».

Как ни двусмысленны были эти семь строчек, но они чуть не стоили жизни тем семи особам, на которых с таким сочувствием указал Дамьен.

К счастью, разобрав дело повнимательнее, открыли, что это было только уловкой со стороны господина Бело, который, желая отличиться, открыть сообщников Дамьена, не мог придумать ничего умнее, как узнать от преступника, не был ли он случайно знаком с некоторыми из советников Парламента; Дамьен, посещавший весьма часто зал Парламента, назвал ему несколько имен советников, которых ему случалось часто встречать там. Бело перенес на бумагу их имена и дал преступнику подписать этот небольшой список, самовольно составленный господином Бело и чуть не послуживший смертным приговором поименованным в нем лицам.

Когда этот лист предъявили Дамьену, он пришел в сильное негодование. Тотчас же он зачеркнул свое имя и объявил, что, несмотря на то, что названные в списке члены Парламента сопротивлялись приведению в исполнение предписаний архиепископа, но ни один из них не имел ничего общего с совершенным им преступлением.

15 января были утверждены акты судебного следствия дворцового превотства, и процесс Дамьена был поручен Палате Парижского Парламента.

17 января – преступника перевезли в Париж, Он отправился из Версаля в два часа утра.

Так как болезненное состояние его ног не позволяло ему сделать ни малейшего движения, то его положили на матрас и таким образом перенесли в карету, запряженную четырьмя лошадьми, и отправили под усиленным конвоем. Очевидно, что были еще люди, которые верили в существование обширного заговора, а потому и опасались, чтобы предполагаемые сообщники Дамьена не сделали попытки освободить его.

В восемь часов весь кортеж приблизился к Парижской Парламентской тюрьме, и Дамьена заключили в башню Монгомери, в ту самую тюрьму, где задолго до него содержался Равальяк.

Судя по мерам, принятым распоряжениям, сделанным для укрепления этой старой башни, можно было подумать, что вся Франция готова восстать для освобождения Дамьена из рук его судей.

Снаружи, начиная от лестницы дю Ме и до следующей лестницы, был устроен плотный частокол, так что с каждой стороны оставалось только по одному узкому проходу в башню. У этого частокола поставлен караул из ста человек солдат под начальством лейтенанта с подчиненными ему офицерами. Из этого караула назначились часовые на лестницу дю Ме, и целую ночь посылались обходы и патрули для наблюдения за всем, что делается вокруг башни. Другой отряд из сорока гвардейцев находился внутри башни, под самой комнатой Дамьена, расположенной на втором этаже.

Темница, в которой сидел Дамьен, была круглая комната, диаметром двенадцать футов. Свет и воздух проникали или, скорее, почти совсем не проникали через узкое отверстие, устроенное в стене в пятнадцать футов толщиной. Несмотря на это, узенькое окошко было закрыто двойной железной решеткой и заклеено масляной бумагой вместо стекол.

Воздух с таким трудом проникал в эту страшную нору, что сочли необходимым заменить сальные свечи, горевшие там днем и ночью, восковыми. Запах, распространявшийся от сальных свечей, по мнению медиков, мог произвести дурное влияние на здоровье заключенного.

Кроме этого, на преступника было надето что-то вроде смирительной рубашки, лишавшей его свободы движений.

Он лежал на подмостках, покрытых тюфяком, изголовье было обращено к двери и поднималось и опускалось с помощью блока. Пролежав на такого рода постели пятьдесят семь дней и чувствуя, что все его тело совершенно разбито, несчастный просил своих караульщиков дать ему возможность лечь иначе.

Конструкция, с помощью которой он был прикреплен к своей постели, достойна более подробного описания. Она состояла из ремней крепкой венгерской кожи, переплетавшихся в виде сетки и прикреплявшихся к кольцам, ввинченным в пол; с каждой стороны постели было ввинчено по пять колец и одно находилось в ногах. Ремни, прикрепленные к боковым кольцам, ввинченным около головы несчастного, обхватывали плечи. Следующие два ремня обхватывали кисти рук так, что едва оставалась возможность подносить ко рту пищу; бедра и голени были привязаны точно таким же образом. Кроме того ремень, шедший от кольца, помещенного в ногах постели, соединял все прочие ремни, образуя таким образом род плотной ременной сети.

Врач и помощник его посещали цареубийцу по три раза в день и ежедневно давали отчет первому президенту о состоянии его здоровья. Помощник врача спал в Парламентской тюрьме.

Одному из королевских поваров было поручено готовить еду для Дамьена; этому повару предписано было, прежде чем подавать какое-нибудь блюдо преступнику, испытывать его на каком-нибудь животном.

Действительно, странно было видеть эти совершенно излишние предосторожности, которые принимались по отношению к несчастному, для которого совершенно достаточным наказанием было бы заключение в доме умалишенных в Бисетре. Очевидно, что вследствие отчаянной борьбы Парламента с духовенством процесс Дамьена служил только политическим орудием, которым каждая из партий надеялась поразить своего противника.

Глава III
Процесс

Чувственность и беспорядочная жизнь короля Людовика XV, эгоизм, бывший последствием этого, – все это давно сделало его равнодушным к несчастьям вверенного ему народа. А между тем он вовсе не был жестоким человеком. Его ужасали меры, принятые к Дамьену, и суровое обращение с ним. Король часто с отвращением говорил об этом и постоянно осведомлялся о здоровье своего убийцы. По-видимому, он считал себя ответственным за жизнь преступника до тех пор, пока судьи не решат его участи. Узнав, что Дамьен лишен возможности всякого движения, и потому день ото дня все более чахнет, король послал к нему своего первого врача Сенака. Мало того, король казался весьма огорченным и вернулся к своей обычной беспечности только тогда, когда Сенак дал преступнику возможность пользоваться в своей темнице несколько большей свободою и что благодаря этому состояние здоровья Дамьена улучшилось.

Процесс подвигался очень медленно; Парламент, чувствуя себя косвенно задетым симпатией, высказанной преступником к некоторым из его членов, считал своею обязанностью оправдать их, наведя самые точные и подробные справки. Президенты Мопу и Мале, советники Севен и Паскье, которым было поручено следствие по этому делу, выслушали

около восьмидесяти пяти свидетелей, проследили день за днем, час за часом всю прежнюю жизнь Дамьена. Восемнадцать человек были арестованы как соучастники в убийстве, восемь были обвинены в том, что они знали о заговоре, составленном против жизни короля. Но напрасно хлопотали судьи, которым было поручено следствие по этому делу: при более внимательном исследовании соучастники оказывались невиновными.

Новые допросы Дамьена только подтвердили то, что давно предполагалось уже в Версале, – а именно расстройство умственных способностей преступника.

17 марта, явившись для допроса в уголовный суд, Дамьен продолжал подтверждать свои прежние показания. Он говорил, что только хотел дать хороший урок королю и заставить его прогнать своих министров, которые были виновниками всех бедствий. Он объявил, что человек, говоривший с ним 5-го числа в проходе к часовне, незнаком ему; что этот человек только сказал ему, что приехал в Версаль, для того чтобы получить позволение представить королю одну очень интересную машину. Как видно, он мало-помалу стал убеждаться в тщетности своих надежд на милосердие короля; теперь он уже утверждал, что не имеет никаких сообщников, и с клятвой уверял, «что могут разрыть всю землю и все-таки не найдут ни одного соучастника его преступления». После этого он снова возвращался к своей роли фанатика.

Преступникам давали духовников только после вынесения приговора. Но на этот раз сочли нужным сделать исключение по причине важности преступления и, главное, потому что надеялись подействовать на Дамьена религиозными убеждениями, склонить преступника к изобличению сообщников, в существовании которых все еще были убеждены некоторые из судей. Поэтому 21 марта назначили ему духовником священника из Сен-Поля и доктора Сорбонны госпо-

дина Гере в надежде наставить на путь истины несчастного преступника.

Этот духовник с удивительным усердием исполнял свои обязанности; он не только посещал ежедневно цареубийцу, но не отказался даже проводить его на место казни и оставил его только тогда, когда несчастный отдал свою душу Богу.

В субботу, 26 марта, собралась верховная палата. Судьи, принцы крови, герцоги и перы, президенты, советники и докладчики были на местах своих.

Когда Дамьена ввели на это заседание и посадили на скамью обвиняемых, то он нисколько не смутился и не выказывал ни малейшего волнения или беспокойства; этот человек, по-видимому, был обязан своим удивительным присутствием духа тому важному значению, которое приписывали его особе.

По установленному законом порядку генерал-прокурор собрал письменные мнения судей и вместе со своими заключениями положил, не распечатывая, на судебное бюро. Господин Паскье снова стал уговаривать его открыть своих сообщников.

– Вы можете только загладить хоть немного свое преступление в глазах Бога и людей, указав своих соучастников; вы должны сделать это для благосостояния и спокойствия государства и законных подданных Его Королевского Величества; наконец, вы должны указать нам своих сообщников для спасения своей души, если только вы верите в существование души.

Дамьен отвечал ему:

– Вы прекрасно говорите, господин Паскье, но я еще раз перед распятием повторяю вам, что мне не в чем более сознаваться. Тогда приступили к чтению решения генерал-прокурора. В нем было сказано, что Дамьен должен быть присужден как цареубийца к предварительной пытке и смертной казни.

В семь часов вечера суд произнес следующий приговор:

«Суд объявляет Роберта-Франсуа-Дамьена виновным и изобличенным в оскорблении божественного и человеческого величия совершением злонамеренного, гнусного и отвратительного посягательства на жизнь священной особы короля: и в наказание присуждает вышеупомянутого Дамьена к публичному признанию в преступлении перед главными дверьми Собора Парижской Богоматери, куда его отвезут в телеге полунагим, лишь в одной рубашке, и с зажженным восковым факелом весом в два фунта в руке; там он должен на коленях объявить во всеуслышание, что злонамеренно и предательски совершил вышеупомянутое злодейское, гнусное и отвратительное убийство, ранив ножом короля в правый бок, в чем раскаивается и молит о прощении у Бога, короля и правосудия. Затем его отвезут в той же телеге на Гревскую площадь, где подвергнут на устроенном эшафоте истязаниям калеными щипцами его грудь, руки, бедра и икры; правую его руку, в которой он должен держать тот самый нож, которым он совершил вышеназванное убийство, сожгут серным огнем; на истерзанные клещами места нальют смесь из растопленного свинца, кипяченого масла, горячей древесной смолы, воска и серы, и затем тело будет четвертовано четырьмя лошадьми. Останки его должны быть сожжены, обращены в пепел и развеяны по ветру. Вместе с этим суд объявляет все движимое и недвижимое имущество преступника конфискованным в пользу Его Королевского Величества. В то же время суд повелевает, чтобы до совершения казни Дамьен был подвергнут простой и экстраординарной пытке для открытия его сообщников; чтобы дом, в котором он родился, был срыт до основания; впрочем, без запрета впоследствии воздвигать на этом месте новые строения. Суд объявляет также, что приметы преступника следующие: от тридцати до сорока лет от роду, ростом не выше пяти футов, волосы носит длинные, ходит в коричневом, довольно поношенном платье и простой гладкой шляпе.

Дано в Парламенте, на заседании верховной палаты 26 марта 1757 года.

Ришар».

Приговор сей определил малейшие подробности казни, одного перечисления которых уже достаточно, чтобы внушить читателю непреодолимый ужас. Но в этом приговоре не сказано еще, какого рода пытке надо подвергнуть Дамьена. Долго совещались судьи в присутствии генерал-прокурора. Вскоре мания жестокости распространилась даже в народе, и многие частные лица спешили предложить различные способы пытки, делавшие более чести изобретательности, чем гуманности. Так один желал, чтоб под ногти преступника вложили пропитанные серою пеньковые свертки и зажигали их; другой требовал, чтоб с него по частям сдирали кожу и на обнаженные мышцы наливали едкую жидкость до тех пор, пока преступник не назовет своих сообщников; третий предлагал вырывать у преступника один зуб за другим… Читая мемуары, написанные об этом предмете в Париже в середине XVIII столетия, удивляешься только тому, что не видишь под ними имени какого-нибудь краснокожего.

Судебные хирурги рассмотрели эти различные виды пыток и решили, что пытка испанскими сапожками все-таки самая действенная и в то же время самая безопасная для жизни преступника.

Я описал все подробности процесса Дамьена, которые только мог найти в своих семейных бумагах, а также в сочинении «Подлинные документы и ход процесса Дамьена».

Я нарочно с такой подробностью старался описать это дело. В моих глазах оно имеет гораздо большее значение, чем все описанные мною до сих пор.

Казнь Дамьена, которая будет описана в следующей главе, была одним из самых страшных, но вместе с тем и одним из последних примеров средневекового бесчеловечия.

Прошло то время, когда человек не довольствовался одной смертью, себе подобного, а высасывал каплю за каплей кровь и рядом мучений карал несчастного преступника. Он позволял преступнику умереть только тогда, когда страдания его переходили за пределы возможного вследствие целого ряда истязаний и мучений.

Все это после казни Дамьена почти выходит из употребления. Еще несколько раз на Гревской площади случалось видеть колеса с трепещущими на них телами, раздробленными железной палицей палача, но близко уже было то время, когда общество согласилось ограничиться одной смертью того из своих членов, жизнь которого оно считало опасной для себя. Близко было то время, когда с исполнением нашей печальной обязанности перестал соединяться целый ряд жестоких, хотя и бесполезных истязаний.

Глава IV
Четвертование

Авторы подложных мемуаров, изданных Сотеле, желая придать больший вес своим произведениям, заявили, что эти мемуары написаны моим, дедом Шарлем-Генрихом Сансоном, тем самым, который имел несчастье жить в бурную эпоху терроризма.

Авторы эти уверяют, что дед мой присутствовал при казни Дамьена. Он, по их словам, описал все подробности пытки и казни, которую производил отец его, Шарль-Жан-Баптист Сансон, бывший в то время штатным исполнителем уголовных приговоров. Авторы мемуаров заставляют Шарля-Генриха рассказывать, как отец его чуть не помешался при известии, что ему придется четвертовать преступника, чего уже не встречалось со времен Равальяка, как он отправился в Мелен для покупки четырех лошадей, необходимых для казни и тому подобное. Все это приукрашено еще маленьким

эпизодом, вероятно, с целью поддразнить любопытство читателя.

Так, в конце главы вставлен рассказ о визите, который будто бы нанес исполнителю уголовных приговоров великий канцлер в сопровождении трех или четырех придворных, в числе которых весьма не трудно узнать маршала де Ришелье, хотя он и не назван по имени. Согласно мемуарам, эти господа посещали моего предка под предлогом осмотреть лошадей, предназначенных для четвертования преступников, но главной целью их было заменить этих лошадей другими, менее сильными, с целью продлить мучения преступника.

Уже общий тон мемуаров Сотеле проникнут духом ненависти и ожесточения против Бурбонов и духовенства, показывает, что мемуары эти не могли принадлежать человеку, находившемуся на королевской службе, как бы низко ни было его звание. Неправдоподобность же приведенного мною эпизода дает ясное понятие о достоверности и достоинствах этих подложных мемуаров.

Господин де Машо ни раньше, ни после посягательства Дамьена не наносил визита исполнителю уголовных приговоров – он просто призывал его в свой отель, когда хотел дать ему какое-либо приказание помимо генерал-прокурора. Очевидно также, что Шарль-Жан-Баптист Сансон не мог принимать никакого участия ни в приготовлениях, ни в самой казни Дамьена, потому что в январе 1754 года у него вследствие паралича отнялись руки и ноги. Кроме того, исполнение этой казни было прямой обязанностью – Николая-Габриэля Сансона, его младшего брата, исполнителя уголовных приговоров дворцового превотства.

Служба Габриэля Сансона была почти номинальной. Преступления, совершавшиеся в ведомстве двора в течение последних пятидесяти лет, редко влекли за собой смертную казнь. Поэтому, когда Габриэль Сансон получил повеление приготовиться не только к казни, но и к пытке Дамьена, –

дворцовое превотство не имело пытчика, то им овладел ужас. Он сообщил трудность своего положения господину Леклерку де Брилье, лейтенанту превотства, и тот дал ему письмо к генерал-прокурору. В этом письме он просил генерал-прокурора избавить Габриэля Сансона от исполнения этой обязанности и поручить ее исполнителю уголовных приговоров Парламента.

Но, как я уже сказал, Шарль-Баптист Сансон лежал разбитый параличом. Шарлю-Генриху Сансону, его старшему сыну и преемнику, только минуло семнадцать лет. Уже два года он выполнял обязанности своего отца, но официально еще не пользовался званием исполнителя приговоров, а потому и не решились поручить ему одному казнь, известную только по преданию. Вследствие всего этого генерал-прокурор приказал, чтобы пытчик Парламента Шарль-Генрих Сансон, временный исполнитель уголовных приговоров и его помощники поступили в полное распоряжение Габриэля Сансона.

Габриэль Сансон купил четырех лошадей и заплатил за них четыреста тридцать два ливра – сумму весьма значительную для того времени.

Их поставили в конюшню на улице Де Вьель-Гарнизон позади ратуши. По просьбе господина Леклерка де Брилье были отысканы в архивах все подробности о совершении казни четвертованием и сообщены для руководства исполнителю приговоров дворцового превотства. Ужас и отвращение Габриэля Сансона нимало не уменьшились при чтении этих документов.

Мысль о предстоящей ему обязанности так сильно потрясла его, что когда ежедневно стали носиться слухи, что Дамьен должен предстать перед большой камерой палаты, то Габриэль Сансон не выдержал и 14 марта заболел и слег в постель.

Генерал-прокурор позвал его к себе и сделал ему строгий выговор за малодушие. Угрозы сановника, по-видимому, не

имели на него большого влияния, потому что он стал поговаривать даже об отставке от службы, которая давала ему средство для жизни. В это время один старый пытальщик, отец которого присутствовал в качестве помощника при казни Равальяка и передал ему все подробности казни четвертованием, вызвался взять на себя исполнение смертной казни.

В ночь на 27-е число, поставили эшафот.

В понедельник, 28-го числа, в семь часов утра Габриэль Сансон и племянник его Шарль-Генрих Сансон явились на Гревскую площадь, чтобы удостовериться, все ли приготовлено для казни так, как предписано судом. Эшафот был устроен на площади, посреди которой крепким частоколом было огорожено пространство в сто квадратных футов. Во внутренность этой ограды вели только два входа: через один из них должны были войти преступник, исполнители приговора и стража, другой сообщался с точно так же огороженным местом перед большими воротами ратуши.

Осмотрев эшафот, оба Сансона отправились в Парламентскую тюрьму, где они нашли уже ожидавшего их пытальщика.

Через несколько минут к ним присоединились господин Лебретон, актуарий Уголовного суда, и два пристава – Кармонтель и Ревре.

Некоторое время они должны были ждать, пока полицейский офицер и его дозорные солдаты сменяли с часов французских гвардейцев во дворе тюрьмы; в то же время пехотный караул занял свое место внутри башни.

Исполнителей и чиновников повели в темницу Дамьена; но на лестнице актуарию пришло в голову, что темница слишком мала, чтобы вместить столько народа, и, посоветовавшись с полицейским офицером, он решил прочесть приговор осужденному в зале нижнего этажа.

Дамьен был взят из тюрьмы и принесен в этот зал; полицейские солдаты несли его в чем-то вроде мешка из замшевой

кожи, в котором помещалось все тело преступника, кроме головы.

В зале Дамьена развязали, и актуарий, приказав ему стать на колени, приступил к чтению приговора.

Дамьен слушал с необыкновенным вниманием все касавшееся казни, но когда актуарий дошел до сообщников, будто укрываемых преступником от правосудия, он внимательным взором осмотрел всех присутствовавших.

По окончании чтения приговора Дамьен сделал знак полицейским солдатам, чтобы они помогли ему встать, потому что он, по-видимому, еще сильно страдал от ран.

Вслед за тем он прошептал несколько раз: «Боже мой! Боже мой! Боже мой!»

Габриэль Сансон подошел к нему и положил руку на плечо его. Дамьен вздрогнул при этом прикосновении и окинул его диким и бессмысленным взглядом, но в эту минуту вошел в зал полицейский офицер со священником из Сен-Поля, и лицо цареубийцы при виде духовника тотчас приняло спокойное и довольное выражение. Священник подошел к нему, и Дамьен сделал движение, чтобы освободить свои руки, которые в эту минуту связывали помощники; как казалось, он хотел взять за руку своего духовника.

Священник попросил всех присутствовавших отойти от Преступника и остался с ним один посреди зала. Священник начинал говорить с большим воодушевлением; по его жестам можно было угадать, что он ставил ему в пример страдания и смерть Иисуса Христа. Эти увещевания, казалось, производили сильное впечатление на Дамьена, который после них успокаивался.

Духовник не решился присутствовать при пытке; он объявил Дамьену, что будет ожидать его и молиться за него в часовне Консьержери, куда и удалился.

Офицер, отвечавший за стол преступника, подошел к нему и предложил ему подкрепиться; с минуту Дамьен коле-

бался и со вниманием смотрел на пищу, находившуюся в корзинке. Потом покачал головой и сказал: «Зачем? Раздайте это бедным, им это еще пригодится».

Когда ему заметили, что нужно собрать все силы для этого ужасного дня, Дамьен произнес потерянным, плохо мерившимся с его словами голосом:

– Моя сила в Боге! Моя сила в Боге!

Однако удалось убедить его выпить немного вина. Офицер налил кубок, отведал сам и передал его Дамьену, который приложил его ко рту, но не мог проглотить более одного глотка.

После этого Дамьена снова положили на койку и отнесли в комнату для пытки, где уже находились комиссары, президенты Мопу и Моле, советники Север, Паскье, Ролан и Ламбелен.

Преступник по обыкновению дал присягу говорить правду и был приведен в последний раз на допрос.

Допрос продолжался полтора часа. Он довольно спокойно отвечал на вопросы, предлагаемые ему господином Паскье, но в промежутках между двумя вопросами Дамьен обнаруживал необыкновенное волнение. Он вертелся на своей скамье, глаза судорожно двигались из стороны в сторону, и он беспрестанно старался повернуться в ту сторону, где находились исполнители и их помощники.

Наконец комиссары-следователи поднялись со своих мест и объявили, что, так как он ни в чем не сознался, то должен подвергнуться пытке.

Исполнители окружили его, и пытальщик Парламента надел ему на ноги сапожки, ремни которых затянул сильнее обыкновенного.

Боль была очень сильна. Дамьен отчаянно закричал, лицо его сделалось белым, как полотно, голова откинулась назад; казалось, что он лишился чувств.

Подошли врачи, пощупали пульс преступника и объявили, что этот обморок не опасен.

Один из них, господин Бойе, посоветовал не приступать ко вбиванию клиньев и обождать, пока не пройдет обморок, вызванный стягиванием ремней.

Дамьен открыл глаза и попросил напиться; ему подали стакан воды, но он потребовал вина, говоря задыхающимся и дрожащим голосом, что силы и энергия оставляют его.

Шарль-Генрих Сансон помог поднести ему стакан ко рту; напившись, он испустил глубокий вздох и снова, закрывая глаза, прошептал несколько молитв; актуарий, оба пристава, исполнители и их помощники окружили его; двое судей встали из кресел и стали ходить взад и вперед по комнате. Президент Моле был чрезвычайно бледен, и было заметно, как дрожало перо в руке его.

Через полчаса снова приступили к пытке.

Фреми, пытальщик, вбил первый клин.

Крики Дамьена возобновились; они были так сильны и продолжительны, что первый президент не мог задать ему обыкновенных вопросов. Наконец среди воплей, проклятий и молитв, вылетавших в беспорядке из уст преступника, он обвинил какого-то Готье, поверенного у одного Парламентского советника и господина Леметра де Ферьера в том, что они побудили его к совершению преступления.

Тотчас же был отдан приказ арестовать Готье и Леметра де Ферьера и привести их к судьям.

При втором и третьем ударе вопли и страдания его повторились; он продолжал говорить о Готье.

При четвертом ударе он просил помилования и вскрикнул несколько раз: «Господа! Господа! Господа!»

Привели Готье и Леметра: их свели на очную ставку с Дамьеном, который не только не мог сказать, где он видел того, кого обвиняет, но почти в ту же минуту стал опровергать показания, вырванные у него пыткой.

Приступили снова к пытке и вбили первый экстраординарный клин.

Приводим выписку из судебного протокола:

«Ответы на вопрос. Он говорит, что думал своим преступлением совершить богоугодное дело.

При шестом ударе – рыдания. Преступник говорит, что чувствует себя очень несчастным, потому что не лишил себя жизни, как имел намерение. Жалеет, что после совершенного им воровства добрые его родственники отказались принять его. Оплакивает участь своей жены и дочери; говорит, что Бог карает его за гордость, Обвиняет одну женщину в том, что она заколдовала его.

При седьмом ударе говорит, что ужасается при мысли о совершенном преступлении и молит о прощении у Всевышнего и короля. Умоляет судей ходатайствовать у Его Королевского Величества позволения немедленно предать смерти цареубийцу. Толкует о каких-то колдунах, говорит, что сатану принял образ старухи, чтобы околдовать его.

После восьмого удара, который вместе с тем был последним экстраординарным, врачи объявили, что осужденный не может более выносить страдания. Пытка продолжалась два часа с четвертью».

Комиссары-следователи поднялись со своих мест с поспешностью, показывавшей, что и их силы истощены до крайности. Они сделали знак Габриэлю Сансону, и с преступника сняли полусапожки. Дамьен попытался поднять свои дрожащие и раздробленные ноги. Не будучи в состоянии сделать этого, он наклонился вперед и рассматривал их в продолжение нескольких минут с каким-то горьким сожалением.

В это время составили судебный акт и подали преступнику для подписи. Судьи вышли из пытальной и отправились в ратушу. Цареубийцу отнесли в часовню Консьержери, где он нашел священника из Сен-Поля и вместе с ним доктора Сорбонны господина де Марсильи.

Глубокий ужас выражался на всех лицах, а между тем Дамьен, священник, на которого было возложено спасение

души несчастного, и исполнители, которые должны были подвергнуть его еще более жестоким страданиям, не совершили еще и половины своего дела.

Шарль-Генрих Сансон и два помощника остались при осужденном и должны были отвести его на Гревскую площадь. Габриэль Сансон в сопровождении прочих служителей отправился осмотреть в последний раз все приготовления к казни.

Пытчик, принявший на себя четвертование, по странной игре случая носил имя одного знатного лица, – а именно Субиза. Утром он уведомил своего начальника, что запасся всеми принадлежностями, необходимыми для выполнения смертного приговора.

Прибыв на эшафот, Габриэль Сансон тотчас же заметил, что несчастный Субиз пьян и потому не в состоянии выполнять свои обязанности. С испугом он приказал показать ему свинец, серу, воск и смолу, которые приказано было купить Субизу, но всего было очень мало. В то же самое время, когда осужденный мог прибыть с минуты на минуту, заметили, что костер, на котором должны были быть сожжены останки преступника, был сложен из сырых и негодных поленьев, которые весьма трудно будет зажечь.

Представив все последствия, к которым может привести нетрезвое состояние Субиза, Габриэль Сансон совершенно растерялся.

Приход полицейского офицера, расставлявшего своих людей вокруг ограды, и также генерал-прокурора, за которым нарочно послали, положили конец этому беспорядку.

Генерал-прокурор сделал строгий выговор Габриэлю Сансону, объявив ему, что за нерадивое к службе он присуждает его к пятнадцатидневному аресту, а затем приказал ему занять место моего деда в часовне. Несмотря на свою молодость, Шарль-Генрих Сансон внушал генерал-прокурору большее доверие, чем исполнитель приговоров дворцового превотства.

Помощники между тем отправились в соседние лавки для закупки необходимых для казни предметов. Толпа народа, последовавшая за ними, объявляла везде, кто они такие, и во всех лавках им не хотели продавать или же говорили, что не имеют требуемых предметов. Полицейский офицер должен был отрядить с ними урядника, который именем короля потребовал из лавок все необходимое для казни.

Приготовления еще не были закончены, когда на Гревскую площадь привезли осужденного. Пришлось посадить его на одну из ступенек эшафота; на глазах у него заканчивали последние приготовления к его смертной казни.

Дамьен пробыл три часа в часовне; он все это время молился с таким усердием и раскаянием, что тронул всех присутствовавших.

Когда на дворцовых часах пробило четыре, Габриэль Сансон подошел к господам Гере и де Марсильи и объявил, что уже время им отправиться на место.

Хотя он произнес эти слова вполголоса, но Дамьен слышал их и прошептал лихорадочно:

– Да, скоро наступит ночь.

И после небольшой паузы он прибавил:

– Увы! Завтра они еще увидят дневной свет!

Его положили в телегу, подле него сел священник из Сен-Поля, а сзади повозки, среди солдат, пошел господин де Марсильи.

Преступника сопровождал многочисленный конвой. Полицейские солдаты и сильные отряды жандармов окружали телегу, на поворотах улиц были расставлены караулы из гвардейцев.

Дамьена хотели заставить стать на колени у паперти Собора Парижской Богоматери, чтобы он публично сознался в преступлении, но его полураздробленные ноги причиняли ему столь жестокие страдания, что когда он наклонился для исполнения приказания, то упал лицом на землю с

пронзительным, ужасным криком, который, несмотря на шум и волнение народа, можно было явственно слышать с противоположной паперти храма. Поэтому преступника подняли и он, поддерживаемый двумя полицейскими солдатами, стоя стал повторять слова, которые ему подсказывал актуарий. Когда его снова посадили в тележку, то Дамьен заплакал, и это были первые слезы, которые заметили на его лице со времени ареста. Через четверть часа тележка остановилась у эшафота. Еще никогда на Гревской площади не толпилось столько народа; даже на улицах Де-Ла-Ваннери, Дю-Мутон и Де-Ла-Тиксерандри теснились толпы народа. Все окна, выходившие на площадь, были заняты любопытными. Судя по костюмам, некоторые из любопытных, должны были принадлежать к высшим классам общества. Там и сям виднелись даже изящные туалеты дам; не хочется даже верить, чтобы в XVIII веке, гордящемся своей философией и гуманностью, женщины из высшего круга могли интересоваться зрелищем, которое приводило в содрогание самих палачей.

Как я уже сказал, Дамьен сидел в течение нескольких минут на ступенях эшафота: в это время к нему возвратилась прежняя твердость, и он спокойно стал глядеть на окружавшую его толпу. Он выразил желание поговорить с комиссарами и потому его перенесли в ратушу; здесь он обратился к господину Паскье с просьбой защитить жену и дочь его, которые ничего не знали о его намерениях. Несчастный еще раз отказался от своих показаний на Готье и поклялся спасением души своей, что один он только задумал и привел в исполнение свое преступление.

В пять часов он возвратился на площадь и был возведен на эшафот.

Из жаровни, в которой горела сера, по воздуху разносился острый, удушливый запах. Дамьен несколько раз принимался кашлять. Пока его привязывали к платформе эшафота, он глядел на свою руку с тем же выражением грусти, которое

обнаружилось на его лице, когда после пытки он стал рассматривать свои истерзанные ноги. Он прошептал несколько отрывков из псалмов и повторил два раза: «Что сделал я? Что сделал я?»

Руку его крепко привязали к столбу таким образом, что кисть ее простиралась за последнюю доску платформы. Габриэль Сансон подставил под руку жаровню. Когда Дамьен почувствовал прикосновение синеватого пламени к своему телу, то испустил ужасный вопль и судорожно старался освободиться от удерживавших его веревок, но когда первое страдание миновало, он поднял голову и молча стал смотреть на свою горевшую руку, выражая свои мучения лишь скрежетом зубов.

Эта первая часть казни продолжалась три минуты.

Шарль-Генрих Сансон заметил, как тряслась жаровня в руках его дяди. Крупные капли пота орошали лицо исполнителя приговоров, и он был почти так же бледен, как и сам осужденный. Все это убедило моего деда, что он будет не в состоянии совершить вырывание клещами кусков мяса у преступника. Потому Шарль-Генрих предложил сто ливров одному из помощников, если он согласится заменить его.

Помощник по имени Андрей Легри принял предложение.

Он стал прикладывать свое ужасное орудие к рукам, груди и бедрам несчастного, и при каждом прикосновении страшной железной челюсти вырывал из тела кусок еще трепещущего мяса, и Легри наливал в рану то кипяченое масло, то горящую смолу, серу или расплавленный свинец, которые ему подавали другие помощники.

Тогда зрители увидели сцену, которую невозможно описать словами и представление о которой вряд ли создаст воображение. Разве в аду можно найти что-нибудь подобное. Дамьен, с глазами навыкате, дыбом вставшими волосами, скривившимся ртом подстрекал мучителей, насмехался над

мучениями и требовал новых страданий. Когда раздавался треск его тела при прикосновении с воспламенявшимися жидкостями, его крик сливался с этим звуком, и страдалец произносил уже нечеловеческим голосом:

– Еще! Еще! Еще!

А между тем это были лишь приготовления к казни.

После этого Дамьена сняли с платформы и положили на деревянные брусья в три фута высотою. Брусья эти были сложены в виде Андреевского креста; затем к каждой руке и ноге преступника прикрепили постромки с лошадью.

В продолжение всех этих приготовлений глаза несчастного были закрыты. Духовник, не покидавший его, подошел и стал говорить с ним, но тот не открыл глаза. Можно было подумать, что он не хотел, чтобы взор его, стремившийся к Господу Богу, упал на гнусных злодеев, подвергавших подобным страданиям его несчастное тело. Время от времени он восклицал: «Спаситель! Пресвятая Дева Мария! Ко мне, ко мне!» Как будто он молил освободить его скорее от власти палачей.

Четверо помощников взяли под уздцы лошадей, четверо других встали сзади каждой лошади и взяли в руки по кнуту. Шарль-Генрих Сансон находился на эшафоте и отдавал приказания помощникам.

По знаку четверка двинулась вперед. Лошади сделали такое усилие, что одна из них упала на мостовую. А между тем мышцы и нервы машины, которую мы зовем человеческим телом, выдержали этот ужасный рывок.

Уже три раза лошади, подбадриваемые криками и ударами кнута, бросались вперед, и каждый раз тщетно.

Было только заметно, что руки и ноги осужденного чрезвычайно вытянулись, но он сам еще был жив, и хриплое дыхание его раздавалось подобно шуму кузнечного меха.

Исполнители приговора смутились; священник из Сен-Поля и господин Гере лишились чувств; актуарий закрыл

лицо плащом, и в народе послышался глухой ропот, всегда предшествующий буре.

Тогда господин Бойе, врач, бросился в ратушу и объявил комиссарам-следователям, что четвертование будет безуспешно, если предоставить его только усилиям лошадей и не способствовать им разрезом толстых сухожилий. Судьи приказали исполнить это.

За неимением другого орудия Андрей Легри рассек при помощи топора плечевые и бедренные сочленения.

Почти в ту же минуту лошади рванули: сперва отделилось бедро, затем другое, потом рука.

Дамьен еще дышал.

Наконец в ту минуту, когда лошади выбились из сил над одним уцелевшим членом несчастного, он поднял веки и обратил взор к небу: и только в это мгновение смерть сжалилась над этим изувеченным остовом.

Когда служители начали отвязывать печальные останки с креста, чтобы кинуть их в костер, зрители заметили, что волосы Дамьена, бывшие черными во время прибытия его на Гревскую площадь, стали белы, как снег.

Так совершилась казнь Дамьена.

Нужно однако сказать, что смерть Дамьена не произвела на развращенный, бесчувственный народ того времени такого тяжелого впечатления, какое оно возбуждает в нас по прошествии целого столетия.

Это ужасное происшествие больше всех огорчило короля Людовика XV. Когда ему передали все подробности казни, он не мог удержать криков ужаса, удалился в глубину своих комнат, бросился на кровать и заплакал, как ребенок. Участие, которое принимали де Машо и д’Аржансон в следствии по этому делу, послужило одним из поводов к опале этих двух министров. Многие сравнивали Дамьена с Равальяком.

Оба цареубийцы столь мало похожи друг на друга, как мало похожи и результаты их преступлений.

Удар кинжала Равальяка потрясает свет, который могучая рука готовилась пересоздать на новых основаниях; удар этот изменяет на два столетия судьбы целой Европы, как будто весь земной шар до сих пор вращался вправо, а от этого толчка стал вращаться в противоположную сторону. Что же касается Дамьена, то если бы нож его и попал в сердце Людовика XV, то смерть этого короля все-таки не привела бы к тому, во имя чего преступник решился на это посягательство; нужно было быть безумцем, чтобы не предвидеть этого.

Равальяк был отъявленным фанатиком, одним из тех мрачных умов, которые ад создает время от времени для того, чтобы ужаснуть и привести в содрогание целый народ. Дамьен, напротив, был бедняк, который, не зная, как выйти из грустного положения, в которое его поставило похищение нескольких луидоров, решился проложить себе дорогу цареубийством.

Казнь Дамьена произвела такое впечатление на Габриэля Сансона, что он решился отказаться от должности исполнителя приговоров дворцового превотства. Он предложил своему племяннику принять на себя его обязанности. Вместе с этим он предоставил ему все доходы от этой службы, достигавшие до двух тысяч четырехсот ливров в год. Шарль-Генрих Сансон согласился и таким образом соединил две до сих пор отдельные должности в одну.

Глава V
Лалли-Толлендаль

На своем заседании 6 мая 1767 года Парламент вынес приговор, присуждавший Томаса-Артура де Лалли-Толлендаля, генерал-лейтенанта и главнокомандующего французскими войсками в Восточной Индии, к смерти за измену интересам короля.

Нужно сознаться, что как ни был несправедлив этот приговор, но он был встречен в то время обществом с полным

сочувствием и одобрением. Только спустя некоторое время общество опомнилось и с жаром взялось оправдывать графа де Лалли.

Несчастья, испытанные нами в Индии, вместе с потерей колоний, раздражали чувство национальной гордости, и без того так сильно развитое у французов; эта оскорбленная гордость стала громко требовать мщения.

Томас Артур де Лалли-Толлендаль был родом из Ирландии. Семейство Толлендалей последовало за Стюартами в изгнание. Оно показало себя столь же преданным им в Сен-Жермен, как и в Виндзоре.

Томас Артур начал свою военную карьеру с самого раннего детства. Двенадцати лет от роду он состоял уже офицером в ирландском полку Дильона и находился в рядах войск, осаждавших Барселону. В скором времени он стал командиром полка, принявшего его имя. В 1740 году, тридцати восьми лет от роду он был уже произведен в генерал-лейтенанты.

Он-то и составил проект высадки в Англию десяти тысяч человек войска для поддержания прав претендента Карла Эдуарда. Этот смелый, но невыполнимый план не мог быть приведен в исполнение, и напрасно граф де Лалли пожертвовал для осуществления его большей частью своего состояния.

Врожденная ненависть графа де Лалли к англичанам и необыкновенная храбрость показывали, что он достоин занять пост, который доверило ему правительство; с другой стороны, его необузданный характер, его упрямство и презрение ко всем средствам, кроме открытой силы, были причиной многих важных ошибок. На том месте, которое он занимал, тонкий дипломат был нужнее храброго воина.

За шесть лет до назначения Лалли-Толлендаля Дюпле с силами, недостаточными для того, чтобы отбиваться от врагов, не получая ни подкреплений, ни субсидий от метрополии, успел остановить англичан в Индии рядом дипломатических мер.

Дюпле при помощи своей жены, женщины действительно гениальной, которую туземцы прозвали Иоанной Бегум (принцессой Жанной), ловко умел пользоваться соперничеством туземных государей, льстил их самолюбию, подогревал их взаимную ненависть и уважал их религиозные убеждения; таким путем он приобрел себе бесчисленных союзников, при поддержке которых ему удалось бы изгнать из Карнатии всех англичан до последнего солдата, если бы правительство уже в то время располагало такими большими средствами.

Граф де Лалли умел бить врагов, но он не мог понять и усвоить всех тайн политики Дюпле, был слишком горд для того, чтобы идти по пути, по которому шел его предшественник.

Он начал с того, что взял приступом Сен-Давид, чего, за неимением флота, не мог сделать Дюпле; овладел Гонделуром и очистил от неприятеля Коромандельский берег.

Первой и главной причиной его несчастий было его увлечение этой победой. В Сен-Давид он допустил ужасную выходку. Войска, которым нерегулярно платили жалованье, бросились на город и разграбили его. В то же время де Лалли, презирая предания и веру индусов, приказывал впрягать многих из них, без различия каст, в тележки, осквернял самые уважаемые святилища и приказывал привязывать к пушечным дулам браминов, обвиненных в шпионаже.

Туземцы, которые до сих пор оставались верными нам, стали разбегаться толпами.

Лишившись их содействия в неблагоприятное для похода время года, вопреки мнению своих генералов, Лалли подступил к Танджеру. Англичане отступили, но едва он вошел в город, как они осадили его. Слишком поздно увидел Лалли свою ошибку; пришлось отступать, постоянно подвергаясь нападениям неприятелей. Четверть армии выбыла из строя в продолжение этого похода. Ни одна неудача не могла сломить эту железную волю. Лалли видел спасение только в

смелости. Он атаковал и взял приступом Аркат, столицу Карнатии, и вслед затем осадил Мадрас – главный центр всех английских сил.

Ему удалось овладеть Черным Городом, и солдаты при этом возобновили в более широких размерах все ужасы Сен-Давида.

При этом четыре тысячи английских войск успели запереться в Белом Городе, называвшемся также фортом Сен-Жоржа, и оттуда стали отражать нападение французов.

В то же время деканская армия, командование которой Лалли отнял у коменданта Бюсси господина Дюпле и передал маркизу де Конфлан, была разбита и взята в плен при Мюзилипатаме.

Даже солдатам надоело быть под началом этого гордого ирландца Лалли, и они начинали громко роптать; остальные туземцы из французской армии перешли к англичанам, Между тем компания, возмущенная гордостью и надменным обращением губернатора, не послала ему ни подкрепления, ни продовольствия, ни денег, в чем он крайне нуждался; быть может компания втайне сама желала, чтоб многочисленные неудачи освободили бы, наконец, колонии от ненавистного начальника. После двухмесячной осады форта Сен-Жорж Лалли понял, что все его усилия будут напрасны и бесполезны и с бешенством в сердце и угрозами решил отступить.

Строптивость Лалли не только не уменьшилась после этих неудач, но, напротив, возросла до неслыханных размеров.

Для удовлетворения своего самолюбия ему необходимо было свалить ответственность за эти неудачи на кого-нибудь другого. Оскорбленный до глубины души, он стал приписывать вину за неудачи не только своим офицерам и солдатам, но и гражданским начальникам колонии.

Генерал Коот разбил Лалли при Вандаваоши, взял Аркат и Деви-Кота, очистил Карикаль и оставил в руках французов

один Пондишери, да в соседстве с ним две-три крепости, которые англичане начали блокировать с 5 мая 1760 года.

Лалли защищал Пондишери с отчаянной храбростью, как будто он предчувствовал, что честь и жизнь его тесно связаны со спасением стен этого города. Не щадя себя, он делал неимоверные усилия для защиты Пондишери. Он являлся повсюду, где показывались неприятели, и в то же время смело противостоял восстаниям, которые происходили вследствие его необузданности, опрометчивых распоряжений, нищеты и голода в осажденном городе. *Лалли* боролся с этими сиутами и усмирял их силой, которая у него оставалась, – силой слова.

Всеобщее неудовольствие возросло до такой степени, что не было ни одного солдата во всей армии, который бы не роптал на своего главнокомандующего. Мятеж, только что подавленный, возникал снова, как пожар из пепла. *Лалли* в сердцах пригрозил губернатору *Лейри* и его советникам, что запряжет их в свою повозку; ему ответили оскорблением на оскорбление. Ночью к дверям его дома прибили оскорбительные пасквили.

В таком ужасном положении и провел он целых семь месяцев.

Наконец наступил день, когда у гарнизона осталось продовольствия только на одни сутки. *Лалли*, до сих пор наказывавший смертью за всякое предложение о сдаче, сам собрал военный совет, чтобы составить условия капитуляции. Генерал Коот не принял этой капитуляции. *Лалли* со всем войском пришлось сдаться безусловно. Французское владычество в Индии пало; *Лалли* с большей частью солдат в качестве военнопленных был отправлен в Англию. Даже на корабле, который должен был доставить их в Европу, *Лалли* и его спутники не постыдились сделать англичан свидетелями грустной картины своих раздоров.

Известие об этом несчастии возбудило общее негодование во Франции. Многочисленные враги *Лалли* соединились и

объявили гордого ирландца виновником всех этих несчастий. Его обвиняли не только в совершенном незнании военного искусства, но и в недобросовестности: говорили, что он растратил казенные деньги и тем самым лишился возможности платить войскам жалованье.

Лалли был в безопасности в Лондоне, но когда была затронута его честь, он не стал думать об опасностях, которым может подвергнуть свою жизнь. К тому же его ошибки были невольными ошибками и прямым следствием его характера. Совесть его была чиста.

Подобно де Ла Бурдонне, он просил английское правительство отпустить его во Францию. Он приехал в Париж не как обвиняемый, а как обвинитель и смело грозил врагам и клеветникам своим.

Как ни сильно было всеобщее негодование народа к тому, кого он считал виновным в позорном унижении французского оружия, однако никто не решался арестовать Лалли. Министры не решались начать обвинение невиновного соучастника ошибок, большая часть которых должна была по справедливости пасть на само правительство Людовика XV.

Лалли, несмотря на настоятельные просьбы своих друзей возвратиться в Англию, просил у короля, как милости, заключить его в Бастилию. 15 ноября 1763 года его просьба была исполнена. Лалли не мог пожаловаться на заточение. По снисходительности, с которой ему дозволяли прогуливаться и принимать друзей своих, равно как и по продолжительности следствия, тянувшегося не менее девятнадцати месяцев, никак нельзя было предположить, какая участь ожидает его.

Бедствия его не только не смягчили ненависти к нему, но, напротив, усилили настойчивость, с которой стали требовать его осуждения. 3 августа господин Лейри и верховный совет Пондишери, задетые за живое и оскорбленные обвинениями Лалли, представили королю прошение о правосудии и потребовали суда.

После падения Пондишери начальник французских иезуитов в Индии отец Лавр также возвратился со своими сподвижниками в Париж; он потребовал от правительства ежегодную пенсию в четыреста ливров в вознаграждение за услуги, оказанные им французской политике в Индии. В это время он умер, и когда явились для опечатывания оставшегося после него имущества, то нашли значительное количество золота и бриллиантов. На это сокровище был наложен секвестр, и кроме того, в шкатулке, где оно хранилось, нашли весьма важные записки, в которых Лалли обвинялся в расхищении казенного имущества и измене.

Несмотря на все старания противников Лалли, поведение его настолько не походило на поведение виновного, что господин Паскье, советник верховной камеры которому было поручено следствие по этому важному делу, основывал все свои обвинения только на документе, найденном у иезуита. Лалли был до такой степени убежден в своей невиновности, что имел неосторожность обвинить в различных преступлениях офицеров, служивших под его начальством, и начальников колонии; он так резко обличал как тех, так и других, что для оправдания их необходимо было осудить и казнить Лалли.

Между тем процесс был передан королевским патентом на рассмотрение общему собранию верховной камеры Парламента и уголовной палаты.

Перед судом так же, как когда-то во главе армии, Лалли не сумел обуздать свой неукротимый нрав. Он защищался упорно, считал себя оскорбленным, горячо восставал против обвинений, отвечал упреками на упреки, обличал низость одних, жадность других, даже осмелился заметить, что настоящим виновником всех несчастий было бессильное правительство, которое не сумело ни помочь ему при успехах, ни поддержать при неудачах. Убедительность и сила речи, впечатление, производимое видом этого храбреца, который

смотрел на всех гордым львиным взглядом, – все это уже начинало производить благоприятное впечатление на народ и уменьшать враждебное расположение его к Лалли.

Очевидно, что измена существовала лишь в воображении врагов Лалли.

Обвинения в лихоимстве были столь основательны и правдоподобны, как обвинения в злоупотреблении властью, в насильственных поступках по отношению к солдатам и чиновникам колонии, в бесчеловечном обращении с индусами. Все это были факты, свидетелями которых были все жившие в колонии. Вследствие этого суд, заранее предубежденный против обвиняемого, нашел достаточный предлог для того, чтобы приговорить его к смерти. 6 мая 1766 года был вынесен приговор, в котором было сказано, что Томас-Артур, граф де Лалли-Толлендаль, обвиненный и обличенный в измене интересам короля, государства и индийской компании, в злоупотреблениях властью, в притеснениях и лихоимстве приговаривается к отсечению головы.

Де Лалли был так горд и так высоко ценил себя, что подобно маршалу Бирону, с которым он имел столько сходства, он никогда не считал возможным, чтоб дело его могло иметь подобную развязку.

А между тем еще задолго до вынесения приговора по некоторым обстоятельствам он мог бы угадать, что участь его решена.

За несколько дней до вынесения приговора первый президент приказал майору Бастилии снять с преступника ордена и знаки генеральского чина, в которых он всегда являлся пред лицом своих судей. Офицер этот, всегда отличавшийся снисходительностью к заключенному, передал ему полученный приказ и просил не принуждать его к ужасной необходимости прибегнуть к силе. Лалли ответил, что награды, данные ему за храбрость и преданность королю, можно отнять у него только вместе с жизнью. Майор позвал солдат,

началась борьба. Солдаты повалили Лалли на пол и, срывая с него эполеты и аксельбанты, разорвали в клочья весь мундир обвиняемого.

Несмотря на это, преступник все-таки не хотел понять настоящего смысла всех этих строгостей.

Когда, наконец, ему прочли приговор, то он остался безмолвным, неподвижным и как бы в оцепенении. Можно было подумать, что он тщетно старался понять смысл только что услышанных слов.

Затем он разразился проклятиями и, обратившись к трибуналу, назвал своих судей палачами и убийцами.

Возвратившись в Бастилию, Лалли немного успокоился и попросил майора простить его запальчивость, которая несколько дней тому назад имела столь грустные последствия, и обнял его.

Многие, даже сам господин де Шуазель, просили короля о помиловании Лалли, но Людовик XV оставался неумолимым.

В семь часов его посетил господин Паскье. Он начал говорить очень кротко с осужденным и подавал ему надежду на прощение, но едва только он назвал преступлением поступки, которые Лалли не переставал защищать, генерал не захотел более слушать. Им снова овладел такой приступ ярости, какого еще с ним не было до сих пор. С яростью схватил он компас, которым пользовался для составления карты своих побед и поражений, и острием этого компаса нанес себе удар в грудь, около самого сердца.

Острие компаса скользнуло вдоль ребер и нанесло только легкую рану; тюремщики бросились на Лалли и отняли у него это импровизированное оружие. Отчаяние придало сверхъестественные силы этому несчастному; он вырвался из рук тюремщиков и хотел броситься на господина Паскье. Пришлось призвать на помощь солдат, чтобы совладать с преступником.

Эта сцена до такой степени напугала господина Паскье, что он забыл о снисхождении, которое правительство должно было оказывать этой знатной жертве правосудия; он приказал завязать рот преступнику, а сам отправился к первому президенту с требованием, чтобы вследствие сопротивления генерала и попытки к самоубийству скорее привели в исполнение смертный приговор.

Шарль-Генрих Сансон был уведомлен уже накануне, чтобы все было приготовлено для казни к двум часам послезавтра. Время казни Лалли было определено раньше, чем официально был объявлен приговор. Шарль Сансон спокойно сидел дома в ожидании окончательных приказаний. Вдруг он услыхал стук подъехавшей и остановившейся у его дома кареты. Он подошел к окну и увидел, что из кареты выходит отец его, который уже несколько лет назад удалился в маленький городок Бри-Конт-Роберт. Жан-Баптист Сансон был чрезвычайно встревожен.

В тот день один из его соседей, возвратившись из Парижа, рассказал ему развязку процесса графа де Лалли, и это пробудило в уме старца воспоминания.

Он тотчас же решил ехать в столицу, где бывал весьма редко по причине своей слабости, которая все еще продолжалась, несмотря на то, что чувства и движения снова возвратились к его разбитым параличом членам.

За тридцать пять лет до этого несколько молодых людей провели вечер в одной из пригородных слобод, которая незаметно мало-помалу превращалась в предместье и стала называться предместьем Пуассоньер.

Возвращаясь, молодые люди заблудились в лабиринте дорог, которые вследствие построек и переделок были почти непроходимы.

Ночь была темная, и шел проливной дождь. Долго блуждали молодые люди, спотыкаясь на каждом шагу и поминутно увязая в глубоких колеях, размытых дождем и

наполненных грязью. Наконец, они заметили ряд ярко освещенных окон на мрачном фасаде одного большого дома. Скоро стали до них доноситься слабые звуки музыки, по-видимому, вылетавшие из этого дома. Подойдя еще ближе, они заметили, что в окнах мелькает несколько пар танцующих.

Смело постучались они в двери и приказали вышедшему к ним слуге объявить их имена хозяину дома и передать ему, что они желали бы принять участие в его веселом празднике.

Через минуту вышел к ним сам хозяин.

Это был человек лет тридцати от роду, с открытым лицом и изящными манерами. Роскошный костюм указывал на человека из высшего общества, чего никак не предполагали молодые люди, входя в дом.

Он встретил их очень любезно; выслушал рассказ об их похождениях с улыбкой человека, еще сочувствующего увлечениям молодости. Затем он объявил им, что дает этот бал по случаю своей свадьбы, и прибавил, что ему очень приятно было бы иметь на своем празднике подобных гостей, но просит их подумать, достойно ли такой чести то общество, в которое они хотят войти.

Молодые люди стали настаивать, и хозяин дома ввел их в зал и представил своей супруге и родным.

Скоро молодые люди освоились, стали танцевать, протанцевали до утра и от души были восхищены оказанным им приемом.

Утром, когда они уже собирались удалиться, хозяин дома подошел к ним и спросил, не желают ли они знать имя и звание того, кого они удостоили своим посещением?

Молодые люди полунасмешливо стали просить оказать им эту честь, уверяя его в своей признательности за приятно проведенный вечер. Тогда новобрачный объявил им, что он Шарль-Жан-Баптист Сансон, исполнитель уголовных приго-

воров, и что большая часть гостей, с которыми этим господам угодно было провести вечер, носили то же самое звание.

При этом двое из молодых людей, по-видимому, смутились; но третий, молодой человек с бледным и красивым лицом, в мундире ирландского полка, громко расхохотался и объявил, что от души благодарит судьбу за этот случай, что ему давно хотелось познакомиться с человеком, который рубит головы, вешает, колесует и сжигает преступников. Затем он стал просить моего предка показать орудия различных казней и пыток.

Жан-Баптист поспешил удовлетворить это желание и повел своих гостей в комнату, которую он превратил в арсенал снарядов для пытки и казней.

Между тем как товарищи офицера удивлялись необыкновенному виду некоторых орудий казней, сам он обратил исключительное внимание на мечи правосудия, которыми отсекались головы преступникам, и не переставал их рассматривать.

Жан-Баптист Сансон, удивленный этим необыкновенным вниманием, снял со стены и подал офицеру один из мечей.

Это был тот самый меч, которым Жан-Баптист Сансон отсек голову графу де Горн. Это орудие было четырех футов длины; с тонким, но довольно широким клинком. Конец меча был округлен, а в середине клинка находилось углубление, в котором было вырезано слово: «Правосудие». Рукоять меча была сделана из кованого железа и имела около десяти дюймов длины.

Несколько минут молча рассматривал офицер это орудие казни; попробовав на ногте лезвие меча, некоторое время размахивал им с необыкновенной силой и ловкостью и наконец спросил моего предка, можно ли подобным мечом отсечь голову с одного удара.

Жан-Баптист Сансон отвечал утвердительно на этот вопрос и прибавил, смеясь, что если господина офицера

постигнет когда-нибудь участь господ де Буттевиля, де Сент-Марса и де Рогана, то он может быть спокоен на свой счет. Так как я, продолжал Жан-Баптист, никогда не доверяю своим людям казни дворянина, то могу дать вам честное слово, что не будет необходимости повторять удара.

Можно ли было подумать в то время, что странное любопытство офицера можно будет назвать предчувствием? Любознательный офицер был граф де Лалли-Толлендаль.

Жан-Баптист Сансон не забыл об этом. Он был сильно поражен удивительным стечением обстоятельств, которые предоставляли ему случай сдержать слово, данное когда-то офицеру ирландского полка. Тотчас же у него родилась мысль выполнить данное обещание.

Уважение, которое Шарль-Генрих Сансон питал к своему отцу, заставило его скрыть улыбку, появившуюся на его устах, когда тот объяснил ему свое намерение. Правда, что следы паралича почти исчезли, и Жан-Баптист мог снова владеть правой рукой, но далеко не с прежней силой.

Несмотря на все это, Шарлю-Генриху стоило немалых трудов отговорить своего отца от принятого им решения; наконец Жан-Баптист согласился с сыном, впрочем, только с тем условием, чтобы сам сын заменил его, и непременно хотел присутствовать при совершении казни.

В это время вошел полицейский служитель, который объявил Шарлю-Генриху, что настал час, назначенный для казни Лалли, и что исполнителя с нетерпением ждут в Бастилии.

Жан-Баптист отыскал тот самый меч, который с таким любопытством рассматривал когда-то Лалли, и затем отец и сын отправились в тюремный замок.

Слух о жестоком обращении с Лалли распространился в городе и до того тронул толпу, что она совершенно забыла о его проступках и народных бедствиях, бывших их последствием.

Из боязни, чтобы сильная и энергичная речь преступника не возмутила толпу, приказано было отвезти его на место казни с крепко завязанным ртом.

Тюремщики, не дожидаясь прибытия исполнителя, бросились на несчастного Лалли и, несмотря на отчаянное сопротивление преступника, скрутили его веревками и заклепали ему рот.

В эту минуту в комнату осужденного вошли оба Сансона. Жан-Баптист был очень взволнован; Шарль-Генрих, поддерживавший его, чувствовал, как дрожали руки у отца.

Лалли лежал на полу у кровати; из-под растрепанного платья и изодранной сорочки виднелось его избитое, окровавленное и покрытое синяками тело; из глубоких ссадин около рта и носа текла кровь. Несмотря на глухо завязанный рот, из его гортани временами вылетал хрип, походивший скорее на крик угрозы, чем на вопль страдания. Время от времени он встряхивал своими длинными седыми волосами. В это время он напоминал разъяренного льва, который потрясает своей гривой перед тем, как броситься на своих врагов.

На всех находившихся в комнате эта сцена произвела сильное действие: одни трепетали от ужаса, другие смотрели с негодованием на обращение с преступником. Увидев Шарля-Генриха Сансона, чиновник, приказавший завязать рот Лалли, обернулся к исполнителю и сказал громким голосом:

– Теперь ваше дело!

При этих словах осужденный остановил взор на Шарле-Генрихе.

Шарль-Генрих хотел приказать своим людям взять осужденного, но Жан-Баптист остановил его и сказал, что пока он тут, никто, кроме него, не имеет права приказывать.

Он стал перед Лалли на колени и, заметив, что тюремщики и солдаты так крепко связали преступника, что веревки впились в его тело, приказал помощникам отпустить веревки.

Лалли уже был не в состоянии говорить; он молча устремил свой взор на престарелого исполнителя. Кажется, он

узнал его, потому что улыбка мелькнула на лице его, и невольная слеза скатилась по щеке.

С этой минуты к нему возвратились прежнее спокойствие и хладнокровие солдата, поседевшего на поле битвы.

Проехав сквозь толпы народа, наводнившего улицы, печальный поезд остановился на Гревской площади. Здесь осужденный должен был остановиться на несколько минут и выслушать свой приговор. Во время чтения, когда актуарий дошел до слов: «за измену выгодам короля», Лалли грубо оттолкнул его и не стал далее слушать. По лицу его видно было, что он страдает, не имея возможности говорить и возражать против этих обвинений. Поддерживаемый Жаном-Баптистом Сансоном он взошел твердой и верной поступью по ступеням эшафота. На площадке он устремил на толпу продолжительный и спокойный взгляд, показывавший больше, чем самая энергичная речь. Затем, обернувшись к престарелому исполнителю, он как будто хотел сказать ему: «Вспомни!» Жан-Баптист Сансон показал ему свою худую, морщинистую и дрожащую руку и указал на сына, стоявшего на краю эшафота и старавшегося спрятать от преступника широкое лезвие меча. Потом Жан-Баптист прибавил, что в том возрасте, в котором они теперь с Лалли, остается только умирать, но он надеется, что сильная рука сына исполнит обещание, данное отцом.

Лалли поблагодарил его кивком головы и стал на колени у плахи.

Шарль-Генрих Сансон приблизился и хотел уже замахнуться своим широким мечом правосудия, но в эту минуту его остановил Жан-Баптист. Несмотря на годы и следы паралича, твердой рукой освободил он рот графа и, почтительно сняв шляпу, нагнулся к преступнику:

– Граф, здесь я хозяин. Вы теперь мой гость, так же как тридцать пять лет тому назад в моем скромном домике. Я не хочу изменять данному слову. Вы теперь совершенно свободны. Народ слушает вас, говорите!

– Я уже слишком много говорил с людьми, теперь я намерен беседовать только с Богом, – возразил Лалли.

Вслед за этим он громким голосом стал читать молитву, которую привожу тут в том самом виде, в каком мой дед записал ее тотчас по своему возвращению с места казни.

«Господи! Ты видишь, что я невиновен в возводимых на меня преступлениях, но я согрешил пред Тобою, покушаясь на самоубийство, и за это справедливо наказан. Приемлю от рук этого человека ту казнь, которую Ты, в своих неисповедимых путях, предназначил мне (глаза его в это время остановились на престарелом Сансоне). Благословляю Тебя, Господи, за правосудие Твое. Я верю, что память моя будет отомщена и предатели будут наказаны».

Прочитав эту молитву громким голосом, Лалли сделал Шарлю-Генриху Сансону знак подойти.

– Молодой человек, – сказал он, – развяжите мне веревки.

– Граф, эти веревки должны удерживать ваши руки за спиной.

– Разве необходимо связывать руки, чтоб отрубить голову. Мне не раз случалось встречаться лицом к лицу со смертью, и неужели вы думаете, что я стану оказывать такое бесполезное и вместе с тем безрассудное сопротивление.

– Граф, так принято!

– Хорошо! Если это так принято, то, по крайней мере, снимите с меня этот жилет и передайте его вашему отцу. Пусть это будет свадебным подарком, который я позабыл передать ему.

Шарль-Генрих Сансон повиновался и снял с преступника жилет, сшитый из одной из тех удивительных тканей, которые умеют делать только в Индии. Вместо пуговиц были пришиты к нему дорогие рубины. Долгое время хранился в моем семействе этот подарок жертвы интриг двора. Разумеется, этим подарком у нас дорожили гораздо больше

вследствие связанных с ним воспоминаний, чем из-за его материальной ценности.

После этого подарка граф сказал моему деду твердым голосом, но с едва заметным волнением:

– Теперь рубите!

Шарль-Генрих Сансон взмахнул мечом и ударил им по затылку преступника, но меч скользнул по волосам осужденного, которые не были отрезаны, а только подобраны. Вследствие этого образовалась глубокая рана на затылке Лалли.

Впрочем, удар был нанесен с такой силой, что Лалли упал ничком, но встал почти в ту же минуту и бросил на Жана-Баптиста Сансона взгляд, в котором выражались упрек и негодование.

При этом взгляде старик Сансон не выдержал, кинулся к своему сыну и с необыкновенной силой вырвал из его рук окровавленный меч. Меч этот засвистел, рассекая воздух, и прежде чем смолкли крик ужаса и проклятия, невольно вырвавшиеся у толпы, голова Лалли покатилась по эшафоту.

Это истощило силы Жана-Баптиста Сансона. Без памяти упал он в объятия своего сына, из его рук выпало роковое орудие казни, которым он нанес последний удар в своей жизни. Зубы Лалли оставили на этом мече неизгладимый знак. Впрочем, молитва старого воина на эшафоте была услышана. Божественное правосудие рано или поздно должно было совершиться. Действительно, процесс Лалли-Толлендаля был пересмотрен, и честное имя его было восстановлено.

Глава VI
Кавалер де ла Барр

В продолжение тридцати семи лет до казни Лалли-Толлендаля эшафот оставался праздным. Но едва свершилась эта казнь, как меч правосудия обрушился на новую

жертву. Этой жертвой был молодой дворянин, возбуждавший всеобщее любопытство своим мужеством и молодостью, а также тем, что наказание его было очень несоразмерно с совершенным им преступлением.

В конце июня 1766 года Шарль-Генрих Сансон получил предписание немедленно отправиться в Аббевиль для исполнения смертной казни.

Его чрезвычайно удивил необыкновенно настойчивый тон этого предписания.

За несколько дней до этого Парламент отказал в просьбе об апелляции одному молодому дворянину – кавалеру де ла Барр. Дворянин этот был присужден аббевильским окружным судом к отсечению головы и сожжению за богохульственные песни, в которых он оскорблял Пречистую Деву и святых угодников. Преступнику было только двадцать лет от роду. Все лучшие французские адвокаты считали процесс и приговор по делу де ла Барра чудовищными.

Повсюду говорилось, что Парламент, подтверждая приговор, хотел только успокоить иезуитов, возмущенных эдиктом об изгнании. Никто и не думал, что приговор этот будет приведен в исполнение и что король упустит случай воспользоваться своим правом помилования.

Как бы то ни было, но предписания, данные моему предку, были так определенны, что он должен был выехать в Аббевиль. Приехав в этот город, он тотчас же отправился к уголовному судье. Опасаясь, чтобы его звание не возмутило некоторых лиц, живших в доме сановника, Шарль-Генрих Сансон объявил свое имя только одному из слуг судьи. При этом он просил объявить господину судье, что будет ожидать на дворе до тех пор, пока ему не назначат свидание в суде.

Он удивился, когда увидел, что судья принял его не с официальной холодностью, а, напротив, очень радушно.

Это был человек высокого роста и чрезвычайно худощавый; низкий лоб, острый нос, рот, который, кажется, был

даже не способен улыбнуться, зеленоватые глаза, осененные густыми седыми бровями, – все это придавало ему вид, который нисколько не говорил в его пользу, несмотря на любезное выражение, которое он хотел придать своей физиономии.

Мой предок ему поклонился, но прежде чем он успел объяснить ему причину своего приезда, как уголовный судья уже объявил ему, что дело касается кавалера де ла Барр. Король, продолжал он, не уважил настоятельных просьб семейства, и казнь назначена на следующий день. Затем судья с необыкновенной поспешностью описал Сансону все подробности процесса и преступления, совершенного господином де ла Барром.

Привыкнув к достоинству и сдержанности в словах парижских чиновников, Шарль-Генрих Сансон не хотел даже верить своим ушам. Получив от аббевильского уголовного судьи необходимые приказания, он возвратился в тот дом, в который его поместили. Мысль о том, что еще раз он должен служить орудием для совершения вопиющей несправедливости, не покидала его.

Вот факты, послужившие поводом к осуждению кавалера де ла Барр.

В 1747 году на Новом мосту города Аббевиля был воздвигнут крест на пьедестале в итальянском вкусе. На кресте был изображен распятый Спаситель, а у подножий креста были помещены изображения всех орудий казни его.

Утром 9 августа 1765 года прохожие увидели, что этот крест был изломан прошедшей ночью.

Необходимо заметить, что все это случилось во время религиозных смут: процесс ла Валетта, Парламентские споры, эдикт об изгнании иезуитов, нападение философов – все это страшно возмутило всех верующих католиков. На все эти поступки смотрели, как на посягательство на свободу совести. Святотатство де ла Барра, случившееся в это время в Аббеви-

ле, глубоко взволновало и настроило против него всех жителей города.

12 августа, то есть через три дня после этого происшествия, амьенский архиепископ приступил к церемонии вторичного освящения креста, чтобы таким образом очистить от поругания священное изображение. Церемония эта имела сильное влияние на волнение народа. Прелат отправился с процессией к памятнику, обошел вокруг него с веревкой на шее и босыми ногами, отлучил неизвестных преступников от церкви, предал их анафеме и осудил на смерть.

По его приказанию местный уголовный судья немедленно приступил к розыскам.

Допрошено было более ста свидетелей.

Ни один из них не мог дать объяснений, которые сколько-нибудь относились к занимавшему судей делу.

Уголовный судья Дюваль де Суакур, который, как мы уже видели, так странно принял моего прадеда, стал проявлять в этом деле необыкновенное усердие. Впоследствии не без основания заподозрили его в том, что под маской религиозного рвения скрывается желание отомстить не столько за оскорбление Господа Бога, сколько за свои личные обиды.

В это время в Аббевиле жила одна дама, отличавшаяся благочестием и благотворительностью. Она пользовалась необыкновенным уважением не только у бедных людей, которым она помогала, но и у всех жителей Аббевиля. Эта женщина успела навлечь на себя гнев уголовного судьи.

Госпожа Фейдо де Бру, так называлась эта дама, была игуменьей в Вилланкурском аббатстве. В монастыре жила пансионерка, бывшая под опекой Дюваля де Суакура. Сирота эта была богата, и уголовный судья давно желал присвоить себе ее состояние, женив на ней своего сына. Но когда молодая девушка достигла зрелого возраста, то высказала сильное отвращение к предлагаемому ей союзу; игуменья заступилась за

свою воспитанницу и выхлопотала у президента бумагу, освобождавшую ее от опеки Дюваля де Суакура.

Оскорбленная гордость и несбывшиеся надежды на обогащение возмутили судью. Предполагая, что игуменья Вилланкура желает отдать свою богатую воспитанницу за своего сына, кавалера де ла Барр, судья поклялся отомстить и искал удобного случая.

За несколько дней до совершения описанного нами святотатства, судье уже представился случай удовлетворить свое желание.

Кавалер де ла Барр вместе с одним из своих друзей, Эталондом де Мориваль, прогуливался по городу; навстречу им попалась процессия капуцинов. Они пропустили ее и не сняли шляп. Эта непочтительность к святыне отчасти извинялась тем, что шел проливной дождь.

Дюваль де Суакур вовсе не думал упускать этого случая, он уже навел все справки. Но святотатство, совершившееся в это время, давало ему возможность сделать свое мщение полнее: он соединил в одно оба дела и, опираясь то на встречу с процессией, то на надругательство над крестом, то на безрассудные показания некоторых лиц, – обвинил пятерых молодых людей, принадлежавших к самым знатным семействам провинции.

Троим из них, Эталонду де Мориваль, Дюманье де Савезу и Дюнвилю де Майльеферу, удалось скрыться, арестовали только де ла Барра и Муазнеля.

Процесс продолжался недолго. Муазнеля, которому было четырнадцать лет, оправдали, и, несмотря на все старания и настоятельные просьбы госпожи де Вилланкур, кавалер де ла Барр и Мориваль 28 февраля 1766 года были приговорены к ужасной казни, о которой мы уже упомянули выше.

Я уже сказал, что Парламент отказался принять апелляцию. Кавалера де ла Барр перевели в Аббевиль, где должна была происходить его казнь.

На другой день по приезде Шарля-Генриха Сансона в Аббевиль рано утром кто-то сильно постучался в дверь дома, в котором он остановился. Это был тюремщик, который передал ему от имени уголовного судьи приказание немедленно явиться в ратушу, куда перевели осужденного.

Дорогой тюремщик рассказал моему деду, что с тех пор как де ла Барра уведомили, что из Парижа уже вызван исполнитель уголовных приговоров, он несколько раз осведомился, приехал ли исполнитель, и выказывал большое нетерпение его видеть; тюремщик сказал еще, что уголовный судья, у которого осужденный несколько раз осведомлялся об этом, ответил ему, что завтра он досыта наглядится на исполнителя. Наконец он уступил просьбам осужденного и позволил ему увидеть исполнителя. Господин де ла Барр находился в одной из комнат нижнего этажа тюрьмы – ко всем выходам были приставлены часовые.

Как только тюремщик дал знак осужденному, что пришло то лицо, которое он желал видеть, и когда Шарль-Генрих Сансон появился на пороге, то господин де ла Барр, сидевший у камина, встал и пошел к нему навстречу.

Как я уже сказал, господину де ла Барру было всего двадцать лет. Отсутствие бороды, тонкие и правильные черты лица, почти женственная красота делали его еще моложе, чем он был на самом деле. Стан его был строен и гибок, впрочем Шарля-Генриха Сансона поразила не столько благородная и красивая его наружность, сколько то необыкновенное спокойствие, которое сохранял молодой человек в эти ужасные минуты. Неприметная бледность обнаруживала небольшое волнение, а на слегка покрасневших глазах едва заметны были следы недавних слез.

Он, улыбаясь, взглянул на исполнителя и сказал ему:

– Извините, что я велел разбудить вас. Перспектива непробудного сна, в который вы скоро меня погрузите, сделала меня эгоистом. Ведь вы отрубили голову графу де Лалли, не

так ли? – Этот вопрос был задан с такой простотой и непринужденностью, что предок мой смешался и пробормотал что-то в ответ.

– Вы его страшно изуродовали, – продолжал господин де ла Барр, – я сознаюсь, что это только и пугает меня. Я был всегда немного франтом и никак не могу свыкнуться с мыслью, что моя бедная голова, которая, как говорят, недурна, может со временем сделаться пугалом.

Шарль-Генрих Сансон отвечал, что в случае с графом де Лалли виноват не столько исполнитель, сколько необыкновенное волнение осужденного, сопровождавшееся корчами и судорогами до самой роковой минуты. Он прибавил, что обезглавливание – казнь, более всего приличная дворянину. Для выполнения ее столь же необходимы присутствие духа и мужество жертвы, сколько сила и ловкость исполнителю. Кроме того, он прибавил, что при казни Лалли им действительно овладело какое-то волнение, но что, судя по необыкновенной твердости, с которой господин де ла Барр говорил о том, что для других составляет предмет ужаса и о чем они стараются забыть, он может уверить его, что он будет избавлен от бесполезных страданий и что его голова не будет изуродована.

– Хорошо, – сказал он, – вы будете довольны мною, еще раз прошу вас, только постарайтесь, чтобы мне не пришлось на вас жаловаться. Мертвецы часто бывают для живых опаснее, чем полагают; не наживите же себе врага.

Затем он простился с ним.

В ту минуту, когда Шарль-Генрих Сансон удалялся, он встретился с пожилой дамой в костюме абатиссы и монахом. Это была госпожа Фейдо де Бру, которая пришла для последнего свидания с тем, кого она любила, как сына. Монах, которого она привела с собой, был духовник осужденного.

Мой дед остался в ратуше. В восемь часов утра прибыл туда уголовный судья. Взглянув на него, Шарль-Генрих Сан-

сон, не перестававший думать о молодом человеке, с которым виделся утром, был поражен контрастом между спокойным и безмятежным составлением осужденного и расстроенным видом судьи. Лицо господина Дюваля де Суакура было бледно, губы дрожали, глаза горели лихорадочным огнем; он старался улыбаться, но радость, бывшая накануне столь искренней, теперь была скорее притворной, по задыхающемуся голосу и волнению можно было отгадать, что в нем заговорила совесть. Он бегал взад и вперед и суетился, чтобы ускорить приготовления к отъезду. Казалось, что для него слишком медленно текут часы, и время от времени глубокие вздохи обнаруживали его беспокойство. Наконец 1 июля в девять часов утра печальный поезд тронулся в путь.

Де ла Барр с дощечкой на груди, на которой было написано крупными буквами: «Нечестивец, богохульник и окаянный святотатец», проехал в позорной тележке расстояние, отделявшее его от места казни.

Исповедник его, монах доминиканского ордена, сидел около него справа, уголовный судья хотел поместиться с другой стороны.

Лишь только кавалер его заметил, как легкое судорожное движение исказило прекрасное лицо его; он обернулся и сделал знак моему деду, шедшему позади его, занять это место. И когда мой дед исполнил это желание, то преступник произнес громким голосом, так что его мог слышать господин Дюваль де Суакур:

– Вот так гораздо лучше; чего мне бояться, когда я нахожусь между целителем души и врачом тела?

Его отвезли к церкви Святого Вульфранка, перед папертью которой он должен был всенародно сознаться в своем преступлении, но он энергично отказался произнести слова, принятые в этом случае.

– Признать себя виновным! – вскричал он. – Да это значило бы солгать и оскорбить Бога – я этого не сделаю.

Когда прибыли к эшафоту, то мой дед, увидев, что осужденный побледнел, пристально взглянул на него; кавалер де ла Барр понял этот взгляд и тотчас же сказал деду:

– Не бойтесь за меня; будьте уверены, я не покажу себя ребенком.

Доминиканец, сопровождавший кавалера, задыхался от волнения. Мой дед подал знак четырем помощникам, которых привез с собой, и велел им подать меч, которым он должен был отсечь голову осужденному.

Де ла Барр попросил показать и ему это орудие, попробовал лезвие ногтем, и, уверившись, что оно хорошего закала и отлично наточено, сказал Шарлю-Генриху Сансону:

– К делу! Рубите твердой и верной рукой. Что до меня касается, то я не дрогну.

Мой дед с изумлением остановил свой взор на молодом человеке.

– Но, господин де ла Барр, обычай требует, чтобы вы стали на колени.

– Обычай будет нарушен на этот раз; пусть преступники становятся на колени, но я отказался от публичного признания в преступлении и буду дожидаться смерти стоя.

Смущенный Шарль-Генрих Сансон не знал, что делать.

– Рубите же, – сказал кавалер голосом, слегка изменившимся от нетерпения.

Тогда случилось очень редкое явление. Мой дед с такой силой и точностью ударил мечом, что разом пересек позвоночный столб и шею. Удар был до того быстр, что голова не скатилась, но около секунды держалась на туловище. Только тогда, когда упало тело, она отделилась от него и покатилась к ногам зрителей этой удивительной казни.

Хроники и легенды той эпохи воспользовались этим странным явлением, чтобы сочинить на основании его мно-

жество самых неправдоподобных рассказов. Один из этих повествователей, человек, по-видимому, не любящий затрудняться, прибавляет, что мой дед, хвастаясь своей ловкостью, обратился к народу со следующими словами:

– Не правда ли, славный удар?

Я обязан из уважения к памяти моего предка и к чести нашего сословия опровергнуть эту клевету, которая запятнала бы даже палача. Мне кажется совершенно невозможным тип палача по призванию, фанатически преданного своему делу и вдобавок еще гордящегося своей ловкостью. Если история и указывает нам на несколько личностей с врожденной кровожадностью и чудовищной жестокостью, то необходимо заметить, что подобные нравственные уроды никогда не появлялись в нашем звании.

Я знал многих из моих собратьев. Правда, большинство из них, как мне казалось, были много ниже меня по степени своего развития. Впрочем, этим они были обязаны не себе, а своему происхождению и воспитанию.

Тем не менее, ни один из них не мог исполнять своих обязанностей без отвращения и некоторого насилия над собой. Уже одно это указывает, как плохо мирятся эти обязанности с естественными наклонностями человека.

Случай этот можно объяснить только тем, что де ла Барр был казнен стоя, тогда как обыкновенно осужденные клали голову на плаху; этому еще способствовала та твердость, с которой осужденный встретил удар, а также необыкновенная сила удара. Мой предок не успел еще позабыть обстоятельств казни графа де Лалли и потому собрал все свои силы, чтобы не случилось снова чего-нибудь подобного.

Я слыхал, что подобные случаи встречались иногда в Африке. Там эта казнь в большом употреблении у арабов, которые с необыкновенной ловкостью отсекают головы преступникам своими превосходными ятаганами.

Приговор, осудивший де ла Барра в ту эпоху, когда философия и терпимость уже начинали вступать в свои права,

навсегда останется чудовищной и необъяснимой несообразностью духу времени. Суеверие и фанатизм слишком долго тяготели над памятью этого несчастного молодого человека. Он не имел даже утешения надеяться, подобно Лалли, что скоро раскаются люди, осудившие его, и что его честное имя будет восстановлено.

Но беспристрастный историк не ошибся насчет истинного характера этого юридического убийства, совершенного во имя религии.

Глава VII
Полон и Парламент

Описание казней, изложенное в предыдущих главах, заставило меня на время оставить в стороне ту часть наших семейных записок, в которой излагаются автобиографии членов нашего семейства. Между тем, по задуманному мною плану эти автобиографии должны сопровождать те интересные документы, которые я излагаю здесь, как материалы по истории права. Поэтому я снова займусь судьбой нашего семейства и в то же время постараюсь рассказать новые данные, которые, как я думаю, будут небезынтересны читателю.

В то время, на котором я остановился, рассказывая историю нашего семейства, умер Шарль Сансон. Вдове его, Марте Дюбю, удалось сохранить кровавую должность своего мужа для сына, Шарля-Жана-Баптиста Сансона, которому в это время было не более семи лет от роду. Эту эпоху по справедливости можно назвать эпохой несовершеннолетних. Нужно же было случиться так, что во время малолетства Людовика XIV и Людовика XV малолетним приходилось быть и на последней ступеньке социальной лестницы: палач был в это время несовершеннолетний.

Я сказал уже где-то, что человек может привыкнуть ко всему, и моя судьба может служить грустным доказательством этого. Начиная с Шарля-Жана-Баптиста Сансона, семей-

ство наше связано с кровавыми обязанностями палача и начинает считать эту должность наследственной в своем роде. Шарль-Жан-Баптист Сансон, с колыбели выросший на эшафоте, не знал уже ни жестоких душевных потрясений своего деда, ни мрачной меланхолии своего отца. С первых лет своей жизни он готовился к ожидающей его участи, сживался с нею и, казалось, никогда не думал о возможности изменить ее.

Марта Дюбю горячо любила Шарля Сансона, и преклоняясь перед его памятью, она решила отнять у сыновей возможность краснеть за своего отца и заставить их носить то же звание, которое носил отец. Поэтому-то, не ограничиваясь тем, что получила в наследство для старшего своего сына отцовскую должность, она стала хлопотать и добилась того, что второй ее сын, Габриэль, получил звание исполнителя приговоров придворного превотства. При описании казни Дамьена мы имели случай видеть печальный дебют этого бедного молодого человека и видели также, как сильно хотелось ему избавиться от тяжкой обязанности, лежавшей на нем.

Не таков был Шарль-Жан-Баптист Сансон; он больше походил на свою мать, на строгую Марту Дюбю. Эта женщина, как мать Гракхов, охотно, с гордостью потребовала бы к себе своих сыновей во время всех ужасов казни. Не мудрено, что она пользовалась необыкновенным уважением и доверием у президента уголовного суда, у королевского прокурора и у главных чиновников юстиции.

Таким образом, Шарль-Жан-Баптист с меньшим отвращением исполнял свои тяжелые обязанности, доставшиеся ему в наследство от отца и деда. Он прямо и без всякой задней мысли мирился с теми условиями, в которые был поставлен. Быть может, он имел возможность оправдывать себя в собственных глазах, благодаря тем мыслям, которые заронило в нем материнское воспитание, и развила та роковая среда, в которой он жил.

Я уже упомянул, что эпоха детства Шарля-Жана-Баптиста составляет пробел в наших семейных записках. Впрочем, не-

совершеннолетие его составляет не единственную причину этого пробела. Даже достигнув совершеннолетия, в то время когда сам он был уже в состоянии исполнять свои жестокие обязанности, он небрежно и с пропусками продолжает начатый отцом рассказ о жертвах эшафота. Видно было, что кровавые сцены, в которых он играл такую важную роль, производили на него уже менее сильное впечатление. В его записках почти нет ничего поучительного. Беглость этих заметок лишает нас возможности пополнить чем-нибудь сухой перечень событий.

Только с января 1755 года, то есть с того времени, когда мой дед взялся за перо, начинают встречаться рассказы с описанием подробностей. Так мы имеем рассказ о казни Рюкстона, колесованного за убийство одного адвоката по имени Андрие. Потом следует казнь инженера Монжо, который после двухлетнего заключения подвергся колесованию за убийство архитектора Лекомба. Всем хорошо знаком этот плачевный случай, который составил бы интересную главу в романе страстей человеческих. Известно, что Монжо, ослепленный роковой любовью, дал себя увлечь и согласился совершить это убийство. Он думал избежать наказания тем, что сам кликнул стражу и объявил, что совершил это убийство, защищаясь от нападения, направленного на него.

Этой уловке убийцы, обвинявшего свою жертву, не поверили. Но так как в это время Парламент был распущен, а Шателе не решался произносить уголовных приговоров, чтобы не подвергаться контролю королевской палаты, которую он не хотел признать, то дело затянулось, и только 25 сентября 1754 года Монжо был приговорен к виселице.

Раздраженный бесчувствием и эгоизмом, который показала Мария Тапаре, вдова господина Лекомба, Монжо у подножия эшафота решился открыть истину. Он потребовал к себе эту женщину, отличавшуюся кокетливостью и цинизмом, и во всеуслышание объявил, что она вооружила его ру-

ку для этого преступления. В суде торжественные показания осужденного преступника уличили ее в уловках и участии в преступлении, и она также была приговорена к виселице.

Монжо был колесован. Что касается госпожи Лекомба, то ей удалось отсрочить свою казнь тем, что она объявила себя на шестом месяце беременности и прибавила, что несчастный осужденный, которого она увлекла к погибели, был отцом этого ребенка, которого ему даже не придется видеть.

Перед смертью госпожа Тапаре потеряла присутствие духа; в ней не осталось и следов той смелости, которую замечали у нее в то время, когда она еще верила в возможность избежать той участи, которая грозила ей. В предсмертных ее томлениях виден был скорее постыдный ужас, нежели угрызения проснувшейся совести, которые вызывают земных судей к верховному суду небесному.

Вот все, что я могу сообщить об этой женщине. Романисты и драматурги воспользовались этой личностью и оставили потомству ее портрет, в котором я не имею намерения изменить ни одной черты.

В следующем месяце совершилась казнь Дюфрансея, судьи и актуария суда в Марте. Из-за недобросовестности этого судьи чуть-чуть не погиб на колесе один несчастный, падший жертвой ложного доноса, подкрепленного ложными свидетелями. Этот Дюфрансей обвинил негоцианта Пьерфита, прозванного Руа, в том, что будто этот негоциант подговаривал гвардейских солдат убить судью. Ему удалось добыть четырех ложных свидетелей.

Проделка была обнаружена.

Процесс был быстро проведен, и после обыкновенного допроса они были колесованы и повешены вместе с тем, кто подкупил их. Казнь Дюфрансея и лжесвидетелей совершилась 13 февраля 1755 года.

Вот те несколько заметок, которые мне удалось найти в журнале Жана-Баптиста Сансона.

В январе 1754 года с Жаном-Баптистом Сансоном случился удар, от которого он уже не оправился, и, таким образом, задолго до старости он сделался бессильным старцем. Мы видели его уже в то время, когда, потрясенный казнью Лалли, он собрал остатки своих угасших сил; но с этого времени он только хирел и мало обращал внимания на все, что около него происходило, а особенно на то, что было связано с его прежней должностью.

От брака своего с Магдалиной Тронсон он имел десять детей, из числа которых семеро сыновей наследовали грустное ремесло своего отца. Один из них был исполнителем в Реймсе, другой – в Орлеане, а прочие в Мо, в Этампе, в Суассоне, в Монпелье и проч. В известные праздники у отцовского стола сходились все сыновья его, рассеянные по разным местам королевства. Эти семейные праздники имели вполне патриархальный характер. Старшая в роду Марта Дюбю, дожившая до глубокой старости, занимала всегда середину одной стороны стола, а напротив помещался ее сын, лицо которого паралич превратил в какую-то величавую маску. На этих собраниях гости, а особенно слуги, плохо знакомые с именами сыновей Жана-Баптиста, стали называть их по месту их службы, с прибавкой частицы де (из). Таким образом называли их: господином де Реймс, де Суассон, д'Орлеан и т. д. Обычай этот навсегда сохранился для лиц нашего звания, хотя он возник описанным нами образом.

Старший из детей Жана-Баптиста, Шарль-Генрих Сансон, который в отличие от братьев назывался де Пари, был более других членов этого семейства одарен природой в нравственном и физическом отношениях. Хорош собою, отлично сложенный, он вместе с тем обладал отличными способностями, развитыми прекрасным воспитанием. Он отличался необыкновенным изяществом в обращении и настолько привлекал общее внимание роскошью своего туалета, что даже издано было отчасти оскорбительное для него предписание, запре-

щавшее ему носить голубой цвет, так как цвет этот был цветом французского дворянства. Шарль-Генрих Сансон не захотел рыться в пергаментах дома Лонгевалей и поднимать вопрос о том, лишает ли звания дворянина должность исполнителя приговоров (мы увидим, что он должен был поднять этот вопрос при других обстоятельствах). В это время он ограничился только тем, что заказал себе костюм еще богаче, но из зеленого сукна. Он ввел этот цвет в моду, и скоро все щеголи при дворе и в городе, и прежде всех известный маркиз де Леторьер, приняли покрой и цвет этого костюма, и стали носить платье a la Sanson.

С деда моего, Шарля-Генриха Сансона, начинается самая интересная и на этот раз не прерывающаяся часть наших мемуаров. Но прежде чем сообщить его заметки о революции, я считаю необходимым познакомить читателей с одним случаем из эпохи молодости моего деда. Он сам оставил рассказ об этом, и я привожу его здесь с буквальной точностью:

«После целого дня, проведенного на охоте, я зашел в один дом и встретил там маркизу де X… возвращавшуюся в Париж из своего имения. Эта дама вежливо поклонилась мне, предложила сесть, и через какие-нибудь полчаса беседы спросила меня, кто я такой. Разумеется, я отвечал ей, что я офицер, служивший при Парламенте. Она приказала поставить свой прибор рядом с моим, и у нас завязалась во время обеда такая оживленная беседа, что, казалось, будто мы оба от всей души увлеклись ею.

После десерта я приказал закладывать лошадей в мою почтовую повозку и удалился от моей благородной дамы со всевозможными изъявлениями благодарности за радушный прием. Но едва только я удалился, как один знакомый маркизы, заметивший нас, сказал ей:

– Знаете ли вы этого молодого человека, с которым вы обедали?

– Нет, – отвечал она, – он сказал мне только, что он офицер при Парламенте.

– Это парижский палач, я его знаю очень хорошо. Он недавно при мне исполнял свою обязанность, или, по крайней мере, присутствовал при казни, потому что он не совершает казней собственноручно.

Маркиза решила отомстить за себя. Действительно, не успела она приехать в Париж, как подала жалобу в Парламент и, объявив обстоятельства дела, требовала, чтобы я за оскорбление, будто бы причиненное ей, был приговорен просить у нее прощения с веревкой на шее, вместе с тем она просила, чтобы для общественной безопасности мне предписано было иметь на себе и на своем экипаже особенный отличительный знак, по которому всякий мог бы узнать меня.

Суд решил „вызвать обе стороны“ Увидев, что меня вызывают к ответу, я стал искать повсюду адвоката. Но благодаря ли влиянию госпожи маркизы, которое в то время было велико, или благодаря тому отвращению, которое обыкновенно питалось к моему званию, никто не захотел защищать мое дело. Мне пришлось защищать себя самому.

Адвокат противной мне партии произнес длинную речь, в которой заключались те же требования, которые изложены были в жалобе маркизы.

Я отвечал на это в следующих выражениях:

– Я очень счастлив, господа, что, представляя меня на ваш суд, меня обвиняют ни за мой образ мыслей, ни за мои поступки. Благодаря Бога, мне не в чем также упрекнуть себя перед судом человеческим. Все мое преступление состоит в том, что я занимаю должность, которая считается позорной и бесчестной. Но позвольте спросить у вас, господа, существуют ли в государстве позорные и бесчестные должности?

Позор есть следствие преступления, и где нет преступления, там нет и позора. Исполнение моих обязанностей не составляет преступления. То же самое чувство справедливости,

которое побуждает вас присудить к какому-нибудь наказанию, воодушевляет меня, когда дело идет о том, чтобы подвергнуть этому наказанию виновного. Обвиняющая меня сторона поступила очень необдуманно, призвав меня к вашему суду. Действительно, наши обязанности имеют столько общего между собой, что вы не можете обесчестить мое звание, не нанося в то же время смертельного удара себе. Я действую только по вашим предписаниям, и если есть что-нибудь достойное порицания в моем звании, то это порицание применяется и к вам. По духу законов тот, кто приказывает совершить преступление, более преступен, чем тот, кто совершает преступление, и подвергается той же самой ответственности, как и преступник.

Я знаю, что чиновники государства не пользуются все одинаковым почетом; каждый из них уважается настолько, насколько он приносит пользу обществу. Но, основываясь на этом, я могу сказать, что мое звание занимает одно из первых мест. Пусть его уничтожат на время, и я вас спрашиваю, что будет тогда с государством? Целое государство станет обширным притоном разбоев, безнаказанно сбросят узду все страсти, самые священные законы будут попраны, добродетель будет угнетена, и порок будет торжествовать повсюду. Тогда не будет другого права, кроме права сильного; тогда повсюду будет только воровство, разбои, убийства, безнаказанно совершаемые на глазах правосудия. Напрасно будете вы употреблять вашу власть; напрасно будете штрафовать преступников. Денежные штрафы не испугают разбойников, у которых ничего нет. Ваши приговоры к казни сделаются предметом насмешек, когда не будет исполнителей казни. Без боязни оскорбить вас, господа, скажу, что преступники боятся не приговоров, произносимых вами, не пера актуария, который излагает эти приговоры. Нет, мой меч заставляет их дрожать; под сенью моего меча живет невинность, имеет силу полиция и существует порядок.

Сам Бог вложил меч правосудия в руки короля, чтобы карать преступления и защищать невиновных. Король не мог сам исполнять этой обязанности и почтил меня честью – доверил мне этот меч. Я – хранитель этого сокровища, которое составляет атрибут его королевской власти и титула. Не вам он доверил этот меч. Не ваши приговоры осуждают преступника на смерть. Нет, само преступление карает себя или, лучше сказать, закон карает преступление. Вы объявляете только, что преступление было совершено, и вследствие того указываете на закон, который назначает смертную казнь, а я как чиновник государства обнажаю меч, караю преступление и мщу за угнетенную добродетель. Вот что приближает к трону мое звание и дает ему высокое значение.

Я хорошо знаю, что людей моего звания упрекают в том, что наша обязанность – убивать людей, поэтому-то и смотрят на нас с ужасом. Вот живой пример предубеждения, которое тотчас же исчезает, если поближе и беспристрастно вникнуть в суть дела. Нет ничего бесчестного и позорного в том, чтобы проливать кровь человеческую, если этого требует благо государства. Я даю возможность наслаждаться драгоценными благами мира. Я охраняю внутри государства мир, нарушение которого весьма вредно для общества: я беспрестанно укрощаю безумие преступных граждан, посягающих на общественное спокойствие, и редко проходит неделя, в продолжение которой мне не приходилось бы браться за оружие, чтобы наказывать порок и мстить за нарушение прав невиновных. Таким образом, я приношу обществу прочную пользу и поэтому имею некоторое значение по особенности моего положения.

Не думайте, что, защищая значение моего звания, так несправедливо оскорбленного, я лично ищу случая возвысить себя. Я хорошо знаю, что как бы блистательна ни была какая-нибудь должность, во всяком случае, значение ее совершенно независимо от той личности, которая ее занимает. Истинная

слава человека состоит в добродетели и в добросовестном исполнении долга, и я никогда не добивался какой-нибудь другой славы. Я никогда бы и не подумал защищать мое звание, если бы несправедливость моих противников не принудила меня сделать это. Но если я не присваиваю себе значения, соединенного с моей должностью, то будет также несправедливо признавать за мной тот позор, которым бессмысленная чернь покрывает мое звание; несправедливо считать меня лично бесчестным только за то, что некоторые считают мое звание заслуживающим этого позорного названия.

Адвокат моих противников, не найдя ничего позорного в моем звании, чтобы унизить его, пустил в ход то обстоятельство, что это звание давалось прежде самым недостойным людям. Люди, достойные смерти, говорил он, приговоренные уже к казни, покупали себе право на жизнь тем, что принимали на себя это звание, которое никто не хотел носить добровольно. Действительно, все это когда-то случалось, но при этом приходится только сожалеть об изумительном ослеплении людей. Многие из порядочных людей могли бы с пользой служить обществу в этой важной должности, но по предубеждению избегали этого, и приходилось возводить в это звание людей недостойных. Но что же доказывает все это? Никакое звание не прибавит пустому человеку, облеченному им, ни одного нового достоинства; точно так же недостатки личности, занимающей какое-нибудь место, не могут опошлить значение самого места. Если бы я занял мое место тем путем, о котором упоминает мой противник, то я соглашаюсь, что подобный аргумент говорил бы против меня. Но я уже шестой член нашего семейства, занимающий это место, которое переходит в нашем роду от отца к сыну. Если бы с нашим званием было соединено право на потомственное дворянство, как бы и следовало сделать, то я древностью своего рода мог бы, пожалуй, поспорить с самой маркизой.

Мне показалось, что вы улыбнулись, господа, при словах моих о правах на потомственное дворянство. Что нашли вы в

этом странного и выходящего из порядка вещей? Вы, господа, пользуетесь этим правом несмотря на то, что ваши обязанности только отдаленным образом содействуют общественному благу, тогда как мои служат ему почти непосредственно. За что же отказывается в этом праве мне? Ведь нельзя же отрицать того, что я принадлежу к числу членов Парламента и, сказать без преувеличения, к числу необходимейших его членов; доказательства этого были уже изложены мною прежде. Никто из вас, господа, не может в отдельности с успехом содействовать общему благу; каждый из вас участвует в составлении приговора настолько, насколько он связан с другими членами вашего собрания. Таким образом, вы действуете всегда только как члены коллегии, тогда как я служу общественному благу один и при этом распоряжаюсь как начальник. Звание начальника всегда должно пользоваться почетом, а в деле, зависящем непосредственно от верховной власти, оно должно пользоваться правами на дворянское достоинство. Генерал-прокурор как начальник своей части пользуется этим правом; главный актуарий также пользуется им; начальник приставов также не лишен этого права. За что же я один только составляю несчастное исключение из общего правила и не пользуюсь этим правом. Много неопровержимых доводов мог бы я представить в доказательство правоты моего дела; но я, как видите, ограничиваюсь только указанием на эти доводы. В моем звании люди приучаются лучше действовать, чем говорить; лучше управляться с мечом, чем со словами. Впрочем, я надеюсь, что мне удалось высказаться настолько, чтобы быть уверенным, что госпоже маркизе откажут в ее иске. Я получу также право сам начать иск против нее, но я думаю, что она достаточно уже наказана тем, что высказала свои безрассудные обвинения; эти обвинения более позорят ее, чем меня. Я прошу суд не о том, чтобы он снял с меня позор, нанесенный моему званию. Но я прошу о том, чтобы в приговоре суда было упомянуто, что я не только член государственного суда, но даже

пользуюсь правом начальника своей отдельной части; вследствие же двойственного характера моего почетного звания я со своим потомством должен быть признан в звании дворянина. Я нисколько не сомневаюсь в том, что все вы единогласно утвердите мои справедливые требования.

Адвокат маркизы по лицам судей заметил, что эта речь произвела сильное впечатление; чтобы уничтожить его, он счел своей обязанностью ответить.

– Господа! Я не знаю, – возразил он, – должен ли ограничиться одним презрением к только что выслушанной нами речи, или эта речь должна возбудить ваше негодование. Как! Презренный палач ставит себя на уровень с вами и даже осмеливается считать себя выше вас! По его мнению, он должен стоять выше всех в списке чиновников Парламента и даже выше господина президента. Он потомственный дворянин! Вот он первый человек в государстве! Я не стану опровергать его доводы; они отпадают сами собой. Довольно заметить вам, что презрение и отвращение к его званию существуют от сотворения мира. Эти чувства присущи всем народам и во все века. Это внутреннее чувство, это голос природы, презирающей служителя смерти. На него нельзя глядеть даже без тайного ужаса, и при встрече с ним глаза наши невольно ищут следы его свирепости, ищут пятна человеческой крови. Пусть он говорит, что ему угодно; никакие доводы не могут победить это чувство. В то время когда он исполняет свое ремесло и проливает кровь человеческую, природа невольно возмущается видом его.

Подумайте, господа, подчинитесь этому голосу природы, и я вполне буду уверен, что все голоса решат дело в пользу госпожи маркизы.

Я бросил на него гордый и презрительный взгляд и возразил:

– Я никак не предполагал, что столь мало нужно для того, чтобы быть адвокатом. Если это так, то мне стоит три дня побыть в дурном расположении духа, и я сделаюсь

юрисконсультом. Как это вы носите звание адвоката? Вы рассуждаете о судьбе гражданина? Прошу вас, господа, обратить внимание на то, что, чувствуя невозможность опровергнуть мои доводы, он не стал отстаивать ни одной из тех мыслей, на которые прежде опирался; он ограничился тем, что взял мое заключение и постарался выставить его в смешном виде. Говоря школьным языком, он соглашается с предыдущим и отвергает последующее. Это славный способ для возражений; ему нужно бы было или опровергнуть высказанные мною начала, или доказать непоследовательность моих выводов. Он не сделал ни того, ни другого; он чувствовал, что мною высказаны неопровержимые истины, в которых нет даже возможности сомневаться и знание которых неизбежно ведет за собой убеждение в них. Он возмущен тем, что я сказал, что мое звание непосредственно связано с вами и служит дополнением к вам. Очень жаль, что эти истины пришлись не по вкусу господину адвокату. Но эти истины доказываются так ясно, что я вызываю его и всякого, кто хочет отвечать мне. Продолжать ли дальше? Противник мой чувствует, что голос рассудка против него; он старается чем-нибудь склонить суд на свою сторону и взывает к внутреннему чувству, но это очень шаткое средство. Он говорит, что чувствует какое-то тайное отвращение к обязанностям моего звания; я не знаю этого, но, полагаясь на его слова, благоговейно верю ему. Что же касается меня, то у меня нет никакого отвращения к этому. Он смело объявляет, что все имеют такое отвращение. Но почему знает он это? Внутреннее чувство известно только тому, в ком оно существует. Но разоблачим одно доказательство моего противника и лишим его возможности ссылаться на него. Если даже тайное отвращение к моему званию и встречалось во все времена, что в этом факте говорит против меня? Это чувство было только следствием предубеждения, предрассудка, с детства привитого воспитанием. Если смотрят с ужасом на мои обязанности, то ведь на это-то я и жалуюсь, против этого-то и прошу защиты у правосудия. Вопрос те-

перь в том, имеет ли или нет это отвращение какое-нибудь разумное основание, а об этом противник мой не хочет и знать. Единственный довод, на который он ссылается, считая мое звание позорным, состоит в том, что моя обязанность убивать людей. Мы уже заметили, что нет ничего унизительного в пролитии крови, когда благо государства этого требует; мы прибавим к этому только несколько размышлений, которые окончательно подтвердят мою правоту и, в то же время, обнаружат невежество или слабость памяти у адвоката госпожи маркизы. Он объявил решительным тоном, что во все века обязанности моего звания были предметом всеобщего ужаса и презрения. Судя по этому, он, вероятно, не знает того, что делалось у древних народов, которые имели обыкновение поручать мои обязанности лучшим людям в государстве.

Правда, в эти счастливые времена еще не существовало Парламентов. Легко можно было обходиться и без них. Из всего этого видно, что господин адвокат или не знает истории или с умыслом обманывает судей. Согласитесь, господа, что если бы король назначил лицу, находящемуся на моем месте, пятьдесят тысяч экю жалованья и дал бы сообразные с этим привилегии этому званию, то ведь это было бы одно из лучших мест в государстве. Если вы сколько-нибудь сомневаетесь в сказанном мною, то для доказательства разберем еще одно положение моего противника. Он рассуждает так, что в то время, когда я казню людей и проливаю кровь человеческую, сама природа возмущается моими действиями и кладет на меня печать отвержения. При этом положении, чтобы сохранить последовательность, необходимо согласиться с тем, что всякий человек, проливающий кровь своего ближнего для своей защиты или для общего блага, становится в такое же положение; согласитесь, что это нелепо, и тысячи исключений из этого правила встречаем мы на каждом шагу. Не лучше ли согласиться с непреложным правилом, что нет ничего позорного и унизительного в обязанности проливать

кровь человека, когда благо государства этого требует. Мало того, приходится согласиться даже с тем, что это почетная обязанность. Из этого общего правила хотят исключить одно мое звание. В ответ на это я спрашиваю, на каком основании, и требую возражений; если мне не отвечают, я прямо говорю: это химера, это фантазия. Кто же согласится подчиниться химерической идее, которая не мирится со здравым смыслом, которая порок зовет добродетелью и добродетель – пороком?

Положим, что кто-нибудь убил своего врага на дуэли, то есть нарушил и божеские, и человеческие законы. Не правда ли, что он заслужил печать отвержения и сделался достойным смертной казни? Не правда ли, что он без преувеличения, сделался предметом ужаса для всех, и никто не только не должен кланяться ему, но даже садиться за один стол с ним? А между тем ничуть не бывало! Вопреки здравому смыслу принято смотреть на подобную личность как на прекрасного человека, а преступление его даже считается подвигом. В каком же жалком веке живем мы? Нас угнетают, основываясь на химерической идее; угнетают добродетель и в то же время боготворят порок! Презренный дуэлянт, сумасшедший, посягнувший на жизнь своего ближнего из одной кровожадности, считается прекрасным человеком, считается достойным хвалебных гимнов. И в то же время на честного человека, с пользой служащего обществу в одной из самых необходимых должностей в государстве, ставится печать отвержения, считается позорным сидеть с ним за одним столом! Вот живой упрек нашему веку! На вас, господа, лежит прямая обязанность изменить этот превратный образ мыслей. Достигнуть же этой цели вам легче всего признанием законности моих прав и моих требований. Я не прошу у вас милости; я надеюсь только на ваше беспристрастие.

После этого началось совещание, которое кончилось повелением оставить это дело в суде. Это значило, что судьи не могли сойтись во мнениях по этому делу».

Спустя почти целое столетие я печатаю эту защитительную речь моего деда, который осмелился заявлять о правах или, лучше сказать, о прославлении нашего звания, мысль о чем не раз приходила мне в голову.

Я воздерживаюсь от всяких объяснений. Что значат самые логические доказательства против могущественного голоса внутреннего чувства, которое, по справедливому выражению адвоката маркизы; всегда будет законом для целого света. Это внутреннее чувство прощает дуэлянту и презирает палача; но каким образом оно может презирать его, не презирая в то же время казни? Вот единственное замечание, которое мне хотелось сделать.

Возвратимся к Шарлю-Генриху Сансону. Мне необходимо еще рассказать историю его первой любви, интересную в том отношении, что предмет этой любви, называвшийся прежде Марией-Жанной Гомар-Вобернье, впоследствии стал называться графиней дю Барри.

Глава VIII
Дом Жана-Баптиста Сансона

Драмы, которые разыгрывались в это время и которые мне хотелось представить в некоторой связи, заставили меня оставить пока в стороне все то, что касается только судьбы нашего семейства и вследствие этого несравненно меньше интересует читателей. Но так как мне хотелось, чтобы биография нашего семейства была по возможности полна, то я прошу позволения снова представить несколько картин из быта нашего семейства, познакомить с некоторыми новыми подробностями внутренней жизни одного из тех домов исполнителей приговоров, мимо которых прохожий проходил всегда с ужасом и негодованием и которые осыпал проклятиями.

Кажется, что мне удалось уже достаточно познакомить читателей с личностью Марты Дюбю, вдовы Шарля Сансона II,

которой Бог дал дожить до глубокой старости и видеть, как множилось то поколение, которое, по мысли ее, вступило в такое ужасное звание и взялось за выполнение таких страшных обязанностей. Но мне также кажется, что я недостаточно еще познакомил читателей с личностью Шарля-Жана-Баптиста Сансона, который, как мы видели, стал родоначальником многочисленного поколения, представители которого занимали во многих городах Франции ту должность, которая как будто стала принадлежностью всех лиц, носящих нашу фамилию. Я оставлю в стороне всех этих господ де Тур, де Прованс, де Реймс и прочих, чтобы заняться исключительно господином де Пари, который был главой семейства и во многих отношениях играл самую видную роль среди своих собратьев по ремеслу. Дом парижского исполнителя стоял всегда выше уровня домов, принадлежавших лицам того же звания в провинции. Это было что-то вроде метрополии, в отношении к которой все исполнители считали себя вассалами. Я не говорю уже о том, что очень часто нас призывали в разные города провинции для того, чтобы распоряжаться казнью, даже в тех случаях, когда мы избавлены были от тяжелой обязанности исполнять ее собственноручно. Мало этого: наши собратья по ремеслу присылали к нам своих сыновей, которым думали передать свою должность, с просьбой принять их в звании помощников к себе и приучать к отправлению наших кровавых обязанностей. Мы редко отвечали отказом на эти просьбы и охотно отворяли для этих молодых людей двери нашего дома, который таким образом стал чем-то вроде учебного заведения, в котором эти молодые неофиты проводили все время своего учения.

Стоит вспомнить, какое огромное семейство было у Шарля-Жана-Баптиста Сансона для того, чтобы представить себе, какой огромный стол накрывался во время обеда в столовой дома на улице Пуасоньер. Марта Дюбю читала предобеденные и послеобеденные молитвы, и если верить сохранивше-

муся в моей памяти преданию, то стол всегда был очень полон; порядок до педантизма и самая приличная скромность постоянно царствовали в этой мирной трапезе.

Шарль-Жан-Баптист Сансон унаследовал от своей матери ее оригинальный образ мыслей и странные убеждения. Он, как и она, всегда оказывал самое радушное гостеприимство, как родным своим детям, так и чужим, которые приходили под их кров. Впрочем, у Шарля-Жана-Баптиста было столько труда и столько занятий, что оставалось слишком мало времени для отдыха; он с увлечением предавался анатомическим занятиям, которые завещал нам еще сам Сансон де Лонгеваль. Каждый день Шарль-Жан-Баптист открывал новые сведения и старался применить свои открытия к делу. Для этого, он ревностно занимался ботаникой и изучал гигиеническое и фармацевтическое значение растений. Бесспорно, он более всех моих предков продвинул вперед эти интересные наследственные изыскания. Прописи рецептов, которыми мы лечили, и часто с успехом, разные болезни у всех обращавшихся к нам за советом – почти все писаны его рукою. По примеру деда и отца я свято храню эти рецепты лекарств, так же как они, готов в любое время спешить на помощь страждущим и бываю особенно счастлив, когда в состоянии облегчить страдания или продлить жизнь своего ближнего с помощью тайн, открытых моими предками в приюте смерти.

Шарль-Жан-Баптист Сансон вставал очень рано. После легкого завтрака он отправлялся слушать обедню в церковь Святого Лорана. После этого он возвращался домой и принимал у себя на дому большое число больных за цену, соответствующую положению и средствам каждого больного. Надо сознаться, что люди богатые платили довольно дорого, зато беднякам и лечение, и лекарства давались даром. Это часто длилось до самого обеда, каторый бывал у нас в час пополудни. После обеда начиналась маленькая прогулка по саду, длившаяся около часа. Вслед за этим мой прадедушка

уходил в свою лабораторию, где, смотря по обстоятельствам, или готовил лекарства, или продолжал свои занятия.

Когда день подходил к концу, он, в ожидании ужина, который никогда не подавался раньше восьми часов, садился и отдыхал на пороге своего дома, обычай, который до сих пор сохранился в маленьких городках и даже в некоторых бедных кварталах Парижа.

В один из тех вечеров, которые он проводил так патриархально, сидя на пороге своего дома, ему пришлось принять довольно странного посетителя. С давнего времени существовала легенда, которой время от времени пользовались для того, чтобы сочинить новую сказку о таинственном доме палачей, на который общественное мнение всегда смотрело сквозь призму предрассудков. Легенда эта гласила, что один из исполнителей верховных приговоров, узнав, что сын его совершил преступление, которое строго наказывается законом, потребовал преступника к себе на суд. После этого суда он сам приводил в исполнение свой собственный смертный приговор преступнику-сыну, которого он не захотел передать в руки суда из боязни обесчестить свое имя.

Суровость и непреклонная твердость духа Шарля-Жана-Баптиста были широко известны не менее его благотворительности. Это высокое мнение о нем дало возможность применить к нему легенду о упомянутом нами Бруте эшафота.

В этом новом виде легенда снова явилась на свет, и в несколько дней общественная молва придала ей такие размеры, что рассказ этот дошел до слуха моего прадеда, который попал в этот рассказ уже вторично, потому что в эпоху своей молодости он прослыл за жертву подобного же происшествия. Это даже чуть-чуть не побудило Людовика XV приказать судить моего прадеда за этот мнимый акт верховного правосудия, которым нарушилось самое священное право короля – право помилования. К счастью, этого Сарданапала XVIII века убедили, что все это не что иное, как ловкая выдумка; только

благодаря этому не возмутился изнеженный и развращенный дух короля. Но несколько вельмож и придворных были увлечены этой драмой гораздо более своего короля и от души верили, что дом палачей бывает театром таких мрачных событий.

Итак, однажды вечером Шарль-Жан-Баптист скромно сидел на одной из каменных скамеек, стоявших у решетки его дома. Вдруг он видит, что перед ним останавливается роскошный экипаж, украшенный гербами, из которого выходит особа с резкими чертами лица, одетая в роскошный придворный костюм.

Эта особа, не приподнимая даже своей треугольной, обшитой галунами шляпы, покрывавшей волосы, расчесанные наподобие голубиных крыльев и покрытые блестящей пудрой, подошла, пошатываясь, к моему прадеду и, подозвав его к себе, спросила его, правда ли, что он предал смерти своего сына, обвиненного в воровстве.

Шарль-Жан-Баптист пожал плечами и ограничился таким ответом:

– Позвольте заметить вам, милостивый государь, что вопрос ваш, по крайней мере, странен. Неужели вы думаете, что отец, который настолько дорожил своей честью, что решился пролить кровь своего сына, чтобы только избавить его от стыда и позора, будет настолько глуп, что выдаст эту тайну первому придворному франту, который вздумает спросить его об этом.

Незнакомец нахмурился.

– Знаешь ли ты, негодяй, с кем говоришь? – возразил он, – я граф де Шароле.

– Я очень рад чести познакомиться с вашим сиятельством, – отвечал мой прадед. – Я уверен, что мне никогда не придется исполнять свою обязанность по вашему делу, несмотря на строгость законов, которые карают за покушение на жизнь знатных особ. Вот вы, ваше сиятельство, изволили

поверить тому, что я убил своего сына; поэтому и я могу поверить тем слухам, что сам король обещал помиловать того, кто убьет ваше сиятельство, точно так, как вы изволили убить несчастного и ни в чем не виноватого человека.

Граф побледнел от негодования:

– Несчастный! Я не знаю сам, как до сих пор я не проколол тебя насквозь шпагою за твое безумие. Но этим я как будто подтвердил бы те нелепые слухи, которые ты повторяешь. Хоть я и не хочу оправдываться перед тобой, наемным убийцей, но знай, что убийство кровельщика, которое будто бы было совершено мной, не что иное, как наглая ложь. Если этот человек и погиб при подобных обстоятельствах, то никак не я виной этому; все это сделал мой брат граф де Клермон, который и виноват в этом, если только можно назвать виновным человека, лишенного рассудка и действовавшего бессознательно.

История графа де Шароле, который для того чтобы показать свою ловкость, выстрелил в кровельщика и убил этого несчастного ремесленника на той самой крыше, где он выполнял свою опасную работу, была настолько распространена в эту эпоху, что прадед мой нисколько в ней не сомневался. Король помиловал графа и простил ему это убийство только с тем условием, что точно такое же прощение будет дано и родственникам или друзьям несчастной жертвы жестокости графа, если они решатся отомстить за себя и убьют графа. Поэтому Шарль-Жан-Баптист был необыкновенно удивлен, заметив, что граф с такой живостью отказывается от преступления, в котором обвиняло его общество, и на которое, как говорили, сам преступник смотрит только, как на шалость. Новое объяснение этого дела могло быть справедливо, и таким образом вся вина падала на брата графа де Шароле, который, судя по поведению его у гробницы диакона города Парижа (Diacre de Paris) и в некоторых других обстоятельствах был одержим безумием. Прадед мой

почувствовал вдруг какое-то странное расположение к графу, который скорее заслуживал сожаления, чем насмешки, если только действительно общественное мнение безвинно оклеветало его. Прадед мой попросил извинения в тех невежливых выходках, которые он только что сделал графу и удовлетворил его любопытство, показав ему Шарля-Генриха Сансона, игравшего на дворе и даже не подозревавшего о той страшной судьбе, которую приписывало ему общественное мнение. Вслед за этим Шарль-Жан-Баптист осмелился со своей стороны задать несколько вопросов по делу убитого кровельщика. Граф сполна подтвердил все сказанное им и уверял, что брат его, граф де Клермон, аббат храма Святой Жермен де Пре (Saint-Germain des Pres), совершил это убийство в припадке сумасшествия, и потому на все это дело надо смотреть только как на выходку безумного. Что же касается графа де Шароле, то, по его словам, он был совершенно невиновен и в доказательство ссылался на показания слуг, которые сопровождали его в это время.

– Шено, – сказал он одному очень молодому человеку, стоявшему на почтительном расстоянии, – подойди и скажи все этому молодцу, хотя он и кровопийца, но ты уверь его, что кровельщика убил не я, а брат мой, аббат, в припадке своего безумия.

Молодой человек только кивнул в знак подтверждения этих слов. Таким образом, этот разговор, начатый так грубо, кончился, как видите, доверием друг к другу и даже, можно сказать, оправданиями друг перед другом. Но более странно то, что с этого времени граф де Шароле, несмотря на различие в званиях, коротко познакомился с моим предком и посещал его всякий раз, как только приходилось бывать в Париже. Они стали обращаться друг с другом, как добрые соседи, тем более что граф во время своего пребывания в Париже обыкновенно жил в доме на улице Пуассоньер, следовательно, очень недалеко от нас. Не проходило двух-трех

дней, чтобы граф по приезде в Париж не являлся в сопровождении верного Шено навестить Шарля-Жана-Баптиста Сансона. Граф даже имел случай оказать услугу моему прадеду и сделал это с особенным усердием. Во время регентства издан был эдикт, заменивший право сбора, которым пользовались наши предки, постоянным жалованьем в шестнадцать тысяч ливров в год. Но ни Шарль-Жан-Баптист, ни отец его не получали аккуратно этого содержания. Различные присутственные места пересылали их друг к другу, а затруднительное состояние финансов препятствовало признать законность и удовлетворить справедливые требования моих предков. Таким образом, все недооплаченное им составило довольно значительную сумму. Шарль Сансон II просил себе аудиенцию у регента, который признал вполне законность этих требований и велел выдать ему пятьдесят тысяч ливров билетами королевского банка (Система Лоу); но стоимость этих бумаг скоро упала настолько, что мой прадед уже не мог употребить их, и до сих пор они лежат у меня в том самом портфеле, в который были положены после аудиенции у регента. Граф де Шароле представил Людовику XV то затруднительное положение, в которое были поставлены исполнители правосудия из-за невыдачи им жалованья, и вследствие этого Шарль-Жан-Баптист получил наконец значительную сумму денег, в которых очень нуждался.

Что касается истории графа, то и отец, и дед мой вследствие знакомства с графом были убеждены, что он нисколько не виноват в убийстве, которым запятнано его имя.

Шено был прекрасным оружейным мастером и гравером; он делал ружья, которые били очень далеко и отличались необыкновенной точностью наводки и изяществом отделки. За это он пользовался большим расположением графа де Шароле, страстного охотника и превосходного стрелка, как большая часть дворян того времени. Несмотря на свое искусство, Шено однажды, пробуя карабин самой изящной отдел-

ки, к которому приложил все свои старания, нечаянно спустил курок и тяжело ранил себя в предплечье и в кисть руки. Граф, наученный опытом, тотчас же поспешил воспользоваться хирургическими сведениями моего прадеда, который в своем округе слыл за нового Амбруаза Паре. Граф тотчас спросил его, не может ли он взять к себе на излечение раненого. Жану-Баптисту Сансону не было причины отказывать, и бедный Шено был перенесен к нам изувеченный и окровавленный. Но, исследовав хорошенько рану, прадед мой скоро убедился, что она не опасна и что радикальное излечение ее возможно.

Так действительно и случилось. По прошествии двух месяцев или около того рана совершенно закрылась, и Шено получил прежнюю силу и подвижность в раненой руке. Бедный мальчик навеки остался признательным моему прадеду, и эта признательность распространилась на всех членов нашего семейства; я сам в детстве имел случай отчасти испытать ее.

После смерти графа де Шароле Шено поступил на королевскую службу и был определен в оружейную палату Людовика XV. После смерти Людовика XV он остался на том же месте и при Людовике XVI, который высоко ценил все механические искусства и особенно уважал способности и знания Шено. К тому же Шено умел извлекать выгоды и из того, что был хорошим гравером и чеканщиком.

Но когда разразились революционные бури, то титул королевского любимца мог привести лишь к гибели. Шено вместе со своим государем по воле народа был переведен из Версаля в Париж, а 10 августа его вместе со многими другими прогнали и из Тюльери. Он чувствовал, какой опасностью грозит ему та придворная ливрея, которую он носил всю жизнь. Тогда он вспомнил о том доме, где лежал когда-то раненый и страждущий и где когда-то так ухаживали за ним и с таким гостеприимством принимали его. Он вспомнил все это и постучался в двери нашего дома.

Жана-Баптиста Сансона давно уже не было на свете, но зато сын его, воспитанный в правилах отца, занимал его место. Он смело протянул руку старику Шено и предложил ему у себя убежище на это бурное время. Странное дело! Бывший слуга вельможи и двух королей не составил себе никакого состояния в этой раззолоченной атмосфере. Он как человек с душой мечтательной и артистической и не способный к интригам, каждый день зарабатывал свой насущный хлеб, не имея привычки заботиться о завтрашнем дне. Все награды, которые он получал от щедрот своих покровителей, употреблялись им сообразно его вкусу и наклонностям: у него была прекрасная коллекция оружия всех стран – дамасские клинки и тому подобное. Вся эта коллекция, собранная с таким трудом, исчезла во время грабежа королевского дворца.

Бездеятельная жизнь была не по душе Шено, и, попав в дом моего отца, он захотел вознаградить за приют каким-нибудь полезным трудом. У нас долго не позволяли ему заниматься ничем, кроме изготовления оружия, что было любимым занятием и, можно сказать, страстью всей его жизни. Но когда он надарил своим новым хозяевам множество разного оружия, далеко превосходившего все то, что до сих пор было сотворено, то ничто не могло помешать ему наложить свою руку на ту отвратительную машину, которая в это время стала общеупотребительным орудием казни. В эпоху террора он нередко принимался бранить помощников исполнителя за их неаккуратность и наконец сам стал наблюдать за тем, чтобы лезвие гильотины всегда сохранялось в должном порядке и легко бы двигалось по перекладинам машины.

– Когда столько прекрасных людей гибнет на эшафоте, – говаривал он, покачивая головой, – то как же можно заставлять их еще мучиться. Казните их, черт возьми! Ведь вам это приказывают, но не тираньте их, прошу вас.

Я был еще так молод в то время, когда скончался бедный Шено, и у меня осталось только смутное воспоминание о нем.

Мне помнится только, что это был маленький, добрый, вечно веселый старичок, который славно качал меня на качелях, устроенных на двух самых больших деревьях нашего сада. Кроме того, у меня сохранилось воспоминание о подарке, сделанном им мне 1 января 1803 г. Этот подарок был прекрасным маленьким ружьем, на замке которого было вырезано: «Шено своему маленькому другу Генриху».

После этого в следующем году Шено тихо окончил дни свои. В то время я еще не понимал, сколько поучительного в жизни этого человека, начавшего свою карьеру у самого королевского трона и кончившего ее близ эшафота. Но после я не раз думал о Шено и, глядя на его маленькое ружье, задавал себе вопрос: возможно ли найти что-нибудь, чтобы лучше олицетворяло наши революционные перевороты, чем судьба человека, пользовавшегося любовью и гостеприимством сначала у короля, а потом у палача.

Глава IX
Аббат Гомар

Рассказав в предшествовавшей главе несколько анекдотов, которые, как мне кажется, не лишены интереса, я снова обращаюсь к Жану-Баптисту Сансону и семейной его жизни. Я уже говорил о графе де Шароле и о Шено: теперь мне остается познакомить читателей с третьей личностью, которая не постыдилась до самой своей смерти быть в самых дружеских отношениях с моим прадедом, а потом с моим дедом. Это был Анж-Модест Гомар, аббат Пикпуса, принадлежавший к ордену францисканцев.

Я, кажется, уже говорил, что в конце царствования Людовика XIV и в эпоху регентства осужденных сопровождали исключительно доктора Сорбонны. Но при Людовике XV и Людовике XVI этот обычай был оставлен, и стали приглашать к исполнению этого долга милосердия духовных лиц из

разных католических орденов. Почтенный отец Гомар скоро был назначен на эту должность за свою евангельскую кротость, благочестие и силу слова. Действительно, большую часть того времени, когда прадед и дед мой служили исполнителями приговоров, отец Гомар среди казней призывал несчастных искать утешения в религии. Все в нем, как нельзя больше, гармонировало с тем священным трудом, который он принял на себя. Лицо этой священной особы дышало добротой; его красноречие было кротко, но убедительно, и часто ему удавалось тронуть самые нечувствительные сердца.

Стоило только затронуть чувство долга, чтобы убедить отца Гомара принять на себя обязанность, для исполнения которой ему необходимо было делать страшные усилия над самим собой. Казалось даже, что силы его ослабевали и мужество исчезло, особенно, когда ему необходимо было присутствовать при исполнении медленных и мучительных истязаний, во время которых он обтирал пот с лица осужденного, вызванный ужасными страданиями, и освежал пылающие уста несчастного несколькими каплями воды. В таком положении бывал, например, отец Гомар всякий раз, когда производилась отвратительная казнь колесованием, на которую был так щедр в то время Парламент. Прадед и дед мой часто замечали то мучительное состояние духа, в котором находился порой этот бедный духовный утешитель, и нередко старались помочь ему и не дать лишиться сил. Однажды потрясение было до того сильно, что отец Гомар не мог даже дойти до местопребывания своего ордена и, чтобы собраться с силами, остался на несколько часов у нас в доме.

Добрый Гомар, тронутый вниманием и заботами нашего семейства преодолеть тот невольный ужас, который ему, быть может, внушало звание людей, оказавших ему гостеприимство, от души проявлял он свою признательность и с этого дня начал выказывать особое расположение к нам, как к людям, разделявшим с ним его тяжелые обязанности. Он

часто заходил к моему деду и, наконец, каждую пятницу стал разделять с нами скромный ужин, который ему угодно было почтить и освятить своим присутствием. Он выбрал сам этот день как день постный, потому что был уверен, что у нас ни в каком случае не заставят его нарушить правил его монашеского ордена. Действительно, этот человек отличался примерной воздержанностью, и нужно было употреблять страшные усилия, чтобы убедить его съесть что-нибудь, кроме вареных яиц.

Между прочим, уверяли, что отец Гомар очень бурно провел свою молодость и что под этой смиренной наружностью скрывается душа, которую когда-то сильно волновали страсти. Он надел монашескую рясу, уже испытав все огорчения, которые отравляют жизнь и сокрушают сердце.

Несмотря на постоянные встречи с отцом Гомаром, отец и дед мой не знали чему верить относительно прошлой жизни этой личности до вступления ее в монашество. Впрочем, они предполагали, что страшно преувеличены все рассказы о его юности, приписывавшие ему самые романтические приключения.

Во время этих ужинов по пятницам, которые посещались отцом Гомаром, он часто говорил о беспокойстве, которое причиняет ему одна родственница; легкомысленность и ветреность этой особы составляли для него предмет для постоянного огорчения.

– Это чадо, погрязшее во грехе, – говаривал он, покачивая головою. – Мне страшно подумать, что она несет на себе всю тяжесть греха своего рождения.

Эта молодая девушка по имени Мария-Жанна Сансон де Вобернье воспитывалась в монастыре Святой Анны, как казалось благодаря попечениям родственника своего Бильяра де Монсо; но действительным покровителем ее был отец Гомар, который не хотел показывать перед известным кругом слишком ясно свое внимание этой особе, Эта бойкая и взбалмошная девушка плохо поддавалась воспитанию, и в ней

проснулись страсти и желания, совершенно не мирившиеся с тем святым убежищем, в которое она была помещена. Чтобы удовлетворить ее желание жить не в четырех стенах, ее отдали в учение к знаменитой модистке Лабиль. Этот шаг был причиной ее гибели. В доме госпожи Лабиль каждый день собирались все придворные и городские франты, так что кокетству было где развернуться, стоило только дать ему волю. Замечательная красота Жанны обещала ей блистательное будущее, если она сумеет поставить себя соответственно. Она же только и мечтала об этом. К сожалению, со времени падения первой женщины редко не представляется случая для гибели нежного и слабого существа. Так было и с Жанной. Искушение появилось и приняло тысячу образов. Скоро она наткнулась на одну из тех презренных женщин, которые охотятся за молодыми девушками так же, как охотятся за жаворонками: они пользуются их неопытностью и заманивают их блестящей внешностью так же, как жаворонка заманивают в клетку блестящей поверхностью зеркала. Эта женщина была известная куртизанка де Ла Гурдан. Она скоро завладела воображением молодой девушки и посеяла в ней первые семена порока. Повесы и обольстители, которые в то время гордились своим званием, окончили дело и погубили Жанну.

Мой прадед имел полную возможность следить за ходом этого нравственного падения по грустному лицу отца Гомара. Правда, отец Гомар не рассказывал откровенно о всех похождениях своей племянницы; но он говорил о ней все с большей и большей горечью и от души проклинал ту чудную красоту, которая была причиной падения Жанны.

Дед мой Шарль-Генрих Сансон был тогда во всем цвету юности. Воображение его воспламенилось от рассказов отца Гомара, и он сгорал от желания познакомиться с этой девушкой, отличавшейся красотой и стоявшей на таком верном пути к гибели. С этим первым порывом сердца невольно связывалось благородное желание и надежда спасти эту заблудшую душу, пробудить в ней чувство долга и вновь

подчинить ее влиянию старика-дяди, который, как казалось, питал к ней отеческую любовь.

Из нескольких слов, нечаянно вырвавшихся у аббата, Шарль-Генрих узнал, что молодая девушка живет на улице дю Бак (du Bac) и даже запомнил номер дома. С этого времени он решился почти неотлучно стоять у этого дома и караулить всех, кто только выходит оттуда, до тех пор, пока не увидит девушки, черты которой напоминали бы портрет, данный отцом Гомаром. Ожидания его были не слишком продолжительны. Уже с первых дней он заметил, что каждый день после обеда из дома выходит молодая девушка с изумительно свежим цветом лица, голубыми глазами, коралловыми губками, с белыми, как перламутр, зубами и с роскошными, густыми белокурыми волосами. Это существо казалось Кипридой нашего времени, одаренной такой красотой и грациозностью, которую ни резец, ни воображение художника не могли придать древней богине красоты. Эту девушку провожала подруга, с которой, как казалось, она беседовала очень весело, потому что речи их время от времени прерывались взрывами того свежего и звонкого смеха, который свойственен только молодости. Чета эта отправилась в Тюльеррийский сад, куда пошел и мой дедушка за ними на таком расстоянии, чтобы не выпустить их из виду и в то же время не обратить на себя внимания.

Эта предосторожность, впрочем, не имела того успеха, какого ожидал мой дед. Молодая девушка и ее спутница, вероятно, давно привыкли к подобным маневрам, потому что не успели они сделать двух-трех кругов по аллеям сада, как уже убедились в том, что за ними следят.

Шарль-Генрих Сансон, как я уже сказал, был очень недурен собой, одевался изящно и со вкусом, носил шпагу и шляпу с такой непринужденностью, что казался образцовым джентльменом. Вероятно, своей внешности он обязан был тем, что обе дамы не стали пугаться его. Он решился

следовать за ними; провожал их во время прогулки по Тюльеррийскому саду и по улицам до тех пор, пока не убедился, что они отправились домой.

На другой день повторилось то же самое, но дело не подвинулось ни на шаг вперед. Он снова увидел, как эти девушки исчезли за маленькой дверью своего дома на улице дю Бак, а сам остался на пороге, повесив нос. Но вдруг почувствовал, что кто-то легко прикоснулся к его руке. Он оглянулся и увидел спутницу Жанны, которая очень почтительно ему поклонилась.

– Милостивый государь, – сказала она, – госпоже моей, девице Лансон, показалось, что вы следите за ней, как будто вы знакомы с ней и хотите ей что-то сообщить; поэтому она послала меня к вам разрешить ее недоумение и сказать, что вам угодно от нее.

У деда моего был характер очень решительный, поэтому он и не подумал об отступлении. Нимало не задумываясь, он отвечал:

– Действительно, я желал бы иметь возможность хоть одну минуту поговорить с вашей госпожой, но, не имея чести быть с ней знакомым, я не осмелился просить ее об этом.

– Вы можете видеть мою госпожу, – возразила служанка, – она одна и имеет полное право принимать кого ей вздумается. Если вы желаете с ней видеться, то как прикажете доложить о вас?

– Мое имя ничего не значит, потому что, как я уже сказал, я не имею чести быть знакомым с вашей госпожей. Впрочем, доложите, что ее желает видеть господин де Лонгеваль.

Частичка «де», разоблачившая звание незнакомца, показалась очень приятной субретке. Она полетела, как стрела, и тотчас же возвратилась с ответом, что ее госпожа ожидает господина де Лонгеваля.

Решительная минута наступила. Не без волнения входил Шарль-Генрих Сансон по ступенькам лестницы. Наконец его

ввели в комнату, в которой яркость дневного света была умерена драпировками; ароматный запах духов носился в воздухе; несколько бюстов Уато, Буше, Ланкре и Натуар были расставлены на трюмо, на камине и над дверями. Жанна полулежала на одном из трех красивых диванчиков, которые тогда были известны под именем «счастье днем» (bonheur du jur) и которые в то время были в большой моде. Она встретила моего деда с дружеской улыбкой и грациозным жестом указала ему на кресло, которое своим изяществом и комфортабельностью вполне гармонировало с роскошным диваном хозяйки.

– Сделайте одолжение, милостивый государь, скажите, чем я обязана чести видеть вас у себя дома?

Ответ на это был очень затруднителен.

– Сударыня, – сказал он с глубоким вздохом, – знаете ли вы господина аббата Гомара?

При этом имени молодая девушка быстро поднялась с места. Ее оживленное и румяное лицо совершенно побледнело, гнев блеснул в ее глазах, и она начала говорить голосом, который дрожал от волнения, несмотря на все усилия преодолеть это.

– Что это значит, милостивый государь? По какому праву осмеливаетесь вы мне говорить о господине аббате Гомаре? Разве вы шпион, которого подослали ко мне, чтобы следить за мной? Если это так, то мне очень жаль, что вы так рано взялись за это ремесло и в вашем возрасте согласились принять участие в преследовании женщины.

– Ах, сударыня, – жалобно стал говорить мой дед, оскорбленный незаслуженным подозрением, – как могли вы это подумать! Правда, я знаю отца Гомара, но к вам я явился по собственному влечению. Я часто слышал, как отец Гомар говорил, что у него есть племянница, которую он так нежно любит и которую совратили с пути злые люди. Эти слова родили во мне мысль найти вас, броситься к вашим ногам и

умолять вас послушаться голоса того многоуважаемого человека, который обращается к вам в одно время и как пастырь-духовник и как родной ваш советник, занявший место вашего отца. Клянусь вам, сударыня, что единственное желание его – ваше счастье в этой жизни и вечное блаженство в будущем.

Произнося это, Шарль-Генрих Сансон не ограничился одними словами, а действительно бросился к ногам Жанны. Тотчас же обратилась она к своей субретке, спрятавшейся за полуприподнятым занавесом и следившей за всей этой сценой, со следующими словами:

– Не правда ли, как глуп этот мальчик?

Предоставляю судить самим читателям, как был удивлен и поражен Шарль-Генрих Сансон, когда увидел жалкие последствия своего красноречия. Быть может, он надолго остался бы в этом положении, если бы его не выручил его решительный характер.

– Вы совершенно правы, – сказал он. – Я был очень глуп, набив себе голову мыслями отца Гомара. Предоставим этому господину проповедовать сколько ему угодно и сознаемся, что и в этой жизни очень много приятного. Прибавлю еще, что она никогда не представала предо мной в таком розовом свете, как теперь, под сенью занавесок вашей комнаты.

Эти слова тотчас же заставили Жанну опомниться.

– Милостивый государь, – сказала она, – я желала бы, чтобы вы говорили с большим уважением об отце Гомаре. Если иногда нравоучения и кажутся смешными в устах молодого ветреника, то знайте, что те же самые мысли кажутся как нельзя более к месту в устах того, кому возраст и носимое им звание дали полное право рассуждать таким образом. Кроме того, не забывайте, что вы говорите об одном из членов моего семейства, который имеет полное право на мое уважение.

Этот упрек был вполне заслужен и потому сильно тронул Шарля-Генриха Сансона.

– Милостивая государыня, – отвечал он, – уверяю вас, что я никого не уважаю так, как отца Гомара. Но мысли, с которыми я вошел сюда, перевернуты вами вверх дном, и я не знаю, что теперь со мной. В одно и то же время мне хочется и смеяться, и плакать. С одной стороны, меня радует то, что я вас вижу во всем цвету молодости, такой веселой и такой прекрасной; с другой стороны – меня глубоко огорчает все то, что я слышал о вас от вашего почтенного дядюшки.

– Я вам очень благодарна за этот смех и за эти слезы, – лукаво возразила молодая девушка; – но так как наше знакомство состоялось очень недавно, и так как дядя мне никогда не говорил о своих отношениях к семейству, фамилию которого вы носите, то позвольте мне прекратить наш разговор и выбрать более удобный случай для возобновления нашего знакомства.

– Ах, госпожа Лансон, не поступайте со мной таким образом! – в глубоком огорчении воскликнул мой дедушка. – Правда, мое обращение к вам было смешно, но оно было вызвано, с одной стороны, чувством глубокого уважения и привязанности к вашему дядюшке, с другой – тем необъяснимым чувством, которое влекло меня к вам, даже прежде чем я узнал вас. Нет, не отталкивайте меня! Удостойте меня вашей дружбы. Кто знает, быть может, будет время, когда я пригожусь вам.

– Смотрите, – сказала смеясь молодая девушка, – то я было приняла его за шпиона моего дядюшки, а теперь он уже почти готов стать моим шпионом.

С этого времени Шарль-Генрих Сансон стал часто видеться с Жанной Воберnье. Если бы целью моего труда была эта соблазнительная интрига, то я подробно бы описал, какими нежными ласками пользовался мой дед у Жанны. Впрочем, сказать правду, в эту эпоху Жанна была не слишком скупа на ласки. Но да позволят мне читатели не упоминать об этом, тем более, что мой дед в своих рассказах нам всегда говорил

об этой подруге своей молодости, которая впоследствии сделалась графиней де Барри, с чувством глубокого уважения, Действительно, он сознавался, что любил ее, что был сильно поражен этой изумительной красотой, которая впоследствии смогла пробудить потухшие чувства безвременно одряхлевшего короля; но он никогда не говорил нам, что на эту любовь ему отвечали взаимностью.

Я думаю, что не имею права нарушать последовательность и рассказывать здесь о том страшном испытании, которое перенес мой дед, когда революция сделала жертвой подругу его молодости. Но мне не хочется упускать случая разоблачить нелепую басню о том, что дед мой предсказал Жанне смерть на эшафоте, басню, которая была помещена даже в собрании знаменитых процессов Сент-Эдма, отличающемся особенной достоверностью. Неправдоподобность этих рассказов уже достаточно убеждает в том, что это чистый вымысел; кроме того, мне хорошо известно, что никто из нашего семейства не отличался особенным даром пророчества.

Я уже рассказал, каковы были действительные отношения Шарля-Генриха Сансона и Жанны Вобернье; что же касается всех этих предсказаний и пророчеств, то вот обстоятельства, которые породили их. Графиня де Барри как фаворитка Людовика XV, которую враги ее выставляют одной из причин падения монархии во Франции, была не более как свидетельницей и жертвой революции. По странному стечению обстоятельств эта женщина родилась в Вакулере, в той самой маленькой деревне, в которой, как говорит предание, родилась Жанна д'Арк, дева-героиня, короновавшая короля и спасшая свое отечество. Легкомыслие и ветреность Жанны Вобернье не мешали ей необыкновенно гордиться этим случайным сходством с героиней XV века. Поэтому хотя церковь не почтила подвигов и мучительной смерти Жанны д'Арк и не причислила ее к лику святых, но госпожа Вобернье не ред-

ко призывала ее имя и считала ее своей небесной покровительницей.

Однажды, не знаю по какому случаю, Жанна упомянула при Шарле-Генрихе Сансоне имя своей покровительницы и произнесла свою обычную фразу: «Клянусь святой Жанной д'Арк, моей покровительницей!»

– Ах, Жанна, – заметил ей мой дед, пользовавшийся правом обращаться к ней с некоторой фамильярностью, – право, ты совсем не похожа на Орлеанскую девственницу, и если когда-нибудь судьба пошлет тебе твоего Карла VII, то мне кажется, что ты скорее будешь для него Агнесой Сорель, чем Жанной д'Арк.

Эти слова были действительно пророческими, но в то время никто еще и не думал о том, что им суждено осуществиться.

Известно, что отец Гомар любил свою племянницу со всей нежностью родного отца. Часто подолгу он говорил о ней с воодушевлением, выдававшим сильную его привязанность к ней, которую он, впрочем, и не старался скрывать. Так это было и во время, когда Шарль-Генрих Сансон был увлечен своей страстью к этому восхитительному созданию, одаренному такой красотой и низко павшему. Легко представить себе то волнение, которое испытывал мой дед, когда в пятницу вечером он возвратился от Жанны и снова встретился с Гомаром. Несколько часов, которые провел он с ней, решили его участь и заставили его горячо полюбить Жанну. Он с жадностью подхватывал каждое слово старого аббата, каждую минуту порывался открыть свою тайну, но благоразумие его удерживало. Парижский исполнитель приговоров не решился разоблачить своей тайны, вспомнив, что мнимая дочь Рансона де Вобернье, чтобы лучше скрыться от своего семейства, переменила даже первую букву в своей фамилии и называла себя госпожой де Лансон. Дед мой остался для нее кавалером де Лонгевалем, красивым молодым человеком,

который смело выдавал себя за друга аббата Гомара, потому что хорошо знал, что дядя и племянница, или лучше сказать отец и дочь, не видятся друг с другом. Стоило разоблачить эту тайну хоть отчасти, чтобы совершенно разорвать все отношения между Жанной и моим дедом. На это никак не мог решиться Шарль-Генрих Сансон, совершенно ослепленный своей страстью к красавице Жанне.

Мало того, что эта женщина была почти идеально хороша, но в ней было столько естественности и задушевной веселости, что она была в состоянии в высшей степени завлекать всякого. В это время у нее в зародыше уже существовала та кошачья нежность, благодаря которой Жанна стала впоследствии Роксоланой французского Солимана.

Я вовсе не имею намерения представлять здесь полной биографии этой женщины; ей еще мне придется посвятить одну из последних глав, Поэтому я теперь не поведу вас за ней в домики Гурдана, не ознакомлю с интригами ее с Николаем Матоном, с купеческим приказчиком Дювалем и с хорошеньким парикмахером Лаки, который, как кажется, один только и любил ее искренне. Я опущу также все подробности знакомства ее с вдовой Лагард, у которой она соблазнила двух сыновей, и пребывания у госпожи Дюкенуа, где она под именем госпожи Ланж скрывалась от преследования тех, кто хотел спасти ее, до самой встречи ее с графом Жаном де Барри, который успел сперва погрузить ее сполна в грязь разврата, а потом уже сдать с рук на руки венценосному любовнику.

Давно уже Шарль-Генрих Сансон потерял Жанну де Вобернье из виду. История его первой любви не повторялась более. Но она осталась навсегда в сердце, как приятное воспоминание о заблуждениях юности, в которых не успела разочаровать даже сухая действительность жизни. Прерванная любовь, мимолетное блаженство, сделавшееся уделом мечтаний, всегда ценятся нами выше тех благ, с которыми мы ближе ознакомились и которыми пользовались более долгое время.

Давно уже аббат Гомар перестал говорить о своей дочери. Он как будто уже смирился с мыслью, что она навсегда потеряна для него. Но напрасно Жанна старалась под вымышленными именами скрыть свою беспорядочную жизнь; отец ее знал все или почти все. Когда наконец она добилась того двусмысленного положения, когда бесстыдство начинает находить своих поклонников, а разврат – своих льстецов, когда она сделалась любовницей короля, то часто стала вспоминать о своем отце.

Не раз самые знатные лица по ее поручению являлись к отцу Гомару и старались искусить его. Они предлагали ему и богатства и церковные почести; они прельщали его и митрой и посохом епископа и даже шапкой кардинала. Старый монах был непреклонен. Из такого грязного источника он не хотел принять ничего и отказался даже от вознаграждения за свои подвиги. До конца дней своих остался он в своем тихом уединении и выходил из него только для того, чтобы исполнять обязанности своего священного звания да раз в неделю разделял скромную трапезу того, кто заклеймен был позорной кличкой палача.

Глава X
Вступление в должность Шарля-Генриха Сансона

В январе 1754 года Шарль-Жан-Баптист Сансон заболел и лишился возможности исполнять свои служебные обязанности. Старшему его сыну Шарлю-Генриху Сансону было уже пятнадцать лет от роду. Шарль Генрих был довольно высокого роста и очень хорошо сложен для своего возраста и потому легко мог заменить своего отца при помощи служителей, вполне преданных нашему семейству. Таким образом, повелителем эшафота снова стал несовершеннолетний, и исполнение приговоров попало в неопытные руки. Этого

обстоятельства было уже достаточно для того, чтобы начать оспаривать у нас звание, ставшее принадлежностью нашего семейства. Скоро о болезни моего прадеда стало известно. Хотя дед мой и исполнял все обязанности, тем не менее место исполнителя приговоров в Париже стало предметом самых настойчивых исканий и интриг всякого рода.

По-видимому, судьбе угодно было продлить жизнь Марты Дюбю только для того, чтобы сохранить наше звание, наше кровавое наследство в нашем роду. Она вспомнила свои прежние отношения к магистратуре и горячо взялась хлопотать для своего внука о том месте, которое занимали его дед и отец. Когда она вынуждена была подтвердить пятнадцатилетний возраст Шарля-Генриха Сансона, то генерал-прокурор высказал очень понятное сомнение, что вряд ли в эти годы возможно точно исполнять обязанности такого звания.

– Поверьте, что это несправедливо, ваше превосходительство, – смело возразила эта странная женщина. – Мой внук высок ростом и силен, и, если вы позволите мне представить его завтра вам, то легко убедитесь, что его сложение крепко не по годам и что он в состоянии с честью идти по той дороге, по которой шли его предки.

– Приведите его, – сказал генерал-прокурор, которому тоже очень хотелось, чтобы звание исполнителя постоянно сохранялось в одном и том же семействе.

На другой день торжествующая Марта Дюбю появилась вместе с моим дедом. Довольно было раз генерал-прокурору увидеть это мужественное телосложение, это преждевременное развитие физических сил, чтобы остаться вполне довольным личностью Шарля-Генриха Сансона. Впрочем, генерал-прокурор не ограничился таким поверхностным испытанием и согласился признать Шарля-Генриха Сансона только временно исполняющим должность своего отца, обещая со временем утвердить его в этом звании. Несмотря на это,

исполнение должности продолжалось очень долго. Только через двадцать четыре года после этого, тотчас после смерти Жана-Баптиста, последовавшей в августе 1778 года, он был утвержден в звании исполнителя верховных приговоров. Только в это время утвердили его и взяли у него свидетельство на звание временно исполняющего должность отца, несмотря на то, что отец его не исполнял своих обязанностей уже с 1754 года.

В то время как Шарль-Генрих Сансон со своей бабкой входил в кабинет генерал-прокурора, им попались навстречу два человека, которые оттуда выходили. Один из них был уже в преклонных годах, а другой еще в самом цветущем возрасте. Хотя они оба удалялись очень быстро, сквозь полуотворенные двери легко можно было слышать слова генерал-прокурора, обращенные к полицейскому чиновнику, следовавшему за выходящими:

– Проводите этих господ до их дома, и если через два часа они не выедут из Парижа, то прикажите отвести их в тюрьму.

Проходя мимо Марты Дюбю, оба эти господина как будто смешались; один из них содрогнулся было при виде Марты Дюбю, но скоро оправился и послал ей презрительный взгляд.

– Мой друг, – сказала она своему внуку, – эти негодяи – твои дальние родственники, которых ты даже не знаешь. Они явились сюда, чтобы лишить тебя отцовского наследства. Но вот перед нами доказательство того, что они были приняты очень дурно. Когда меня уже не будет на свете, а тебе придется встретиться с ними, вспомни, что они хотели сделать с нами.

Действительно, эти два человека, отец и сын, служили исполнителями в одном из провинциальных городов и были дальними родственниками, так как почти все семейства исполнителей, как я уже упоминал, были связаны между собой узами родства. Услышав о болезни моего прадеда, эти господа

явились в Париж, чтобы проситься на его место. Чтобы добиться успеха, они сочли за лучшее предложить генерал-прокурору двадцать четыре тысячи ливров, если только он отдаст им это место. Мы уже видели, как встретил генерал-прокурор эту попытку подкупить его. Оба претендента удалились, повесив носы, и еще радовались тому, что удалось отделаться так легко.

Позвольте мне умолчать имена этих господ как потому, что они были родственниками нашего семейства, так и потому, что должен пощадить их из уважения к их потомкам, которые до сих пор носят их имя. Впрочем, почти то же самое повторялось и со мной в продолжение семилетнего выполнения мною должности верховного исполнителя. Особенно это стало проявляться тогда, когда замечено было, что я не буду сильно отстаивать занимаемую мною должность, к которой чувствовал отвращение, и что у меня нет наследников.

Но оставим эти грязные козни и возвратимся к Шарлю-Генриху Сансону, допущенному к исполнению обязанностей своего отца, звание которого он получил только через двадцать четыре года. Это вступление в должность Шарля-Генриха было последним предсмертным подвигом Марты Дюбю. Действительно, скоро она скончалась, оставив после себя многочисленное поколение служителей эшафота.

Смерть ее многое изменила в быту нашего семейства. Жан-Баптист Сансон не захотел более жить вместе с нами потому ли, что здесь все так напоминало ему покойницу-мать, или потому что он надеялся хоть немного поправиться на деревенском воздухе. Как бы там ни было, только он переселился в наш маленький домик в местечке Бри-Конт-Робер, которое в это время было только небольшой проезжей деревушкой. Вероятно, там он успел поправиться, потому что при казни Лалли-Толлендаля у него хватило, как мы видели, силы сдержать обещание, данное когда-то в шутку и обратившееся в такую грустную действительность.

После отъезда отца Шарль-Генрих Сансон, несмотря на свою молодость, стал главой семейства и хозяином дома. Шарлю-Генриху дольше всех членов нашего семейства пришлось владеть тем троном смерти, который зовут эшафотом. Мы видели уже, как он начал свою карьеру варварской казнью Дамьена, осужденного за что-то вроде попытки покушения на жизнь короля, и что скорее можно назвать сумасшествием, чем преступлением. Теперь мы скоро увидим, как тот же самый Шарль-Генрих станет слепым орудием революционных страстей и сам исполнит смертную казнь над несчастным королем. Мы видели, как ему приходилось казнить Лалли и Ла Барра – этих несчастных жертв интриг и фанатизма, но нам придется еще увидеть его в ту эпоху, когда вокруг него будут гибнуть на эшафоте тысячами жертвы террора, жертвы этой кровавой оргии. В это время закон уже карал не мечом правосудия; нет, это орудие оказалось недостаточным и понадобилась на то машина, под ударами которой падала целая жатва человеческих голов.

Мне кажется, что нигде, ни в одной стране, ни при каком правительстве личность палача не играла такой видной роли, какая выпала на долю моему деду в эпоху революции. Исполнитель народного правосудия, исполнитель замыслов Марата и Робеспьера, дед мой в эту замечательную эпоху как будто сделался альфой и омегой всех политических стремлений. Партия роялистов, партия жиронды, партия горы одна за другой попадали в его руки. Любой переворот оканчивался тем, что давалась новая работа роковому куску стали в гильотине, приводимой в движение моим дедом. Как будто в самом деле гильотина, этот венец изобретательности нашего века, заключала в себе разрешение всех социальных вопросов, так бурно поднятых в это время.

Но, распространяясь об этом, я боюсь упустить нить событий и боюсь сказать многое заранее. Мне кажется, что теперь необходимо познакомить читателей со всей карьерой моего деда. Этим я выполню и заданную себе программу и

покажу, между прочим, насколько личность Шарля-Генриха Сансона удовлетворяла всему, что только можно требовать от палача.

Итак, возвратимся опять ко времени его молодости, главные события которой нам уже известны. Все подробности его жизни сохранились в наших семейных записках, которые он продолжал вести очень усердно, хотя и не мог еще предвидеть, какую тесную связь будут иметь эти записки с историей нашей страны.

В последнее время царствования Людовика XV крови уже не проливалось. После казни Лалли и Ла Барра, казалось, утихла жажда крови, и королевский двор, погруженный в разврат, более не пятнал себя жестокостью. Поэтому в списке моего деда я нахожу только преступников, осужденных обыкновенным порядком уголовного суда. Все это были незначительные преступники, и преступления их не выходили из общего уровня безнравственности и испорченности человеческой. На одно только обстоятельство стоит обратить внимание: все преступники этого времени, осужденные и приговоренные судом к казни, постоянно апеллировали на решение суда к Парламенту, хотя результатом таких апелляций очень часто бывало усиление наказания.

Среди всех преступлений, о которых я упомянул мимоходом, остановимся на одном, как на более поучительном и заслуживающем большого внимания. Это было отцеубийство, которое я встречаю записанным в 1774 году. За оградой дворца правосудия (Palais de Justice) жил торговец лошадьми Шабер. У Шабера был единственный сын, которому он надеялся передать свою торговлю, в то время процветающую. К сожалению, этот молодой человек не заслуживал тех забот и попечений, которыми его окружали. Погрязнув в разврате, он проводил все время в праздности и удовольствиях.

Мало этого, он с нетерпением поджидал смерти своего отца, чтобы получить в свое распоряжение маленькое состояние, собранное долгими и усердными трудами, и потом

размотать его для удовлетворения своих порочных наклонностей.

В числе товарищей его разгульной жизни был также один ремесленник по имени Селье, которому он не раз высказывал, с каким нетерпением он ждет смерти своего отца. Наконец он сообщил ему о своем злодейском намерении как-нибудь избавиться от отца, чтобы поскорей начать пользоваться свободой и всеми удовольствиями разгульной жизни.

Селье был человек развратный и, кроме того, недалекого ума. Благодаря этому, мысль, зароненная молодым Шабером, и убеждения его имели успех. Селье согласился привести в исполнение ужасное предприятие, затеянное безнравственным сыном. Оба сообщника сговорились и назначили день и час, в который необходимо было действовать. Шабер сам передал Селье нож, предназначенный для совершения преступления. Сын сам наточил и направил нож для того, чтобы быть уверенным, что удар убийцы его отца будет верен.

Вечером около восьми или девяти часов возвратился домой Шабер-отец. Селье, спрятанный в доме, дождался его и нанес ему два удара ножом. Страшная борьба началась между убийцей и жертвой, сопротивляющейся очень энергично. Наконец Шаберу-отцу удалось схватить убийцу за волосы. На крик отца вбежал преступник-сын, но вместо того чтобы помочь отцу, он бросился на него и освободил убийцу, который, благодаря этому, скрылся. Между тем Шабер-отец, изнуренный потерей крови, упал на пол и лежал без всякого движения.

Быть может, вовремя оказанная помощь и спасла бы несчастного старика, но чудовище-сын удалился с варварской бесчувственностью животного.

Это преступление было совершено у самого дворца правосудия; окружные судьи тотчас же начали процесс. Шабер и Селье были найдены в том убежище, в котором думали

скрыться от преследований, и были арестованы. 12 декабря 1774 года был вынесен приговор суда: «Матвей Селье обвинен в том, что он предумышленно с заранее обдуманным намерением 2 декабря сего года нанес два удара ножом Антуану Шаберу-отцу, вследствие чего Шабер умер в ту же ночь. Людвиг-Антуан Шабер-сын обвинен и уличен в том, что был сообщником вышеупомянутого Селье, подговаривал и убеждал его совершить это убийство и даже накануне убийства осматривал нож, предназначенный для совершения преступления. Вследствие этого Шабер-сын приговорен к следующему: преступник должен принести публичное покаяние у главных дверей Собора Парижской Богоматери в одной рубашке, с веревкой на шее и с зажженной восковой свечкой в два фунта весом в руках; должен быть привезенным сюда исполнителем приговоров в тележке с надписью спереди и сзади: „Убийца, поднявший руку на родного отца“. Тут, на паперти храма, с обнаженной головой и стоя на коленях, преступник громким и внятным голосом должен был сознаться, что преднамеренно убил своего отца. Затем вышеупомянутому Шаберу должна быть отрублена кисть правой руки на плахе, поставленной у храма Богоматери. Отсюда Шабер и Селье в одной и той же телеге должны быть отвезены на площадь Дофина, здесь колесованы и оставлены на колесах, с обращенными к небу лицами до тех пор, пока Господу Богу угодно будет продлить их жизнь. Затем тело отцеубийцы должно быть сожжено на особо приготовленном костре, и пепел рассеян по ветру. Имущество Шаберов и Селье конфискуется в пользу короля. Сумма в двести франков, найденная у Шабера-сына во время его ареста, должна быть передана священнику на совершение панихид за упокой души несчастного Шабера-отца!»

В тот же день Парламент утвердил этот приговор и отправил осужденных к лейтенанту придворного суда для приведения приговора в исполнение.

Быстрота, с которой велось и окончилось дело, показывала, насколько подобные преступления возбуждали общественное негодование и как спешили привести в исполнение это вполне заслуженное наказание. Мирится ли с правосудием такая поспешность? Говорят, что Господь Бог долготерпелив, потому что вечен. Не должно ли и человеческое правосудие, только во имя Божие присвоившее себе право казнить, не должно ли и оно, по примеру Всевышнего, действовать не спеша, если желает избежать ошибок? Не имея намерения вдаваться в подробное обсуждение этого вопроса, я со своей стороны только скажу, что я всегда сочувствовал той медлительности уголовного судопроизводства, которая допущена современным законодательством. Нужно, чтобы успокоились страсти, исчезло первое сильное впечатление, прежде чем настанет день торжественного суда. Священное Писание говорит нам, что и на небе более радуются обращению на путь истинный одного грешника, чем спасению сотни праведников. Поэтому мне кажется, что и в храме правосудия нужно более радоваться оправданию одного невиновного, чем осуждению сотни преступников.

Что касается Шабера-сына и его сообщника, их участь вполне ими заслужена. К счастью, в эту эпоху отцеубийство уже было очень редким преступлением, и Шарлю-Генриху Сансону, быть может, не приходилось более исполнять такие суровые казни, какие были на этот раз обозначены в приговоре: преступник подвергался и публичному покаянию, и отсечению кисти руки, и сожжению трупа его. Исполнять такие важные казни приходилось нашим исполнителям гораздо реже, чем это предполагают. В то время моему деду чаще всего приходилось приводить в исполнение приговоры о наказании плетьми и клеймении: два наказания, бывшие в ходу за воровство и подделку. Я бы мог предоставить длинный список этих экзекуций, но они вызовут только чувство отвращения у читателя и не возбудят его интереса.

Современное французское законодательство более уважает чувство человеческого достоинства, и потому отменены уже телесные наказания. Клеймение и позорный ошейник (carcan) исчезли; при мне эти казни были исключены из числа обязанностей исполнителя. Изувечение, предшествовавшее казни отцеубийц, тоже вышло из употребления как проявление жестокости, недостойной цивилизованного общества. Сожжение трупов и рассеяние по ветру праха преступника осталось только как отвратительное воспоминание, которое возбуждало общественное негодование и пятнало правосудие. Теперь осталась на эшафоте только одна смертная казнь, производимая во имя закона. Внутренний голос шепчет мне, как старому потомку палачей, что и этот последний остаток варварства будет снесен могучим влиянием прогресса. Я надеюсь, что законодательства, опираясь на истинно религиозные начала, признают, наконец, что жизнь человеческая неприкосновенна, и что право прерывать ее принадлежит одному Господу Богу.

Глава XI
Дерю

Я уже говорил выше, что мы никак не могли сохранять постоянно спокойствие духа при всех казнях, которые приходилось нам приводить в исполнение. Несмотря на то, что владея мечом правосудия, необходимо быть безразличным ко всему окружающему, на каждого из нас часто нападало раздумье в то время, когда приходилось исполнять свои жестокие обязанности. Нередко кровь, проливаемая нами, возбуждала в нас такое беспокойное состояние духа, что, казалось, недалеко и до угрызений совести. Иногда важность преступления нарушала то бесстрастие, которого закон требует от исполнителя. Были случаи, когда приходилось карать смертью одно из тех чудовищ, которые имеют один только

образ человеческий и которых сам ад время от времени создает к ужасу всего человечества. В это время дух невольно возмущался, и меч правосудия казался нам мечом Божиим.

Одним из таких чудовищ был Антуан-Франсуа Дерю (Desrues).

Преступления этого человека возбуждали в одно время и тайный ужас, и непреодолимое отвращение. Нельзя без негодования смотреть на такую смесь лицемерия и ума; нельзя без отвращения прикасаться к этой грязи, к этим низким и тлетворным чувствам, для которых убийство человека не более чем средство, а сладострастие – цель жизни.

Антуан-Франсуа-Мишель Дерю родился в Шартре 20 января 1744 года.

Отец его, Мишель Дерю, если верить брачному контракту Франсуа Дерю, торговал хлебом; если же верить документам, оставшимся после процесса, то он был содержателем гостиницы. Очень легко может быть, что Мишель Дерю занимался в одно время тем и другим.

Мишель Дерю умер в 1748 году, оставив после себя четверых детей, из которых герой нашего рассказа был старшим. В то время, когда преступления Дерю придали всеобщую известность его имени, одна из его сестер была уже монахиней, а другая еще послушницей в Шартрском монастыре; брат его в это время был трактирщиком.

Франсуа-Мишель Дерю был воспитан одним из своих дядей, потому что после смерти отца он остался ребенком четырех лет, а мать его умерла вскоре после отца.

Молва гласит, что Дерю так же, как и Картуш, уже с самого раннего детства проявлял нравственную испорченность; ребенок как будто готовился к тем подвигам, которые предстояло ему совершить с годами. К сожалению, рассказы из этой эпохи, передаваемые обоими биографами Дерю, Кэйльо (Cailleau) и Бакуляром д’Арно (d’Arnaud), плохо мирятся с тем лицемерием, доведенным до крайней степени

развития, которое составляло характерную черту этого преступника. Это обстоятельство заставляет меня сомневаться в подлинности этих рассказов, и потому я избавляю себя от необходимости приводить их здесь. Кроме того, мне кажется, что любопытство, вызываемое преступниками, выходящими из ряда обыкновенных, начнет уже походить на сочувствие, если мы с таким усердием станем докапываться до мельчайших подробностей их детства.

Дядя отдал Дерю в ученье к шартрскому жестяных дел мастеру Леграну, а потом к мелочной торговке, вдове Картель; впрочем, ученик ничего не вынес, побывав в этих домах.

У Дерю вовсе не было качеств, характеризующих хорошего рабочего человека. У него не было влечения ни к мужской, ни к женской работе. Даже, по словам Кэйльо, самый пол этого человека до того был неопределен, что нужно было прибегнуть к операции, для того чтобы его сделать похожим на мужчину. Если у него и было призвание к чему-нибудь, так это к занятиям, которые равно приличны тому и другому полу и в которых усердие, услужливость и умение болтать заменяют силу или искусство, необходимое для всякого другого рода занятий.

Как только Дерю получил право располагать собою, он определился мальчиком во фруктовую лавку. Побыв некоторое время у одного шартрского купца, он пришел в Париж и тотчас же поступил на первое попавшееся ему место во фруктовую лавку на улице Контес-д'Артуа. Отсюда он перешел к одной вдове, родственнице своего первого хозяина, в лавку на улице Святого Виктора.

Здесь Дерю проявился в своем настоящем виде.

Это слабое, недоразвитое существо, едва заслуживавшее звания человека, было, несмотря на то, необыкновенно самолюбиво. Дерю постоянно мечтал о том, что он выдвинется из толпы, что он добьется и богатства, и почестей. Занимая самое ничтожное место в обществе, он смело и самоуверенно

поглядывал вверх и искал только случая, чтобы уцепиться за него и, с помощью силы воли, подняться выше.

Не успел Дерю пробыть и месяца в лавке вдовы, как она сильно полюбила его. Он нравился ей своим тихим, кротким, невозмутимым характером, своей правильной жизнью и религиозностью. Более же всего дорожила она им за то, что он увеличил число ее покупателей; кротость и обходительность молодого приказчика невольно привлекали к маленькой лавочке на улице Святого Виктора.

Встав рано утром, он начинал принимать покупателей. Одаренный необыкновенным даром приспосабливаться к обстоятельствам и разыгрывать роли, он с большим тактом умел подметить слабую струнку каждого покупателя и с каждым стал говорить особым языком. Без церемоний, как добрый малый, обращался он с чернью; шутил с охотниками и с особенным вниманием относился к какому-нибудь буржуа; при духовных и монахах он казался образцом смирения и благочестия. Из дома он выходил только для исполнения своих обязанностей; благочестие его было так велико, что он, определяясь к своей хозяйке, обязал ее нанять ему скамейку в церкви Сент-Этьен-дю-Мон и за это отказался почти от целой половины своего жалованья.

Это поведение не ускользнуло от внимания наблюдательных и умных людей всего околодка, и они стали поговаривать, что этот маленький Дерю, или кумушка Дерю, как его в шутку прозвали на улице Святого Виктора, пойдет далеко.

Поэтому не показалось удивительным, когда в январе 1770 года стало известно, что Дерю покупает лавку и товары вдовы.

Каким образом сделал он это приобретение? Как он выплатил эти деньги? Сам Дерю и оба его биографа уверяют, что на его долю досталось из отцовского наследства три тысячи пятьсот ливров. Можно также предполагать, что доброта

его бывшей хозяйки значительно облегчила для него уплату этих денег.

Как бы там ни было, но в августе 1770 года, двадцати шести лет от роду, он был уже купцом.

За что же принялся Дерю, заняв это положение в обществе? Кэйльо и Бакуляр предполагают, что он путем воровства и поджогов составил себе довольно значительное состояние. Но в этих данных нет ничего достоверного, тем более что, принимая их, необходимо согласиться, что все преступления Дерю чрезвычайно ловко скрывал. Из справок, наведенных о его прошлой жизни, не видно ни одного обстоятельства, обвиняющего его в подобном преступлении.

Дерю во что бы то ни стало решился достигнуть той цели, к которой он стремился; он решился даже не останавливаться перед преступлением, если это будет необходимо. Но при своем расчетливом характере он мог решиться на преступление только тогда, когда оно, по его расчетам, стало необходимым и когда уже испытаны были все средства для достижения своих целей.

Поэтому мне кажется, что он по-своему вел добросовестно свою маленькую торговлю. Правда, он был не слишком разборчив, допускал обман и всякого рода подделки в своей торговле. Но в продолжение этих двух лет, когда бдительность правосудия еще не находила ничего предосудительного в действиях Дерю, он все еще был убежден, что найдет возможность нажить себе состояние путем, по его мнению, совершенно честным.

В 1772 году весь квартал Святого Виктора был озадачен одной из тех новостей, которые так мастерски описывает госпожа Севинье.

Все стали говорить, что Кумушка Дерю женился и женился на молодой, богатой и знатной девушке. Толковали даже, что благодаря этому браку, он стал важным барином, и жена его имеет даже доступ ко двору.

Эта женитьба имела такой романтический характер и такие неожиданные последствия, что рассказ о ней сочтут скорее порождением фантазии, чем реальностью.

Фея, волшебная палочка которой должна была обратить скромную лавочку Дерю в роскошный дворец, называлась Марией-Луизой Николэ. Женщина эта не отличалась ни умом, ни красотой. Отец ее, незначительный артиллерийский офицер, уже умер; мать ее вышла во второй раз замуж за какого-то ремесленника, человека крайне ленивого и, кроме того, пьяницу. При нем все семейство дошло до такой крайности, что принуждено было плесть рогожи, чтобы хоть чем-нибудь зарабатывать кусок хлеба. В этой обстановке Дерю, кажется, нечего было рассчитывать на приданое; но с невестой было связано одно обстоятельство, которое открывало широкое поле деятельности для предприимчивого жениха. Это обстоятельство, кроме того, давало Дерю возможность ослепить блеском своего величия доверчивые умы и воспользоваться ими для достижения своих целей.

Обстоятельство это было следующее.

Незадолго до этого один дворянин по имени Деплейнь дю Плесси (Despleignes du Plessis) жил в своем полуразрушенном замке, носившем пышное название поместья де Кодевиля и находившемся в окрестностях Оксера.

Этот Деллейнь дю Плесси был в некотором роде деревенским мизантропом, одаренным всеми теми мелкими страстишками, которые обыкновенно составляют принадлежность ограниченных людей: он был скуп, груб в обращении и так недоверчив, что не держал ни одного человека у себя в замке. От души ненавидел он своих соседей, которые в свою очередь ненавидели его; угнетал своих фермеров и вел ожесточенную войну с браконьерами, которых, как ревностный поклонник Святого Губера, считал чуть ли не хуже моровой язвы.

Однажды этого господина нашли мертвым в его любимом кресле у камина с зарядом крупной заячьей дроби в груди.

Преступление было очевидно, потому что окно этой комнаты было открыто, и все ружья в доме были заряжены и стояли на своих местах. Несмотря на это, все старания правосудия остались тщетными. Убийца не был найден, и осталось неизвестным, кто из угнетенных фермеров или обиженных браконьеров отомстил за себя таким образом.

Но Деплейнь дю Плесси был слишком незначительной личностью, поэтому нет ничего удивительного, что скоро все позабыли о его смерти и стали думать только о том, как разделить оставшееся после него наследство.

Деплейнь не слишком давно стал называться кавалером Деплейнь, владетелем Кодевиля, Герши и прочее; прежде он назывался просто господином Беро, и отец его имел лавку в Бове. Быть может, обстоятельства жизни этого человека напоминали господина Жуардэна (Jourdain), и верно, дела шли ничуть не хуже, чем у этого мещанина во дворянстве (bourgeols-gentilhomme), потому что господин Бего успел накопить довольно деньжонок, чтобы купить вышеупомянутое поместье и выхлопотать для своего сына превращение из Беро в Деплейнь дю Плесси. Поэтому-то к родословному древу покойника привилось несколько лиц совершенно незнатного происхождения. В числе их находилась и двоюродная сестра Деплейня, Тереза Ришарден, вдова господина Николэ, вышедшая во второй раз замуж за ремесленника Карона. Эта-то Тереза и была матерью будущей госпожи Дерю, которая также имела право на наследство своего двоюродного дядюшки.

Эти-то права и соблазнили нашего Дерю, на них-то он и решился жениться.

Брачный контракт был заключен у парижского нотариуса Рандю с соблюдением всех формальностей и с такой пышностью, как будто в самом деле сочетались браком богатые и

знатные люди. Дерю придавал большое значение тому акту, который он подписывал и из которого надеялся извлечь большие выгоды. В контракте было упомянуто, что у супругов будет общее как движимое и недвижимое имущество, так и все то, что они приобретут впоследствии. Дерю оценил все свое имущество, состоящее из торговли, движимого имущества и капитала в двадцать тысяч франков. Госпожа Карон оценила приданое и движимое имущество дочери своей, девицы Марии-Луизы Николэ в тысячу ливров; кроме того, в пользу будущих супругов госпожа Карон с согласия своего мужа давала в приданое своей дочери третью часть из приходящейся ей доли наследства Жака-Жана Деплейнь дю Плесси, кавалера и владетеля де Кодевиля, Герши и других. Наследство это еще не было разделено, но уже оглашено. Из него на долю госпожи Карон досталась одна часть; прочие претенденты на наследство были дядя умершего, господин Лоран, имевший по бретанскому закону право на наследство, и Мария-Шарлотта Куртон, двоюродная сестра господина Деплейня. Таким образом, все наследство было разделено на три части, и одна треть его приходилась на долю госпожи Карон и ее семейства.

Не успел еще Дерю завладеть тем, на что смотрел как на средство приобрести себе состояние впоследствии, как уже начал действовать с энергией, которая характеризовала все его поступки.

Права, предоставляемые брачным контрактом, были подтверждены всеми наследниками. С этой целью был составлен особый акт, который господин Лоран подписал в Монтеро, а госпожа Куртон со своим супругом в Париже.

Сделав это, Дерю стал подумывать о том, как бы ему одному завладеть всей долей его тещи. Госпожа Карон и ее супруг были не в состоянии бороться с таким могущественным противником. Он был так нежен с ними, так красноречиво описывал им те трудности, от которых он их избавляет,

что они почти с благодарностью приняли сделанное им предложение.

Господин Карон и его супруга легко согласились получить за свою часть наследства капитал в тридцать тысяч ливров. Из этой суммы пять тысяч ливров отчислялось для вознаграждения господину Дерю, то есть, говоря другими словами, новобрачный получал эти деньги в придачу к приданому его супруги. Из остальных двадцати пяти тысяч ливров господин и госпожа Карон получали только тысячу, а остальные деньги заменялись пожизненным доходом в тысячу двести ливров; при этом была сделана оговорка, что в случае смерти госпожи Карон половина этого будет уплачена господину Карону, если он переживет свою жену.

Поладив таким образом со своими родственниками, Дерю приступил к прочим наследникам. Что касается господина Лорана, то с ним было нетрудно. Это был тип буржуа старого времени, поклонник философии Эпикура. Он был самым прожорливым в Монро и чувствовал истинное наслаждение, удовлетворяя свои физиологические потребности. Этому человеку всегда казалось, что дела и гербовая бумага и без того чересчур часто мешали правильности его пищеварения. Поэтому неудивительно, что он легко согласился на все условия, предложенные ему Дерю, и отказался от своей доли, получив вместо нее серебряную посуду и мебель из замка Кодевиля.

Зато господин и госпожа Куртон оказались неприступными. Пользуясь советами одного из тех хитрых и пронырливых дельцов, которых всегда так много в каждом большом городе, они отказались от всякой сделки и не соглашались отказаться от своих прав без выгодного вознаграждения. Дать же это вознаграждение вовсе не входило в расчеты Дерю.

Таким образом, раздел наследства Деплейня необыкновенно упростился. Правда, доля Дерю из него не была еще львиной долей, как он этого хотел прежде, однако при разделе он получал уже более половины того имущества, из кото-

рого, собственно, ему надлежало получить только одну девятую долю. Основываясь на этом, он, благодаря своему живому воображению, легко мог рассчитывать, что в будущем положение его значительно улучшится.

Об этом давно нужно было подумать, потому что маленькому Дерю предстояли серьезные затруднения.

Еще за несколько месяцев до свадьбы он уже перестал торговать своим перцем и корицей. Раззадоренный своей алчностью, он уже успел познакомиться с теми жирными кусочками, которые перепадают при так называемых темных делишках: при торговле контрабандными товарами, покупке и продаже сомнительных товаров и денежных документов, ссуд под залоги на маленький срок и тому подобном. Все эти рискованные предприятия в последнее время значительно пощипали его.

В то же самое время Дерю стыдился признаться даже самому себе, что он ни больше, ни меньше как простой лавочник. Скромность этого звания слишком плохо мирилась с заносчивыми и высокопарными надеждами человека, носившего его.

Но не одно наследство рассчитывал получить он через свою жену; он при помощи ее думал втереться в знать.

Уже в срочном контракте он к фамилии Николэ непосредственно прибавил частичку «де» и изменил ее окончание, и Дерю имел уже некоторое основание утверждать, что жена его происходит из одной из самых знаменитых дворянских фамилий того времени. Но есть ли возможность в самом деле требовать должного уважения к своему происхождению, имея лавку на улице Сен-Виктор?

Вследствие этого, в декабре 1773 года, Дерю продал свою лавку. Он продал ее с убытком, но мало горевал об этом. При новом его положении у него были развязаны руки. Что значили несколько тысяч франков, когда появлялась возможность быстро идти вперед по предначертанному пути.

Он поселился в большой квартире на улице Де-Буль-Сент-Оппортюнь (Deux-Boules-Sainte-Opportune), в приходе Сент-Жермен Ле Оксерруа, под двусмысленным именем негоцианта. Упомянутое выше изменение в фамилии сделало из плебейского имени девицы Николэ (Nicolais) аристократическую фамилию де Николаи (Nicolai). Дерю по этому поводу стал часто распространяться о своем замке Кодевиле, о своем поместье Герши, о своих лесных дачах, угодьях и прудах, и вследствие всего этого счел необходимым величать себя никак не меньше как господин Дерю де Бари.

Несмотря на это, господин Дерю де Бари ничуть не стыдился заниматься тем ремеслом, которым занимался прежде лавочник Дерю. Это ремесло ростовщичество.

В это время наследство Деплейня дю Плесси было обременено долгами и, наконец, заложено господину Лифману Кальмеру в уплату за товары, взятые когда-то бывшим фруктовым торговцем и потом проданные за полцены. Настало время, когда не могла уже принести пользы никакая хитрость, никакой обман; пришло время, когда можно было избежать грозившей катастрофы только с помощью бегства или преступлений.

Теперь я введу в рассказ несколько новых лиц, замешанных в этом деле, и потом уже приступлю к рассказу о том, как взялся за это Дерю.

В 1760 году господин де Сант-Фо де ла Мотт, член одной очень хорошей гасконской фамилии, случайно познакомился с дочерью одного реймского буржуа, девицей Перрье, жившей в Париже у сестры де ла Мотта.

Девица Перрье была уже довольно солидных лет и не могла ничем понравиться человеку, имевшему порядочное состояние и занимавшему хорошее место, а де ла Мотт был конюшим королевских конюшен. Несмотря на все это, де ла Мотт начал ухаживать за госпожою Перрье, и вскоре все с удивлением услышали, что девица Перрье увезена господином де ла Моттом.

Эта выходка была выходкой человека, доведенного до крайности. Крайность и расчет нередко заставляют прибегать к таким выходкам сильнее самой пылкой страсти. Господин де ла Мотт разорился; года его не позволяли ему уже думать о том, чтобы как-нибудь вскружить голову какой-нибудь наследнице богатого и знатного рода. Поэтому он остановил свое внимание на госпоже Перрье, особе совершенно не знатной и не красивой, но которая должна была получить от дяди довольно значительное наследство.

Через несколько времени связь между кавалером де ла Мотт и девицей Перрье была освящена браком с соблюдением всех условий, предписанных законом и религией. Госпожа Перрье сперва купила себе дачу в Палезо, где и жила со своим любовником так, что никто и не подозревал незаконности их связи. В это время у них родился сын. Когда же через некоторое время умер дядя госпожи Перрье и оставил ей довольно порядочное состояние, то господин де ла Мотт женился на ней, купил у наследников имение Бюиссон-Суеф близ Вильнев-ле-Руа и поселился со своей женой и с сыном, которого он признал законным.

Прошло одиннадцать лет с тех пор, как господин де ла Мотт стал владельцем Бюиссон-Суефа. Мало-помалу он перестал думать об удовольствиях и мирной жизни помещика и стал подумывать о будущем своего сына, который рос не по дням, а по часам. Прелесть деревенской помещичьей жизни исчезла, а он начал замечать, что переделки и улучшение имения постоянно поглощают большую часть доходов. Хладнокровное обсуждение всего этого заставило господина де ла Мотта решиться продать свое имение. С этой целью он приехал в Париж к прокурору Жоли с просьбой найти ему покупателя.

По стечению обстоятельств за несколько дней до этого Дерю познакомился с прокурором Жоли. Дерю искал случая получить какой-то заем и с обычной своей заносчивостью

говорил об имениях своей жены и о тех надеждах, которые не замедлят осуществиться по продаже наследства Деплейнь дю Плесси. Прокурор, обманутый этими пышными фразами, предложил Дерю приобрести имение Бюиссон-Суеф. Дерю был вовсе не прочь, и господин Жоли, ревностно хлопотавший об интересах своего клиента, тотчас же написал господину де ла Мотту о том, что нашел ему такого покупателя на имение, какого ему так хотелось.

Господин де ла Мотт так был доволен полученным им известием, что тотчас же по получении письма от Жоли отправил свою жену в Париж. Он поручил ей не только осведомиться о состоянии покупателя, но даже постараться, если возможно, окончить это дело.

Госпожа де ла Мотт увидела Дерю на обеде, который давал прокурор. Бывший лавочник привел с собой жену и с обыкновенной своей болтливостью распространялся о своих средствах и о пресловутом наследстве. При этом он прибавил, что и он и жена ждут не дождутся того дня, когда им можно будет отдохнуть в тишине деревни от суеты парижской жизни.

Госпожа де ла Мотт встала из-за стола, восхищенная новым своим знакомством. Несмотря на это, по наставлению прокурора, она отправилась к нотариусу Дерю, чтобы получить некоторые сведения о положении дел своего покупателя. Эти сведения о положении говорили в пользу Дерю, и госпожа де Ла Мотт отправилась на другой день в деревню, усердно приглашая Дерю приехать к ним и осмотреть свое будущее достояние.

Дерю отправился в Бюиссон-Суеф и, чтобы придать своему посещению большее значение, взял с собой парижского нотариуса господина Гобера.

У господина де ла Мотта сохранилась с молодости наклонность к веселости и хорошему времяпрепровождению. Дерю в случае нужды умел поговорить, посмеяться и выпить

по-военному; он воспользовался этим и окончательно сумел понравиться мужу так же, как жене. Оба супруга беспрестанно рассыпались в похвалах доброму господину де Бари, который так вовремя освобождает их от имения, вязавшего их по рукам и ногам.

Дерю прожил в Бюиссон-Суеф десять дней.

Накануне своего отъезда, в присутствии нотариуса в Вильнев-ле-Руа, Дерю предложил за имение круглую сумму в сто тридцать тысяч ливров. Но, ссылаясь на то, что еще не кончено дело по ликвидации наследства Деплейня, Дерю просил рассрочки платежа. Он предложил уплатить госпоже де ла Мотт двенадцать тысяч ливров при подписании контракта, восемнадцать тысяч через три месяца, а остальные сто тысяч ливров обязался погасить в два срока через три года по введении во владение.

Господин и госпожа де ла Мотт не менее Дерю были довольны этим делом. Через несколько дней после отъезда Дерю госпожа де ла Мотт приехала в Париж и явилась на квартиру своего покупателя на улице Менетрие, на верхнем этаже дома бывшей гостиницы Салюс. 22 декабря 1775 года госпожа де ла Мотт подписала предварительное условие, которым предоставлялось право господину и госпоже Дерю де Бари выплачивать стоимость имения в условленные сроки, но даже время первой уплаты не было определено окончательно. Решено было определить это время сообразно с ходом дел по ликвидации наследства Деплейня. Сверх того, госпожа де ла Мотт получила от Дерю четыре тысячи двести ливров за рассрочку. Вместо этой суммы Дерю выдал вексель сроком на три месяца!

Не этого ожидали господин и госпожа де ла Мотт, но боязнь упустить покупателя сделала их уступчивыми; к тому же Дерю ничего не упустил из виду, чтобы как можно легче одурачить их.

Между тем пришел срок уплаты по векселю, данному на дополнительную сумму, и вместе с этим началось разоблачение

обмана; по векселю не последовало уплаты. Дерю поспешил предупредить грозившую ему опасность; он отправился в Бюиссон-Суеф, жаловался на свои затруднения с бесконечной ликвидацией наследства и высказывал сильное сожаление о своей неудаче и особенно сожалел о положении господина и госпожи де ла Мотт.

Но как не велико было терпение бывших владельцев имения, в декабре 1776 года и оно лопнуло. Нужда в деньгах довела их до крайности и сделала их положение невыносимым. Госпожа де ла Мот, несмотря на беспечность, которой характеризовались все ее действия, решилась отправиться в Париж, чтобы преследовать Дерю до последней крайности и принудить его, наконец, расстаться по условию.

Она обратилась к господину Жоли с просьбой нанять ей квартиру в Париже. Господин Жоли нашел несколько весьма приличных комнат для госпожи де ла Мотт на улице Пан, в том самом доме, в котором снимал квартиру для себя. Госпожа де ла Мотт начала готовиться к отъезду.

Несмотря на невероятную медлительность, с которой Дерю исполнял свои обязательства, господин де ла Мотт никак не мог забыть о дружеских отношениях со своим любезным покупателем. Поэтому он счел своей обязанностью предупредить его о приезде жены. Дерю в ответ на это послал покорнейшую просьбу госпоже де ла Мотт не снимать себе квартиру в Париже и на все время пребывания ее здесь остановиться у него. Она не захотела согласиться на это, но так как Дерю знал, в какой день она должна приехать, то явился на пристань и встретил ее. Тотчас с необыкновенным жаром возобновил он свою просьбу и, как казалось, так близко принимал это к сердцу, что госпожа де ла Мотт не в состоянии была более отказывать ему и решилась воспользоваться гостеприимством, предложенным, по-видимому, от чистого сердца.

Госпожа де ла Мотт так устала после последнего путешествия, что, прибыв на улицу Бобур, где жил Дерю, успокои-

лась и не выходила несколько дней из дому. По-видимому, она совсем позабыла о том важном деле, из-за которого приехала в Париж.

Дерю воспользовался этим временем. Скоро ему удалось зародить в уме госпожи де ла Мотт сомнение в добросовестности ее прокурора. В то же время, желая оттолкнуть господина Жоли от его клиентки, стал уверять его, что она верит ему только наполовину. Этого вполне достаточно было для того, чтобы на обеде, который давал Дерю и на котором присутствовал господин Жоли со своею женой, господин прокурор держал себя очень осторожно и не задал даже вопроса о расчете. Наконец госпожа де ла Мотт пригласила прокурора пойти с ней в ее комнаты и посоветовать, как ей окончить дело. Прокурор отвечал на это очень холодно, что госпожа де ла Мотт может поступать по своему усмотрению.

Сын госпожи де ла Мотт был помещен в один парижский пансион на улице Серпант. Дерю с того времени как познакомился с бывшими владельцами Бюиссон-Суефа взял на себя обязанность смотреть за этим мальчиком. Под разными предлогами Дерю успел убедить госпожу де ла Мотт взять своего сына из этого пансиона и поместить его в заведение какого-то господина Данона на улице Ломм-Арме. Здесь сын госпожи де ла Мотт, которому было уже около пятнадцати лет от роду, был помещен в отдельной комнате и каждый день вечером приходил навещать свою мать.

Как я уже сказал, госпожа де ла Мотт была одной из тех беспечных существ, которые тяготятся всяким физическим и умственным трудом. Вдруг вечером 25 января она почувствовала себя нездоровой. После отъезда сына, который провел у нее целый вечер, она почувствовала тошноту, началась рвота и появилась нестерпимая боль в голове.

В последующие дни болезнь продолжалась, и госпожа де ла Мотт не вставала уже с постели. Дерю старался всех успокоить и отсоветовал даже больной приглашать доктора,

говоря, что он сам порядочно знаком с медициной и может лечить эту болезнь.

30 января у госпожи де ла Мотт снова произошел подобный припадок, только гораздо сильнее первого. Дерю тотчас же взялся готовить для нее какое-то лекарство, которое по его уверениям, должно было помочь, Для этого он всех уложил спать, а сам заперся в своей кухне и более часа просидел тут у печки.

На другой день, 31 января, Дерю, который, по-видимому, и не ложился спать, попался Жанне Барк, своей служанке, у самого входа в комнату госпожи де ла Мотт с чашкой ячменного отвара в руках.

Жанна Барк осведомилась у него о здоровье больной. Дерю отвечал, что ей очень хорошо, что лекарство его на нее чудесно подействовало и что теперь ей нужен только покой. В то же время он приказал этой служанке отнести его детям их новые зимние платья. Со времени приезда госпожи де ла Мотт сын и дочь Дерю были отправлены к одному из родственников Жанны Барк, каретнику в Пти-Монруже.

Это поручение было истинным счастьем для служанки, которой очень редко удавалось видеться со своими родными; она в восторге отправилась в Пти-Монруж.

Тогда господин Дерю отправился к своей жене, которая в то время спала в зале. Он надавал ей множество поручений и предложил даже остаться обедать в городе. Когда госпожа Дерю заметила, что, может быть, она понадобится больной, то муж ее отвечал:

– Нет, я могу сам сделать все, что нужно. Впрочем, для нее сон теперь лучшее лекарство. Завтра она думает уже отправиться в Версаль. Эта больная что-то плохо меня слушается; ей бы надобно поберечь свои силы после такого трудного для нее дня.

Таким образом, до самого вечера Дерю оставался дома один.

Когда все возвратились домой, он сообщил им самые благоприятные известия о больной, пошутил даже насчет ее положения и не побоялся ввести ее сына и некоторых из членов своего семейства в комнату госпожи де ла Мотт, и всем показалось, что она действительно, как он говорил, крепко спит.

На другой день так же, как и накануне, он нашел повод удалить из дома жену и служанку.

Около десяти часов утра кто-то позвонил у его двери, но звонок не издал никакого звука.

Особа, которая приходила к Дерю, была госпожа Готьер, жена одного негоцианта с улицы Бурдоне. Муж ее продал товар Дерю и подобно прочим получил в уплату вексель в четыре тысячи ливров. Вексель этот был опротестован и менялся уже несколько раз. В последний раз, по истечении срока, Дерю под предлогом возобновления векселя завладел этим документом. С этого времени было уже невозможно что-нибудь сделать с должником.

Госпожа Готьер начала стучаться в дверь так усердно, что дверь немного приотворилась, и за нею показалось лицо Дерю.

Он заставил себя улыбаться, но лицо его было желтым и встревоженным более обычного. Рука его дрожала.

– Что с вами? Глядя на вас, можно подумать, что вы только что совершили какое-нибудь дурное дело.

Дерю промолчал и поспешил впустить к себе свою кредиторшу. Пока он запирал дверь, она вошла в зал. Вся мебель в этой комнате была в страшном беспорядке. На полу стояли два больших открытых чемодана, а в углу лежал кусок полотна, наполовину сшитый толстыми серыми нитками.

Дерю поспешил удовлетворить требование госпожи Готьер. Эта дама, успевшая уже заметить и беспорядок в комнате, и перемену в лице Дерю, увидала, что ему очень трудно было написать вексель – до того сильно было его смущение.

Через час после отъезда госпожи Готьер Дерю вышел из дома и скоро возвратился с комиссионером; он повел

комиссионера к себе на кухню, где стоял большой и, по-видимому, очень тяжелый чемодан. Он помог комиссионеру взвалить этот чемодан на плечи и вслед затем вместе с комиссионером вышел из дома, стараясь не быть замеченным дворником.

Немного не дойдя до Лувра, он встретил свою жену и попросил ее зайти к одному скульптору, с которым она очень дружна, и попросить его поберечь этот чемодан до завтра.

Госпожа Дерю послушалась своего мужа; чемодан был оставлен у господина Муши, а она сама снова явилась на площадь, где ее дожидался Дерю.

Уже подходя к улице Бобур, госпожа Дерю осведомилась о здоровье госпожи де ла Мотт. Дерю отвечал ей, что она почувствовала себя сегодня так хорошо, что еще утром отправилась в Версаль.

Войдя в дом, госпожа Дерю нашла все в порядке, и мебель стояла уже на своих местах.

3 февраля Дерю под предлогом очень важного дела оделся как можно изысканнее и вышел из дома.

Прибыв к концу улиц Жофруа-Ланье и Нонень-Диэр, он остановился у одного дома, известного под именем Пла-д'Этень. У дома этого качалась вывеска: «Сдается внаем подвал». Он вошел в одну из соседних лавок и осведомился об имени владельца дома.

Дом принадлежал госпоже Массон, жене одного старого актуария гражданского ведомства. Дерю отправился к ней и, назвавшись господином де Кудрэ, объявил себя владельцем дома на улице Монмартр, напротив Отеля Дюзе. Он изъявил желание нанять подвал для вина, которое сегодня же должно быть доставлено ему из Италии и для которого у него не осталось места в собственном доме.

Госпожа Массон отвечала ему, что подвал будет свободен не ранее чем к завтрашнему дню. Эта отсрочка показалась очень неприятной импровизированному обладателю италь-

янских вин. Несмотря на это, он условился в цене и заплатил задаток – четвертую часть.

На другой день мнимый господин де Кудрэ отправился к воротам Сет-Никола, купил телегу, четверть бочки яблочного вина и приказал этой подводе ехать к одним из ворот Лувра, к скульптору Муши. Здесь Дерю взял чемодан, оставленный на хранение его женой, велел положить этот чемодан рядом с бочонком и со всем этим отправился к дому Пла-д'Этень, где у него был нанят подвал.

Повозка остановилась у Пла-д'Этень. Извозчик взял себе на помощь какого-то водоноса, чтобы вместе перенести груз в подвал. Бочонок был перенесен очень легко, но чемодан оказался довольно тяжелым. Дерю щедро заплатил и извозчику, и водоносу; потому оставшись один, он купил соломы, досок и гвоздей, заперся в погребе и проработал там около трех часов.

Не ранее 17 февраля снова увидели его в доме на улице Мортеллери.

В это время разыгралась новая драма, ничем не лучше первой, и новое преступление было совершено.

Вечером, в тот самый день, когда Дерю отправил чемодан к скульптору Муши, молодой де ла Мотт явился в дом на улице Бобур, чтобы повидаться со своей матерью, будучи до сих пор уверен, что она очень больна, и удивился, когда узнал, что она отправилась в Версаль. Дерю, который отличался всегда особенной находчивостью, успел так объяснить весь ход дела де ла Мотту, что он совершенно успокоился. Так как в это время молодой человек, несмотря на свое сильное и мужественное телосложение, почувствовал себя не таким здоровым, то Дерю оставил его у себя до 10 февраля. В этот день он отправился вместе с ним в Версаль, чтобы найти там его мать.

Пяти дней, проведенных молодым человеком в доме Дерю, было вполне достаточно для того, чтобы здоровье его

совершенно поправилось. Когда он поехал в Версаль, то была заметна только некоторая бледность его лица, упадок сил, слабость в движениях и дрожание конечностей, как будто под влиянием лихорадочного озноба. Дерю старался убеждать его по мере возможности и уверял, что они сейчас же встретятся с его матерью, которая, вероятно, выедет к ним навстречу, быть может, даже к самой заставе. Дорогой он толковал молодому человеку, чтобы он не беспокоился, если не встретится с матерью, тотчас выходя из экипажа. Он говорил ему, что госпожа де ла Мотт очень занята в настоящее время, хлопочет о месте при дворе для своего сына и потому, быть может, не имеет даже нескольких минут свободного времени для того, чтобы обнять дорогого своего сына. Таким образом, он привез его в гостиницу Флер-де-Ли, куда, по его словам, должна была прийти и госпожа де ла Мотт. Здесь он усадил молодого человека у камина, а сам отправился искать комнату.

Комнату он отыскал на улице Оранжери, у бочара Пеке. Он назвал себя господином Бопре и объявил, что приехал в Версаль с племянником, которого помещает в военное министерство. Он нанял комнату за тридцать солей в сутки и перевел сюда молодого человека, говоря, что мать его, как он уже предупреждал, очень занята важными делами и не может его навестить сегодня.

На другой день после этого переезда молодой человек почувствовал себя гораздо хуже, чем накануне. Дерю успел уже заблаговременно предупредить хозяйку квартиры, что у племянника его, кажется, оспа. Но так как он сам врач, то надеется, что, с помощью Божьей, ему удастся прервать болезнь и не дать ей развиться. В тот же день, для того чтобы, как он говорил, успокоить племянника, он попросил хозяйку квартиры сказать, что к нему приезжала мать, но приказала его не будить. Госпожа Пеке с благоговением исполнила это поручение; она глубоко была тронута той нежностью, с которой ложный Бопре относился к своему бедному племяннику.

Вечером мнимый дядюшка приказал купить себе манны и селитры. Жена бочара заметила при этом, что недурно было бы позвать доктора.

– А разве я сам не доктор? – возразил дядюшка. – И притом, какой другой доктор станет ухаживать за моим племянником с такой преданностью, как я? Ах, – прибавил он с глубоким вздохом и устремив к небу глаза, полные слез, – если дело пойдет так плохо, как теперь, то всякая земная помощь окажется тщетной, и не доктор тут будет нужен, а священник.

При этом он сообщил, что ему удалось узнать, что молодой человек стал жертвой дурной болезни, которую тщательно скрывал. В карманах его он нашел секретные средства от этой болезни; верно, от действия этих средств племянник пришел в такое безнадежное состояние.

При этих словах мнимый дядюшка так ловко приходил в отчаяние, что господин Пеке и его жена возвратились в свои комнаты, проникнутые глубоким уважением к такому достойному человеку, как дядюшка больного молодого человека.

На другой день Дерю объявил хозяевам квартиры, что больному лучше и что он надеется спасти его. Но около полудня, когда Пеке работал в своей мастерской, вдруг раздался голос мнимого дядюшки, который звал к себе на помощь и с отчаянием умолял подать ему стакан воды.

Господин Пеке и его жена тотчас бросились наверх, в комнату де ла Мотта.

Молодой человек лежал в постели с закрытыми глазами, а мнимый Бопре старался оживить его, поднося к его носу пузырек со спиртом. Вскоре дыхание больного стало прерывистым: началось предсмертное хрипение. Дядюшка, стоявший у постели на коленях и молившийся и рыдавший в одно и то же время, стал просить госпожу Пеке сходить за священником.

Господин Манен, священник в Сен-Луи, пришел через некоторое время. Но молодой человек в это время лишился

сознания и скончался около девяти часов, не успев причаститься.

Горе Дерю было, по-видимому, так сильно, что господин Пеке должен был его поддерживать, чтобы помочь ему сойти с лестницы.

На другой день Дерю отправился в приходскую церковь Сен-Луи и объявил о смерти Луи-Антуана, сына Жака Бопре де Коммерси и девицы Марии-Елены Маньи, скончавшегося двадцати двух лет от роду. Потом он взял свидетельство о смерти молодого человека и попросил совершить погребение как можно проще. Несчастному племяннику, прибавил он, молитвы нужнее пышных похорон. В то же время он заплатил шесть ливров за исполнение обряда погребения, а шесть ливров пожертвовал в пользу бедных.

Через три часа Дерю уже входил в свою квартиру на улице Бобур. На лице его было написано удовольствие, и он в это время похож был на почтенного негоцианта, которому только что удалось сделать ловкое дело.

Между тем склад, который был у него в подвале на улице Мортеллери, продолжал беспокоить его. На другой день после возвращения из Версаля он отправился к хозяйке дома на Пла-д'Этень.

Госпожа Массон приняла очень любезно своего нового постояльца. Во время разговора она, между прочим, сообщила, что водонос, живущий в этом доме, заметил, что всякий раз как он сходит с лестницы, собака его останавливается, роет землю у порога подвала и воет, как перед покойником.

Дерю вдоволь посмеялся над суеверием и подозрительностью водоноса. Но между прочим он убедился, что тайна его в опасности и, удалившись от госпожи Массон, отправился на Гревскую площадь. Здесь он нашел поденщика, которому предложил три ливра, с тем, чтобы он вырыл яму в его погребе; погреб же этот, прибавил он, очень недалеко отсюда.

Поденщик принял эту просьбу, и Дерю отвел его на Пла-д'Этень. У поденщика были все нужные инструменты, и он вместе с Дерю вошел в подвал.

Во все время работы Дерю сидел на одной из ступенек лестницы и смотрел на то, как рылась яма. Все это время, как показал впоследствии поденщик, Дерю шутил с ним, поил его вином, сыпал веселыми прибаутками, словом, казался славным малым.

Когда яма была уже достаточной глубины, Дерю помог поденщику свалить туда лежавший в подвале тюк. Когда начали зарывать яму, то Дерю сам взялся за работу, как человек, который хочет, чтобы как можно скорее окончилось заказанное им дело. Наконец, когда яма уже была засыпана, он начал утаптывать и уравнивать ее.

Читатели, вероятно, уже догадались, что мнимый Кудрэ перевез в своем чемодане труп несчастной госпожи де ла Мотт в свой подвал, а потом зашивал этот труп в тюк довольно большого размера и теперь зарыл этот тюк в землю.

Но Дерю сделал только половину своего дела; оставалось еще завладеть той добычей, которой он добивался, завладеть достоянием двух существ, которых так смело он спровадил на тот свет. Для исполнения этой второй части своего предприятия он употребил, как мы увидим, всю свою гениальную изобретательность.

Он начал потихоньку распространять слухи, объяснявшие исчезновение госпожи де ла Мотт. Так, он намекал на то, что она отправилась в Версаль для того, чтобы увидеться с прежним своим любовником, и что она действительно уехала с ним тотчас же, как Дерю будто бы вручил ей деньги за имение Бюиссон-Суеф.

В то же время он составил первый подложный акт, подтверждавший окончательную продажу Бюиссон-Суефа, уплату суммы в сто сорок тысяч ливров и получение сполна этих денег госпожою де ла Мотт. В этом акте было, между прочим, сказано, что все предшествовавшие по этому делу

счета уничтожаются. Акт был подписан господином и госпожою Дерю и Марией Перрье, женой Сен-Фо де ла Мотт.

Каким образом появилась под актом подпись госпожи де ла Мотт? Была ли она просто подделана, или выудил ее угрозами отравитель у своей жертвы? Это осталось тайной, и все споры по этому делу не привели ни к чему.

Между тем в это время успела состояться ликвидация наследства Деплейня де Плесси. Все воздушные замки, которые строил Дерю и с помощью которых столько лет злоупотреблял доверчивостью своих кредиторов, разлетелись в прах и обратились в очень незначительную сумму денег – в двадцать четыре тысячи ливров. Эти деньги были в руках у Дерю. Но преступник предчувствовал, что в случае процесса этих денег будет слишком недостаточно для того, чтобы указать на них как на источник, из которого он произвел уплату госпоже де ла Мотт. Поэтому он стал искать средства, чтобы отклонить от себя всякое подозрение.

В числе знакомых Дерю был некто господин Дюкло, который легко согласился помочь ему и дать возможность удержать за собою право на Бюиссон-Суеф; тем более что Дюкло был уверен, что Дерю купил это поместье на чистые деньги и сполна уплатил их исчезнувшей госпоже де ла Мотт. С этой целью Дюкло взял безденежный вексель в сто тысяч ливров за подписью Дерю и его жены; вексель этот был засвидетельствован у нотариуса Прево.

Приняв эти меры предосторожности, Дерю уже думал, что поставил себя в совершенно безопасное положение и что он смело может предъявить свои требования на землю, которую, как казалось, он купил и за которую сполна уплатил деньги, как это видно было из текущих счетов. Между тем было еще одно обстоятельство, которое сильно беспокоило Дерю и ставило в тупик всю его предусмотрительность.

Запись о купле-продаже была подписана по доверенности, данной господином де ла Мотт своей жене еще за три

года, еще в то время, когда только что было решено продать Бюиссон-Суеф. Но для того, чтобы акт имел полную силу, необходимо было иметь эту доверенность в руках, а она осталась у господина Жоли, прокурора госпожи де ла Мотт.

Под предлогом расчета за хлопоты и издержки при продаже Бюиссон-Суефа он отправился к прокурору Жоли. Жоли очень удивился, узнав, что госпожа де ла Мотт обошлась без этой доверенности, остававшейся у него. Дерю с обыкновенным своим добродушием и наивностью стал просить господин Жоли передать ему этот документ. При этом он сказал, что господин прокурор получит прекрасное вознаграждение за эту маленькую услугу, которой от него ждут.

Господин Жоли с негодованием отверг это предложение; в то же время в нем родилось смутное подозрение относительно подлинности акта, тем более что он сопровождался такими странными обстоятельствами. Он подозревал, что тут кроется что-то недоброе.

В тот самый день он уведомил письмом господина де ла Мотта о попытке Дерю; вместе с этим он сообщил и подозрения, возникшие в нем.

Бедный господин де ла Мотт сильно беспокоился и горевал. Уже около трех недель он не получал никаких известий от жены, и все письма, отправленные к ней, оставались без ответа.

Через день после получения письма от прокурора Жоли к де ла Мотт явился тот, кого он менее всего ожидал, – сам Дерю.

Его свидание с господином де ла Моттом было чистым повторением знаменитой сцены в пятом акте Тартюфа, но Дерю в действительной жизни оказался гораздо выше своего типажа в комедии. Оба они действовали мастерски; оба они стали распоряжаться в доме, откуда выгнали настоящих владельцев; но Дерю не увлекся первым успехом, не снял с себя маски и не вышел из своей роли. Он упрямо и настойчиво боролся за то, что называли своим правом. На упреки и

оскорбления своей жертвы он отвечал кротко, тоном человека с чистой совестью; роль свою он разыгрывал так хорошо, что почти обезоружил своего противника. Дерю то жалел господина де ла Мотта, то выставлял на вид то ужасное положение, в которое он поставлен преступлениями коварной супруги. Мало этого, он соглашался даже расстаться с деньгами и при свидетелях предлагал три тысячи ливров ежегодного дохода де ла Мотту, так жестоко, по его словам, ограбленному вероломной женой.

Эта последняя хитрость, к которой прибег изобретательный Дерю, оказалась бесполезной, и тогда он решился на замысел, который был смелее всего, сделанного им до сих пор.

Возвратившись в Париж, Дерю увидел, что все готово обрушиться на него. Уже вслух говорили повсюду, что история о бегстве супруги де ла Мотта с любовником – чистая басня; уже представлена была просьба в Шателе, доказывавшая подложность акта о покупке и требовавшая личного ареста составителя этого акта. Дерю не стал медлить ни минуты; он объявил, что найдет госпожу де ла Мотт.

5 марта он отправился в Лион в почтовом экипаже и приехал туда 7-го числа вечером.

На другой день женщина высокого роста, одетая в черное шелковое платье, отделанное шнуром каштанового цвета и в мантилью из тафты, капюшон которой закрывал черты ее лица, явилась в кабинет господина Барона-отца, нотариуса на улице Сен-Доминик. Женщина эта объявила, что она госпожа де ла Мотт, из Вильнев-ле-Руа на Сене, что она хочет послать доверенность своему мужу господину Сен-Фо де ла Мотт, конюшему королевских конюшен. Этой доверенностью она хотела предоставить своему мужу право распоряжаться тринадцатью тысячами ливров, которые оставались у нее после продажи ее имения, и просила нотариуса составить этот акт.

Нотариус потребовал, чтобы она представила удостоверение своей личности от мужа или, если это невозможно, то от

двух лиц, постоянно живущих в Лионе. Дама удалилась, объявив, что она отправится отыскивать этих свидетелей.

Сев в наемный экипаж, в котором приехала, она обратилась к кучеру и спросила, где найти другого нотариуса. Кучер указал ей на господина Пурра, живущего на площади Карм, и она велела отвезти себя туда.

Господина Пурра не было дома, и дама была принята его женою. Наружность дамы была очень странная; она так тщательно скрывала свое лицо, старалась сидеть в темных местах, что госпожа Пурра стала рассматривать ее с истинно женским любопытством. Даме этой было около сорока лет, кожа ее была желта, ее маленькие черные глазки постоянно перебегали с предмета на предмет, рот был довольно велик, губы тонки. Когда ее ввели к нотариусу, она изложила ему свою просьбу и представила рекомендательное письмо от одного из самых почтенных негоциантов города.

Господин Пурра был не так осторожен, как его товарищ, и согласился составить доверенность. Дама пожелала сделать эту доверенность в двух экземплярах: один взяла сама, а другой поручила нотариусу отправить господину Сенору, священнику в Вильневле-Руа и родственнику господина де ла Мотта.

Эта бумага появилась в Вильневе 11 марта, и священник поспешил отправить ее к генерал-лейтенанту полиции.

Маневр этот был так ловок, что суд, уже сделавший обыск дома, задумался и сам стал почти верить в существование госпожи де ла Мотт. Между тем показалось странным, почему госпожа де ла Мотт, не задумываясь, выдала документ и не прислала письма своему мужу. Это обстоятельство вызвало сомнение и заставило утвердить предписание о задержании Дерю.

Дерю был арестован 13 марта. Он продолжал действовать и в тюрьме и все еще надеялся выиграть партию. Жена его, получившая позволение навещать своего мужа, старалась

помогать ему с той безотчетной преданностью, которую так ловко умел внушить Дерю этому несчастному созданию.

7 апреля один из друзей господина де ла Мотта, господин Дюбуа, прокурор Парламента, получил по почте следующее письмо:

«Милостивый государь! Одна дама, хорошо известная Вам, была проездом в этих местах, просила меня передать Вам этот пакет. Я должен был исполнить это поручение, но не мог застать вас дома. Так как обстоятельства побуждают меня уехать отсюда, то посылаю Вам этот пакет. При этом спешу Вам передать желание упомянутой дамы, которая просит Вас хранить этот пакет в тайне до тех пор, пока она сама Вас не уведомит, что думает она сделать с этими бумагами. Эта дама теперь в большом горе. Сын ее болен оспою и изнурен своим путешествием во время болезни. Вот все, что мне поручено передать вам.

Ваш, милостивый государь, покорнейший слуга

Маркиз де Рожуар».

К этому письму были приложены предварительные условия госпожи де ла Мотт и ее мужа с Дерю; кроме того, тут же находились четыре векселя на предъявителя; каждый из векселей был на десять тысяч ливров.

Эта выходка, вызванная безнадежностью, была слишком груба. Вследствие этого вынуждены были арестовать госпожу Дерю и произвести новый обыск в доме преступника.

При этом обыске найдены были золотые часы, которые жена и служанка господина Дерю признали и объявили, что эти часы принадлежали прежде сыну госпожи де ла Мотт. После этого суд уже ничуть не сомневался в том, что он напал на след очень важного преступления.

Несчастное исчезновение госпожи де ла Мотт и ее сына, а также все подробности этого печального происшествия за-

нимали в то время весь Париж. В нем уже распространился слух, что госпожа де ла Мотт зарыта в подвале одного из домов на улице Мортеллери.

Благодаря этим слухам, наконец, решено было сделать обыск в подвале дома на Пла-д'Этень. Следы недавно перерытой земли прямо указали на преступление Дерю; при первых же ударах заступом найден был известный нам тюк. В нем под соломой, скрывавшей его форму, заключался гроб, кое-как сколоченный из плохо пригнанных досок; в гробу этом находился труп женщины, голова которой была завернута в кусок грубого холста.

Этот труп, несмотря на то, что он уже давно начал разлагаться, был узнан; оказалось, что это труп госпожи де ла Мотт.

Убедившись в первом убийстве, чиновники, производившие следствие, тотчас начали свои изыскания в Версале в полной уверенности, что здесь они нападут на след другого. Сделана была справка со списком лиц, умерших во время поездки молодого де ла Мотта в Версаль. Не обращая внимания на то, что возраст, объявленный родственником погребенного в это время молодого человека, не совпадал с возрастом де ла Мотта-сына, следователи из прихода Сен-Луи тотчас же отправились прямо в семейство Пеке. Господин Пеке и жена его рассказали со всеми подробностями обстоятельства смерти мнимого Бопре.

Решено было вскрыть могилу, и труп молодого человека, умершего на улице Оранжери, был тотчас же узнан так же, как труп его матери, вырытый в подвале.

Несмотря на то, что останки обеих жертв были явными уликами, Дерю упорно продолжал не сознаваться. Что касается госпожи де ла Мотт, то он более чем когда-нибудь уверял, что он виделся с нею в Лионе. О господин де ла Мотте-сыне он объявил, что этот молодой человек умер действительно у него на руках, но умер естественной смертью. При

этом он прибавил, что во избежание ответственности, которая могла упасть на него при таких обстоятельствах, он решился скрыть эту смерть и похоронить де ла Мотта под вымышленным именем.

28 апреля на основании донесения советника д'Утрельмона генерал-прокурор составил свой обвинительный акт, а 30 апреля был произнесен приговор.

В приговоре было сказано, что Дерю, уличенный в отравлении госпожи де ла Мотт и ее сына, должен произнести публичное покаяние у главных ворот Собора Парижской Богоматери. К этому месту преступник должен быть привезен в тележке с надписью на груди и на спине следующих слов: «Умышленный убийца-отравитель». Самое покаяние преступнику повелевается произнести в одной рубашке, с веревкой на шее и с двухфунтовой свечкой в руках. Затем, когда преступник сознается в своих преступлениях, он должен просить прощения у Бога и у закона. После этого преступник должен быть возведен на эшафот, воздвигнутый на Гревской площади. Здесь ему повелевается раздробить руки, голени и бедра и затем бросить его в горящий костер, сложенный под самым эшафотом, и прах его рассеять по ветру. Имущество преступника должно быть конфисковано, но предварительно из этого имущества отчисляется семьсот ливров: двести в пользу короля, в виде пени, а остальные пятьсот – для совершения панихид за упокой душ жертв преступника.

Дерю апеллировал к Парламенту, но 5 мая на его апелляцию последовал отказ.

6 мая его привезли в комнату для допроса. Пока его вели туда, он не выказывал ни ужаса, ни беспокойства и говорил с актуарием о некоторых подробностях своего приговора.

Ему прочли приговор, посадили на скамейку и надели сапожки для пытки.

При первом клине, вколоченном между дощечками сапожек, он воскликнул: «О Боже мой, Боже мой! Сжалься на-

до мною! Неужели меня присудили к таким мукам. Я говорил им правду, дай же мне силу, о Боже, поддержать мои слова».

При втором клине он испустил несколько бессвязных криков, потом сделал усилие над собой и сказал: «О Боже, дай мне силу не изменить истине!»

При третьем клине: «О Господи! Я скрыл только смерть молодого де ла Мотта; я не могу признаваться в том, чего не было. Я невиновен в отравлении».

При четвертом клине он повторил: «Господи! Ты ведаешь, что я не отравил их. Она умерла естественным порядком, а сын сам не хотел, чтобы позвали к нему доктора».

Твердость его не уменьшилась при экстраординарной пытке, он перенес все четыре клина, не переставая уверять, что госпожа де ла Мотт и ее сын умерли своей смертью. В то же время он молил Бога обнаружить заблуждение суда, жертвой которого он делается. У края могилы он не изменил своей страсти притворяться; Дерю и, умирая так же, как при жизни, не только лгал людям, но обманывал и Бога. Его отнесли в часовню, где он молился вслух с большим усердием и жаром. Время от времени он прерывал молитву, призывая Бога в свидетели своей невиновности. Он просил Бога совершить чудо и оправдать его и говорил, что без сожаления готов принести в жертву жизнь свою, чтобы только память его была очищена от возводимых на него преступлений.

В час пополудни явился исполнитель.

Вот что пишет Шарль-Генрих Сансон в своих заметках:

«Уже около двух месяцев в Париже только и разговоров, что о Дерю. Когда преступника водили на улицу Мортеллери, чтобы показать ему труп отравленной им женщины, то стечение народа было так велико, всеобщее негодование так сильно, что потребовалось призвать две роты французской гвардии, чтобы охранять Дерю от толпы. Я, быть может, был единственный человек в городе, который не разделял

всеобщего любопытства. Когда мне передали подробности того, как он совершал свои убийства, то у меня невольно появилось чувство отвращения и ужаса. Впрочем, судя по словам комиссара Мютеня, мне придется рано или поздно повидаться с Дерю; должно быть, для него это будет слишком рано.

5 мая лейтенант уголовного суда Башуа де Вильфор уведомил меня, что необходимо приготовить все нужное для казни Дерю, а на другой день, 6 мая, я уже отправился за ним в Шателе. В то время столько слухов ходило о Дерю, ему приписывалось столько убийств, хотя и совершенных при помощи яда, что я ожидал встретить в преступнике сильного, хорошо сложенного человека. Поэтому я очень удивился, когда нашел на постели маленькое существо, до того истощенное и бледное, что, судя по безбородому сморщившемуся, как яблоко, лицу, его скорее можно было принять за дряхлую старуху, чем за энергичного преступника. Но как ни тщедушен казался преступник, он, по словам пытальщика, с необыкновенным мужеством выдержал все восемь классов ординарной и экстраординарной пытки. Действительно, он не казался слишком истерзанным пыткой и молился хотя слабым, но очень внятным голосом. Я подошел к нему с поклоном и сказал: „пора“. Он спросил меня, куда я поведу его, и когда я не ответил на это, он очень быстро и с перерывами проговорил: „В ратушу! Я хочу изложить письменно то, что говорил на словах. Нет, я не отравитель“.

Еще со вчерашнего дня шел сильный дождь, так что я должен был приказать прикрыть костер, приготовленный для Дерю. В ту минуту, когда я сел с преступником в позорную тележку, дождь до того усилился, что мне не помнится даже, случалось ли еще когда-нибудь видеть такой ливень. Дерю, несмотря на ужасные преступления, в которых был уличен, не показывал ни раскаяния, ни готовности сознаться. Он отправлялся на тот свет не раскаявшимся преступником и потому не возбуждал слишком большого сострадания к себе.

Но его маленькое тощее тело до того дрожало под тафтяной одеждой, что во мне невольно появилось чувство сострадания. Я попросил у пристава Фавро зонтик и передал его осужденному.

Во все время переезда он не переставал говорить: то он читал молитвы и псалмы, то, обращаясь ко мне и к господину Бендеру, говорил о своем осуждении и продолжал уверять, что он не отравлял госпожу де ла Мотт, что она умерла своей смертью и что он виноват только в том, что скрыл ее труп.

Когда мы прибыли на Гревскую площадь, я по его просьбе приказал остановиться у здания ратуши. Дерю вошел в комнату и долго писал свое предсмертное завещание.

Когда пробило три часа, его вывели и перевезли на эшафот. Он так пожелтел за это время, что напоминал собою человека, больного желтухой, но в то же время он был спокоен и не дрожал. Когда ему развязали руки, чтобы привязать его к андреевскому кресту, он посматривал на толпу и махал некоторым своим знакомым рукой. Потом он стал помогать моим помощникам снимать с него платье, что было вовсе нелегко, потому что, несмотря на зонтик, он промок до костей.

Его привязали к кресту. Тогда он попросил у господина Бендера позволения приложиться к распятию. Сделав это, он пристально взглянул на Бастьена, одного из моих слуг, который обязан был казнить его и уже взялся за булаву. Дерю посмотрел на него и промолвил: „Ну, поскорей к делу!“

Бастьен тотчас же раздробил ему руки, голени и бедра. При каждом ударе преступник издавал пронзительные крики. Но когда нанесен был удар в грудь, то Дерю не шелохнулся и замер с открытыми глазами. Тело его было сожжено так, как было сказано в приговоре».

Глава XII
Дело об ожерелье

Дело об ожерелье до того известно, что мне кажется совершенно бесполезным разбирать в подробностях все его обстоятельства. Я не желаю прибавлять новых догадок к тем, которыми хотели объяснить тайны этой загадочной интриги, бросившей роковое пятно на королевское семейство в то самое время, когда народные страсти начали потрясать до основания королевский трон во Франции.

Здесь я ограничусь только тем, что вкратце напомню те обстоятельства, которыми сопровождались аресты кардинала Рогана, Калиостро, господина Рето де Виллета, госпожи Олива; тут же я сообщу подробности того, каким образом Жанна де Валуа, графиня де ла Мотт были отданы в руки исполнителя верховных приговоров.

Однажды госпожа де Буленвилье, жена парижского превота, встретила в деревне Сен-Леже-су-Бувре в Бургонии маленькую девочку, которая, протягивая к ней руки, сказала:

– Добрая госпожа! Подайте, Христа ради, мне, потомку древних королей Франции.

Эта фраза удивила госпожу де Буленвилье; она остановила свою карету и спросила у ребенка объяснения такого странного способа просить милостыню.

В это время шел мимо местный приходский священник.

Услышав разговор, он подошел и сказал, что ребенок говорит правду, и что эта девочка прямая наследница Генриха де Сен-Реми, незаконного сына Генриха II и госпожи Николь де Савиньи.

Госпожа де Буленвилье, продолжая свои расспросы, узнала, что девочка была сиротою и содержалась за счет общественной благотворительности прихода; она увезла ребенка в Париж. Здесь д’Озье занялся генеалогией маленькой нищенки, и скоро было доказано, что Жанна де Валуа, а также ее

брат и сестра совершенно законно ссылаются на свое происхождение.

Об этом деле герцог де Бранка-Серест подал доклад королеве и господину де Морена. Вследствие этого для Жанны Валуа, брата ее и сестры назначено было особое содержание. Брат Жанны поступил на морскую службу и умер лейтенантом флота под именем барона де Сен-Реми де Валуа.

В 1780 году Жанна Валуа вышла замуж за одного из королевских телохранителей, графа де ла Мотта.

У графа не было никакого состояния, кроме жалованья; все приданое его жены состояло из незначительного пансиона. Таким образом, средства эти далеко не могли удовлетворить страсти молодых супругов к роскоши и удовольствиям. Графиня де ла Мотт желала во что бы то ни стало блистать в свете и потому скоро завела интригу с целью пополнить свои ограниченные средства.

Жанна де Валуа, говорит в своих мемуарах аббат Жоржель, несмотря на то, что не отличалась особенной красотой, нравилась всем своею свежестью и молодостью. Лицо ее отличалось одухотворенностью и привлекательностью; она обладала особенным даром слова, и каким-то добродушием дышали все ее речи. Под такою-то привлекательной наружностью скрывалась душа и наклонности цирцеи.

При этом невольно рождается вопрос: были ли совершенно бескорыстным то покровительство, которым его преосвященство кардинал де Роган почтил молодую графиню де ла Мотт? Легко можно предположить, что нет, особенно, если вспомнить, что этот прелат вел жизнь далеко не строгую. Кроме того, даже из слов панигириста кардинала видно, что щедрый кардинал передал уже графине более ста двадцати тысяч ливров, прежде чем началось дело об ожерельи.

Как бы там ни было, но графиня де ла Мотт была настолько близка к кардиналу, что сумела проникнуть в самые тайные замыслы честолюбивого прелата: кардиналу хотелось

ни больше, ни меньше, как играть около умной и красивой королевы, имевшей власть над своим мужем, ту же роль, которую кардинал Мазарини играл около Анны Австрийской. Графиня льстила этому тайному стремлению и надеялась основать на нем свое будущее благосостояние.

Неимоверная легкость, с какой господин де Роган попал в сети, расставленные ему ловкой интриганткой, дает нам довольно полное понятие о том, какое преувеличенное значение придавал почтенный прелат своей особе.

Графиня успела убедить кардинала, что она в тесной дружбе с королевой, что, проникнутая уважением к редким свойствам души своего благодетеля, она часто и с большим жаром говорит о нем королеве, что, благодаря этому, исчезли уже последние следы той немилости, в которую попал Роган со времени своего несчастного посольства в Вену; что убеждения ее имели такой успех, что Мария-Антуанетта даже позволяет кардиналу представить свои оправдания.

Имела ли действительно графиня де ла Мотт доступ к королеве? Большая часть историков, и в том числе госпожа Кампан, решительно отвергают это; с другой стороны, памфлеты того времени разрешают этот вопрос утвердительно, но не нужно забывать, что большая часть этих памфлетов была следствием уже зарождавшейся в то время ненависти к королеве.

Первая выдумка графини имела полный успех. С глубокой признательностью и энтузиазмом встретил доверчивый кардинал ту блестящую перспективу, которую открывала ему графиня. Господин де Роган щедро вознаградил за эти услуги госпожу де ла Мотт. Между тем для всего этого достаточно было немножко солгать да пожертвовать листом бумаги с золотым обрезом, на котором нужно было подделать руку королевы. Эта необыкновенная доверчивость сильно ободрила госпожу де ла Мотт в ее дальнейших замыслах.

В это время Людовик XV заказал великолепное ожерелье своим придворным ювелирам – Бемеру и Бассанжу.

Король скончался прежде, чем это ожерелье, предназначенное для госпожи дю Барри, было окончено. Новый государь удалил эту фаворитку от двора, и великолепное ожерелье осталось на руках у ювелиров.

Они представили ожерелье королеве; но цена, назначенная за него – миллион восемьсот тысяч ливров, – испугала ее величество. При обстоятельствах того времени бережливость сделалась прямым долгом королевского семейства, и королева отказалась просить короля о приобретении этого украшения.

Графине де ла Мотт удалось увидеть это ожерелье. Ювелиры не скрывали от нее, что отказ королевы поставил их в затруднительное положение, оставив в их руках огромный непроизводительный капитал; они прибавили, что сделали бы богатый подарок той особе, которая доставила бы им возможность сбыть эту вещь.

Вероятно, в это время графине пришла в голову мысль заработать обещанное ювелирами вознаграждение. Эта мысль не вдруг перешла в мысль о похищении ожерелья. Графиня судила о Марии-Антуанетте не как о королеве, а как о женщине. Ей казалось невозможным, чтобы желание королевы не противоречило высказанному ею решению по делу об ожерелье. Из этого она заключила, что ничто не помешает Марии-Антуанетте быть глубоко признательной той особе, которая ловко поможет ей приобрести ожерелье в то время, когда недостаток денег в казначействе не позволял сделать это приобретение официально. Графиня де ла Мотт решилась оказать эту услугу королеве.

Глава XIII
Дело об ожерелье (продолжение)

Таким образом, графине показалось, что представляется прекрасный случай осуществить, хотя бы отчасти, те несбыточные надежды, давая шанс на осуществление которых она

склонила на свою сторону своего друга кардинала. Мало-помалу она убедила кардинала принять на себя посредничество при покупке драгоценного ожерелья. С этой же целью она также склонила на свою сторону банкиров королевы.

Быть может, она делала попытки склонить и королеву на свою сторону, но попытки, как видно, остались безуспешными. Неудача немного смутила госпожу де ла Мотт, и она решила расширить круг своих домогательств и интриг с целью во что бы то ни стало приобрести драгоценное ожерелье.

Вероятно, господин де ла Мотт принял также участие в заговоре. Оба супруга обратились с просьбой о помощи к одному отставному жандарму по имени Марк-Антуан-Рето де Вильет, который занимался составлением памфлетов и подложных писем. Он уже однажды написал несколько писем, которые госпожа де ла Мотт выдала за письма Марии-Антуанетты. В то же время госпожа де ла Мотт и ее муж успели сблизиться с графом Калиостро, который в ту пору имел большое влияние на ум господина де Рогана.

Постепенно госпоже де ла Мотт удалось уверить кардинала, что королева решилась купить ожерелье без ведома короля на свои собственные деньги. Она говорила, что ее величество, с целью доказать кардиналу особое расположение, поручает ему сделать эту покупку от ее имени; при этом было прибавлено, что королева в виде вознаграждения за расходы по уплате за ожерелье выдает кардиналу денежный документ за своей подписью.

Скоро госпожа де ла Мотт действительно доставила этот документ господину Рогану; бумага эта была дана в Трианоне за подписью Марии-Антуанетты Французской. Нужно было иметь недальновидность кардинала, чтобы поверить этой подписи, очевидно подделанной по поручению графини. Чтобы разоблачить обман, стоило обратить внимание только на то, что королева, подобно всем своим предшественницам, подписывалась под всеми документами только именами,

данными ей при крещении. Прилагательное «Французская» было чистым изобретением господина Рето де Вильета.

Несмотря на все это, кардинал ничего не подозревал. Он был убежден, что повинуется желанию монархини и не сомневался в том, что вознаграждением за щекотливое поручение, данное ему, будет особая милость королевы. Поэтому он решился вступить в переговоры с ювелирами, не скрывая, что это ожерелье предназначено для королевы. В подтверждение своих слов кардинал показал им бумагу, которую имел в своих руках.

Ювелиры охотно согласились на предложенные им условия. 1 февраля они принесли футляр с ожерельем госпоже де ла Мотт в Версаль, где она в присутствии кардинала передала его господину, очень ловко разыгравшему роль камердинера ее величества. Человек этот был никто другой, как Рето де Вильет, одетый в королевскую ливрею. Таким образом, эта смелая выходка увенчалась полным успехом. Господин де ла Мотт уехал в Лондон и взял с собою ожерелье, стоившее миллионы.

Завладев ожерельем, госпожа де ла Мотт не ограничилась этим; она надеялась так запутать королеву и кардинала, что у них не будет никакого выхода. С этой целью она придумала следующее.

По ее поручению Рето де Вильет снова принялся за дело и приготовил новые письма, в которых королева писала господин де Рогану, что, не будучи в состоянии высказать открыто свое уважение, она желает поговорить с ним между одиннадцатью и двенадцати часами ночи в Версальской рощице, и передаст ему то, чего она не может доверить бумаге.

Обещая простаку кардиналу это свидание, госпожа де ла Мотт действовала не наобум. Она имела в виду одну девицу по имени Оливу. Девицу эту встретила она в Пале-Рояле и была поражена необыкновенным сходством ее с Марией-Антуанеттой. Этой-то Оливе она и отвела роль королевы в затеянном ею предприятии.

Сцена свидания состоялась у купален Аполлона. Олива, хорошо подготовленная, отлично сыграла свою роль; она подала кардиналу, задыхавшемуся от волнения, сорванную ею розу и тотчас же под предлогом, что слышит шум чьих-то шагов, попросила его удалиться.

Между тем приближался срок первого платежа, и ювелиры начали беспокоиться. Вскоре они захотели убедиться, действительно ли ожерелье находится в руках королевы. С этой целью они рассказали весь ход дел некоторым из приближенных королевы, просили аудиенции у ее величества, но не имели успеха и вскоре убедились, что стали жертвами ловкого обмана. В отчаянии они перестали скрывать тайну покупки ожерелья, о чем так просил их господин Роган; слух об этом смелом мошенничестве скоро распространился и дошел до министра двора, барона де Бретеля.

Господин де Бретель был личным врагом кардинала; он не мог упустить прекрасного случая погубить своего противника.

Барон тайно переговорил с королевой, открыл ей все толки, которые ходят по городу насчет ее, кардинала и госпожи де ла Мотт, и умолял ее откровенно сказать ему, можно ли придать гласность этому делу, и не пострадает ли при этом имя королевы.

Мария-Антуанетта, убежденная в своей невиновности, отвечала, что ей нечего бояться этих сплетен; она откровенно рассказала барону все, что знала по делу об ожерелье.

15 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, кардинал должен был служить в придворной часовне. Он уже облачился для службы, когда к нему подошел швейцар и доложил, что король просит его к себе в кабинет.

В кабинете он нашел короля, королеву и господина де Бретеля.

Когда кардинал вошел в комнату, король сказал ему крайне раздраженным голосом:

– Милостивый государь, вы покупали бриллианты у Бемера?

– Точно так, Ваше Величество, – отвечал кардинал.

– Что сделали вы с ними?

Господин де Роган с минуту колебался.

– Я полагал, Ваше Величество, – отвечал он наконец, – что эти бриллианты уже переданы Ее Величеству.

– Кто возложил на вас это поручение?

– Одна дама, графиня де ла Мотт-Валуа, передавшая мне письмо королевы. Я думал услужить Ее Величеству и взял на себя эту покупку.

Королева быстро перебила его.

– Милостивый государь! – вскричала она. – Как могли вы подумать об этом? Вы знаете, что вот уже восемь лет, как я не говорю с вами. Неужели могла я решиться выбрать вас для подобного дела и притом через посредничество подобной женщины?

– Я вижу, – возразил кардинал, – что меня жестоко обманули; желание доставить удовольствие Вашему Величеству ослепило меня. Я заплачу за ожерелье… Я стал жертвой очень хитрого обмана, которого никак не подозревал; поверьте, ваше величество, что это приводит меня в отчаяние.

С этими словами он вынул из кармана бумажник, в котором находилось письмо королевы, переданное ему госпожой де ла Мотт. Король взглянул на него.

– Это, – сказал он, – рука не королевы, да она и не подписывается так. Как же вы, князь де Роган и великий духовник Франции, могли поверить, что королева подпишется «Мария-Антуанетта Французская»? Всем хорошо известно, что Французские королевы подписывают только имена, данные им при крещении.

Кардинал бледнел все более и более, ноги его подкашивались, так что он был вынужден облокотиться на стол, чтобы не упасть.

Король, заметивший его смущение, попросил его оправиться и перейти в боковую комнату, чтобы написать там свое оправдание.

Роган повиновался; не прошло четверти часа, как он уже вручил бумагу Ее Величеству и вышел; но у дверей королевского кабинета встретил господина Жофруа, лейтенанта телохранителей, который арестовал и передал его секунд-майору д'Агу, с которым кардинал был отправлен в Бастилию.

На другой день после ареста кардинала и госпожа де ла Мотт была взята в Бар-сюр-Обь, где она думала скрыться. На допросе она смело отрекалась от всякого участия в деле приобретения ожерелья и свалила вину на графа Калиостро. Она утверждала, что Калиостро убедил кардинала сделать эту покупку, что бриллианты были взяты им и его женою, и что они одни извлекли пользу из этой кражи. Вследствие этих показаний арестовали господина Калиостро и его супругу.

Госпожа де ла Мотт могла надеяться избежать правосудия, свалив на кардинала и Калиостро ответственность за похищение, в котором была виновата одна она, но в то же самое время Олива была арестована в Брюсселе, куда она бежала, и показания этой девицы начинали объяснять отчасти эту запутанную интригу.

Некоторое время спустя арестовали в Женеве Рето де Вильета; его доставили на очную ставку с госпожой де ла Мотт, которая должна была теперь убедиться, что ей не избежать заслуженного наказания.

В ночь с 29 на 30 августа всех, замешанных в деле об ожерелье, перевели из Бастилии в Консьержери, и 5 сентября был издан королевский указ, передавший Парламенту дальнейшее расследование и обсуждение этого дела.

В этом документе было выражено крайнее неудовольствие короля, и возводились прямые обвинения на кардинала.

Вот подлинные слова этого интересного документа:

«До нас, Людовика XVI, дошло, что нижепоименованные Бемер и Боссанж продали кардиналу де Рогану бриллиантовое ожерелье. При этом кардинал без ведома королевы, нашей супруги, объявил им, что имеет поручение приобрести

это ожерелье для королевы за сумму в миллион шестьсот тысяч ливров с платежом по срокам. При этом кардиналом предъявлено было подложное письмо, будто бы подписанное королевой. Когда вышеупомянутое ожерелье было отдано кардиналу и прошел срок платежа, вышеназванные Бемер и Бассанж обратились к королеве. Мы не можем без справедливого негодования смотреть на то, что осмеливаются злоупотреблять именем коронованной особы и оскорблять неслыханной дерзостью величие королевского сана.

Вследствие всего этого мы сочли себя совершенно вправе призвать к нам вышеупомянутого кардинала и допросить его. Вследствие же показания его, что в этом деле он был обманут одной женщиной по имени де ла Мотт де Валуа, мы сочли необходимым взять под стражу как его, так и вышеименованную де ла Мотт де Валуа, и принять все меры, которые могло внушить нам искреннее желание открыть руководителей и сообщников этого преступления. Вследствие всего этого мы сочли необходимым известить вас обо всем случившемся, чтобы вы, собрав большую палату, произвели следствие по этому делу.

По этим причинам и т. д., желая, чтобы дело не затягивалось, чтобы доказательства не потеряли своей силы вследствие замедления, мы вас уведомляем об этом деле и повелеваем вам принять к сведению все вышеупомянутые факты и обстоятельства дела. Исследование и обсуждение дела должно производиться под руководством нашего генерал-прокурора; по этому случаю имеете вы назначить из своей среды членов для допроса тех свидетелей, которые будут указаны нашим генерал-прокурором, и употреблять все усилия для разъяснения вышепоименованного факта и разоблачения преступления. Данными при этом инструкциями нашими дозволяется приступить к следствию даже во время вакансий, но закончить его в полном собрании палаты по возобновлении заседаний Парламента».

Понятно, сколько шуму должен был наделать подобный процесс. Вся знать считала себя затронутой в лице одного из своих членов; духовенство протестовало, заявляя свои права судить кардиналов, и обратилось с представлениями к римскому двору. Эти представления лет двести тому назад имели бы большое значение; в настоящее же время остались без всяких последствий.

Заседания суда начались утром, 22 декабря.

Госпожа де ла Мотт, одетая с большим вкусом и изяществом, села на скамью подсудимых; вид ее был так уверен и спокоен, говорит один писатель того времени, что казалось, будто она находится в своей комнате и лежит на мягком диване. На все вопросы президента она отвечала с большим присутствием духа и необыкновенной твердостью.

Кардинал появился после нее и сел на скамью, которую обыкновенно занимают члены апелляционного суда во время своих заседаний в палате. Члены Парламента высказывали чрезвычайно много снисхождения к кардиналу. По их обращению с главным преступником видно было, что они сочувствуют ему.

На стороне преступника было и общественное мнение; быть может, причиной этого было желание сделать противное двору.

29 декабря генерал-прокурор де Флери прочел свои обвинения. В этих обвинениях он очень строго осуждал кардинала. Он требовал, чтобы преступник в наказание за свое преступление был бы подвергнут такому позору, что господин де Роган, вероятно, никогда бы не согласился на это и предпочел бы пожизненное заключение в тюрьме.

Приговор был вынесен 31 числа в девять с половиной часов вечера. Вот его главные пункты:

1. Главная причина процесса – документ, находящийся у ювелиров, был объявлен подложным и подпись королевы поддельной.

2. Ла Мотт как соучастник приговаривался к пожизненной каторжной работе на галерах.

3. Жанна де Сен-Реми-Валуа, жена господина де Ла Мотта, присуждалась к публичному сознанию в преступлении с веревкой на шее, наказанию кнутом, клеймению на обоих плечах буквою V и затем к пожизненному заключению в смирительном доме.

4. Рето де Вильет присуждался к изгнанию на всю жизнь из королевства.

5. Девица Олива лишилась занимаемой ею должности.

6. Калиостро освобождался от обвинения.

7. Кардинал освобождался также от всякого обвинения; оскорбительные выражения, помещенные относительно его в деле госпожи де ла Мотт, уничтожались, ему позволялось напечатать приговор.

Это решение было встречено с энтузиазмом. Правительство сделало большую ошибку тем, что дало огласку делу, в котором имя королевы стояло рядом с именами самых рьяных интриганов и интриганок. Кроме того, и сам суд, оправдав кардинала, поступил очень неловко. Правда, эта неловкость доставила Парламенту такое сочувствие, какого он вовсе не заслуживал. Народ смотрел на этот приговор, уничтожавший обвинение, высказанное в королевском указе, как на первую победу свою, и с энтузиазмом рукоплескал сопротивлению королевской воле уже потому, что это было сопротивление. Судьям рукоплескали повсюду, писал барон де Безенваль, и встречали их с таким восторгом, что они едва могли пробиться сквозь толпу народа.

Госпоже де ла Мотт не объявили о той участи, к которой ее приговорили.

Так как Парламент распускался на другой же день, по произнесении приговора, то было невозможно просмотреть постановление суда, вследствие чего исполнение приговора было отложено.

Когда снова открылись заседания Парламента, и решение было окончательно составлено и утверждено, то пришлось объявить приговор и графине де ла Мотт.

Во все время процесса госпожа де ла Мотт при допросах и очных ставках показала самый необузданный характер и страшную резкость в своих ответах, поступках и обвинениях. Все это заставляло опасаться, чтоб она снова не увлеклась и в бешенстве не наговорила бы чего-нибудь лишнего.

21 июня господин де Флери призвал к себе исполнителя уголовных приговоров и объявил ему постановление суда относительно осужденных. Вместе с этим он высказал и свои опасения по этому случаю и просил исполнителя устроить все без шума.

Один из чиновников, присутствовавший при этом разговоре, предложил завязать рот госпоже де ла Мотт так же, как это сделано было с Лалли. Шарль-Генрих Сансон возразил на это, что лекарство будет опаснее самой болезни и что соболезнование, которое так сильно проявилось при казни престарелого генерала, примет еще большие размеры, если предметом насилия станет женщина.

Шарль-Генрих Сансон просил у генерал-прокурора позволения взять все это на себя. Он хорошо понимал, что здесь нужна не сила, а ловкость и умение взяться за дело, и не испугался ответственности, которую принимал на себя. Генерал-прокурор согласился с просьбой моего деда.

Шарль-Генрих расспросил тюремщика об образе жизни госпожи де ла Мотт и о ее отношениях с окружающими. Тюремщик сказал, что графиня больше всех расположена к его жене, которая ей прислуживала во время заключения.

На другое утро жена тюремщика по приказанию исполнителя вошла в комнату осужденной и доложила, что кто-то желает поговорить с ней.

Госпожа де ла Мотт лежала в это время в постели; она отвернулась к стене и сказала:

– Пусть придет после; я не спала целую ночь и мне хочется спать.

Тогда жена тюремщика сказала ей, что пришел ее адвокат, которому уже некоторое время запрещено было посещать ее.

При этом известии госпожа де ла Мотт вскочила с постели и поспешно оделась.

В то самое мгновение, когда она переступала через порог своей комнаты, один из помощников, спрятавшийся за дверью, схватил ее и крепко сжал ее кисть; другой сделал то же самое с другой стороны. Но госпожа де ла Мотт с силой, которою в ней никак не подозревали, вырвалась из рук и быстро бросилась назад, чтобы снова скрыться в своей комнате.

В это время Шарль-Генрих Сансон успел уже запереть дверь и стоял, прислонившись к ней спиной.

Госпожа де ла Мотт остановилась перед ним и пристально поглядела на него своим сверкающим взором.

«Это была, – говорит мой дед, – женщина среднего роста, но чрезвычайно стройная. Ее, скорее, можно было назвать полной, чем худощавой. Лицо ее было довольно приятно, так что с первого раза нельзя было заметить некоторых неправильностей в нем, а подвижность ее лица делали ее очаровательной. Только после долгого наблюдения можно было заметить, что нос ее был заострен, как клюв, что рот ее был слишком велик, что ее, поражавшие своим блеском глаза, были слишком малы. Самое замечательное в ней составляли ее роскошные волосы, белизна и нежность кожи и стройность телосложения. Она была одета в утреннее шелковое платье с коричневыми и белыми полосками и убором из маленьких букетов роз. На голове ее был надет кружевной чепчик, который едва покрывал заднюю часть ее головы. Роскошные волосы выбивались из-под чепчика».

Она с трудом дышала и, обратившись к моему деду, снявшему шляпу, спросила у него:

– Чего вы хотите от меня?

– Чтобы вы внимательно выслушали свой приговор, сударыня, – отвечал исполнитель.

Было заметно, как дрожь пробежала по телу госпожи де ла Мотт; ее сжатые пальцы машинально теребили широкую ленту, которой она была подпоясана. На мгновение она задумалась и потупила глаза, но скоро оправилась, подняла голову и сказала:

– Ну хорошо, пойдемте!

Когда она пришла в комнату, где собралась Парламентская комиссия, актуарий приступил к чтению приговора.

При первых словах, объявлявших о ее виновности, чувства, волновавшие госпожу де ла Мотт, отразились на ее физиономии. Глаза ее быстро забегали, она стала до крови кусать свои сжатые губы; ничто уже в ней не напоминало той очаровательной женщины, которой она казалась минуту тому назад; теперь она была похожа на фурию.

Шарль-Генрих Сансон, предчувствуя бурю, подошел к ней. Это было сделано очень кстати, потому что в ту минуту, когда актуарий дошел до назначенных ей наказаний, бешенство несчастной прорвалось с неудержимой силой. Она так быстро откинулась назад, что если бы мой дед не поддержал ее, то она, наверное, разбила бы себе голову о плиты пола. Вслед за этим в страшных конвульсиях и с дикими пронзительными криками она покатилась по полу.

Пятеро сильных мужчин держали ее, и при этом нужны были страшные усилия, чтобы удержать ее и не дать ей убить или изувечить себя под влиянием этого припадка.

Это обстоятельство вынудило прекратить чтение приговора.

Казалось, чтение приговора придало ей новые силы. При попытке связать ее, снова началась у нее упорная, отчаянная борьба с помощниками.

Прошло не менее десяти минут, прежде чем пяти сильным мужчинам удалось восторжествовать над этой женщиной.

Наконец совладали с ней и перенесли ее на большой двор Консьержери.

Эшафот был построен на этом дворе, возле решетки, сквозь которую можно было видеть всю экзекуцию. Но так как в это время было еще очень рано, около шести часов утра, то любопытных было немного.

Ее разложили на площадке эшафота и приступили к наказанию, во все время которого она испускала отчаянные и яростные крики. Ее проклятия относились преимущественно к кардиналу де Рогану, которого она обвиняла в своем несчастии и осыпала самыми оскорбительными эпитетами; слышали также, как она бормотала: «Я терплю этот позор по собственной вине; мне стоило сказать одно только слово, и меня бы повесили».

Ей дали двенадцать ударов розгами.

Вероятно, ее отчаянные порывы окончательно обессилили ее, или, быть может, она не слыхала последних слов приговора; как бы то ни было, но когда ее посадили на платформу, она сидела несколько минут безмолвно и бессознательно.

Шарлю-Генриху Сансону эта минута показалась удобной, чтобы приступить к выполнению последней статьи приговора. Платье преступницы изорвалось при оказанном ею сопротивлении, и плечо ее было обнажено. Он взял железо из жаровни и, приблизившись к ней, придавил его к ее телу.

Госпожа де ла Мотт вскрикнула как раненая гиена и, бросившись на одного из державших ее помощников, укусила его за руку с таким бешенством, что вырвала кусок мяса. Затем несмотря на то, что была крепко связана, она начала отчаянно защищаться. Пользуясь снисхождением, которое ей как женщине помощники оказывали в этой борьбе, она долгое время делала бесполезными все их попытки, и едва удалось кое-как наложить клеймо на другое плечо.

Правосудие было удовлетворено. Госпожу де ла Мотт посадили в фиакр и отвезли в Сальпетриер. В ту минуту, когда

ее высаживали из экипажа, она сделала попытку кинуться под ноги лошадям, а несколько минут спустя она хотела задушить себя, всунув в рот одеяло со своей постели.

Пожизненное заключение, к которому она была приговорена, продолжалось только десять месяцев.

В апреле следующего года ей удалось бежать. Быть может, само правительство способствовало ее бегству из боязни, чтобы господин де ла Мотт не исполнил своей угрозы и не разъяснил все это дело в Лондоне, куда он удалился. Но кажется вероятнее, что при помощи вырученных за ожерелье денег мужу ее удалось подкупить какую-нибудь сестру милосердия смирительного дома. Быть может также, что кто-нибудь влюбился в знаменитую преступницу и нашел возможность спасти ее.

Как бы то ни было, но солдат, стоявший на часах под окном госпожи де ла Мотт, передал ей от одного сочувствующего лица мужской костюм: синий сюртук, черный жилет и панталоны, полусапожки, круглую высокую шляпу, тросточку и лайковые перчатки. При помощи этого костюма ей удалось выйти из Сальпетриера и присоединиться к своему мужу в Лондоне.

Она умерла там 23 августа 1794 года, по словам одних – от разлития желчи, по словам других – разбилась до смерти, бросившись в припадке бешенства из окна на мостовую.

Рассказывают, что будто бы сестра милосердия, способствовавшая ее бегству, сказала ей в ту минуту, когда она удалялась: «Прощайте, сударыня, берегитесь впредь обращать на себя внимание!»

Автор замечательных происшествий в царствование Людовика XVI замечает по этому поводу, что нужно быть одержимым особенной страстью к красным словцам, чтобы сочинять этакого рода фразы при рассказе о подобных предметах.

Художественное издание

Шарль Анри Сансон

Записки палача или Политические и исторические тайны Франции

Книга первая

Перевод с французского П. А. Л.-Берг

16+

Ответственный редактор *А. Иванова*
Верстальщик *С. Мартынович*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334–72–11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru